Ю. МАКАРОВ.

Моя Служба в Старой Гвардии

1905 - 1917

МИРНОЕ ВРЕМЯ И ВОЙНА.

БУЭНОС АЙРЕС

1951

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Юрий Владимирович Макаров служил в лейб-гвардии Семеновском полку — одном из старейших воинских формирований русской армии, стяжавших славу на полях сражений. В своих мемуарах он обозначил важнейшие вехи в истории Семеновского полка в последний период его существования — с 1905 по 1917 год. Это объективный беспристрастный, но глубоко личностный рассказ о жизни и быте русского офицерства, прежде всего его элиты — гвардейцев, их традициях и обычаях, крепкой воинской дружбе и товариществе, верности присяге, нравственном кодексе офицерской чести. Автор создал колоритную панораму полковой жизни в мирное и военное время, яркую портретную галерею типичных представителей русского офицерства — от подпоручика до свитского генерала. Особенная историческая ценность работы состоит в уникальных сведениях, которые ныне малодоступны даже для историков. Подробно описана внутренняя жизнь городского и лагерного офицерского Собрания. Немало страниц посвящено культурной жизни Петербурга-Петрограда начала XX века.

- Макаров Юрий Владимирович
  - Семья, корпус, училище, выход в полк
  - Наше офицерское собрание
  - Наше лагерное собрание
  - Иван Андреевич Литовёт
  - Христофоров
  - Разбивка гвардейских новобранцев — годы 1904–1906
  - Главный караул в Зимнем дворце во время «высочайшего отсутствия»
  - Принос и относ знамени
  - Другие караулы
  - Наш полковой собор
  - Канун полкового праздника в Петербурге
  - Ротный праздник в 9-й роте
  - Высокое начальство — портретная галерея
  - Маркиз
  - Командиры: Шильдер, Зуров, Кульнев и Новицкий
  - Внутренняя жизнь, собрание, порядки
  - Подпоручик Николай Ильин — редактор царской телеграммы
  - «Полковые дамы» или «жены офицеров»

- «Ванечка» Эттер
- Маленькие подвиги
- Мой последний приезд на войну (июль — Сентябрь 1916 года)
  - I. Отъезд и дорога
  - II. Полк в начале августа 1916 года
  - III. Наши атаки 3-го и 7-го сентября
  - IV. Отвоевали
- Командиры Соваж, Тилло и Попов

- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Макаров Юрий Владимирович
Моя служба в Старой Гвардии. 1905–1917

ПОРУЧИК Ю. МАКАРОВ
1911 г.

Посвящается памяти русских воинов, отстаивавших родную землю на протяжении ее тысячелетней истории.

Семья, корпус, училище, выход в полк

Люди, описывающие свою жизнь или отрезок этой жизни, начинают обыкновенно со своей биографии. Те же, кто имеют честь и сомнительное счастье принадлежать к ныне вымершей породе российского дворянства, не забывают поговорить о своей родословной, причем почти всегда первый предок, «родоначальник», оказывается откуда-нибудь «выходцем», то из Швеции, то из цесарской земли, то, наконец, из Литвы. И чем дальше место, из которого вышел этот «выходец», тем считается почетнее. Дворяне Безобразовы говорили, что они происходят от рыцаря шведа, который имел обыкновение выходить на битву «без образа». Дворяне Хомутовы рассказывали, что они ведут свою фамилию не от всем известного и очень полезного предмета русской упряжи, а от шотландца Хамильтона. Я никого не хочу задевать. Возможно, что так оно на самом деле и было, но не могу не отметить, что наиболее распространенная версия почти всегда была такая. Какой-нибудь «честной муж», с неудобопроизносимым именем, редко позже княжения Василия Темного, въезжает в Москву и поступает на службу к Московскому Государю, а от него уже ведут свое начало все дворяне Перфильевы, Савельевы, Кондратьевы и т. н.

Недавно мне попалась в руки, изданная в Советском Союзе, книга графа А. А. Игнатьева «50 лет в строю». При ближайшем рассмотрении оказалось впрочем, что в строю им было прослужено 4 года, а 46 лет в штабах, в управлениях и заграницей. В своей интересной книге почтенный автор, впоследствии ген. — майор советской службы, рассказывает, что о своей родословной он случайно узнал уже будучи русским военным агентом в Париже. Свежо предание, но верится с трудом. Должен покаяться, что о своей собственной я узнал будучи всего лишь поручиком и далеко не случайно, а специально для этой цели отправившись в Сенат, в Департамент Герольдии, где мне показали очень толстую книгу нашего рода, над которой с большим интересом я просидел несколько часов. Из матерьялов этой книги и из кое-каких семейных преданий и документов, мне удалось установить приблизительно следующее. Ни на каких «выходцев», в качестве предков, мне претендовать не приходится. Таковыми были обыкновенные костромские мужики, которые с незапамятных времен для своего скудного пропитания рубили густой Костромской лес и ковыряли неплодородную Костромскую

землю.

Хоть и не очень яркий, без рыцарей и трубадуров, но свой феодализм существовал и на Руси. Вызывался он насущной необходимостью. Чтобы жить Московское государство должно было выколачивать подати и вести постоянные чуть не ежегодные войны. «Сермяжным ратникам» нужны были командиры. Поэтому правящий, вернее «служилый» класс рос непрерывно. Княжата, бояре и крупные дворяне, из сидевших на их землях мужиков, выбирали тех, кто позажиточнее и посмышленее, а Московская власть «верстала» их землями и пустошами, конечно с сидевшими на них крестьянами. Это были тогдашние «кулаки», но слабое государство естественно держало упор на тех, кто был посильнее. По преданию нашими «сюзеренами» были Галицкие (не южного, а Костромского Галича) дворяне Нелидовы, которые в свою очередь состояли «под рукой» у бояр Романовых. В качестве курьезной подробности, упомяну — это я вычитал у Валишевского, — что под Нелидовыми служили и Отрепьевы, из которых небезизвестный Григорий, по Ватиканской интриге, чуть-чуть не умудрился перевернуть весь ход Российской истории.

Когда точно произошло «поверстание» и превращение нас из мужиков в дворяне, сказать трудно. Судя по тому, что по данным толстой книги мое поколение является десятым, а до первого было наверное два или три, которые Макаровыми еще не назывались, а писались «по отцу», можно думать, что это счастливое событие имело место в царствование Ивана Грозного или Федора Иоанновича. Из толстой книги и из семейных преданий, я узнал, что кроме Нелидовых, с которыми мы породнились, нашими родственниками и свойственниками были многие известные Костромские семьи: Шиловы, Зюзины, Сипягины, Шулепниковы и Куломзины. Кое-кто из представителей этих семей в последние царствования достигли степеней известных, ходили в послах и в министрах, но на нас этот блеск никогда не распространялся. Если не считать Петровского кабинет-секретаря Алексея Васильевича Макарова, который перед воцарением Анны Иоанновны был одним из «верховников», получил земли недалеко от Москвы, а прямые потомки его даже герб, где изображена какая-то птица, все без исключения мои предки были «недоросли из дворян» и в этом звании поступали на военную и морскую службу. Выше «премьер-майора» и «флота лейтенанта» они обыкновенно не поднимались.

В своей известной речи о Пушкине В. О. Ключевский провел параллель между двумя типами выведенных у Пушкина дворян, дворян полезных и бесполезных. Один князь Верейский, утонченный европеец, воспитывавшийся заграницей, которому

все отечественное было чуждо и непонятно. Другой — «недоросль из дворян», Петруша Гринев. На стороне Петруши и всех подобных ему недорослей, в числе российских войск собственноножно протопавших по Германии, по Франции, по Италии и по Швейцарии, лежат все симпатии знаменитого историка.

Мой прадед Карп Федорович был флота лейтенантом и под командой Алексея Орлова громил турецкий флот при Чесме. Сын его, Егор Карпович, мой дед, в молодых годах сражался под Бородиным и в 1814 году в рядах Галицкого мушкетерского полка входил в Париж. У нас в семье долго хранился хрустальный стакан, где в овальном медальоне, золотой Александровской вязью было изображено: «*Ликуй Москва в Париже Росс — взят 18 марта 1814 года*». Вернувшись с войны дед прослужил еще лет десять, в чине премьер-майора вышел в отставку и поселился в своей Галицкой деревне Бортникове. Еще года через два он женился, больше по расчету чем по любви, на молодой, некрасивой, но довольно богатой Ярославской девице Надежде Ивановне Ростовцевой.

В нашем северном краю, построенные из сосновых бревен дворянские гнезда, при жаркой топке 7 месяцев в году, горели круглым счетом каждые 30–40 лет. Вскоре по приезде, сгорело до тла и дедовское Бортниково, после чего семья переселилась на жительство в именье бабушки, в Любимский уезд Ярославской губернии. Там дом был большой и поместительный и тоже, разумеется, деревянный. После смерти бабушки сгорел и он, но на этот раз из него удалось кое-что спасти. Тот дом, который помню я, был по счету третий и был построен уже моим отцом.

В каждом дворянском доме жили старые слуги, больше члены семьи чем слуги. Были такие и у нас. Из них главная, первый друг и советник моей матери, высокая, строгая и худая старуха, всегда в темном платье и в темном платке, Варвара Дементьевна, была дочка бабушкиной ключницы и родилась крепостной. Из ее рассказов о старине я узнал много интересного.

Потихоньку от матери, которая считала, что ребенку таких вещей лучше не сообщать, Варвара Дементьевна рассказывала мне про жизнь бабушки и деда, которых хорошо помнила. Между собою они жили плохо. Общего у них было мало. Бабушка была очень образованная женщина. В то время зачастую женщины бывали гораздо образованнее мужчин. В ее сундуке с книгами, который я разыскал на чердаке, были томы Вольтера, Руссо, Корнеля, Расина, Шатобриана, «Дух законов» Монтескье и несколько романов г-жи Жанлис, за которыми отдыхал Кутузов. Все по французски. Были там и английские и две, три

итальянские книжки. Из русских были Карамзин и Жуковский.

Характером бабушка была очень сдержанная женщина, никогда не возвышала голоса и была строга и к себе и к другим, «Телесные наказания» она у себя отменила и «подданных» своих работой не обременяла. Ее побаивались, но за хорошую жизнь и справедливость уважали все поголовно.

Дед был красив, еле образован, характера веселого и легкого, и имел две слабости: любил выпить, не в одиночку, а с друзьями, и был великий ходок по женской части. Эта последняя слабость, между прочим, стоила ему жизни.

Наш земляк Ярославский помещик Н. А. Некрасов писал про «знакомые места, где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста, текла среди пиров, бессмысленного чванства, разврата грязного и мелкого тиранства…» Тиранством дед вряд-ли занимался, он был не злой человек, но разврата и пьянства было конечно в изобилии. У себя в Соболеве, принадлежавшем бабушке, которую он побаивался, он себе ничего не позволял, но в отдаленных деревнях куралесил напропалую. В шести верстах от бабушкиного Соболева, по дороге к Любиму, лежало большое и богатое именье Бугениново. Прекрасная широкая аллея из четырех рядов высоченных берез тянулась на две версты, а в глубине стоял каменный дом, терраса которого выходила на реку Обнору. В мои времена от дома оставались одни груды кирпичей. В тридцатых годах прошлого столетия в Буженинове проживал бывший гусар, холостой помещик Грязев, который задавал пиры, принимал у себя весь уезд, держал музыкантов и псовую охоту. Но там-же происходили развлечения и более интимного характера, только для холостых. Это были форменные оргии, на которые сгоняли девок, накачивали их вином, а пьяный хозяин, с гусевым кнутом в руке, заставлял плясать сельского попа, который подобрав полы рясы, пускался в присядку, к вящему удовольствию гоготавших собутыльников. Непременным членом таких веселых времяпрепровождений был мой дед, первый собутыльник и закадычный друг хозяина.

У деда был наперсник, молодой парень и его любимый кучер, Алешка. С Алешкой они совершали наезды на соседние деревни, вместе врали бабушке и несмотря на разницу лет, — деду было хорошо за сорок, а Алешке с небольшим двадцать — секретов друг от друга не имели. Через их руки прошел не один десяток баб и девок и всех их они делили полюбовно. И вот, наконец, попалась между ними одна, которая для Алешки оказалась настоящей и единственной, такой, за которых люди идут «на позор и под, меч палачей». Уступить он се не мог и стал задумываться. А дед, ничего не подозревая, продолжал свои атаки

и, надо думать, желаемое получил. Раз поздно ночью, после попойки, возвращались они из Буженинова к себе домой в Соболеве. Ехали на паре, гусем. В наших местах, где пять месяцев снег лежит на полтора аршина и где имеется только одна укатанная дорога, иначе ездить и нельзя. А затем представляю себе, как все произошло. Закутанный в медвежью шубу и в меховой шапке, в ковровых санях, дед спал и поклевывал носом. Светила луна. Ехали лесом. Но бокам дороги стояли огромные ели и протягивали белые пушистые лапы. Снег на них блестел ослепительно и казался уже не белым, а то красным, то голубым. Промерзшие лошади бежали дружно и полозья пели свою песню. Вдруг лошади остановились.

— Что ты? — промычал дед.

— А до ветру»… — отвечал Алешка.

Дед снова заснул, а тот слез с облучка, зашел за сани, поднял заранее припасенный ломик и страшным ударом размозжил деду голову. После этого он скрылся, а лошади сами привезли деда домой. Когда сказали бабушке, она первым делом распорядилась разрубить в щепки и сжечь окровавленные сани и на следующий же день назначила похороны, на которых не проронила ни одной слезинки. Ни докторских свидетельств для подтверждения смерти, ли сыскных отделений в те времена не существовало. Вся дворня была собрана, все целовали Евангелие и все поклялись молчать. А когда дня через три приехал «капитан-исправник», свой же помещик и дворянин, ему было объявлено, что дед скоропостижно умер от удара. Убийцу не нашли, потому что не искали.

Смерть деда, и какая смерть, была для бабушки большим горем. Она его не уважала, но по своему очень любила. Опытные люди говорят, что любить можно и не уважая. После его смерти всю свою любовь она перенесла на детей, которых было трое, две девочки и годовалый мальчик, мой отец.

Воспитанием детей бабушка занималась сама и воспитала их на славу, особенно сына, которого любила без памяти. Говорят, что людские характеры передаются через поколение. Отец рос умным и серьезным мальчиком и ученье ему давалось легко. Без всяких гувернеров и учителей, которых бабушка имела полную возможность нанять, но не хотела, она выучила его русскому, французскому и немецкому языкам и подготовила его так хорошо, что вступительный экзамен он выдержал первым и так и шел все четыре года, окончив с «занесением на мраморную доску». Когда отцу исполнилось 13 лет, бабушка Надежда Ивановна, с болью в сердце, отправила его в Петербург под крылышко к своему младшему брату, Якову Ивановичу

Ростовцеву, впоследствии графу и одному из главных сотрудников Александра II по освобождению крестьян. Поместили отца в «Школу Гвардейских Подпрапорщиков и Кавалерийских юнкеров», которую когда-то по кавалерийскому отделению кончил Лермонтов и куда, в том же 1852 году, был принят Модест Мусоргский, будущий композитор. Так как отец был также на пехотном отделении, нужно думать, что они хорошо друг друга знали.

В 1856 году, 17-ти летним мальчиком отец кончил школу и вышел прапорщиком в Измайловский полк. В том же году, в составе гвардии, он выступал с полком на охрану Балтийского побережья. Севастополь тогда еще держался, а в Петербурге опасались высадки английского флота, который под командой адмирала Симура крейсировал неподалеку от Кронштадта. Как известно это была демонстрация, которая ничем не кончилась. В полку отец прослужил всего семь лет. Он мог бы продолжать служить и делать карьеру, как делали многие из его сверстников, но подошло освобождение крестьян и из Петербурга все лучшее, все те, кто безкорыстно хотели служить «младшему брату», потянулись в деревню. В 1863 году отец вышел в отставку, бабушка тогда уже умерла, вернулся к себе в Соболево и с воодушевлением занялся крестьянскими делами. В нашей губернии он был одним из первых «мировых посредников», т. е. людей, на которых было возложено настоящее освобождение крестьян, — отделение их от помещиков и наделение их землею. Тогда, как говорил Некрасов, «порвалась цепь великая, порвалась и ударила одним концом по барину, другим по мужику». В нашей стороне процесс прошел сравнительно безболезненно. Земля у нас недорогая и ее было много. Хватило на всех.

Когда через несколько лет ввели «мировых судей», отец был единогласно выбран на эту должность. А затем пришло «Земство» и ему отец посвятил всю свою жизнь.

У отца и матери было шесть человек детей, из которых я был самый младший, и между следующим братом и мной было девять лет разницы. По зимам мы жили в Ярославле, где отец служил по земству и где у нас был свой дом на Соборной площади. Старшие братья учились в гимназии, а на лето, все кроме отца, переезжали в деревню, где жили с мая и до сентября.

В деревне дом был трехэтажный. Первый, полуподвальный, где помещалась кухня и жила прислуга, был каменный, а второй и третий деревянные. С широкого каменного крыльца люди поднимались наверх и входили в переднюю, которая носила громкое название «лакейской», хотя в мои времена никаких «лакеев» там уже не было. Но там стояли «лари», на которых, если

бы таковые существовали, они могли бы спать. Из «лакейской» дверь вела в кабинет отца. Там стоял большой кожаный диван, на котором отец спал, огромный письменный стол, в котором ящики запирались со звонким щелком, и во всю стену книжный шкаф, где под стеклом покоились Дарвин, Бокль, «Жизнь животных» Брема, полное собрание сочинений Белинского, 11 томов, Герцена и целые полки «Современника» и «Отечественных записок». На шкафу валялось и пылилось всякое оружие: морской палаш, кавалерийские сабли и несколько шпаг, в кожаных потрескавшихся ножнах, эпохи Екатерины и Александра I, былое вооружение наших воинственных предков.

Другая дверь из «лакейской» шла в зал, или «залу» (женского рода). В зале ни хрустальных люстр в чехлах, ни зыбких паркетных полов не имелось. Это была уже принадлежность дворянских гнезд рангом много выше нашего. Зато мебель, как полагалось, была целого красного дерева, очень жесткая, порядочно неудобная и чрезвычайно прочная. В простенках, в таких же рамах красного дерева, висели зеркала, имевшие свойство то вытягивать отраженные фигуры, то их расширять почти до неузнаваемости, а под зеркалами стояли «подзеркальники» и на них стеклянные подсвечники в медной оправе. На столе перед диваном стояла бронзовая лампа, в которую до нашей керосиновой эпохи наливалось масло. По стенам висели «портреты предков», кисти неизвестных и не весьма искусных мастеров. Висел там флота лейтенант Карп Федорович, в голубом кафтане, портрет, который брат повесил на стену, вытащив его из амбара, где он покоился много лет и где его почему-то пощадили мыши. Против него висел дед, в пехотной форме, с медалью 12-го года. Немного поодаль помещался юноша в форме гвардейской школы, мой отец. Почетное место над диваном занимал бритый господин в синем фраке, в парике и кружевной манишке, а рядом с ним полногрудая дама в роброне. Эти люди должны были изображать прадеда Ивана Ростовцева и его жену, рожденную Вадбольскую.

По бокам от изразцовой печки стояло два с застекленным верхом шкафа, т. наз. «горки». В горках под стеклом красовались вещи Николаевского фарфора, чашки, фигурки и пасхальные яйца, а на верхних полках много десятков из тонкого стекла разносортных бокалов на длинной ножке и очень узких. В них во время парадных обедов наливалось шампанское, то самое, про которое писал Пушкин, что: «между жарким и бланманже цимлянское несут уже». В простенке около окна, рядом с дверью в «диванную» висел старый длинный английский барометр, с винтом в нижней крышке. В бурю, в грозу и в проливной дождь,

сколько бы вы ни крутили винт и ни стучали пальцем но стеклу, он всегда и неукоснительно показывал «bright» (брайт), по нашему «ясно».

Рядом с оптимистическим барометром висела рамка, а в ней под, стеклом, с «печатями вислыми» грамата царей Ивана и Петра, при правительнице Софье, где Федору Гаврилову сыну Ростовцеву в Ярославском воеводстве жаловались пустоши и угодья. В другой стороне залы, около лестницы в третий этаж, стоял ореховый рояль с длинным хвостом, фабрики Вирдта, который на моей памяти никогда не настраивался и тем не менее сохранял немножко сиплый, но очень приятный звук. Этот почтенный инструмент за год до освобождения крестьян, отец послал для развлечения своим старшим сестрам, двум перезрелым девицам, которые главную часть своего времени проводили вышивая на пяльцах. Из их не слишком талантливых, но усидчивых работ помню две картины, которые висели в других комнатах. Одна изображала Ромео и Жульетту, сцену у балкона, а другая, огромная, Петра Великого, спасающего из воды солдата. Вокруг лодки бушевали пенистые волны с белыми гребнями, Петр стоял во весь рост, волосы у него развевались по ветру, а на боку висела вышитая серебряным бисером сабля. Самое замечательное было то, что обе руки у Петра были заняты. Одна держала руль, а другая была протянута вперед. От утопающего виднелись только пальцы. Надо думать, что если бы на деле все происходило так, как было изображено на картине, бедняга наверное бы утонул.

Больше всего в зале мне нравилась нижняя часть оконных переплетов. Туда были вставлены разноцветные стекла, красные, синие, жёлтые и зеленые. По моему тогда малому росту, на мир Божий мне приходилось смотреть исключительно через эти стекла и через них и сад и беседка и качающиеся березы приобретали характер волшебный и фантастический. Вообще в раннем детстве наш дом мне казался громадным, а такие необыкновенные места, как чулан под лестницей, чердак и нежилые комнаты рядом с кухней были полны таинственных и страшных возможностей. Со временем вступил в силу обратный процесс. Уже в школьном возрасте, приезжая каждую весну на каникулы в Соболево, я всякий раз удивлялся, что дом и комнаты стали такими маленькими.

Из «диванной» стеклянная дверь вела на балкон, с белыми колоннами, а с балкона, около которого росли кусты сирени и мальвы, лестница спускалась в так наз. «маленький сад». Там были дорожки, которые постоянно зарастали травой, клумбы цветов, георгины, астры и настурции, а в куртинах были посажены резеда, левкой и белые цветы табака, которые по

вечерам после поливки пахли сладко и опьянительно. Цветы были исключительной областью Катерины Федоровны, русской швейцарки, подруги матери по институту, которая, оказавшись временно без пристанища, приехала к нам погостить на месяц и прожила в нашем доме тридцать лет, воспитавши всех детей, от старшей сестры и до меня включительно.

В конце маленького сада была крокетная площадка, а перед забором, где через калитку неясно было выйти на дорогу, стояла беседка. Около нее росла высоченная, выше шпилей дома, старая береза, которая все грозила упасть, но, быть может, стоит и до сих пор.

Через мостик из «маленького» люди попадали в «большой сад». Там росли старые липы, стояла баня, а по бокам сада две аллеи, обсаженные елями, вели по скату вниз к речке, в которой имелись места, где можно было купаться. Речка эта называется «Кулза» и впадает в Обнору, Обнора в Кострому, а та в Волгу.

Надворные постройки ничем замечательны не были, если не считать амбара, где на чердаке среди всякой рухляди, я откопал раз части флейты, целый кларнет и медную волторну, что показывает, что у кого-то из прадедов был свой домашний оркестр. В каретном сарае тоже имелся один памятник старины: возок, т. е. карета на полозьях. В нем, через Любим, бабушка ездила прямо в Ярославль, и в этом возке, в дороге, по семейному преданию, родилась одна из теток, и что всего замечательнее, осталась жива. По этому поводу вспоминается Некрасовское: «Удобен, прочен и легок на диво слаженный возок». Что бабушкин возок, был прочен видно было невооруженным глазом, но что он был «легок», не думаю. Меньше чем четверка здоровых коней его, пожалуй, и с места не сдвинула бы.

Большой Соболевский дом был на две трети деревянный, а все постройки лежавшие через дорогу, скотный двор и избы для рабочих, были сплошь каменные. Объяснялось это тем, что отец, который всю жизнь пекся об общем благе и которому надоели постоянные пожары, в один прекрасный день решил начать застраивать нашу округу каменными домами. На своей же земле он нашел место, где имелась в изобилии подходящая глина и построил кирпичный завод, причем объявил, что зарабатывать на этом деле он не желает, а всем соседям обязуется отпускать кирпич по себе-стоимости. Для вящей наглядности у себя в усадьбе он возвел четыре кирпичных постройки. Соседи приходили, любовались, одобрительно качали головами, но дальше этого дело так и не пошло. И это при том, что сторона ваша была вовсе не бедная, большинство крестьян ходило на отхожие промыслы в Москву и в Петербург и чуть-ли не в каждой

деревне имелись свои профессиональные каменщики. На моей памяти во всех окрестных пяти деревнях, у нас не было ни одного каменного дома.

В 1891 году отец скоропостижно умер и после его смерти, мало-по-малу, вся наша семья начала распадаться. Старшая сестра уехала учиться в Париж, двое других вышли замуж, братья отправились один в университет в Москву, другой в Корпус в Нижний Новгород. Дом на Соборной площади был продан, а мать с верной Катериной Федоровной и нашей старой нянькой, которая понемножку превратилась в кухарку, переехала на квартиру. Квартира эта в городе Ярославле на Срубной улице, за которую мать платила 31 рубль в месяц, состояла из целого этажа с мезонином в каменном доме купцов Волковых, тех самых, из которых когда-то вышел первый русский актер Федор Волков. Следующий дом по той же улице, принадлежал купцам Собиновым. Знаменитый тенор Леонид Собинов учился тогда в одном; классе Ярославской гимназии с моим старшим братом и часто бывал у нас в доме.

5 августа 1896 года, в девятилетнем возрасте, после экзамена, где мне было предложено решить задачу, которую я не решил, написать басню «Кот и повар», что я сделал хорошо, и рассказать о всемирном потопе, картину которую я изобразил с увлечением, я был принят в 1-ый класс Ярославского кадетского корпуса.

Большинство старых кадет о времени проведенном в корпусе вспоминают с благодарностью и с удовольствием. Никак не могу сказать этого про себя. Для меня пребывание в корпусе было тюрьмой, где нужно было отсидеть семь лет и купить этим право на дальнейшее уже более приятное существование. Условия жизни были со всячинкой. Кое-что было недурно, как например учительский состав, кое-что выносимо, но были вещи отвратительные и безобразные. Состав воспитанников был неплохой, в подавляющем большинстве своем сыновья бедных офицерских семейств. Перевалив через критический возраст, 15 лет, все они понемногу принимали человеческий облик, но в первых четырех классах процветала нарочитая, чаще всего напускная, грубость и отчаянное сквернословие, служившее признаком молодечества. Из ругательств было впрочем выражение, употреблять которое кадетским кодексом приличий было запрещено. Это было обыкновенное трехэтажное ругательство, одно время столь распространенное в русском народе. Считалось, что что оскорбляет родителей, а за такое оскорбление обидчику полагалось «искровянитъ морду». И если ты сам не в силах был это сделать, то разрешалось обратиться за

помощью к первому силачу в классе, и тот, так сказать уже от лица, класса, производил экзекуцию. Само собою разумеется, что ни о наушничестве, ни о фискальстве не было и помину. Если класс решал молчать и врать, то все героически молчали и врали. Нужно сказать, что и воспитатели, все сами бывшие кадеты, к сыскным приемам не прибегали, а когда нужно было «взгреть», грели всех попавшихся огулом, предоставляя виновным выходить и сознаваться.

Одевали нас не в корпусе, а когда уходили в отпуск, хорошо, но кормили скверно. И все мальчики знали, что из «экономических сумм», «эконом», т. е. заведующий хозяйством, получающий сто рублей жалованья в месяц, проигрывает сотни рублей в лучших гостиницах города, а для директора выписывается из Москвы великолепная кожаная мебель к покупаются коляски и пары рысаков. Хуже всего было то, что когда являлось высокое начальство, как по мановению волшебного жезла, вся картина радикально менялась. Водяной суп превращался в наваристый жирный бульон, а ослизлые серые котлеты, с непрожаренным мясом внутри, становились пожарскими. И все остальное в том же духе. Помню наезды Вел. кн. Константина Константиновича, наезды — всегда один, а иногда и два раза в год. К. К., тогда главный начальник военно-учебных заведений, был добрый и хороший человек и по своему искренно любил молодежь. Но на его примере как нельзя больше чувствовалось, что нельзя было давать в государстве ответственные должности безответственным лицам. На это можно возразить, что в благоустроенном государстве безответственных лиц вообще быть не должно и это совершенно справедливо. Но я описываю то время, когда такие лица еще существовали.

К. К. приезжал обыкновенно на два, на три дня и останавливался в квартире директора. С его приездом все в корпусе преображалось. Полы устилались красными дорожками, кадетам выдавались новые мундиры и кормить начинали так, как никогда. В классах для виду шли уроки, но всякая работа фактически прекращалась, т. к. каждый преподаватель лихорадочно ожидал высокого посещения. Лучшим ученикам доверительно сообщалось кого и приблизительно что каждого будут спрашивать. Директор корпуса, генерал польского происхождения, влюбленными глазами смотрел на великого князя и порхал по всему зданию в поисках того, что еще могло бы доставить удовольствие высокому гостю. В этих поисках он напал на счастливую мысль внушить великому князю, что кадеты будут счастливы, если каждый из них получит из его рук беленькую картонную карточку с его подписью. Спешно послали в город

купить 500 карточек и плотно окруженный толпою жадно на него смотревших мальчишек, К. К., с терпением достойным лучшего применения, карандашом принялся писать или «Константин, или просто «К.»

Помню, раз провожали его самым необычайным образом. Было начало ноября и поезд в Москву отходил в 12 часов ночи. И вот, несмотря на то, что всем малышам давно полагалось бы спать, весь корпус, от мала до велика, отправился на вокзал, до которого было больше километра расстояния. Впереди шел оркестр кадетской музыки, по бокам старший класс нес зажженные факелы, а в центре, на подобие того, как во время крестных ходов носили образа, на плечах несли кресло, покрытое красным сукном. На кресле, плывя над толпой, восседал К. К. и ближайших носильщиков щелкал по головам. Вот как русским детям преподавался сверху наглядный урок подхалимства и очковтирательства. Я не говорю, что среди молодежи при посещениях великого князя не было энтузиазма. Он, конечно, был, и самый неподдельный, который К. К. по наивности принимал на свой счет. Но думается мне, что если бы при тех же условиях, т. е. с нарушением всем опостылевшей казенной рутины, со сложением всех наказаний, с превращением скверной и скудной пищи в обильную и прекрасную и с разрешением гонять лодыря в течение трех дней, вместо вел. кн. Константина Константиновича Ярославский кадетский корпус посетил бы тибетский далай-лама, энтузиазм был бы ничуть не меньше. Я отнюдь не хочу сказать, что такие же безобразия происходили всюду. От многих старых кадет мне приходилось слышать, что при серьезных и достойных директорах, которых было не мало, когда в корпуса приезжал К. К, там все шло строго по заведенному порядку и начальству показывалась жизнь не парадная, а будничная, каждодневная. К сожалению, я могу говорить только о том, что я сам видел.

Корпусная администрация делилась на две части: учебную и воспитательную. Во главе всего заведения стоял директор, которому кроме учебной и воспитательной подчинялась и хозяйственная часть. В учебную часть входил преподавательский состав, подчинявшийся инспектору классов. Иногда инспектор, в большинстве случаев полковник с академическим значком, чтобы подработать, сам брался преподавать какой-нибудь предмет, законоведение или математику. Помню рыжего артиллериста полковника Мартьянова, который тригонометрию и аналитику умудрялся преподавать так интересно, что несмотря на все мое равнодушие к математическим наукам, я до сих пор могу сказать, что из себя представляют синус, косинус, парабола и гипербола.

Как я уже говорил, учительский состав у нас был вовсе не плохой. Было два, три недурных математика и прекрасный физик молодой поляк Блажеевич. Недурен был учитель истории Ловецкий, отлично говоривший, много знавший и очень неглупый человек. Учитель русского языка, Василий Дмитриевич Образцов, ходивший под кличкой «Васюха», для самых старших классов может быть и не годился, но в младших и средних был хорош. Русских часов у нас было шесть в неделю, т. е. каждый день и из них один или два непременно «пересказы» и «изложения». Человек добросовестный, каждый Божий день он уносил с собой на дом горы тетрадей. А на следующее утро приносил их назад в класс и производил «Разбор».

— Вот, Заркевич, Вы написали, что в Швейцарии разводят прелестный скот. Можно так сказать или нет? А как нужно? А как еще можно? А про кого или про что можно сказать «прелестный»? — Без насмешек и издевательств он учил нас правильному и точному употреблению слов, наука немаловажная, и таким путем отечественному! языку он нас выучил и за это большое ему спасибо. Излишне говорить, что бедному Заркевичу кличка «прелестный скот» прилипла и навсегда.

Было два отличных немца (слово «наци» тогда еще не было выдумано) Глезер и Пецольд. Они под шумок составили учебник немецкого языка настолько хороший, что он вскоре был принят как обязательное руководство для всех военно-учебных заведений. Года за два до нашего выпуска нам прислали из Петербурга молодого священника магистранта богословия о. Кремлевского. Мальчишки дали ему прозвище: «поп Иуда». Поп Иуда был очень некрасив, все лицо изрыто оспой, очень симпатичен, феноменально образован и необычайно умен. По началу попробовали было задавать ему каверзные вопросы на счет религии и сразу же закаялись. С ласковой улыбкой он раз или два посадил вопрошавшего в такую глубокую калошу, что бедняга, при общем смехе, долго не мог из нее выкарабкаться. По настоящему богословие он нам не преподавал, а подобрав полы своей черной худенькой ряски, усаживался на первую парту лицом к классу и начинал говорить на какие угодно темы, часто литературные. Слушали все его с раскрытыми ртами. Пробыл он у нас недолго. Года через два после нашего выпуска милого попа Иуду начальство куда-то убрало, решив вероятно, что для будущих офицеров умные священники слишком опасный элемент.

Отдельно от учительской стояла воспитательная часть. По этому признаку весь корпус делился на три «роты», иначе говоря на три возраста. В младшую, 3-ю роту, где в зале на переменах всегда стоял невероятный шум и гвалт, входили 1-й, 2-й и 3-й

классы. Во 2-ую — средний возраст, 14–15 лет, — входили 4-ый и 5-ый классы, а в 1-ой роте, так наз. «строевой», числились старшие классы, 6-ой и 7-ой. Во главе рот стояли ротные командиры, полковники, а каждым «отделением» — в классе обыкновенно по два, иногда по три, — заведывал свой «отделенный» воспитатель, чином от поручика до подполковника.

В «отделении» насчитывалось обыкновенно от 20 до 30 мальчиков. В сравнении со строевыми офицерами в армии, офицеры-воспитатели в кадетских корпусах имели немаловажные преимущества. В корпусе им давалась квартира с отоплением и освещением и сто рублей в месяц жалованья. Кроме того, через каждые три года им выходило производство в следующий чин. На протяжении 7–8 лет от поручика люди доходили до подполковника и в этом чине обыкновенно замерзали. В подполковниках можно было сидеть и десять и пятнадцать лет, вплоть до отставки и все на тех же ста рублях жалованья. Воспитатели поочередно дежурили в ротах, круглые сутки, один раз в 4 или в 6 дней, в зависимости от числа отделений в роте, подавали звонки и команды «строиться» и следили за порядком. В старших классах, чье сегодня дежурство, Завадского, Зейдлица или Гришкова было более или менее все равно, но в младших ото имело большое значение. На дежурстве одного можно было безнаказанно беситься и валять дурака, а при другом за то же самое можно было попасть «на штраф», иначе говоря стать на час к стенке, остаться «без третьего блюда», или даже «на одном супе». При одном входе в ротный зал можно было безошибочно сказать, чье сегодня дежурство. Кроме дежурств, гимнастики и строевых занятий, которые назывались «фронт» и производились два раза в неделю до часу, в обязанности воспитателя входило присутствие в классах на вечерних занятиях во время приготовления уроков, от 6 до 8 часов вечера. Вот собственно и все. Из сказанного видно, что в наше время офицеры воспитатели работой перегружены не были. По инструкции полагалось им во время вечерних занятий следить, чтобы мальчики занимались и помогать тем, кому это было нужно. На практике это сводилось к тому, что воспитатель приходил в класс, садился за учительский стол и читал там книгу или газету. Обращаться к нему за объяснениями и в голову никому бы не пришло. Все науки были ими столь основательно забыты, что никто из них не только теоремы или уравнения, но и самой немудреной арифметической задачи не смог бы объяснить.

В последние годы Главное Управление Военно-Учебных заведений основало в Петербурге одногодние курсы для воспитателей. Поочередно они отправлялись в столицу и слушали

там лекции по педагогике, психологии и всякие прочие и через год возвращались домой совершенно такими же, какими уезжали, ни лучше, ни умнее. О воспитании юношества писали и пишут умные люди уже несколько сотен лет, а наука до сих пор еще не выяснила насколько оно вообще возможно. Несомненно одно, что «научиться» воспитывать нельзя и что дар обращения с детьми, совершенно также, как дар понимать и учить животных, дается природой и что ум, знания и количество прочитанных книг тут совершенно не причем. Лучшим воспитателем, которого я помню, был самый обыкновенный, чистой души, добрый и хороший человек, совсем не умный и вовсе не образованный. Ни на какие «курсы» он не ездил и о том, как нужно воспитывать молодежь, наверное, никогда не размышлял. Чернобородый, с ослепительными зубами, огромный мужчина, с мальчишками вверенного ему отделения от обращался совершенно так, же, как со своими двумя собственными сыновьями, отчаянными шелопаями, которые учились в том же классе. Он с ними шутил и хохотал и рассказывал им свои охотничьи приключения. А когда малыши ему слишком надоедали, он, случалось, громовым голосом на них орал и давал им пинки и подзатыльники, от которых они разлетались в разные стороны и сейчас же сам об этом забывал. И конечно никому и в голову не пришло бы на него за это обидеться. Действуя не умом, а сердцем, он никогда заранее не думал, что, кому и когда он скажет, а поступал стихийно, а так как стихия была добрая, все выходило хорошо. Как все охотники, он был собачник и его рыжий сеттер и пара гончих свободно бегали по всему корпусу и водили дружбу с кадетами. Несколько старших мальчиков, имевших охотничьи ружья, держали их у него на квартире, а под праздники компания человек в 10, забрав с собой хлеба и казенных котлет, под его предводительством, отправлялась с ночевкой на охоту. Ночевали где-нибудь в деревне и если было холодно все выпивали водки. Звали этого на мой взгляд самого лучшего из наших воспитателей, Михаил Владимирович Гришков. В чине подполковника он просидел 13 лет.

На мое несчастье, мне в воспитатели попался неглупый и довольно образованный, но злой, мстительный и самовлюбленный человек, один из тех, которых к воспитанию юношества не следовало бы подпускать на пушечный выстрел. Я его ненавидел, и то, что в полной от него зависимости мне пришлось провести семь лет, окрасило в мрачный цвет все мое пребывание в Ярославском кадетском корпусе.

29 августа 1903 года я явился в Первое Павловское Военное Училище, помещавшееся на Большой Спасской улице. Здание

Училища было довольно мрачного типа, по преданию переделанное из какой-то фабрики, огромный темно-серый каменный ящик, но внутри поместительное и удобное. Когда я поступил, этектричества в Училище еще не было и каждый вечер старый ламповщик, маленький обезъянообразный Михаил Иванович, большой шутник и балагур, со своей лесенкой бегал по ротам и зажигал большие медные керосиновые лампы.

Все семь человек нашего корпуса, в шинелях в накидку, выстроились по росту перед дежурной комнатой, задрали головы и вытянулись в струнку. По ранжиру в шеренге я стоял вторым. Через несколько минут к нам вышел пожилой корпулентный офицер, с рыжей бородкой и по старинному с золотой цепочкой по борту сюртука. В свое время мы узнали, что это был батальонный командир, полковник Кареев, гроза юнкеров, особенно младшего курса, которых он жучил немилосердно. Узнали мы также, что ходил он под кличкой «мордобой», хотя, как выяснилось впоследствии, никому из юнкеров он «морд» никогда не бил, а наоборот в обращении с ними был грубовато вежлив. «Мордобой» окинул нас орлиным взглядом и хриплым басом пролаял:

— Ярославский корпус. Ну вот… Вы приняты в Первое Павловское Военное Училище… вот… лучшее училище и держите, вот, его знамя высоко. Вы уже, вот, не мальчики, а юнкера, нижние чины, ну вот и скоро присягу будете принимать, понимаете?»

— Так точно, понимаем, господин полковник! — гаркнули мы и не столько поняли, сколько почувствовали, что это не корпус и что мы попали в такое заведение, где с нами шутить не будут.

«Мордобой» разбил нас на четыре роты, причем мы двое самых высоких попали в первую роту, иначе «роту Его Величества», что обозначало, что на погонах мы будем, носить царские вензеля.

Отправились мы в Е. В. роту и там нас встретил ротный командир, капитан Герцик, маленький человек и тоже с рыжей бородкой, но только не лопатой, как у «Мордобоя», а клинышком. Он не лаял, а довольно ласково поговорил с каждым и послал нас в цейхгауз переодеваться, где нами и занялся толстый и важный каптенармус Тарновский. В цейхгаузе мы получили обмундирование каждого дня, т. е. белую полотняную рубашку с погонами, на которых уже блестели вензеля, кожаные пояса с бляхами, сапоги с рыжими голенищами и черные штаны на-выпуск. Как оказалось впоследствии, эти рубашки и черные штаны нам в Училище полагалось носить всегда, в роте, утром в классах во время лекций, вечером во время «репетиций», за

завтраком и за обедом и во время подготовки к репетициям. Мундиры и высокие сапоги надевались только в отпуск и на строевые занятия.

Выйдя из цейхгауза уже юнкерами, мы сразу поняли, что жизнь наша радикально переменилась и к лучшему. Первое, что нас приятно удивило, это была свобода передвижения. В противоположность корпусу, где каждый должен был сидеть в своей роте, а если нужно было выйти, то полагалось отпрашиваться, юнкера могли свободно расхаживать по всему зданию Училища, пойти в другую роту, в читальню, в чайную и вообще в пределах законного чувствовать себя взрослыми и свободными людьми. Исчезло обращение на «ты» и куда-то скрылись офицеры. Вместо дежурного воспитателя, у которого в корпусе вы всегда были на глазах, в Училище был один дежурный офицер, один на все Училище, который постоянно сидел в нижнем этаже у себя в дежурной комнате и обходил роты только два раза в сутки, утром но время вставанья и раз ночью. Свои ротные офицеры показывались обыкновенно раз в день, на строевых занятиях, на гимнастике и на Уставах. Раз, два в день показывался ротный командир. Все же остальное время в качестве начальства над нами наблюдали свои же юнкера старшего курса: фельдфебель, портупей-юнкер, заведующий младшим курсом, так наз. «козерожий папаша», (юнкера младшего курса носили довольно нелепую кличку «козерогов») и шкурный по роте.

В кавалерийских училищах, особенно в Николаевском, существовало «цуканье», т. е. совершенно незаконная власть юнкеров старшего курса над юнкерами младшего. Там юнкер старшего курса, т. наз. «офицер» над первогодником «молодым» мог безнаказанно проделывать всякие штуки, нередко переходившие в форменное издевательство. Он мог приказать ему обежать 10 раз кругом зала, дать ему 20 приседаний или 50 поворотов. И если «молодой» дорожил своим положением в Училище, ему приходилось все это с веселой улыбкой выполнять. В умном Павловском Училище ничего этого не водилось. Кроме законного уважения младшего к старшему, отношения были строго уставные. Фельдфебель, «козерожий папаша» или взводный мог вам сделать замечание и мог приказать доложить об этом вашему курсовому офицеру. Но все такие выговоры и замечания делались в серьезной и корректной форме и всегда были заслужены.

Как и в корпусе, училищная администрация делилась на две, совершенно независимые друг от друга части: учебную и строевую. Как и в корпусе, учебной частью ведал инспектор классов, но в отличие от корпуса, если не считать двух, трех

штатных учителей, весь преподавательский персонал в Училище был «вольнонаемный». Это были офицеры генерального штаба, окончившие академию артиллеристы, военные инженеры и профессора университета. А так как за лекции Училище платило хорошо, то это давало ему возможность иметь состав лекторов совершенно первоклассный. Отлично преподавал механику ген. Сухинский, артиллерию — полк. Дурново, тактику и военную историю — полковники Николаев и Новицкий, а топографию подполк. Иностранцев. Единственным слабым преподавателем был профессор химии, да и то главным образом потому, что химию, состоящую из одних сухих формул, без лабораторий, интересно преподавать было немыслимо. Одним из блестящих преподавателей по русской литературе был приват-доцент университета Тарле. На его лекции, хотя это было и запрещено, тайком пробирались юнкера из других классов.

Часть строевая была организована проще простого. Училище представляло собою батальон, с батальонным командиром и адъютантом и четырьмя ротными командирами. У каждого ротного командира под начальством было два младших офицера, они же курсовые офицеры младшего и старшего курса.

Распорядок дня в Училище был такой. Вставали уже не в 6 часов, как в корпусе, а в 7 и не по барабану или горнисту, а по команде дежурного. 20 минут давалось на одеванье и мытье, а затем роту выстраивал фельдфебель, пелась короткая молитва, а затем строем-же шли вниз в столовую пить чай. Из столовой уже поодиночке заходили в роту за книгами и подымались в третий этаж, где помещались классы.

В 8 ч. 10 м. приходили преподаватели и начинались лекции. Говорю «лекции», а не «уроки», потому что система преподавания была лекционная. По каждому предмету полагалось прочесть известное число лекций, чтобы закончить «отдел», который нужно было сдавать тому же преподавателю на «репетициях». Репетиции производились в тех же классах, по понедельникам и средам, начинались в 6 часов и затягивались нередко до 10 и 11 вечера. В противоположность корпусным урокам, где каждый вел приблизительный расчет, когда его спросят и где можно было «проскочить», училищные репетиции было дело серьезное. Спрашивали всех по списку и в течении 10–15 минут прощупывали каждого до костей, гоняя его по всему отделу.

Утренние лекции кончались в 12 часов и в 12.30 все строем шли завтракать. Кормили в Училище очень хорошо, пища была простая, но сытная и вкусная. Из юнкеров старшего курса каждый день один назначался «дежурным по кухне», и на его обязанности было следить, чтобы вся провизия, которая полагалась по

раскладке, была бы надлежащим образом использована.

От 2-х до 4-х с половиной, занимались строевыми занятиями, гимнастикой, фехтованием и уставами. На строевые занятия нужно было переодеваться в мундиры и высокие сапоги. Производились занятия или в огромном манеже, помещавшемся через улицу, или на большом училищном плацу. На плацу, памятуя заветы основателя Училища, гросмейстера плацпарадной науки императора Павла, с одушевлением занимались тихим шагом, так чтобы ступня ноги, идя все время параллельно земле, выносилась на аршин вперед, молодецкой стойкой и лихими ружейными приемами. В этих последних юнкера достигали предельной ловкости и чистоты, часто практикуясь в роте перед зеркалом, в свободное время и не будучи никем к тому понуждаемы.

Вернувшись в роту после занятий, все переодевались в белые рубашки и длинные штаны и к 5 часам шли на обед. Как всегда, в столовую шли строем, а возвращались одиночным порядком. По средам, в дни репетиций старшего курса, в столовой за обедом играла музыка. После 6 часов наступало «свободное время» и каждый мог заниматься, чем ему угодно. В училище была недурная библиотека, и в читальне на столах лежали журналы и газеты. Существовала «чайная комната». Там по дешевым ценам отпускались стаканы чаю и продавались булки, всякие печенья и сладости. У каждого корпуса был свой стол. Наконец, вечером можно было пойти в «портретный зал». Там стоял рояль и там любители занимались вокальным и музыкальным искусством. Самое умное было, конечно, пойти заниматься, т. е. готовиться к очередной репетиции, в большой комнате, где по стенам стояли шинельные шкафы, а посередине столы и стулья и которая носила название «зубрилки». В зубрилке требовалось соблюдать тишину и все ее нарушавшие оттуда немедленно изгонялись. Помню, что первые два месяца все мои репетиции: регулярно оканчивались скандальным провалом, единственно потому, что я, как и многие другие первогодники, не научился еще надлежащим образом распределять свое время. В корпусе были «вечерние занятия», куда приходил воспитатель и на которых волей неволей заниматься приходилось. В Училище никто над душой у тебя не стоял и после обеда ты официально был свободен. А затем как-то незаметно подкрадывалась понедельничная репетиция, скверная еще потому, что приходилась после праздничного отпуска, а в 6 часов вечера молодому человеку приходилось отправляться на заклание. И если он на репетиции проваливался, то виноват был он сам и никто больше, так как времени для подготовки было достаточно. Ни о каком лицеприятии, конечно, не могло быть и

речи, т. к. экзаменовавший вряд ли мог знать всех отвечавших юнкеров в лицо.

Вообще, чем хорошо было Училище, это тем, что за нами, первый раз после семи лет, признавали права, правда, небольшие, права нижнего чина, но все-же права. На несправедливости и грубости можно было жаловаться. Помню раз уже на старшем курсе, на уроке верховой езды, идя в смене первым номером, я нарочно пошел полной рысью, заставляя всю смену скакать за мной галопом. Наш инструктор, лихой штабс-ротмистр Гудима, несколько раз мне кричал: «первый номер, короче повод!», наконец потерял терпение, огрел меня бичем по ноге и выругался непечатно. На удар бичем нельзя было обидеться. Тот, кто гоняет смену, всегда мог сказать, что хотел ударить по лошади, но на ругань я обозлился и, выйдя из манежа, принес официальную жалобу батальонному командиру. Конец был такой. За шалости на уроке верховой езды меня посадили на двое суток, но на следующем уроке, в присутствии всей смены, Гудима передо мной извинился.

В отпуск из Училища отпускали по субботам после завтрака на, воскресенье, по праздникам и по средам. Все желающие идти в отпуск Должны были записаться в книгу, которая подписывалась ротным командиром. Случалось, что за какую-нибудь провинность из книги вас вычеркивали.

В течение целых двух лет, особенно на младшем курсе, процедура увольнения в отпуск, была для юнкеров сложная и довольно страшная. Рядом с главной лестницей, на площадке перед дежурной комнатой, было вделано в стену огромное зеркало, больше человеческого роста. Дежурный по училищу офицер отпускал юнкеров в определенные часы, в два, в четыре и в шесть. К этому часу со всех четырех рот на площадку перед зеркалом собирались группы юнкеров, одетых, вымытых и вычищенных так, что лучше нельзя. Все, что было на юнкере медного, герб на шапке, бляха на поясе, вензеля на погонах, пуговицы, все было начищено толченым кирпичей и блестело ослепительно. На шинели ни пушинки и все скидки расправлены и уложены. Перчатки белее снега. Сапоги сияли. Башлык, если дело было зимою, сзади не торчал колом, а плотно прилегал к спине, спереди же лежал крест-на-крест, правая лопасть сверху и обе вылезал из-под пояса ровнехонько на два пальца, не больше и не меньше. В таком великолепии собирались юнкера перед зеркалом, оглядывая себя и друг друга и всегда еще находя что-нибудь разгладить, подтянуть или выправить. Наконец, били часы и из дежурной комнаты раздавался голос офицера:

— Являться!

Топография местности была такая: от зеркала на площадку нужно было сделать несколько шагов, повернуть направо и углубиться в длинный узенький корридорчик, куда входить можно было только и по одному. Пройдя бодрым шагом корридорчик, юнкер дебушировал в дежурную комнату, где прямо против корридорного устья за письменным столом сидел дежурный офицер и орлиным взором оглядывал приближающегося. Остановившись в двух шагах перед столом, юнкер со щелком приставлял ногу. Одновременно взлетала к головному убору его правая рука в перчатке, и не как-нибудь, а в одной плоскости с плечом, таким образом, что никому близко справа от юнкера стоять не рекомендовалось. Непосредственно за щелком ноги и взмахом руки, нужно было громко, отчетливо и не торопясь произнести следующую фразу:

— Господин капитан, позвольте билет юнкеру такой-то роты, такому-то, уволенному в город до поздних часов, билет номер такой-то.

На это мог последовать ответ в разных вариантах. Например то, что случалось чаще всего, главным образом па младшем курсе:

— К зеркалу!

Это обозначало, что острый глаз начальства подметил какую-то крохотную неисправность в одежде и что всю явку нужно начинать сначала. Для этого нужно было вернуться к зеркалу, повертеться перед ним, спросить совета товарищей и еще раз стать в хвост.

Могли сказать и так:

— Явитесь в следующую явку!

Это обозначало более серьезную неисправность, вроде пришитой вверх ногами пуговицы с орлом. Тогда всю музыку нужно было начинать снова через два часа.

Говорилось и так:

— Не умеете являться. Вернитесь в роту и разденьтесь!

Это обозначало, кроме пролетевшего отпуска, всякие другие неприятные осложнения жизни, как, например, доклад курсовому офицеру и ротному командиру и экстра, практика в отдании чести, в явках, в рапортах и т. п.

Фраза, которую являвшийся юнкер надеялся услышать, состояла из двух слов:

— Берите билет.

Эта фраза произносилась тогда, когда на странице отпускной книги, которую замыкала подпись ротного командира, значилась и пребывала невычеркнутой фамилия искомого юнкера и когда в его одежде, выправке и рапорте самый требовательный комар не

мог бы подточить носа.

Услышав эту приятную фразу, юнкер опускал руку и неуверенными пальцами, в перчатках это было особенно неудобно, начинал в деревянном ящике отыскивать свой картонный отпускной билет, служивший ему целый год. Нашедши оный, юнкер подымал голову и руку к головному убору и по слову: «Ступайте» или «идите», делал лихой поворот направо, с первым шагом левой ноги опускал руку и покидал дежурную комнату уже через другую боковую дверь, выходившую прямо на главную лестницу. Только тогда, но отнюдь не раньше юнкер мог по совести считать, что в этот отпускной день он в городе будет.

Случались, однако, неприятные казусы и за дверями Училища. На обыкновенно весьма пустынной Большой Спасской улице, в отпускные дни в ожидании седоков всегда стояла длинная вереница извозчиков. Была суббота, было холодно и накрапывал дождь. Благополучно пройдя все искусы, с билетом за обшлагом, я выскочил из подъезда, сел на извозчика с поднятым верхом, возница застегнул фартук мы тронулись. Еду по широкой пустой улице и краем глаза вижу, что навстречу мне в полуоткрытом экипаже, едет батальонный командир, он же «Мордобой». При данных обстоятельствах я мог сделать две веши. Или податься корпусом сильно вперед и отдать честь по всей форме, но с риском, что мою честь не заметят и не примут. Или откинуться корпусом сильно назад, под защиту поднятого верха, и сделать вид, что извозчик едет пустой. Я выбрал второе и жестоко попался. Извозчик был остановлен, я оттуда извлечен и этот отпуск и несколько последующих мне пришлось провести в Училище.

Скажу еще несколько слов о «корридорчике», который вел в дежурную комнату и по которому являвшиеся, под острым взором дежурного офицера должны были проходить. Был он важен не столько для уходивших в отпуск, сколько для возвращавшихся из оного. Пьянства в стенах Училища у нас не было, но из чистого мальчишества, в отпуску некоторые выпивали. И вот, когда они, с легкой мухой, возвращались и являлись, тут нужно было держать ухо востро. По корридору нужно было пройти прямехонько как стрела и рапорт выговорить чисто. До того, чтобы подходить ближе и нюхать, пахнет вином или нет, ни один офицер не унижался. Оценка состояния юнкера шла в двух направлениях: свобода движения его ног и языка. Если и то и другое функционировало нормально, хотя и можно было подозревать, что юноша выпил, тогда все в порядке. Если же нет, тогда беда. Юнкер попадал в третий разряд по поведению, что означало

выпуск в полк в звании не офицерском, а нижнего чина. Таким образом преследовалось не столько употребление вина, сколько злоупотребление им. Этот разумный и здоровый принцип мы применяли потом и в полку, когда будучи дежурными офицерами принимали своих чинов, возвращавшихся из отпуска после переклички.

Кстати тут уместно будет рассказать об одном из моих немногих «столкновений «с «Мордобоем». Ближайший результат всякого столкновения подчиненного с начальством обыкновенно бывает то же, что при столкновении грузовика с велосипедом. Велосипед неминуемо разбивается в лепешку. Моя лепешка была мне даже не так уж очень обидна, потому что старик был прав. Я хотел его перехитрить, но перехитрил меня он. Нужно сказать, что одевали нас в Училище хорошо. Отпускные шинель, мундир и шаровары были всегда новые и даже недурно пригнаны. Сапоги были только одного сорта немного лучше казенных солдатских. Их мы надевали на строевые занятия и назывались они не очень приличным словом, похожим на «самоходы». Сапоги эти, черного товару, надеть в отпуск было рискованно. Могла пострадать светлая мягкая мебель или белое платье в вихре вальса. Поэтому все без исключения юнкера заказывали себе у сапожников поставщиков Училища одну или две пары высоких офицерских сапог, лакированных или шагреневых. Сапоги эти надевались в отпуск, а потом года два, три носились и в офицерском звании. Делались сапоги в кредит, «в счет производства», т. е. в счет тех 250 рублей, которые казна каждому молодому офицеру выдавала на обмундировку. Большинство таким же образом заказывало себе и шаровары. Они также годились на последующую жизнь, т. к. снабдить их красным офицерским кантом стоило трешницу. Не мало юнкеров заказывало себе и мундиры, что тоже выходило недорого. Делалось это главным образом потому, что в строго форменном мундире высота воротника полагалась всего в два пальца, что при не короткой и не толстой шее, нужно признаться, было довольно некрасиво. Кроме того собственные мундиры, на своей же училищной швальне шились, конечно, лучше, строго по мерке, в талию и разрешалась даже некоторая небольшая подбавка в плечах. Белые замшевые перчатки, которые стоили всего полтора рубля, нужно было иметь свои. Все остальные предметы обмундирования полагалось иметь казенные. Носить свой лакированный наштычник или ножны на тесаке, в противоположность московским училищам, у нас считалось в высшей степени «моветон». Всю остальную собственную одежду нет, но мундиры нужно было показывать ротному командиру, который на воротники несколько выше форменного смотрел

обыкновенно сквозь пальцы.

По поступлении в Училище я сразу сшил себе сапоги, шаровары к мундир, с воротником чуть не времен Николая I, под самый подбородок и уже разумеется на утверждение начальства его не представлял, держа его для безопасности там, куда ходил в отпуск.

На Рождество 1903–4 года я поехал к родственникам в Варшаву. Брат тетки Олферьев был там управляющим отделением Государственного банка, а муж старшей сестры служил штаб-офицером для поручений при обер-полицмейстере Лихачеве. В то время красавица Варшава уже 40 лет пользовалась благами мира и люди в ней жили сытно и весело. Русские и поляки держались особняком, но отношения были если не дружелюбные, то корректные. На Рождество, еще больше, чем всегда, Краковское предместье, Новый Свет, Маршалковская, все было залито светом и зеркальные окна роскошных магазинов соблазняли оживленную, прекрасно одетую, праздничную толпу. Повсюду сновали пароконные извозчики на резиновых шинах, «дружке» и в воздухе чувствовался не наш русский, а немножко промозглый холод, с острым запахом каменного угля. Несчастная красавица Варшава! Сколько горя ей потом пришлось пережить!.. Вечера, балы, театры, всего этого в этот мой приезд в Варшаву я попробовал всласть и 6-го января вечером с грустным сердцем явился назад в Училище. Из осторожности Николаевских времен мундир я оставил в Варшаве, наказав сестре выслать его потом на мой отпускной адрес в Петербург. Письма юнкеров, и входящие и исходящие, наше начальство не читало, но приходящие посылки просматривались, также как и вещи, которые юнкера привозили из отпуска. Когда со своим желтым кожаным чемоданом, который жив у меня и поныне, я вошел в дежурную комнату являться, там было еще два офицера, мой ротный командир капитан Герцик и сам «Мордобой». Я благополучно явился и раскрыл чемодан. «Мордобой» взглянул поверхностно и вдруг спрашивает:

— Ну вот, а собственный мундир у Вас есть?

— Так точно, есть.

— Вы его показывали ротному командиру?

— Никак нет, не показывал.

— Где же Ваш мундир?

— Я его оставил у сестры в Варшаве.

— Ну вот, и напишите сестре, чтобы она Вам его прислала и на Училище, поняли?

— Так точно, понял, господин полковник.

На следующий день пишу сестре:

«Милая Ольга, пожалуйста, сделай поскорее то, что я тебя прошу. Тот мундир, который я у тебя оставил, попроси Володю отдать в какую-нибудь полковую швальню, пусть из него там сделают строго форменную одежду. Главное воротник, пусть его понизят до двух пальцев, там уже знают все форменные размеры. Сделай это поскорее, а то мне здорово влетит. Когда будет готово, вышли мундир мне на адрес Училища, юнкеру Е. В. роты, Павловское Военное Училище, Большая Спасская, Санкт-Петербург».

Сестра меня любила, и через неделю я получил открытку:

«Не беспокойся, все будет сделано, как ты просил».

Еще через две недели вечером сижу в зубрилке и готовлюсь к очередной репетиции по механике. Входит дневальный и передает мне приказание немедленно явиться в дежурную комнату. С неспокойным сердцем, наверно какая-нибудь гадость, иду. Почтительно вхожу и вижу, на столе стоит посылка, а на диване сидит «Мордобой» и курит папиросу.

— Вам пришла посылка, что это такое?

— Это мундир, который мне прислали из Варшавы, господин полковник.

— Какой мундир?

Я напомнил, а затем распаковал посылку и со спокойным торжеством вытянул мундир, который узнать нельзя было. Все было строго по форме, и галун и воротник и все прочее. Почтительно, но с видом, «что взял, старый чорт», я разложил его на столе. «Мордобой» взглянул на мундир, потом посмотрел на меня в упор и выпалил:

— Ну вот, и сядьте на трое суток под арест! — Я сел.

Мой первый учебный год в Училище ознаменовался началом японской войны, 29-го января 1904 года. Событие это училищные порядки никак не затронуло, но в нашу жизнь внесло некоторое оживление. Мы стали читать газеты и на лекциях офицеров генерального штаба просили рассказывать нам о том, как идут дела. Те охотно делились с нами всем, что знали, причем русские действия не стеснялись критиковать с полной откровенностью. Особенно доставалось наместнику Алексееву и адмиралу Старку, самым позорным образом проворонившим японское нападение на нашу Порт-Артурскую эскадру. Правда, этот случай нападения без объявления войны был первым в истории цивилизованных народов. Но еще удивительнее, что через 37 лет, северо-американские адмиралы, из которых все старшее поколение

должно было помнить Порт-Артурское нападение, в Перл-Харборе проделали совершенно то же самое.

В начале мая Училище по железной дороге перевезли в лагерь. В лагерях в Красном Селе наше место было на самом левом фланге авангардного лагеря, который стоял под прямым углом к главному. Нашими соседями справа был 3-ий Гвардейский Финский стрелковый батальон, где все солдаты и офицеры были финны и где все разговоры велись по-фински. По-русски подавались только строевые команды. Царя они величали «высочеством», так как для них он был «Великий князь финляндский». И очень странно было видеть через дорогу русских солдат и слышать, как они между собой разговаривают на чужом и непонятном языке.

В лагерях помещались мы не в палатках, как прочие войска, а в огромных бараках, по бараку на роту, где над каждой кроватью висела скатка с котелком, а в головах стояла винтовка. Никаких лекций и репетиций у нас в лагерях не было, а вся умственная работа ограничивалась полуинструментальной съемкой, работа, о которой военным рассказывать не приходится. С раннего утра, забравши с собой холодные котлеты с хлебом, на училищном языке «мертвецов», и разбившись на небольшие группы, с планшетами на треноге, с кипрегелем, с алидадой и с десятком вех, нагруженные как мулы, мы расходились по окрестностям Дудергофа с тем, чтобы вернуться в Училище только к вечеру и сразу же при свечах засесть за поправки и подчистки наших не слишком искусных чертежей. И несмотря на все наши старания, мало кому удавалось обойтись без «невязок». Если «невязки» получались скандальные, величиною больше сентиметра, ваш планшет красным карандашом перечеркивался крест-на-крест и всю музыку приходилось начинать снова. На практике из четырех человек группы всегда находился кто-нибудь, кто умел хорошо рисовать. Ему и поручалась главная задача. Остальные исполняли черную работу, послушно бегали, ставили вехи и безропотно таскали тяжелые инструменты. Когда погода была ясная, съемки были довольно интересное занятие. Но при мелком дожде с ветром, когда стекла инструментов поминутно приходилось протирать, когда карандаш на планшете расплывался, когда водяная пыль мешала поймать «волосок» и когда на «самоходах» налипали тяжелые комья глины, занятие это сразу теряло всю свою привлекательность. В хорошую погоду, если за утро успевали наработать столько, что не стыдно было показать заведующему партией, нашему же курсовому офицеру, после полудня, особенно если поверяющий успел уже проехать, остаток дня весело проводили в какой-нибудь «чайной» или «молочной»,

или у дачников, с которыми быстро заводились знакомства и которые тружеников «бедных мальчиков» охотно пригревали и поили чаем.

По окончании сезона съемок, проходили курс стрельбы и самый полный курс всевозможных строевых учений, возведение окопов, рассыпной строй, сомкнутый строй и, как венец всего, батальонные ученья, когда «Мордобой» взбирался на лошадь, а наши ученые и важные курсовые офицеры, все окончившие военную академию капитаны, становились на полуроты… Нередко для практики ходили церемониальным маршем развернутым строем роты и приучались не «отрываться», не «ломать» и не «выгибать» фронта. Итти полным ходом и держать идеальное равнение во взводе — сущие пустяки. В полуроте уже много труднее, а в развернутой роте и совсем трудно. Все же после нескольких репетиций мы научились проделывать это артистически. Не теснились, штыки несли круто, шаг широкий и бодрый, крепкая нога, правая рука наотмашь назад и фронт прямой как стрела. В 1945 году мне удалось видеть фильм майского парада на Красной площади в Москве. Перед маршалом Сталиным в голове колонны, лихо проходили офицерские части. Без лишней скромности могу сказать, что в свое время наше Училище ходило не хуже. Изо дня в день мы несли караульную службу, стояли часовыми у знамени и у денежного ящика, а на передней линейке, под грибами, и днем и ночью всегда торчало двое дневальных.

Много удовольствий доставляло нам, Дудергофское озеро, которое лежало тут же под горкой и от которого наши бараки отделяла одна широкая дорога. Все четыре военных училища, наше Павловское, Константиновское артиллерийское, Михайловское артиллерийское и Николаевское кавалерийское располагались по берегу этой огромной, но довольно мелкой лужи, причем у каждого училища была своя пристань и свои весельные лодки. Самая большая лодка, имевшая удивительное свойство не опрокидываться и в честь юнкерских строевых сапог, носившая название, скажем, «самоход», была у нас. «Самоход» был собственно баркас, легко вмещал 15 человек и мог ходить под парусом. На озере, куда каждый после занятий мог свободно идти, спросившись только у дежурного, существовали свои «морские» правила. При встрече с лодками других училищ, рулевой обязан был командовать: «Весла на воду» и поворотом головы отдавать честь. На практике это, однако, не соблюдалось. При встрече с Константиновцами, они-же «костоперы» или «костопупы», с которыми наше училище водило дружбу, мы обменивались приветствиями и шутками. С Михайловцами

делали вид, что мы незнакомы, а с кавалеристами вели словесную войну, обкладывая их если не последними, то предпоследними словами. Пиратский же корабль «самоход», с которым из-за его почтенного тоннажа не могла справиться на озере ни одна лодка, при встречах с николаевцами подымал на мачте черный флаг и пытался брать их на абордаж и топить. То обстоятельство, что никто из врагов не побывал в воде, объясняется исключительно тем, что нашему грузному кораблю гоняться за их быстрыми четверками и шестерками было не под силу. Раз дошло до того, что эскадронный командир николаевцев пожаловался на нас «Мордобою». Тот поступил круто. Жестоко нас разнес и на две недели оставил нас «без озера», приказав запереть все лодки на цепь и припечатал замки своей собственной сургучной печатью. После этого морская война с николаевцами сама собой кончилась.

4-го августа 1904 года нас но железной дороге перевезли из лагеря назад в Петербург. Помню хорошо дату, так как, когда мы с Балтийского вокзала строем шли домой в Училище и проходили по Морской, в магазине Дациаро был выставлен огромный портрет Чехова, обвитый черным крепом. В этот день он умер от чахотки в Баденвейлере в Германии. Из Училища нас отпустили в двухнедельный отпуск, а к 1-му сентября весь младший курс, уже превратившийся в старший, снова собрался в сером каменном ящике на Большой Спасской и снова потянулись лекции, репетиции, строевые занятия, «чайная» и вся здоровая и умно налаженная училищная рутина, о которой под старость так приятно вспомнить.

* * *

Уже с 5-го класса корпуса я стал думать, какую мне выбрать себе дорогу. По этому вопросу мать никаких советов мне не давала, благоразумно рассудив, что дело это исключительно мое. Ко всякого рода «технике» у меня с самых ранних лет никакой склонности не наблюдалось. При плохой глазной памяти, по математике я шел только-только что прилично, занимался ею без всякого удовольствия и потому в инженеры, в артиллерию или в высшие гражданские технические учебные заведения, где требовался конкурсный экзамен, дорога мне была закрыта. Наоборот, всякая «словесность», история, география, языки, давались мне легко и в них я всегда, можно сказать, «преуспевал». Русские сочинения мои иногда читались в классе, а когда требовалось на концерте или перед начальством произнести

французское стихотворение Ламартина или Виктора, Гюго, выпускали меня.

Одно время я серьезно подумывал поступить в Московский университет на историко-филологический факультет, куда с атестатом кадетского корпуса принимали после легкого экзамена по латыни. Боюсь, что немаловажную роль в этом намерении играла не столько любовь к науке, сколько желание пожить на свободе в Москве, походить по театрам и окунуться в ту особенную жизнь учащейся молодежи, о которой я так много читал и слышал и которая, если не голодать, а от этого я был застрахован, — таила в себе столько радостей. Перед университетом была еще короткая полоса увлечения театром, когда я собирался поступить на сцену. Наконец, и это увлечение прошло и ко времени выпуска из корпуса я окончательно решил ехать в Петербург в Павловское военное училище, чтобы оттуда выходить в гвардию, а там видно будет. Выбор полка был также сделан. Это был Лейб-гвардии Измайловский полк, где когда-то служил мой отец. Еще на первом, курсе Училища, одевшись с особым тщанием, в одну из суббот, я отправился в Измайловский полк, разыскал полковую канцелярию и предстал перед полковым адъютантом шт. — капитаном Вадимом Разгильдяевым. В опровержение фамилии, вид у адъютанта был в высшей степени подобранный, подтянутый и отчетливый.

— Вы говорите, что Ваш отец служил в нашем полку? Тогда, разумеется, Вы будете приняты. Я Вас представлю командиру полка, а затем офицеры, для формы, Вас пробаллотируют… Но Вы еще на младшем курсе? Это немножко рано. Зайдите ко мне будущей зимой и мы все устроим и пошлем Вам в Училище вакансию. Как, Ваши успехи в науках? Гвардейские баллы? Ну, вот и отлично. Значит, до будущего года.

Крепкое рукопожатие, я со щелком поворачиваюсь кругом и больше, иначе как несколько лет спустя, в другой форме и в качестве гостя, в Измайловский полк не появляюсь.

По существовавшим неписанным правилам, будучи принятым, в один гвардейский полк, выйти офицером в другой было уже невозможно. В каждом полку официально считалось, что из всей русской армии их полк самый лучший, поэтому на всякие колебания в выборе полка смотрели косо. На это обижались совершенно так же, как если бы какая-нибудь девица узнала, что молодой человек не решается, кому сделать предложение, ей или ее подруге. Помню один случай, когда юнкер Николаевского кавалерийского училища пожелал выйти в Конно-Гренадерский полк и был туда принят. Потом ему вдруг показалось, что в гвардейских уланах служить приятнее и он

сунулся в Уланский полк. Но там узнали, что раньше он представлялся конно-гренадерам, и его не приняли. На его беду и конно-гренадерам стало известно, что будучи принят у них, он пытался поступить к соседям и прием его был анулирован. Дорога в гвардию молодому человеку оказалась закрыта и ему пришлось выйти в кавалерийский полк на Украине, где его приключений не знали. Яркий пример того, как неопытные юноши могли сесть между двух стульев. Таким образом, если бы измайловский адъютант поторопился и пустил бы дело о моем приеме в ход тогда же, вместо того, чтобы отложить его на год, я носил бы белый околыш вместо синего и вся моя последующая жизнь могла бы сложиться иначе.

Зимой 1904 года из Москвы в Петербург приехал по делам мой родственник и остановился у своего приятеля, капитана Семеновского полка П-ва. П-в был холост, жил широко и занимал большую квартиру в офицерском доме на Загородном, где всегда имелась свободная комната «для гостей». Из училища я ходил в отпуск к одному из старых друзей нашей семьи, тоже старому холостяку, но узнав о приезде родственника, в одно из воскресений отправился его навестить и с этого дня началось мое близкое знакомство с Семеновским полком.

Капитан П-в был примечательная личность главным образом потому, что всю свою жизнь никогда ничего не делал и никогда не имел ни минуты свободного времени. Когда-то он кончил Московское Александровское военное училище, но к тому времени, как я его узнал, ни московского, ни военного, кроме военной формы, у него не осталось ни одной черточки. Расписание дня его было приблизительно такое. Вставал никогда не раньше 9-ти и около часа, в своей прекрасной белого дерева спальне, мылся, брился, причесывался и наводил на себя красоту. Тут же в спальню ему подавался кофе. Иногда, часов в 11 он отправлялся в роту, на часок, но еще чаще оставался дома, т. к. в нездоровом петербургском климате выходить по утрам из дому без крайней нужды не любил. Тогда наблюдалась такая картина. В спальню входил деньщик и докладывал:

— Вашесродие, фельдфебель пришли!

— Позови его сюда.

Через минуту в дверях показывалась фигура огромного молодца сверхсрочного фельдфебеля.

— Вашесродие, разрешите войти?

Фельдфебель входил осторожно и почтительно становился в пяти шагах за стулом, на коем в белом, пушистом халате, сидела тонкая офеминированная фигура «барина», внимательно отделывавшего себе ногти. Через голову капитана, в большое

трехстворчатое зеркало на туалетном столе, фельдфебель мог любоваться породистыми чертами капитанского лица.

— Здравствуй, Кобеляцкий! — говорил «барин», чуть-чуть шепелявя.

— Здравия желаю, Вашесродие! — отвечал фельдфебель, из уважения к месту в четверть голоса.

Фельдфебель Яков Кобеляцкий был в 3-ей роте полный и неограниченный хозяин и был умнее своего капитана по крайней мере раз в пять. Но он не понимал ни белого пушистого халата, ни хрустальных флаконов на диковинном стеклянном столе, ни приятного запаха, исходившего от капитанской особы… А так, как людям свойственно питать уважение к тому, что они не понимают (закон обожествления непонятного), то и фельдфебель Кобеляцкий, помимо велений воинской дисциплины, искренно почитал капитана П-ва и признавал его существом другого, высшего порядка. Это, конечно, не мешало ему вертеть ротным командиром, как ему было угодно.

— Ну что, в роте все благополучно?

— Так точно, Вашесродие, все слава Богу.

Засим начинался доклад ротных дел, деньщик приносил из кабинета серебряную чернильницу и тут же, без лишних разговоров, на туалетном столе, капитан все подписывал.

— Так я сегодня не приду. Скажи поручику, чтобы продолжали занятия по расписанию.

— Слушаюсь, Вашесродие, счастливо оставаться, Вашесродие.

Фельдфебель Кобеляцкий на цыпочках выходил из капитанской спальни и сразу же становился другим человеком. Пока продолжался этот разговор, в казарме 3-ей роты младший офицер подпоручик Гульденбальк-деТийдль замечательный только своей неудобопроизносимой фамилией, мучением солдатских языков, уныло бродил по корридору и ежеминутно поглядывал на часы. Узнав от фельдфебеля, что капитан сегодня в роту не придет, он уже на законном основании «прорезывал» послеобеденные занятия.

После визита фельдфебеля, капитан П-в читал газеты или садился за свой прекрасный письменный стол, с многочисленными фотографиями в серебряных и кожаных рамках, все с надписями. За столом он писал письма или занимался своими финансовыми делами. После 12-ти деньщик, подавал ему отлично вычищенный сюртук, длинные штаны со штрипками и тонкие шевровые ботинки. Капитан облачался, клал в карман чистый носовой платок, предварительно его надушив и уезжал из дому, обыкновенно уже на целый день, возвращаясь вечером только если для обеда или бала нужно было переодеться

в мундир или надеть эполеты. Прямо из дому он ехал или завтракать к знакомым, если были приглашения, или в Английский клуб, где был членом, или во французскую гостиницу, или, наконец, в Собрание. Позавтракав там и выпив полбутылки красного вина, он любил сыграть два, три короля в пикет, всегда с одним и тем же партнером, с которым у него были одинаковые светские вкусы. Между тремя и пятью капитана П-ва можно было видеть в самых разнообразных местах, на выставках картин, в банках и даже министерствах, где у него всюду были приятели. Между пятью и семью он «делал визиты», а затем ехал обедать или в клуб или в знакомые дома. Приглашений у него всегда было больше, чем он мог принять. Вечера он также проводил в семейных домах, иногда в театре, и раньше часа почти никогда домой не возвращался. В гостинной у П-ва стояло очень хорошенькое красного дерева маленькое пианино, но за все наше долгое знакомство я видел его играющим всего два, три раза. В репертуаре его значились: «Осень» Чайковского, 4-й полонез Шопена и «Лесной царь» Шуберта. Все эти вещи он исполнял с большим чувством и с такой же мазней.

По рождению и по воспитанию П-в принадлежал к самой обыкновенной средне-дворянской семье. Носил обыкновенную фамилию и без всякого титула. Был не глуп, но и не умен. Ни остроумием, ни веселостью и вообще никакими талантами, цепными в обществе, он не блистал. Ничем, кроме хорошего воспитания и хороших манер, которые в его кругу были обязательными, он похвалиться не мог. И тем не менее его охотно принимали в самом большом Петербургском «свете», в таких домах, которые имели репутацию очень закрытых и очень исключительных. Еще одно лишнее доказательство, что бывший петербургский «большой свет» был круг отнюдь не замкнутый и что проникнуть туда, при наличии некоторых самых скромных внешних данных, было вовсе не трудно, было бы только время и желание.

П-в был не чужд и изящной литературе. Он на собственный счет, «на правах рукописи» напечатал книжку своих стихотворений. Издание было прелестное, на самой лучшей толстой матовой бумаге и с очень красивой кремовой обложкой. Содержание было много хуже. Все больше о неразделенной любви, сентиментальная дребедень и небезукоризненной формы. Из пятиста напечатанных экземпляров, около двухсот он роздал своим знакомым. Порядочная стопка всегда лежала в Собрании, наготове для раздачи. Молодые офицеры принимали и вежливо благодарили. Офицеры постарше говорили:

— Ты хочешь мне подарить свои стихи? Но ты забыл, ты мне

уже дал одну книжку и с очень милой надписью. Может быть, это твоя вторая? Ах, та же самая… Так у меня она уже есть, спасибо…

Щедрая раздача книжек шла, впрочем, и с другого конца. Деньщик П-ва Охрименко, который явно подделывался под изящные вкусы своего капитана, охотно дарил ее приятелям деньщикам, но уже без надписи.

В квартире П-ва из большой передней с отличным стенным зеркалом, дверь вела в «библиотеку», комнату, которую иначе и назвать было нельзя. Посередине стоял большой стол, крытый сукном, около него удобные кресла со спинками, а вдоль трех стен, от полу до потолка, полки с книгами. Чтобы достать книгу с верхней полки нужно было приставлять лесенку. Книги были по истории и по литературе, на трех языках, которыми прилично владел хозяин, главным образом французским. Немного подозрительно было лишь одно: все книги были в отличных переплетах и все стояли по ранжиру. У настоящих любителей книг такого идеального порядка обыкновенно не замечается. Внимательному взгляду было ясно, что в эту комнату книги приносились не по одиночке, подобранные хозяином то здесь, то там, по своему вкусу, а въезжали они сюда в ящиках, прямо из книжных магазинов, упакованные приказчиками по списку. Въезжали они в «библиотеку», попадали на полки и жили там, подолгу хозяином не тревожимые.

Прекрасная библиотека капитана П-ва все-таки не совсем пропадала втуне. Были люди, которые ею пользовались, иногда с ведома, но еще чаще без ведома хозяина. П-в любил молодежь. В офицерском доме, в маленьких квартирах, по одиночке и по двое, жило несколько молодых людей, к которым он особенно благоволил. Эта молодежь, веселая, способная и самоуверенная, смотрела на квартиру П-ва как на свою собственную, курила его папиросы, пила его чай, ела его сухари, читала его книги, а с хозяином обращалась самым бесцеремонным образом, при каждом удобном случае ласково подымая его на смех. Добродушное издевательство над П-м, над его зеркалами, хрустальными флаконами, щетками, изнеженностью и стародевскими привычками, в этом кружке, состоявшем из подпоручиков, самое большее по третьему году службы, было совершенно обязательно и начиналось обыкновенно со второго года знакомства. Скажу в скобках, что я имел наглость перестать принимать его всерьез еще раньше, почти сразу же, как надел форму, вследствие чего отношения наши явно испортились.

В воспоминание Китайской войны, которая отошла три года назад и познакомила Россию с диковинными именами китайских героев, вся эта молодежь стала называть себя «китайскими

генералами», выработала устав тайного китайского общества и понаделала себе имена из первых букв фамилии. Главных основных генералов, учредителей общества, было пять. Генерал «Кру» (Крузенштерн), генерал Сю» (Сюннерберг), генерал «Ра» (Рагозин), генерал «Ро» (Романовский) и генерал «Фа» (Фадеев). Сам П-в был возведен в звание «генералиссимуса и главного мандарина» и ему была поднесена китайская шапочка с тремя шариками на макушке. «Генералы» были блестящие молодые люди, но занимались своей наружностью ровно столько сколько это было необходимо. На элегантных сюртуках у трех из них красовались белые мальтийские крестики Пажеского корпуса. Четвертый кончил Павловское училище на два года раньше, чем я. Пятый был студентом университета. Дальнейшая их судьба была самая разнообразная. «Кру» кончил военную академию и во время войны был в штабе Северного фронта. «Сю» ушел с военной службы и уехал служить в Китай. «Фа» вышел с полком на войну, но по слабости здоровья почти не воевал. «Ра» по страстной любви женился на известной балерине Лидии Кякшт, подруге и соученице Карсавиной, ушел из полка и уехал с женой жить в Англию. Когда началась война, он спешно вернулся, был два раза ранен, заработал Георгиевский крест и Георгиевское оружие, для младшего офицера награды исключительные а затем поступил в канадские войска рядовым и в 19-м году демобилизовался майором канадской службы. «Ро» кончил военную академию. В 14-м году, будучи капитаном генерального штаба и старшим адъютантом штаба дивизии, он, в критическую минуту, собрал и лично повел в наступление остатки одного из полков. Был смертельно ранен и получил посмертного Георгия. В наши времена для штабного офицера поступок, редкий. Что же касается до «генералиссимуса и главного мандарина», то, когда в 1907 году в гвардии подуло свежим ветерком, он должен был уйти в отставку. При отставке, в воздаяние его бесспорных заслуг перед Российской армией, он был пожалован в звание «камергера высочайшего двора» и во время войны проводил время в Красном Кресте.

Когда я в юнкерской форме и несколько робея, первый раз явился на квартиру капитана П-ва в офицерском доме Семеновского полка, меня встретили очень приветливо. Уже со второго свидания «генералы» стали меня допрашивать, почему собственно я выхожу в Измайловский полк. Говорю:

— Там служил мой отец.

— И что же, в полку его помнят?

— Вряд ли, если принять во внимание, что отец поступил в полк еще в царствование Николая I.

— Ну, видите… А у нас из вашей семьи никто не служил?

— Служил дядя Ушаков, брат матери.

Справились в полковой истории, нашли нескольких Ушаковых. Из них один был дядя Яков.

— Ну что же основания выходить в Измайловский полк или в Семеновский, в сущности одинаковые. Исключительно сентиментальные… Предки Ваши служили при царе Горохе и их ни здесь, ни там не помнят. Измаильтяне, конечно, отличный народ… Но не забудьте, что нас основал сам Петр, а их какая-то немецкая Анна. Ивановна… «Бирон царил при Анне, он сущий был жандарм»… Мы «Петровская бригада»… И нагрудный знак будете носить… Во всей русской армии есть только два полка, которые его имеют… Преображенцы и мы…

— Да я уже представлялся в Измайловский полк.

— Вас баллотировали или нет? Нет? Ну, значит, Вы свободный человек… Право, идите к нам, Вам у нас лучше будет.

Должен сознаться, что «генералы» сразу же произвели на меня большое впечатление. Я стал колебаться, а потом как-то так вышло, что об Измайловском полку речь больше не подымалась. С этого времени, еще задолго до выпуска и до баллотировки, я был неофициально, но прочно принят в Семеновскую семью.

Мои отпуска из Училища я проводил в другом месте, но почти каждый праздник заходил на несколько часов в офицерский дом и вскоре перезнакомился с половиной офицеров. В «библиотеке» П-ва я сделался своим человеком и часто сидел там один за книгой. Хозяина по обыкновению дома не было. Мне серьезно рекомендовали прочесть двухтомную полковую историю. Я ее прочел, и тот факт, что я собирался надеть форму части, в которой служили Орлов-Чесменский, Суворов-Рымникский и Дибич-Забалканский, преисполнил мое юношеское сердце гордостью. Я выучился играть на рояле и петь полковой марш и когда доходил до слов:

«Семеновцы были всегда впереди
И честь дорога им как крест на груди,
Погибнуть для Руси семеновец рад,
Не ищет он славы, не ищет наград…»

Голос у меня дрожал и мурашки пробегали по спине. Через несколько месяцев я уже окончательно проникся убеждением, что знаменитее, славнее и вообще лучше Семеновского полка в Российской армии нет и никогда не будет и что я очень счастливый человек, что имею возможность в такой полк идти служить. Каждого солдата в безкозырке с синим околышем,

которого я встречал на Загородном проспекте, мне хотелось остановить и вступить, с ним в разговор. Это я иногда и делал и таким образом завел несколько интересных знакомств. «Солдат» и «юнкер» оба состояли в звании «нижних чинов» и потому могли свободно зайти в заведение, куда таких чинов пускали, и раздавить там по-товарищески «пару пива». Пиво стоило 30 копеек две бутылки и я с моим юнкерским бюджетом в 25 рублей в месяц, которые аккуратно получал от матери, мог свободно позволять себе такую роскошь, В нормальные годы после второй зимы в Училище, юнкера вторично выступали в лагери, участвовали в малых маневрах и по окончании их, в самых первых числах августа, производились в офицеры. По причине еще тянувшейся японской войны, мы, юнкера старшего курса, этих вторых лагерей избежали. В конце марта мы сдали выпускные экзамены, затем недели три занимались глазомерной съемкой на Островах, а на 22-ое апреля 1905 года был назначен день производства. После раннего завтрака, мы строем, с винтовками на плечо (ношение их на ремне тогда еще введено не было) промаршировали на Царскосельский вокзал, разместились по вагонам и к десяти часам утра, вытянувшись в две шеренги, уже стояли на площади перед Екатерининским большим царскосельским дворцом. На правом фланге стояли выпускные Пажеского корпуса, затем нашего училища, затем Петербургское Военно-Топографическое училище, а за ними артиллеристы, инженеры и кавалеристы. Ровно в десять часов утра, одетый в форму Преображенского полка, приехал государь Николай II, поздоровался, прошел по фронту, а затем вышел на середину и поздравил нас офицерами. Тут же нам роздали приказы о производстве, довольно толстые тетрадки, в которых были поименованы, с обозначением полка, куда они выходили, все юнкера Российской империи, которые производились в офицеры в эту самую минуту. Во все военные и юнкерские училища были посланы телеграммы и перед фронтом прочитаны начальством в один и тот же час. Как сейчас помню, погода в этот день была свежая и серенькая. Но в душах у нас светило такое яркое солнце, что при блеске его все люди и все предметы начинали излучать из себя особенное пасхальное сияние. Царю, который произнес только три слова: «Поздравляю вас офицерами» и который был органически неспособен кого-нибудь воодушевить, было крикнуто оглушительное «ура», незамолкавшее минут пять. По мере того, как раздавали приказы, по ниточке выстроенные шеренги расстраивались. Юноши обнимались и целовались и у всех глаза сияли самым безудержным счастьем. Тем самым курсовым офицерам, которым за два года училищной муштры многие не

раз втихомолку мечтали именно в этот день сказать откровенно все, что они о них думают, составляя в уме самые ядовитые фразы, теперь крепко жали руки и совершенно искренне благодарили их «за науку». Понять счастье этой минуты может только тот, кто ее пережил. Почти все эти новоиспеченные офицеры надели военную форму девять лет тому назад десятилетними мальчиками. И все эти девять лет, семь лет корпуса и два года училища, они не имели почти никаких прав, только обязанности. И вот теперь, по одному слову этого маленького полковника с бородкой, в один миг все эти тысячи юношей получили не обыкновенные права граждан, а права исключительные. В России всегда было множество форм и из всех этих форм офицерская была самая почетная. Старое Российское государство офицеров своих содержало нищенски, но внешнее уважение офицерскому мундиру оказывалось всюду, и на улице и в частной жизни. Одним словом, было чему радоваться.

После первых минут сумасшествия, когда царь уехал, мы все по традиции засунули трубочкой свернутые приказы под погоны и разобрались в рядах. Вперед вышли ротные командиры и вместо уставного «смирно», скомандовали «господа офицеры!». Затем «отделениями правые плечи вперед», вытянулись в колонну и пошли на вокзал, там сели в поезд и покатили в Петербург. С Царскосельского вокзала на Загородном, опять же строем, промаршировали на Петербургскую сторону, к зданию Училища. Конец не близкий, но молодым ногам при повышенном настроении все было нипочем. В этот день мы все были на ногах с 7-ми часов утра, оттопали в строю километров 20 и никто не чувствовал ни малейшей усталости. После позднего завтрака в столовой Училища, все поднялись в роты, где на каждой койке было уже в порядке разложено офицерское платье. Об этом позаботились старые служителя, которых в роте было по одному на десять юнкеров и которые в обыкновенные дни за особую плату чистили нам платье и сапоги. Все мы стали мыться и переодеваться и должен сказать, что никогда в жизни ни раньше ни после я с таким удовольствием не одевался. Уже на офицерском положении в Училище полагалось жить еще два дня. Нужно было сдать книги и казенные вещи, получить 250 рублей, которые казна давала на шитье офицерской формы, расписаться во многочисленных списках и ведомостях и, наконец, проститься с начальством. Но это все потом, а сейчас, в новой форме, нужно было как можно скорее ехать в город. Военное училище, даже и для офицеров, не могло превращаться в гостиницу. Поэтому все внешние правила продолжали строго соблюдаться. Каждый приходящий и уходящий должен был пройти в дежурную комнату

и явиться дежурному офицеру. Но какая разница со страшной процедурой былых отпускных дней. В этот раз, задерживаясь у зеркала, только для того, чтобы лишний раз на себя полюбоваться, молодые люди в застегнутых доверха серых летних пальто, легким офицерским шагом проходили по корридорчику, по офицерски брали под козырек и говорили:

— Господин капитан, разрешите ехать в город.

Капитан приподымался с места, протягивал руку и говорил приблизительно в таком духе»:

— Поздравляю Вас, только позвольте Вам по товарищески посоветовать… не увлекайтесь… легче на поворотах. Вы понимаете, неприятно все-таки было бы первую ночь в офицерском звании провести в комендантском управлении…

На это отвечалось вежливой улыбкой и заверением, что мы мол не маленькие, свою меру знаем и вести себя умеем. И нужно отдать справедливость молодежи нашего времени. Хотя в вечер дня производства все петербургские рестораны, все сады и увеселительные заведения были полным полны мальчиками в свеженькой офицерской форме, из которых огромное большинство прощалось со столицей навсегда, безобразий и пьяных скандалов не было почти вовсе. Правда и публика смотрела на новоиспеченных защитников отечества ласково и случалось их покрывала.

В этот приснопамятный вечер, около 6 часов, я вышел из подъезда Училища, сел на самого лучшего извозчика, посулил ему рубль, — обыкновенная плата была полтинник — и велел ему ехать в Семеновский полк. До сих пор помню, что отдававшие мне честь городовые, тогдашние милицейские, и мое собственное чужое мне отражение в зеркальных окнах больших магазинов, доставляли мне жгучее удовольствие. С «генералами» было заранее условлено, что в этот день я буду обедать в Собраньи. По виду я его уже хорошо знал, но внутри еще ни разу не был. Собственно говоря, приходить в офицерское собранье до представления командиру полка и до отдачи в приказе, было не совсем ловко, но «генералы» были отнюдь не формалисты, а наткнуться в этот час на кого-нибудь из старших было мало вероятия. Когда я вбежал по лестнице и вошел в переднюю, со скамейки у окна, медленно-положив газету и сняв с носу пенсне, медленно поднялся высокий худой старик с большими седыми усами. На нем был Семеновский офицерский сюртук без погон, с рукавами обшитыми фельдфебельским широким галуном, а на груди колодка орденов с крестами Георгиевскими и румынским. Через час я узнал, что фамилия старика Колесников, что он бывший наш солдат Государевой роты, участник Турецкой войны

и что он служит у нас вольнонаемным швейцаром в ожидании вакансии в роте дворцовых гренадер, где на его несчастье старики живут да живут и помирать не собираются. Старик медленно подошел ко мне, неторопливо помог снять пальто и, наклонив голову, тихо, но очень отчетливо выговаривая каждую букву, сказал:

— Здравия желаю, Ваше Высокоблагородие. Имею честь поздравить с монаршей милостью. Быть может прикажете называть Ваше Сиятельство?

— Благодарю Вас — говорю, — нет, уж зовите меня, пожалуйста, просто Благородие.

— Слушаю, Ваше Высокоблагородие.

Еще позже я узнал, что по традиции все офицеры в гвардии назывались «высокоблагородиями» и что со всякой «монаршей милости» Колесникову полагалась контрибуция в размере «трешницы» или «пятишницы», так как не было случая, чтобы он позабыл принести юбиляру надлежащее поздравление. Связь с полковой канцелярией была, у старика хорошо налажена. Внес контрибуцию и я и не позднее, чем в тот же вечер. В передней на вешалке висело пять пальто, пять фуражек с синим околышем и пять шашек.

— Скажите пожалуйста, что подпоручик Рагозин здесь?

— Так точно, здесь, как прикажете доложить?

— Скажите, подпоручик Макаров.

Назвать себя в первый раз в жизни офицерским чином, не скрою, было приятно. Швейцар Колесников медленно подошел к стене и нажал кнопку звонка. Через минуту явился молодой, видимо очень шустрый солдат в белой рубашке. С ним важный швейцар Колесников заговорил в других тонах, тем же тихим голосом, но строго и повелительно:

— Доложишь их Высокоблагородию поручику Рагозину, что их Высокоблагородие поручик Макаров их ожидают.

Солдатик исчез. Никогда за один день мне не приходилось слышать, чтобы так много говорилось о «высоком благородстве» самых обыкновенных подпоручиков. При всей дисциплине и порядке и при строжайшем чинопочитании, в Училище это дело было поставлено много проще. Без всякой китайщины говорили: «Капитан Бирюков» или «командир батальона». Даже нашего генерала, который по закону носил титул «превосходительства» и был генерал-лейтенант, называли просто «Начальник Училища». Не водилось в Училище и этот антиграмматического и противоестественного сочетания подлежащего в единственном числе со множественными местоимением и сказуемым. Например, «Их Высокоблагородие капитан Квашнин-Самарин

вышли». Говорилось просто и деловито: «Капитан Тарасенков ушел» или «ротный командир приказал» и т. д. в этом духе. Во время таких моих размышлений, открылась дверь и в переднюю «вошли» Алексей Рагозин, он же «генерал Ра». Мы расцеловались и я, наконец, вступил полноправным членом в тот храм товарищества, дружбы и двухсотлетних традиций, который назывался:

«Офицерское Собранье Лейб-Гвардии Семеновского полка».

По первому взгляду особенного впечатления Собрание на меня не произвело. Великолепия, которого я ожидал, не было и помину. И вещи и мебель, хотя и были все основательные и отличного качества, имели вид не новый и достаточно потертый. Сразу было видно, что в этих комнатах не столько принимали гостей, сколько жили сами. В столовой, куда мы пришли через зал, читальню и зеленую гостиную, за длинным столом сидели и обедали пять офицеров. Из них «генералы» «Кру» и «Ра» пришли обедать в мою честь. Другие трое — я их не знал, — оказались холостяками, которые обедали в Собраньи каждый день, причем сидели всегда на одних и тех же местах. Я им по всей форме представился. Статские люди между собою знакомятся, военные «представляются», младший старшему. Сначала я подошел к немолодому и совершенно лысому, с пажеским значком, капитану Витковскому и отрапортовал:

— Господин капитан, подпоручик Макаров имеет честь представиться по случаю выхода в Лейб-гвардии Семеновский полк!

Затем то же самое было проделано перед еще довольно молодым, лысеющим и тоже с пажеским значком на потертой сюртуке, штабс-капитаном Броком и, наконец, перед совсем молодым, коротко остриженным поручиком Андреевым. Пока шло «представление», все стояли «смирно». Смирно стояли не только офицеры, но и «вольные», статские люди, которые в эту минуту несли в столовой служебные обязанности: стоявший за конторкой буфетчик Васильев и подававшие на стол лакеи во фраках, Григорий и Литовёт. Попутно скажу, что ту же самую представительную фразу, только с разными обращениями и в разной обстановке, мне пришлось произнести потом раз сорок, но числу офицеров в полку. По окончании представлений, «генералы» усадили меня с собой, мы пообедали и в мою честь выпили бутылку шампанского. После обеда мне подробно показали Собранье и музей, который был основан всего три года назад и далеко не был еще в том блистательном виде, который он

приобрел, когда за него взялся мой товарищ по выпуску Николай Эссен.

Ни в какие веселые места в этот вечер я не ездил, а провел его самым скромным образом с двумя «генералами» в «библиотеке» у П-ва, приказав капитанскому деньщику подать нам чаю и хозяйских сухарей. Самого хозяина, по обыкновению, дома не было.

Следующий день, 23 апреля, «Юрьев день», был праздник, «царский день», именины императрицы Александры Федоровны. Одевшись в полную парадную форму, мы с Эссеном уже в 9 часов утра явились в полковую канцелярию для представления командиру полка. Там мы познакомились с старшим полковым писарем Христофоровым, который, по важности той роли, которую он играл в полку, удостоился в этих записках отдельной главы, и представились полковому адъютанту. Как раз месяц назад в полку произошел «дворцовый переворот». Из адъютантов ушел всеми уважаемый и любимый штабс-капитан А. А. Рихтер и на его место был назначен шустрый подпоручик, всего на два года старше нас по Павловскому училищу. Новый адъютант встретил нас по товарищески и сказал, что командующий полком примет нас в 12 часов дня у себя в командирском доме. К назначенному часу отправились туда и ждали довольно долго. Наконец, к подъезду подкатила пара серых и из коляски, в легкой летней Николаевской шинели, вышел полковник Г. А. Мин. Он был тоже в полной парадной форме, т. к. только что вернулся с царского молебна в Казанском соборе. Скажу несколько слов о его карьере. Еле окончив какую-то Петербургскую гимназию, он 18-летним мальчиком убежал на турецкую войну 77 года, определился «юнкером» в Семеновский полк и на войне был произведен в первый офицерский чин, в прапорщики. Проделав войну, он вернулся в Петербург с полком и прослужил в нем 25 лет, младшим офицером, полковым адъютантом, командиром государевой роты и, наконец, полковником командиром 4-го батальона. В 1902 году он был послан в Москву, командовать 12-м гренадерским Астраханским полком, а в ноябре 1904 года получил наш полк. Командующий полком (до производства в генералы командиры назывались «командующими»), был среднего роста, плотного сложения, с красным обветренным лицом и с седой прядью в еще темных волосах. Голос тонкий, резкий и повелительный. Принял нас в кабинете, стоя у письменного стола. По старшинству в выпуске, сначала Эссен, потом я, подошли, вытянулись и отрапортовали. Мин подал нам руку, посмотрел на нас строго и весело и очень громко сказал, тихо он говорить не умел:

— Поздравляю Вас. Сегодня большой день в вашей жизни. Вам выпала на долю большая честь служить в Семеновском полку, и честь и счастье… Вы это понимаете, надеюсь?

— Так точно, понимаем, господин полковник, — сказали мы оба с полным убеждением.

— Это пока все, что от Вас требуется. Остальное придет само собою. И еще хочу Вам сказать. Есть люди, которые смотрят на полк, как на проходной двор. Послужил три года, подыскал себе приятное место и ушел. Таких нам не нужно. Выходить к нам должны только те, которые решили служить в Полку всю жизнь, до полковничьего чина, а если случится война, то и умереть в его рядах. А не гастролеры. Нам нужны такие, для которых вне полка, не только службы, но и жизни быть не может. Поняли Вы меня?

Мы с еще большим убеждением подтвердили, что поняли. Трудно было не понять, когда с нами говорил образец полкового патриотизма. 26 лет в полковой форме, от нижнего чина и до полковника.

— Ну, теперь идите. Явитесь полковому адъютанту. Он Вас научит, что делать дальше. Ступайте, желаю Вам, успеха!

Мы повернулись и вышли. Повелительная, отрывистая речь Мина, его незаурядная внешность и вся его динамическая личность, произвели на нас тогда большое впечатление. Человек этот умел приказывать. И не только не послушаться, но и плохо послушаться его было немыслимо.

После представления Мину, пошли уже на законном основании завтракать в Собранье, а затем поднялись наверх в канцелярию и получили от адъютанта «служебные билеты», для представления всем офицерам. На них было напечатано, что такой-то представляется по случаю выхода Лейб-гвардии в Семеновский полк. Чин, фамилия, число и адрес проставлялись чернилами. Холостым полагалось передавать один билет, а женатым еще и визитную карточку для жены. С карточками произошла задержка, так как мы их себе еще не завели. Тот же расторопный адъютант сказал нам, в какой литографии их заказывать, какого формата и что на них должно было быть изображено. Картон должен был быть самый лучший, карточки отнюдь не печатные, а литографированные и на них две строчки. Крупным шрифтом имя, отчество и фамилия, а под ними самым мелким: «Л. Гв. Семеновского полка». Чин указывать не полагалось. В четыре дня, со списками в руках, мы обошли всех офицеров в офицерском доме и объездили всех, кто жил в городе. Это была чистая формальность и никто нас не принимал.

* * *

Кажется еще со времен императора Николая I, вся русская армия меняла зимние квартиры на летние, т. е. выходила в лагери, 1-го мая. С этого же дня полагалось и надевать летнюю форму, офицерам белые кителя, а солдатам белые гимнастерки. На офицерские фуражки и на солдатские безкозырки надевались белые чехлы. Так как черная фуражка с надетым белым чехлом выглядела довольно некрасиво, офицеры заказывали себе особенные, летние фуражки, легкие, где верх в виде чехла был уже приделан. Такая летняя фуражка стоила два рубля и чехлы на ней можно было менять.

1-ое мая — праздник весны. В центральной России и на юге в этот день всегда тепло. В городе же Санкт-Петербурге и его окрестностях этот день нередко ознаменовывался холодным дождем, пронзительным ветром и такой погодкой, когда, как говорится, хороший хозяин собаку на двор не выгонит. И несмотря на это, что бы там на небе ни происходило, хотя бы снег валил, что иногда и случалось, войска Петербургского гарнизона в этот день 1-го мая неукоснительно шлепали по грязи 25 верст через Лигово в Красное Село, одетые во все белое. Граждане одеваются по погоде. Войска по уставу.

Железная дорога от Красного и до Дудергофа проходила по низине и шла параллельно главному лагерю, который был расположен на возвышенности, приблизительно в километре расстояния. В одну линию были вытянуты 1-ая и-2-ая гвардейские пехотные дивизии, в перемежку с их артиллерией, 1-ой и 2-ой бригадой. На самом правом фланге стояли Преображенцы, затем 1-ая баттарея 1-ой артиллерийской бригады, левее их Семеновцы, затем опять артиллерия, за нею Измайловцы и Егеря, а затем дальше 2-ая дивизия, Московцы, Лейб-гренадеры, Павловцы и Финляндцы. Левее Финляндцев помещались бараки Пажеского корпуса. Участок нашего Семеновского полка был расположен на самом высоком месте, если смотреть от станции Красное Село влево от Царскосельского шоссе. Тут же в расположении нашего полка, шагах в двухстах от передней линейки, стояла деревянная дивизионная церковь. На площади перед Красносельской станцией всегда торчало десятка полтора потрепанных извозчиков с дребезжащими пролетками, такого сорта, для которых уже в столице места нет. Обслуживали они главным образом офицеров 1-ой дивизии, т. к. офицерам 2-ой удобнее было сходить на «военной платформе», полустанке, расположенном между Красным Селом и Дудергофом. У каждого полка были свои любимые извозчики. У нас был рыжий Фома, который если выходили наши, с другими уже не ездил. У рыжего Фомы была тоже рыжая, тощая, но довольно резвая лошаденка,

которая со станции в лагерь, все время в гору, с двумя, а иногда и тремя седоками, трусила бывало минут двадцать, и все это за почтенную сумму в два двугривенных. Зато по субботам, к 12-часовому поезду в Петербург, та же лошаденка, со стоящим и размахивающим кнутом Фомой, спархивала с горы вниз на станцию в рекордное время. И вся эта картина, как в воскресенье вечером офицеры, трух-трух, поднимаются на службу в лагери и как они же через неделю весело летят с горы на станцию, в предвкушении свидания с близкими сердцу, очень походила на впоследствии известную кинематографическую картину Вальтера Диснея, изображающую, как Мики-Маус идет на работу и как он с нее возвращается.

Лагерь стоял в березовой роще и издали, да и вблизи, был очень красив. Перед ним, от Преображенцев и до Финляндцев, версты на две, тянулась широкая, шагов в 20, утрамбованная и обильно посыпанная песком дорога, носившая название «передней линейки». Содержалась она в безупречной чистоте и бросить на нее бумажку или окурок, был проступок. Отношение к этому месту было приблизительно такое же, как у моряков к «шканцам» на военном корабле. Ездить по ней в экипаже было, разумеется, строжайше запрещено. Верхом же проезжать по всей ее длине имели право только царь, очень высокое начальство и дежурный по войскам лагерного сбора, т. е. лица, которым по уставу вызывался полковой караул. По середине каждого полка, немного отступя вглубь, позади передней линейки, находилась также обильно посыпанная песком площадка, а на ней стояли две палатки. В одной помещался полковой караул, а в другой дежурный, или помощник дежурного по полку. Между этими палатками, на особой стойке, одетое в клеенчатый чехол, полулежало полковое знамя. Около знамени всегда стоял часовой. На передней же линейке, на флангах каждого полка, под деревянными «грибами», имевшими назначение защищать от солнца, дождя и непогоды, стояли дневальные при тесаках. От сильного косого дождя грибы эти, конечно, не защищали, и когда такой дождь начинался, дежурный но полку приказывал:

— Надевать шинеля в рукава.

Начиналось обыкновенно с правого фланга. Преображенские дневальные начинали орать:

— Преображенского полка дежурным дневальным надеть шинеля в рукава!

Наш дежурный повторял приказание, и та же музыка начиналась у нас. От нас перекатывалась в артиллерию, потом к Измайловцам, потом к, Егерям и так дальше по всей линии. Никому не хотелось одеваться первому и все равнялись на соседа

справа. И случалось иногда так, что покуда докатится приказание с правого фланга на левый, от Преображенцев до Финляндцев, капризный ингерманландский дождь возьмет да и перестанет. На эти случаи самое практическое было бы для дежурных и дневальных завести клеенчатые плащи, но до этой реформы у нас тогда еще не додумались.

Сразу же за передней линейкой начинались квадраты солдатских палаток. Палатки по традиции были белого цвета («наши матки — белые палатки») и представляли из себя довольно комфортабельное жилище. Четырехугольник шагов по шести с каждой стороны, был обнесен земляным валом, снаружи обложенным дерном. Внутри по трем сторонам земляные нары, устланные досками. На полу также доски. Посередине толстый шест, поддерживающий верх палатки. Он настолько высок, что около него даже такие крупные люди, как у нас, могли стоять во весь рост. Кругом шеста стойка для винтовок. Население каждой палатки 10–12 человек. Из-за всяких командировок, в лагери полк выходил обыкновенно, имея в каждой роте не больше 70–80 человек, а потому и палаток на роту редко бывало больше восьми. Внутренность палаток, содержалась в большой чистоте. Воздух в них был чист, по возможности. При густоте населения, в ночное время, спасали открытые полы и благодатный ветерок. Сразу же за солдатскими палатками располагались помещения фельдфебелей. В некоторых ротах это были тоже палатки, но оборудованные более комфортабельно. У хозяйственных ротных командиров фельдфебельские помещения были балаганчики из досок, с кроватью, столом и двумя стульями. Такие же балаганчики рядом служили канцелярией. В них помешались ротные писаря. В некотором отдалении от фельдфебелей, уже в березовой роще, были устроены солдатские души и находились малые удобства. Эти последние содержались в такой безупречной чистоте, что присутствие их не ощущалось и не обонялось даже при ветре. Самое большое, это изредка дохнет дезинфекцией. Большие удобства помещались далеко позади, в самом конце лагеря, за конюшнями.

Тыл палаточного расположения — березовая роща, изрезанная дорожками, усыпанными песком, шла вглубину еще шагов на полтораста и упиралась в широкую шоссейную дорогу, которая шла параллельно передней линейке и резала главный лагерь по всей его длине. По другую сторону этой дороги тянулась линия офицерских бараков. В каждом полку бараки были разного типа. У Преображенцев и Измайловцев в русском стиле, с гребешками и с петушками, у первых выкрашенные в темно-красную краску, у вторых в белую. В том же стиле

выдержаны были и их лагерные собрания. Наши офицерские бараки никакого стиля не имели и, в противоположность нашему отличному лагерному собранию, были вовсе непрезентабельны. Каждый барак представлял из себя маленький деревянный домик с терассой. Домики делились на две половины и из каждой половины дверь выходила на терассу. Так как один офицерский барак полагался на роту, то одна его половина предназначалась ротному командиру, другая — двум младшим офицерам. У ротного было три комнаты: кабинет, спальня и маленькая каютка для деньщика. У младших офицеров по комнате и такая же каютка для двух деньщиков. Кроме парадного входа, через терассу, на каждой половине было еще и черное крыльцо. Им главным образом и пользовались все обитатели барака, чины офицерские и нижние. Впрочем, никогда не случалось, чтобы наши офицерские бараки были населены, как им это полагалось. Офицеры постарше через два лета в третье имели чуть-что не законные права на трехмесячный отпуск. Были полковники и капитаны, которые умудрялись получать отпуск каждое второе лето. Все они на летний сезон разъезжались по своим имениям или по заграницам, т. к. отпуска в полку давались легко. Во время лагерного сбора в ротах зачастую оставалось по одному офицеру и при таких условиях жаловаться на тесноту в бараках нам не приходилось. Мебель в бараках была собственная офицерская. Свозили туда обыкновенно все то, что уже не годилось на городских квартирах. Кровати у всех были городские и обыкновенно с пружинными матрацами. Почти всюду в бараках имелись письменные столы, диваны и мягкие кресла. Попадались бараки с кушетками, зеркальными шкафами и даже с коврами. Вообще суворовского спартанства там, нужно сознаться, не наблюдалось. Каждый старался устроиться поудобнее. Бараки батальонных командиров, так называемые «полковничьи», были еще больше и еще удобнее и помещались в саду, против Собранья. Барак командира полка был деревянный домик в несколько комнат. Это была уже настоящая «дача», со всеми возможными удобствами. На содержание и ремонт офицерских бараков казна, по обыкновению, ничего не отпускала. Накопленный из офицерских вычетов, в мое время кажется по рублю в месяц, существовал «барачный» капитал. Из него и брались деньги на всякие покраски и починки.

За офицерскими бараками первой линии шла дорожка, а за ней, на некотором расстоянии, были построены огромные и солидные, на кирпичных столбах навесы, каждый вместимостью на 500 человек. Это были батальонные столовые и кухни. Каждый четырехугольник навеса делился на четыре части, по числу рот в

батальоне, а посредине кухни с котлами. Около каждой кухни во время обеда и ужина работал свой кашевар, в белом фартуке и белом колпаке. Каждая из четырех рот располагалась в своем углу и все столы были покрыты толстым слоем белой лаковой краски. Мыли их часто горячей водой с мылом, а после каждого обеда и ужина протирали мокрой тряпкой, таким образом содержались они в самой идеальной чистоте. Столовых в полку было четыре, по одной на каждый батальон. Кроме своего прямого назначения, эти навесы-столовые служили и другим целям. В ненастную погоду под руководством офицеров и унтер-офицеров там производились занятия, «словесность», т. е. понятие об уставах, сборка-разборка винтовки и «грамотность». Спору нет, что до революции в России было много неграмотных, все же из поступавших осенью в роту 50–60 человек, совершенно неграмотных выходило не больше 10–15. Зато так называемых «мало-грамотных», которые могли читать только по печатному, с превеликой медленностью и «пальчиком водя», а когда пускались писать, то выводили чудовищные загогулины — таких было подавляющее большинство. По успешности их всех делили на группы и при первой возможности сажали их за буквари. Как общее правило, писать любили больше, чем читать. Это было занятие много занимательнее.

Для экономии, а главное для удобства, в лагерях чины надевали высокие сапоги только на строевые занятия и в наряды, а все остальное время разгуливали в «опорках». Полагаю, что военным объяснять, что такое «опорки», излишне. Ходить без фуражки или без пояса не позволялось, но при фуражке, при поясе, с застегнутым воротом и с ногами в опорках, вне службы, в лагерях солдат считался одетым по форме. В таком виде он мог предстать даже перед ротным командиром. В опорках строем роты ходили на обед и на ужин, причем по старой гвардейской традиции в четырех шагах перед ротой шел флейтист, игравший па дудочке.

Должен впрочем оговориться, что обо всех этих лагерных порядках я узнал на месяц позже, когда явился в полк на службу. Нас, свежевыпущенных офицеров, в первый год в лагерь с собой не взяли, я сразу же по представлении начальству и по зачислении в списки, отпустили в отпуск, так называемый «28-ми дневный». Этот традиционный, полагавшийся всем молодым офицерам после производства отпуск, давался, конечно, не для отдыха. В счастливом 19-летнем возрасте, чтобы отдохнуть вполне достаточно проспать без просыпу часов десять. Попечительное начальство установило его с целью дать папашам и мамашам возможность вдоволь насладиться лицезрением

своего отпрыска в офицерской форме, а самим отпрыскам покрасоваться вообще, а перед знакомыми девицами в особенности. Свой 28-дневный отпуск я целиком провел в Ярославской губернии, где у меня жила мать, старший брат, председатель Любимской земской управы, двое дядей и одна тетка. Всех их нужно было навестить, иначе была бы горькая обида. Главная часть отпуска отводилась городу Любиму (3.000 жителей) и сельцу Соболеву, имению моего деда и отца, а потом и старшего брата. Как в Любиме, так и в Соболеве, матерью был составлен список, к кому нужно было отправиться с визитом. Около Соболева было три деревни, Демково, Лобаново и Стряпово, где жили главным образом дети и внуки крепостных моего деда. Всё обитатели этих деревень нас, конечно, знали. И мы их знали, но большинство были просто «соседи». С ними раскланивались, здоровались, спрашивали друг друга о делах, о здоровьи, но «домами» знакомы не были. Ни они к нам, ни мы к ним в гости не ходили. Все же в каждой деревне были две, три семьи, которые были связаны с Соболевским домом специальными узами. За рекой, в Лобанове, жила бывшая нянька моего брата, Матрена Милантьевна, по настоящему, надо думать, «Мелентьевна», но все звали ее «Милантьевна». В нашем доме она научилась шить. Мать помогла ей купить швейную машину и через несколько лет она сделалась самой модной портнихой во всей округе. В деревне Демкове жила Авдотья Ивановна, когда-то кормилица моей сестры. В Стряпове проживала Анна Васильевна. Она была дочка бабушкиной горничной и жила с сыном, Иваном Петровичем, который был мужик хозяйственный и держал лавку, где можно было купить и топор, и хомут, и на две копейки мучных леденцов в бумаге. Он ко мне всегда благоволил и первый мой топор, маленький, с лакированным топорищем, когда мне было 9 лет, я получил в подарок, именно от него. Во все эти дома и в кой-какие другие, мне надлежало явиться с визитом и, конечно, с дарами. Дары были традиционные, из года в год одни и те же, фунт чаю, фирмы Высоцкого, с кораблем, цена два рубля. Кроме этих почтенных людей, знавших меня мальчишкой и называвших меня по имени и на ты, были у меня в деревне и сверстники, товарищи игр и всяких экскурсий по лесам, из них главный Васька Шабаршов. Когда раз вечером мы с ним ехал в телеге между двух стен высокой, желтой ржи и везли бидоны молока на сыроварню, он раскрыл мне великую тайну зарождения человеческой жизни. С ним мы водили большую дружбу и подрались, кажется, всего один раз за все долголетнее знакомство. Когда я до того приезжал на лето в деревню кадетом и юнкером, моя форма наших старинных отношений не меняла.

Теперь же, при первом свидании, уже почувствовалась некоторая натянутость. Были даже сделаны попытки называть меня на «вы». После первой тяги, на которую мы во второй же вечер отправились, всякая напряженность исчезла.

Хотя Соболево лежало в 13-ти верстах от славного города Любима и в 17-ти верстах от железной дороги, сторона наша, как я уже и писал, была вовсе не глухая. Неважная земля и суровый северный климат делали то, что земледелие у крестьян было не единственное занятие. Землю пахали только для своих скромных надобностей. Остальное давали лес, коровы и отхожие промыслы. Хотя от нас до Москвы было ближе, но почему-то вся наша округа тяготела к северной столице. В каждой деревне насчитывалось по несколько «питерщиков», которые тянули за собой свою родню. Раз в год из столицы они приезжали на побывку на родину, непременно в пиджаках, а со станции брали тройку с колокольчиками и с бубенцами. Под старость, сколотив деньжонки правдами и неправдами, чаще неправдами, они возвращались в свою деревню, строили себе дома с тесовыми крышами и ставили на окна горшки с цветами. Помню, в одном таком доме цветочные горшки были круглые, белые фаянсовые и с ручкой. Надо думать, что питерщик хозяин знал их истинное назначение, но односельчане не знали, и эти предметы очень украшали парадную комнату. При таком градусе цивилизации «дикой» нашу сторону никак нельзя было назвать, и это несмотря на то, что знаменитое «Пошехонье», тоже уездный город Ярославской губернии, лежало сравнительно недалеко от нас. Хоть и не очень бойко, почти вся наша молодежь умела читать и писать. Одна школа была в трех верстах, в селе Иване-Богослове. Другая была в двух верстах у Троицы. Девицы наши все были отъявленные модницы. У каждой было непременно городское платье, а у многих и не одно. Главная модистка Матрена Милантьевна из Лобанова получала модные журналы даже не из Ярославля, а прямо из Москвы. В мое время у нас в моде цвета были яркие, кумачевый красный, канареечный желтый и купоросовый зеленый. Дома и в поле девицы одевались, как попало. Когда же шли в гости в соседние деревни, то отправлялись босиком, а на головах несли огромные узлы, с ботинками и с туалетами. В течение вечера то одна, то другая девица вдруг исчезала и через несколько минут появлялась снова, но уже в новом платье. И так несколько раз за вечер. Так они и назывались: «невеста на две перемены» или «на три перемены». Сопровождавшие девиц молодые люди шли также босиком. За спиной на палке несли пиджаки и сапоги, с надетыми на них калошами. В руках держали зонтики. И это совершенно

независимо от погоды. Кто-нибудь из них прилежно наяривал на гармошке. Если в это время ударял дождь, гармошку спешно прятали, а девицы белые нижние юбки, кроме конечно самой последней, накидывали себе на голову. Вальс танцевать еще не умели, а танцевали польки и кадрили под гармошку и под пенье. Особенно ловко, с притоптываньем и с вывертом выходила кадриль под Пушкинское: «прибежали в избу дети, второпях зовут отца, тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца». Очень нравился звонкий, четкий размер стиха, под который так ловко танцевать. И то, что мрачные слова: «и в распухнувшее тело раки черные впились», не совсем соответствовали залихватскому мотиву, никого не смущало. Александр Сергеевич был твердо уверен, что «слух о нем пройдет но всей Руси великой», но все-таки вряд ли он мог предполагать что одни из самых страшных его стихов будут распеваться на мотив ухарской кадрили.

В свободное от прогулок, охоты и визитов время, я сидел дома с матерью. Мать моя происходила из старой дворянской семьи Ушаковых. По преданию, записанному в российском гербовнике, Ушаковский род ведет свое начало от Косожского богатыря Редеди, который единоборствовал с князем Мстиславом Удалым и был им убит. Насколько что правда, судить не берусь, но от «богатырского» происхождения у Ушаковых, которых я знал, кое-что сохранилось. Хотя и небольшого роста, все они были люди широкие, здоровые и крепкие. Что род этот очень древний, можно судить по тому, что двое Ушаковых подписались в 1613 году под избранием на царство Михаила Романова, а в акте этом принимали участие тогда только представители самых старых дворянских семей. Знаю, что все дворяне Ушаковы принадлежат, собственно, к одной семье, но какое в точности отношение линия моего деда с материнской стороны имеет к известному Андрею Ивановичу Ушакову, деньщику Петра Великого, и к знаменитому адмиралу, мне к сожалению неизвестно. Наша Ярославская линия Ушаковых была бедная и довольно захудалая. С незапамятных времен все мальчики служили в малых чинах в военной и морской службе. Девочки, тут же на месте, выходили замуж за мелких помещиков, отставных капитанов и секунд-майоров. Мой дед, Афанасий Петрович Ушаков, в молодости проделал Наполеоновские войны, вышел в отставку полковником и, как тогда водилось, поселился в своей деревне Чистополье, Даниловского уезда. Имение было маленькое, всего 50 душ крестьян, а семья большая, 9 человек детей. Из всех этих детей самая необычайная судьба выпала на долю тетки Веры и дяди Якова: Вера блестяще кончила один из Петербургских женских институтов и была приглашена в богатую и знатную семью

Мусин-Пушкиных в смешанном качестве компаньонки и бедной родственницы. Пушкины взяли ее с собой на год в Париж. Там она встретилась с молодым чиновником министерства колоний Гастоном Дюлоран и влюбилась в него, а он в нее. Молодые люди решили пожениться. Написали деду, испрашивая благословения. Тот сначала и слышать не хотел. Для него Наполеон был приблизительно тем же, что для нашего поколения Гитлер, и хотя в то время во Франции уже царствовал его племянник, дед считал, что первый Наполеон или третий, все равно одна шайка. В конце концов его все же удалось уломать и позволение было дано, но непременным условием было поставлено, чтобы француз самолично явился в Чистополье, чтобы свадьба состоялась там же и чтобы венчал их свой сельский поп. Все это так и было исполнено. Через неделю молодые уехали в Париж. Жили они удивительно счастливо. И хотя у них было трое сыновей, Рауль, Альфред и «Атанас», в честь деда, двоюродные братцы, которых я никогда не видал, как это нередко случается, тетка была гораздо больше жена, чем мать. Гастона своего она обожала. Гастон же отлично пошел по службе и кончил губернатором на Мартинике. Когда он умер уже стариком, тетка пережить его не захотела. Она поехала в Париж, пробралась в ту самую маленькую квартиру, в которой они начинали жизнь, где-то в 4-м этаже на улице Вожирар, улучила минуту, когда на нее никто не смотрел, открыла окно и выбросилась на мостовую. Было ей тогда уже хорошо за пятьдесят.

Дядя Яков, кончив 1-ый кадетский корпус, вышел прапорщиком в Семеновский и полк и сразу же поступил в Инженерную Академию, Будучи в Академии, он пристал к народовольческому движению, был арестован, судим, лишен офицерского звания и посажен в Петропавловскую крепость. Приговор был: с лишением всех прав на два года в каторжные работы. Сравнительная мягкость приговора, объясняется тем, что он был очень молод. Ему не было еще и 21 года. Все же в кандалах он прошел по Владимирке и проработал почти полный срок. Постепенно смотритель рудника стал ему делать всякие поблажки, а когда тот вышел на поселение, взял его к себе в дом учителем детей. 26-ти лет он вернулся в Россию и ему было позволено поступить на службу. Дядя Яков кончил жизнь 72 лет членом Государственного Совета по выборам от Ярославского дворянства.

Моя мать, Надежда Афанасьевна, была моложе сестры Веры на три года. В противоположность сестрам и братьям, никаких способностей к наукам у нее не было. Даже нехитрая институтская премудрость того времени оказалась ей не по силам

и ее взяли домой до окончания. И несмотря на все это, из всех сестер она сделала самую удачную партию. В 1865 году, когда она вышла замуж, мать была 20-летняя, очень миловидная, очень скромная и очень свежая провинциальная барышня, в белом кисейном платье танцевавшая на вечерах в Даниловском Дворянском клубе. Все же «кисейной барышней» она отнюдь не была. Когда были освобождены крестьяне, ей минуло уже 16 лет. В бедном помещичьем доме, при старых родителях, ей нередко приходилось выполнять самые разнообразные работы. Кроме шитья, кухни и домашнего хозяйства, она знала, как мыть пол, как выдоить корову и умела запречь в телегу лошадь. В июньскую и июльскую страду она брала серп или грабли и шла работать в поле. В праздники она ходила с девками «по ягоды» и «по грибы», хохотала с ними, качалась на качелях и пела с ними песни. При таком воспитании мужик не был для нее неким мифическим существом, наделенным всевозможными добродетелями, а, наоборот, очень реальной величиной. Жизнь и потребности его она знала в совершенстве. Если бы ей тогда сказали, что она занимается «опрощением» или «хождением в народ», она, надо думать, первым делом не поняла бы, что это значит, а если бы ей растолковали, очень бы удивилась. Все же, если бы ее спросили, что она думает о равенстве людей, она бы ответила, что все люди равны только перед Богом. А на земле существуют дворяне-помещики и крестьяне. Крестьяне дворян обязаны почитать, уважать и слушаться. Дворяне же должны им помогать, учить их уму разуму и об них заботиться. Так между прочим и Бог велел. Все же о крепостном праве она не жалела и считала его большой несправедливостью.

Когда мать и отец в первый раз встретились, он был отставной штабс-капитан Измайловского полка и ему было 26 лет. Он только что очень либерально разделился со своими крестьянами, причем на его долю пришлось до 2.000 десятин земли в 4-х губерниях: Костромской, Ярославской, Владимирской и Вологодской. Земли было много, но стоила она сравнительно недорого. По внешности отец был тогда молодой человек с барскими манерами, с бородкой на две стороны, по тогдашней моде, с волосами почти до плеч и с не по годам серьезными взглядами на жизнь, и на свои обязанности человека и гражданина. За год до женитьбы он был единогласно выбран в мировые судьи.

Хотя мои родители прожили вместе 26 лет очень счастливо и прижили 6 человек детей, трудно было найти людей менее похожих и по воспитанию, и по характеру. Отец был умный и хорошо образованный человек, был отлично воспитан, в жизнь

свою никогда не повысил голоса, а в обращении с людьми был сдержан и суховат. Все поголовно его уважали, но не все любили, а некоторые считали «гордецом». Мать была вовсе не умна, хотя я не помню, чтобы она когда-нибудь сказала глупость. Ум ей заменял здравый смысл. Была совершенно необразована и из книг читала только евангелие и псалтырь, причем большинство псалмов знала наизусть. Характера была живого и вспыльчивого. Когда сердилась, могла выбранить грубо, по-деревенски. По натуре была человек открытый и прямой и подруг и приятельниц, из самых разнообразных кругов, насчитывала десятками. Отец был почти атеист. Мать не пропускала ни одного поста, никогда никаких сомнений не имела и верила, как простая деревенская баба. Отец заказывал себе платье в Петербурге. Матери было совершенно все равно, что на ней было надето. Под конец жизни юбки и кофты ей шила Матрена Милантьевна, модистка из Лобанова. Помню, раз в детстве мне подарили игрушечный кнутик. Отец нахмурился и сказал, что кнут, орудие страдания, не есть подходящая игрушка для детей. О телесных наказаниях он говорил с ужасом и с возмущением. Мать считала, что если мужика, который пьянствует и колотит свою беременную жену, «поучат» в волостном правлении, то «ничего дурного, кроме хорошего» от этого не произойдет. Отец запрещал говорить слове «мужик», а требовал, чтобы говорили «крестьянин». Когда крестьяне приходили к нему по делам или за советом, он принимал их у себя в кабинете, давал руку, сажал и говорил им «Вы». При встрече с ними в поле, он первый снимал шляпу. Не любил, чтобы его называли «барин». Нужно было говорить: «Владимир Егорович». Мать мужикам и бабам давала руку, но не для пожатья, это она сочла бы великой дерзостью, а для поцелуя. Всем говорила «ты», считая в свою очередь вполне естественным, чтобы и ей говорили «ты», «барыня», или «Надежда Афанасьевна», безразлично. Посетителей она принимала не в гостиной, а в верхней кухне, где разогревались кушанья и ставились самовары, причем посетитель или посетительница стояли, а мать сидела. На улице она требовала, чтобы бабы ей кланялись, а мужики ломали шапки, а кто этого не исполнял, тем она делала замечания. Мы дети, когда выросли, позволяли себе иногда подсмеиваться над таким «ярославским феодализмом», но мать ничего в этом смешного не находила. Зато эта же самая феодалка и крепостница, которая всю округу лечила даром своими домашними средствами, — в столовой в угловом огромном киоте, под семейным образом Костромской Федоровской Божьей Матери, у нее была целая аптека, — могла промывать запущенные грязные раны на грязных мужичьих ногах или лечить

от поноса их шелудивых ребят и ни в какую специальную заслугу себе этого не ставила. И могла она также в этой самой верхней кухне посадить какую-нибудь бабу постарше к столу, попить с ней чайку, поохать над ее малыми горями и поплакать над большими. Я бы не поручился за то, что сидя в кабинете у отца посетители его всегда понимали. Но что те, кто стояли и сидели в верхней кухне, понимали друг друга в совершенстве, в этом не может быть ни малейшего сомнения. За исключением одного трехлетия в уездных предводителях дворянства, всю вторую половину своей жизни отец провел на земской службе, сначала в Любиме, а потом в Ярославле. Убежденнейший либерал «шестидесятник» и земский деятель, он увлекался проведением дорог, занимался статистикой, строил школы и больницы. Отличная ярославская губернская больница, построенная в березовом парке на самом берегу Волги и называвшаяся «Загородный сад» — всецело детище отца. В главном зале больницы до самой революции висел его довольно похожий портрет масляными красками.

В 1891 году, разгар реакции царствования Александра III, после многих разногласий, отец раз крупно поговорил с глупым губернатором, генералом с немецкой фамилией. Когда отец вернулся домой, у него сделался первый припадок грудной жабы. Через месяц припадок повторился. Мать повезла его в Москву на прием к знаменитому Захарьину. Накануне назначенного дня приема, за утренним кофе, отец умер. Ему было тогда всего 52 года. Когда гроб его привезли из Москвы, от нашей станции и до нашего прихода Ивана Богослова, где его похоронили, т. е. 17 верст, крестьяне всю дорогу несли его на плечах. Одна деревня сменяла другую. Похоронами распоряжались становой пристав и два урядника.

В 1918 году, когда революция смела с лица русской земли всех исправников, становых приставов и урядников и когда в русской деревне каждый мог совершенно безнаказанно проделывать все, что бы он ни пожелал, включая поджог, грабеж и убийство, когда во всей нашей округе не осталось ни одной помещичьей усадьбы, все было сожжено, мать, 73-летняя старуха, полуживая от болезни и огорчений, еще дышала в Соболеве, которое на удивление всем продолжало стоять на своем месте. Регулярные приемы она тогда уже прекратила, а только лежала и молилась Богу. И вот как-то раз в сумерках к ней явились две старухи и под строгим секретом поведали ей, что ближайшие мужики порешили ей сказать, сами придти они поопасались, что покуда она, «старая Макариха», жива, бояться ей нечего. В доме ничего не тронут и другим не дадут. Коли, мол, наедут «комиссары» из Любима, тогда уж, конечно, делать нечего, а сами

ни-ни, пальцем ничего не тронут… Мать поблагодарила и заплакала. И старухи с ней поплакали. Через месяц она умерла. Гроб ее тоже несли на плечах до церкви. А через две недели после ее смерти вся усадьба, где жили тогда 3 женщины и трое маленьких детей, сгорела до тла. Есть полное основание думать, что сожгли все-таки не свои, а «чужие».

В описываемое время, весна 1905 года, мать была еще бодрая 60-летняя женщина, ходила в платке и в кофтах и приемы и лечение шли на полный ход. Она сама отправила меня в круговую поездку по дядям и теткам, а когда я вернулся, снабдила меня некоторыми отцовскими вещами, велела отслужить на его могиле панихиду, взяла обещание писать не реже одного раза в месяц, и со слезами и молитвой, наконец, отпустила меня на службу в Петербург.

Наше офицерское собрание

Полковые офицерские собрания в гвардии были заведены сравнительно недавно, во вторую половину царствования Александра II. До этого времени офицеры, по-видимому, могли собираться лишь на частных квартирах. В мое время все полки уже давным давно имели свои собрания и некоторые из них, особенно построенные в последнее царствование, отличались большой красотой и даже роскошью. В смысле обстановки и комфорта они могли соперничать с самыми лучшими клубами и в России и заграницей.

В Царском Селе были прекрасные собрания у Кирасир, у Лейб-Гусар, и маленькое, но прелестное у Императорских стрелков. В Петергофе очень красивые собрания были у Конно-Гренадер и Улан.

Разумеется, все эти великолепные клубы были построены не Военным Министерством, которое с трудом отпускало гроши на штукатурку и покраску казарм. Деньги на это давали главным образом шефы полков, т. е. царь или лица царской фамилии. Так Лейб-Гусарам, Кирасирам и Стрелкам построил собранья царь Николай II; Уланам — царица Александра Федоровна; Конно-Гренадерам помогли Вел. Князья Михаил Николаевич, шеф, и Дмитрий Константинович, бывший командир и т. д.

В нашей 1-ой дивизии, хорошее Собрание было только у Преображенцев, на Кирочной, на которое главным образом дал средства тоже царь, в качестве и шефа и бывшего офицера-преображенца. Считалось оно как бы Собранием офицеров всей дивизии, но на моей памяти офицеры других полков собрались там всего один раз, на какую-то лекцию или сообщение.

У Измайловцев, у Егерей и у нас, Собрания были сравнительно очень скромные и были приспособлены для этой цели из казарм, так что с улицы ничем, кроме хороших стекол, от других полковых зданий не отличались.

Начиная от Управления Юго-Зап. железной дороги, рядом с Царскосельским вокзалом и до Звенигородской улицы, вдоль по Загородному проспекту тянулось пять довольно непрезентабельного вида двухэтажных домов, окрашенных в коричневато-розоватую краску. Это были казармы Семеновского полка. Одна казарма, трехэтажная, выходила на Звенигородскую улицу, там помещался 1-й батальон, а 4-й был расположен совсем на отлете, за Введенским каналом, между, каналом и Рузовской. Там же помещалась и 12-ая рота, принадлежавшая к 3-му батальону, музыкантская команда, баня и проч.

Первая из казарм по Загородному, считая от Автомобильного переулка, была отведена: 1-й этаж под Офицерское Собрание, 2-й этаж под полковую канцелярию, а подвальный под помещение для арестованных и собранскую кухню. В смысле внешней красоты Собрания, это было, конечно, не очень импозантно, но зато чрезвычайно удобно. В этом доме сосредотачивался весь центр полковой жизни. Из Собрания в канцелярию и обратно можно было слетать в одно мгновение.

Вход в Собранье был с Автомобильного переулка и когда я поступил в Полк, подъезд изображала собою простая деревянная пристройка, в виде будки, прилепившаяся к боковой каменной стене. Около входа всегда стоял дневальный при тесаке. В те времена (1905–1906) не говоря уж о внешнем виде, даже и внутри наше Собрание производило впечатление не только бедности, но даже некоторой запущенности. Причины этому были: отсутствие всяких посторонних средств, кроме и так уже тощего офицерского кармана, и недостаток людей, которые пожелали бы серьезно этим делом заняться. В 1907 году такой человек, наконец, нашелся. Это был избранный председателем Распорядительного комитета кап. Николай Михайлович Лялин. Он был мужчина положительный и основательный во всем, начиная с внешности; был холостяк, любил хорошо покушать и выпить, одним словом был, что называется человек «клубный»… На таких людях держатся клубы всего мира. Вскоре во всей хозяйственной жизни Собрания Н. М. Лялин стал диктатором. Диктаторство его в общем сносили довольно безропотно, зная, что никто другой столько своего времени и работы отдавать этому делу не будет. Меньше чем в год внутренность Собрания он привел в полный порядок. Был произведен капитальный ремонт. В столовой был поднят потолок, был отделан вход, вместо старой деревянной лестницы появилась мраморная, с красивыми чугунными перилами, в некоторые комнаты была куплена новая мебель, в некоторых заново перебита, была заведена парикмахерская и приведены в надлежащий вид умывальная и уборная. Все это было сделано, конечно, на наши офицерские деньги, но долгосрочный кредит достал Н. М. Лялин. Одним словом, из грязноватого и запущенного, Собрание стало чистеньким и вполне презентабельным.

Буду теперь описывать собрание в его реформированном виде, в том виде, в каком оно было, когда полк вышел на войну.

Прямо из передней, двери вели в небольшой белый зал, окна которого выходили на двор, официально называвшийся «двор полковой канцелярии». Посередине в простенке между окнами, на круглой колонке красного дерева стояла бронзовая модель

памятника, поставленного на Кульмском поле в память сражения под Кульмом в 1813 году. В этом сражении, предшествовавшем Лейпцигской «битве народов», главным образом потрудилась русская гвардия, и в частности Семеновский полк. Модель эта (пирамида на постаменте, около полуаршина высотою), на которой выгравированы имена павших в этом сражении офицеров, была поднесена офицерами командиру полка генералу Потемкину, командовавшему полком в этом бою и очень любимому и солдатами и офицерами. Интересная подробность — Потемкину было тогда всего 25 лет. Впрочем, один из военных министров Александра I кн. Ливен был еще моложе. Ему было 23 года. Семьею ген. Потемкина модель эта впоследствии была возвращена полку.

В противоположной стене от входа, ближе к окнам, висела средней величины картина, изображавшая известную сцену, как солдат Семеновского полка, 17-летний Суворов отказывается принять рубль от императрицы Елизаветы Петровны на том основании, что военный регламент запрещает солдату принимать деньги, когда он стоит на часах. Картина эта была подарена полку командиром полка генералом Мином, еще в бытность его полковником.

На стене слева от входа были прибиты мраморные доски со словами государя Николая II, обращенными к полку. Мебель в этом зале были легкие диванчики и стулья красного дерева, обитые зеленым сафьяном.

Этот маленький зал, (маленький и единственный) служил для официальных представлений, или для встречи всеми офицерами in corpore очень высоких особ, не ниже «большого» Вел. Князя. Остальных особ, ниже рангом, кому по уставу полагалось рапортовать, в этом же зале встречал один дежурный по полку.

Из этого зала вели две двери, от входа прямо и налево. Дверь прямо вела в маленькую гостиную, где стояла мягкая мебель и где иногда, на моей памяти довольно редко, играли в карты, в винт или в бридж. Как общее правило, никакие азартные игры в Собрании не допускались. Два окна этой гостиной выходили также на двор.

Из этой гостиной вела одна дверь прямо в дежурную комнату, где стояло несколько стульев, письменный стол, боком к окнам, телефонная будка, стол посередине, а по стенам до потолка библиотечные шкафы. В полку была очень приличная библиотека, частью приобретенная, частью подаренная офицерами, и настоящими и ушедшими, доходившая до 3.000 томов. В ней хорошо были представлены отделы: литературный, военный и

иностранный. Номинально заведывал библиотекой один из офицеров, но выдавал и принимал книги «библиотекарь», назначавшийся обыкновенно из старших воспитанников Школы солдатских детей. От Собрания он получал какое-то небольшое жалованье и стол, а в то время, когда не занимался библиотекой, состоял в постоянных ординарцах у дежурного по полку. Исполнял он и другие поручения по письменной и счетной части. Помню, последним библиотекарем был Ваня Медов, 18-летний юноша, удивительно способный и толковый.

Кроме этой библиотеки полк располагал еще другой в 4.000 томов, подаренной бывшим офицером полка ген. — адъютантом Семекой. За неимением места, шкафы с книгами этой библиотеки стояли наверху в корридоре полковой канцелярии.

Из дежурной комнаты вели две двери, налево в буфет и прямо в маленькую комнату с одним окном и с двумя диванами по стенам, где дежурный по полку и его помощник могли ночью «отдыхать» не раздеваясь. Эта комната сообщалась с парикмахерской и с умывальной.

По фасу «двора полковой канцелярии» мы дошли до конца. Теперь пойдем назад.

Из маленького белого зала дверь налево вела в длинную, но довольно узкую комнату, проходом разделенную пополам. Ближе к окнам, выходившим в Автомобильный переулок, была читальня, а в правой, темной половине стоял бильярд, а по стенам, над высокими бильярдными диванами, висели в несколько рядов в резных деревянных рамах портреты всех командиров полка, начиная с основания, счетом 65.

В каждом доме, сколько бы в нем удобных комнат ни было, всегда имеется одна любимая, где члены семьи преимущественно и сидят. В Собраньи публика сидела больше всего в читальной, куда могли подаваться и чай и кофе, а иногда и вино. Комната эта была, действительно, уютно устроена и весьма располагала к тому, чтобы в ней посидеть. По обеим сторонам у стен стояли широкие и длинные, сажени в две, диваны, крытые ковром, на которых улечься или усесться с ногами было одно удовольствие. У окон стояли ковровые же широкие и низкие кресла, также весьма и весьма уютные. Между ними у окон стоял шахматный столик. За ним иногда играли в шахматы, но чаще в трик-трак и кости. Между диванами вдоль всей комнаты стоял длинный, крытый коричневым сукном дубовый стол. В читальне все было коричневого цвета. На столе были разложены русские газеты и журналы: «Новое Время», «Русский Инвалид», «Разведчик», «Нива», «Огонек». «Синий Журнал» и «Сатирикон». Из толстых журналов были там: «Вестник Иностранной Литературы»,

«Исторический Вестник» и «Русская Старина». С этим последним журналом полк был близко связан, т. к. одним из его владельцев был ген. Зыков, а одним из его главных редакторов его сын, А. С. Зыков, наш офицер, кончивший в свое время две академии, Военную и Юридическую, и при моем поступлении командовавший 12-ой ротой, а на войне 3-м батальоном.

Кроме русских имелись и иностранные журналы: французский «L Illustration», немецкий «Die. Woche» и английские «The Tattler» и «The Graphic».

Из офицеров почти все свободно читали по-французски, очень многие хорошо знали немецкий язык и человек 5–6 знали английский.

По стенам над диванами в читальной висели под стеклом акварельные рисунки полковых форм солдат и офицеров, начиная со времен Петра и до последнего царствования. Если не ошибаюсь, это был подарок императрицы Марии Федоровны. В читальню офицеры обыкновенно заглядывали перед тем, чтобы идти завтракать или обедать. Туда же собирались и после завтрака, перед тем как идти на послеобеденные занятия в роты. Там была «главная квартира» дежурного по полку и помощника, особенно но вечерам. В читальне за большим столом устраивались офицерские занятия и «военная игра». Там же, убрав стол, и поставив между диванами стулья, а у окон конторку лектора, устраивались домашнего характера «сообщения», на военные и другие темы. «Домашнего характера», т. е. такие, присутствие на которых было необязательно. Пишущий эти строки делал два раза сообщения именно в читальной. Сообщения более официального характера, уже в присутствии командира полка и выше, делались в столовой. В противоположность клубам, где в читальнях полагается соблюдать тишину, в нашей никакой тишины не соблюдалось, разговаривали, а иногда спорили весьма оживленно.

Из маленького зала через бильярдно-читальную проходили прямо в зеленую гостиную, откуда, налево был музей, а направо маленькая проходная комната, где иногда играл оркестр, и дальше большая столовая. Все окна по этому фасу, т. е. музея, зеленой гостиной, проходной и столовой — выходили на Загородный проспект. В зеленой гостиной стояла зеленая мебель, рояль, а на стенах висели большие масляной краской портреты Екатерины II, копия с известного портрета Лампи, — и императоров Александра I, Николая I и Александра III. В этой комнате происходили обыкновенно «общие собрания» офицеров, высший орган по управлению офицерской жизнью, вне строя и службы.

В этой же зеленой гостиной иногда после сиденья в столовой собирались около рояля пианисты и певцы и устраивались импровизированные концерты, с номерами сольными и хоровыми.

О нашем полковом музее можно или сказать несколько слов, или написать о нем книгу. Он был сравнительно очень богат и имелись в нем такие бесценные исторические реликвии, как остатки полковых знамен времен Петра, собственноручные его указы, мундир офицера полка Талызина, в который оделась Екатерина II, когда во главе гвардии выступила, из Петербурга в Ораниенбаум свергать своего мужа Петра III, и многое другое. Собирался музей тщательно и с большой любовью целым рядом заведующих и был он доступен не только для офицеров. Все ученики «Учебной команды», будущие полковые унтер-офицеры, попутно с прохождением в команде курса русской истории и в частности полковой истории, со своими офицерами ходили в музей, где все им показывалось и объяснялось. Водили их туда обыкновенно маленькими группами, человек в 10–15, причем попутно им показывалось и Собрание, т. е. все то, что имело в нем историческую ценность. Водить в музей всех солдат полка не имело смысла. Для посещения музея с пользой, нужна все-таки некоторая подготовка и некоторый культурный уровень, которым в массе своей наши солдаты, увы, не обладали.

Как Собрание своим относительным благоустройством было обязано Н. М. Лялину, так и музей своей полнотою и порядком был всецело обязан Н. К. Эссену, который заведывал им с 1906 года и до конца и посвящал своему любимому детищу буквально все свое свободное время.

С Николаем Эссеном мы в 1905 году вместе вышли в Полк из Павловского Военного Училища, он из 2-ой роты, я — из роты Е. В. Зная, что мы выходим в один полк, мы уже на старшем курсе познакомились и он в ближайший праздник позвал меня к себе. Он жил тогда с отцом, также бывшим Семеновцем, в казенном доме Комендантского Управления (Садовая 3). Когда я пришел к нему, он увел меня в свою комнату и там первым делом подвел меня к деревянной витрине, где за стеклом в блестящем порядке были у него разложены гравюры, медали и миниатюры, все эпохи от начала 18-го и до начала 19-го века и все имевшие близкое отношение к нашему Полку. Полковые истории Писарева и Дирина он уже тогда знал на зубок, а было ему в это время около 18 лет… С какого возраста он почувствовал влечение к истории, трудно сказать, вероятно, с тех пор, как научился читать. По выходе в Полк Н. Эссен сразу же был назначен помощником заведующего музеем, а через год музей поступил в его

единоличное владение. Постепенно специализировавшись на эпохе от Петра до Николая I, работая и в нашем и в других музеях, кроме того постоянно читая и покупая исторические книги, Н. Эссен достиг, наконец, того, что ему можно было показать портрет или миниатюру любого сколько-нибудь известного деятеля этой эпохи, и он безошибочно определял, кто это, и тут же сообщал его точнейшую биографию. В Петербургском обществе этих времен, он чувствовал себя, как в своей семье. Дошло до того, что известный историк Вел. Кн. Николай Михайлович неоднократно вызывал его 23-летнего поручика на консультации и очень считался с его мнением. Избери Эссен другую дорогу в жизни, из него, конечно, вышел бы историк-исследователь крупного всероссийского имени.

Хотя это и не имеет прямого отношения к моей теме, описанию нашего Собрания, не могу удержаться, чтобы не написать о Н. К. Эссене еще несколько строчек. На войну он вышел в чине штабс-капитана, командиром 3-ей роты, затем принял Е. В. роту и к концу войны был произведен в полковники, получив в командование 1 батальон. Умиляя всех, и солдат и офицеров, своим олимпийским спокойствием, хладнокровием и невозмутимостью, он дрался абсолютно во всех боях, в которых принимал участие наш полк, почти не ездил в отпуск, и упорно не желал уходить из строя. Он был один из тех 4 или 5 офицеров, которым посчастливилось или не посчастливилось, ни разу за всю войну не быть раненым… Не пострадал он и в революцию. А несколько лет спустя, спокойно живя в Ревеле, случилось так, что он попал в трамвайную катастрофу и ему отрезало ногу.

Какая судьба постигла наш полковой музей, мне точно неизвестно. Есть, однако, полная надежда, что он не погиб и что все его ценности переданы в Государственные музеи.

Из зеленой гостиной, в противоположную сторону от музея, двери вели в маленькую проходную комнату, где на стенах висели группы и фотографии из полковой жизни, и дальше в столовую. Эта столовая, самая большая комната в Собраньи, была настолько велика, что могла вместить и вмещала до 130–150 обедавших. На противоположной от входа стене, прямо посередине, висел большой поясной портрет державного основателя полка Императора, Петра Великого, в темной дубовой четырехугольной раме. На нем император был изображен в зеленом кафтане, с синим Семеновским воротником. По бокам его висели небольшие в овальных золотых рамах портреты императора Николая II в нашем мундире и императрицы Александры Федоровны.

С левой стороны от входа, в простенках между окнами, в

золотых рамах, между прочими, висели масляные портреты В. Кн. Николая Николаевича старшего, при жизни числившегося в Полку, и двух бывших командиров: Кн. Святополк-Мирского и Гр. П. А. Шувалова.

На стене справа от входа, в глубине, лицом к окнам, висела очень большая картина, изображавшая бой под Лесной. История этой картины такова. Приблизительно за год до 200-летнего юбилея этого боя (28 сентября 1708 г.), в котором главным образом Семеновским полком был разбит шведский отряд Левенгаупта, боя, который Петр назвал «матерью Полтавской победы», старые Семеновцы, по инициативе П. П. Дирина, решили подарить полку картину с изображением этого сражения. Картина была заказана известному тогда художнику баталисту Мазуровскому за 3.000 рублей. Для исторической верности все формы, как русские, так и шведские, были списаны с образцов, хранившихся в музеях. А чтобы не выдумывать лица, все фигуры на переднем плане были списаны с офицеров и солдат полка, которые пачками ездили в мастерскую художника, облачались там в старые формы и позировали в группах и поодиночке. Так на картине оказались изображенными поручики Леонтьев, Шарнгорст, Эссен, Бржозовский и полковой штаб-горнист Хижий. Пишущий эти строки опоздал к первым сеансам и все стоячие фигуры, когда он явился, были уже написаны. Поэтому его положили на пол и изобразили в качестве убитого шведа под копытами серого коня.

Под картиной была прибита, бронзовая дощечка с именами всех старых Семеновцев, принимавших участие в подарке.

Большой обеденный стол стоял покоем, так, что середина узкой части буквы П приходилась под портретом Петра, а два длинных конца шли один параллельно к окнам, а другой вдоль стены, где висела картина «Бой под Лесной». В другом конце столовой, ближе к проходной комнате, посередине, стоял узкий и очень высокий закусочный, стол. Высоким он был сделан нарочно, чтобы никому не пришло в голову поставить около него стул. Пить водку и закусывать полагалось стоя. Вправо от закусочного стола, был ход в буфет, а около него стояла конторка буфетчика.

В простенке (из проходной комнаты) налево от входа, между дверью и окнами, был вделан большой резной дубовый шкаф, где за стеклом хранились серебряные и хрустальные жбаны, братины, блюда и кубки, в свое время подаренные полку. Были подарки великих князей, бывших командиров, других полков и даже одна огромная поволоченная овальная чаша, подаренная Бухарским эмиром. В мое время установился обычай, что каждый офицер,

уходящий из полка с жетоном, т. е. остававшийся членом Собранья и после ухода, — дарил, на память о себе в Собранье какую-нибудь хрустальную или серебряную вещь. Таким образом дубовый шкаф быстро наполнялся. Кроме этого серебра в Собранья имелось богатейшее, чуть ли не на полтораста человек, столовое серебро, ножи, вилки, ложки и стаканы. Большая часть этого серебра была именная. Образовалось оно таким образом. Еще за много лет до моего выхода, Общим Собранием было постановлено с каждого выходящего в Полк офицера удерживать по 60 рублей и на эти деньги приобретать столовые и дессертные нож, вилку и ложку, и кроме того стакан в виде кубка, всего 7 предметов. На всех этих предметах гравировалось имя офицера и год его выхода в Полк. Если офицер уходил из Полка не по хорошему, то-есть не оставаясь членом Собранья, фамилия его с серебра стиралась. Когда на больших обедах вынималось это именное серебро, то разложить его так, чтобы каждый получил свое, было, конечно, немыслимо. Раскладывали, как попало. И вот любимой игрой офицеров было рассылать ложки, ножи и вилки по адресу. В последние годы этого именного серебра накопилось столько, что полного комплекта из 7 вещей уже не заказывали, а делали или столовый прибор, или дессертный, или стакан. На остальные деньги держался в порядке собранский инвентарь: столовый хрусталь, который был очень хорош, и который «собранские» безжалостно кокали, и столовое белье, скатерти и салфетки, которое было также отличного качества, с вытканным полковым вензелем, но которое безжалостно прожигалось папиросами и изнашивалось от частой стирки. Также не малую часть крупных собранских расходов составляло поддерживание в порядке собранской посуды. Вся она заказывалась на фарфоровом заводе Кузнецова и на всех предметах, начиная от кофейных чашек и до самых больших тарелок, была синяя каемка полкового цвета и синий полковой вензель, два перекрещенных латинских «Р», т. е. Petrus Primus.

Миски, супники, блюда и подносы, были или серебряные или посеребренные. На всем этом также был выгравирован полковой Петровский вензель. Буфет был довольно большая комната, где, помню, было несколько белых столов, шкафы для посуды и плита для согревания чая и кофе. Из буфета вниз в кухню была проведена разговорная труба, через которую во время завтрака собранские то и дело кричали:

— Ало, ало, два бифштекса, ало, три антрекота и два омлета…

И т. д. Я долго думал, что ало — есть ни что иное, как обыкновенный телефонный вызов «алло», но затем мне

разъяснили, что «Алло» есть фамилия повара. Через четверть века, проживая в эмиграции в Буэнос-Айресе, я узнал, что в одном из местных ресторанов дают отличную русскую еду, и что поваром там состоит г-н Алло, бывший повар «Великого князя». Нужно заметить, что те русские повара заграницей, которые имели скромность не претендовать, что до революции они работали у самого царя, ниже «великого князя» обыкновенно все же не опускались. Как-то отправились мы с женой в этот ресторан и я получил огромное удовольствие, съев обыкновенный собранский 90-копеечный обед из борща, куска гуся с капустой и шариков из легкого теста в шоколадном соусе, которые у нас на меню носили громкое название «профитроль». Хотя я никогда в полку Алло не встречал, я все-таки пошел после обеда в кухню и мы долго жали друг другу руки. В качестве эстонца, он и раньше-то по-русски был, наверное, не горазд, а теперь и совершенно разучился. И зачем он вообще эмигрировал из России — уму непостижимо.

С описанием буфета, описание нашего полкового Собрания, собственно, заканчивается. Остаются парикмахерская, умывальная и уборная, но эти учреждения, когда они содержатся чисто, всюду одинаковы. Остается еще кухня в подвальном этаже. Но нужно признаться, что за 9 лет службы в Полку, постоянно бывая на солдатских кухнях, попасть на офицерскую я ни разу не удосужился.

Наше лагерное собрание

Лагерное собрание было выстроено за несколько лет до моего выхода в Полк на средства офицеров, причем строил его безвозмездно архитектор Пронин, брат двух офицеров полка А. С. и Б. С. Прониных. И извне и внутри оно было очень красиво, поместительно и производило отличное впечатление. По общим отзывам, оно было лучшее из всех летних собраний всего гвардейского корпуса.

Я затрудняюсь сказать, в каком оно было стиле, но так часто строились большие богатые дачи или загородные клубы.

Дом был деревянный на высоком каменном фундаменте, двухэтажный, с вышкой в виде башни, с площадки которой открывался дивный вид на Красное, на лагери и на все окрестности, радиусом верст на тридцать. На шпиле башни, когда Полк был в лагерях, постоянно развевался синий полковой флаг с желтым полковым вензелем, латинские перекрещенные «П», Петрус Примус. Эта площадка была, самая высокая точка в Красном и флаг был виден отовсюду.

Широкое и глубокое крыльцо поднималось над землей ступеней на 8, на 10. Помню это хорошо, потому что, когда мы, молодые, случалось прыгали с верхней ступеньки прямо на землю, то летели по воздуху довольно долго. И крыльцо и лестница были обнесены широкими и массивными перилами.

С крыльца большие двойные двери вели в переднюю. Как во всех зданиях этого типа, все стены внутри Собрания были голые, деревянные, все балки, карнизы и доски покрыты светло-желтой краской и лаком, что на солнце было особенно красиво.

Из передней слева, сбоку подымалась широкая, с поворотом и площадкой, лакированная лестница в верхний этаж. Из передней же двойные двери вели: налево в бильярдную, направо в читальню, где стояли соломенные кресла и где на круглом столе посредине лежали, газеты, журналы, и «книга заявлений», и прямо — в очень большой двухсветный зал, служивший столовою. В этот же зал можно было войти через двойные двери из читальни и через маленькую одностворчатую из бильярдной. Когда кто-нибудь из молодежи по неуважительной причине опаздывал к обеду и приходил тогда, когда все, во главе с командиром полка, уже сидели за столом, рекомендовалось проникать в зал через бильярдную дверь, т. к. с командирского места эту дверь можно было видеть только повернувшись на 90 градусов.

На ширине бильярдной комнаты, небольшая часть зала отделялась от главной части сквозной перегородкой из балок,

которая шла поверху, на высоте приблизительно метров 4–5, и спускалась в краям. Этой верхней перегородкой весь зал как бы разделялся вдоль на две неравные части, узкая — односветная и широкая — двухсветная. Стекла окон в узкой части были разноцветные, с рисунками, что при закате солнца давало всему залу необыкновенно красивое освещение.

В узкой части зала, вдоль цветных окон, стоял длинный закусочный стол, а параллельно ему, в главной части — большой обеденный стол, загибавшийся углом вдоль противоположной от входа стены. По середине шедшей поверху сквозной переборки из желтых лакированных балок, как раз над серединой обеденного стола, висел большой масляный портрет Петра Великого, родной брат того, который висел в зимнем Собрании. Никаких других портретов, а тем более картин, в большом зале не было. Те же портреты царя и царицы висели в читальной. Под портретом Петра, по самой середине стола, лицом к терассе, было место командира полка. Насупротив его, липом к цветным окнам сидел старший полковник. Направо и налево от них садились по старшинству полковники и капитаны. На конце, загибавшемся под углом, сидела молодежь. В зале в стене против Петра, как раз посередине двойные стеклянные двери вели на очень большую, почти такой же величины, как зал, крытую полукруглую террасу, выходившую в сад. В хорошую погоду на этой террасе почти всегда ужинали и очень часто обедали.

В противоположной от читальной стене двойные двери вели в корридор, откуда налево было большое помещение буфета, а направо, выходившая окнами в сад, маленькая столовая для вольноопределяющихся, кладовая, большая умывальная комната и уборная. Корридор выходил на заднее крыльцо, откуда асфальтовая дорожка вела в кухню, помещавшуюся в отдельном домике, немного позади главного здания.

Над дверью, ведшей в корридор и в буфет, во втором этаже, помещались полуоткрытые хоры, отделявшиеся от зала массивной деревянной решеткой. В парадных случаях на хорах располагался хор музыки. Посередине хор в зал выступал маленький балкончик, как бы нарочно сделанный для оратора или проповедника. Но если таковые и имелись, то были в полку без надобности; единственное лицо, которое стояло иногда на балкончике, и то спиною к залу, был дирижер, ст. музыкант Матвеев.

В лагерях электричества не полагалось. Освещать солдатские палатки электричеством, было бы, приблизительно, так же неуместно, как провести туда воду. Не было электричества и в Собранья. В первую половину лета по вечерам было настолько

светло (белые ночи), что вообще никакого освещения не нужно было. А с половины июля во время ужинов в зале на столе зажигали свечи в бронзовых канделябрах, что в большом, высоком и темном зале было очень красиво. Когда в это время года ужинали на террассе, то на стол ставили свечи с колпаками, что на фоне темного сада было также очень, красиво. Во время же больших обедов в зале зажигали керосино-кадильные фонари, которые слегка шипели, давали избыток белого пронзительного света и были достаточно безобразны. Помню, что когда их в первый раз повесили и зажгли, то председатель Распорядительного комитета Н. М. Лялин, человек хозяйственный, но вкусом не отличавшийся, был своим нововведением очень горд. Большинство же считало, что с этими фонарями наш прелестный обеденный зал стал весьма походить на цирк или на манеж. Но с Н. М. Лялиным спорить было трудно. Все равно сделает по своему.

Ход во второй этаж шел из передней. Туда вела отлогая широкая, с площадкой и поворотом лестница, с массивными перилами, как и все в Собрании, светло-желтого полированного дерева. В передней части верхнего этажа, над передней и над читальней, было два кабинета с мягкой мебелью, оба с балконами. Балкон кабинета, где стояло пианино, был прямо над подъездом. Балкон другого — выходил в сад. Из кабинета над читальней, открытая галлерея вела в две отдельные комнаты, приходившиеся над задней частью Собрания. В первой из них жил хозяин Собрания — офицер, а во второй вольнонаемный буфетчик.

Собранская терасса выходила в сад, который был довольно велик и подходил вплотную к шоссе, идущее из Царского Села в Красное. У самого шоссе стояла старая беседка, но, насколько помню, никто там никогда не сидел. В глубине сада была теннисная площадка, но содержалась она плохо и вследствие этого почти никто в теннис не играл, хотя из молодежи были хорошие игроки. Сбоку от тенниса был гимнастический городок, с лестницей, трапецией и кольцами. Тут же стояли параллельные брусья. За теннисной площадкой и гимнастикой был устроен кегельбан. Он был в хорошем состоянии, но, насколько помню, за всю мою лагерную службу офицеры играли в кегли раза два или три.

Иван Андреевич Литовёт

Человек неопределенного возраста, можно дать и 40 и 60. Высокий, лысоватый, еще довольно стройный, но уже сильно сел на ноги. Лицо темное, частью от природы, частью от скудного употребления мыла. Вид мрачный. Не разговаривает, а бурчит. Если начнешь с ним шутить, что-нибудь буркнет и уходит и только в самых исключительных случаях улыбнется застенчивой, детской улыбкой.

Одет всегда одинаково: довольно грязноватые воротничек и манишка, блестящий от долгого ношения фрак, старые огромные штиблеты на мягкой подошве и нитяные перчатки, которые когда-то были белыми.

Молодые офицеры называют его на «Вы», старшие — на «Ты».

Как-то при мне один из полковников, в виде дружеского совета, сказал ему:

— Литовёт, Ты бы в баню сходил!

— Я был, — буркнул тот.

— Когда?

— Прошлый месяц. В субботу опять пойду!

И на разбитых ногах, лакейской рысцой побежал дальше.

Литовёт единственный вольнонаемный статский лакей в Офицерском Собрании. Раньше их было, кажется, больше. Когда я вышел в Полк, в 1905 году, был еще один, Григорий, но тот вскоре куда-то исчез.

Не знаю точно, сколько времени служил в Собрании Литовёт, но что-то очень долго, во всяком случае не меньше двадцати лет.

Был он холост, жил и спал в комнате при буфете, и никакой частной жизни, по-видимому, не имел.

Всего раз, помню, видел я его не в Собраньи. В побуревшем пальто и порыжелом котелке, он, как-то раз, прошмыгнул мимо меня по тротуару на Загородном и сконфуженно раскланялся, точно ему было неловко, что знакомый человек встретил его в таком неподобающем месте, как улица.

Дела у Литовёта было не так уже много. В обыкновенные дни от 12 до 1 ч. подать; вместе с другими, завтрак человекам 30-ти, а около 7 часов вечера, обед человекам 7 или 8. Вот и все. Вся чистка и уборка лежала на молодых расторопных «собранских», которые все до военной службы работали по лакейской части, кто в ресторанах, кто в частных домах. Все эти «собранские» относились к старику с почтением и, если бы только он хотел, он мог бы вообще ничего не делать. Но старик был трудолюбив. Всегда, бывало, что-нибудь перетирает или начищает. А во время

завтрака случалось, бывало вырвет блюдо у какого-нибудь белорубашечного вестового, буркнет:

— Оставь, сам подам! — и несет.

Если несколько офицеров засидятся в Собрании до полуночи и за полночь, прислуживает им непременно сам Литовёт. Бывало, говорят ему:

— Литовёт, идите Вы спать, ведь есть же дежурный!

Буркнет:

— Я не устал! — И все-равно не ляжет, пока последний не уйдет и не потушат огни.

Кроме профессиональной амбиции и усердия, была этому и еще одна тайная причина. Литовёт любил выпить и превыше всего ценил шампанское. А так как после долгого «сиденья» в стаканах всегда оставалось порядочно, то все эти стаканы он на подносе тащил в свою комнату, из опасения, что глупые «собранские», в шампанском толка не понимавшие и, естественно, предпочитавшие водку, могут кощунственно выплеснуть благородную влагу в помойку.

Раз как-то в вечер такого «сиденья», когда за столом было не столько «выпито», сколько подано открытыми, бутылок 25 шампанского, мне случилось быть помощником дежурного по полку. Сидели очень долго, часов до 4-х утра. Литовёт, как полагается, лег спать последним. В качестве должностного лица, пил я мало и в восьмом часу позвонил, чтобы мне дали кофею. На звонок никто не пришел. Через несколько минут пошел узнать, в чем дело. В буфете не было ни души. Дежурный ушел, наверное, вниз в кухню, а остальные «собранские» еще не появлялись. На всякий случай сунул нос в Литовётову берлогу. Картину, которую я увидел, никогда не забуду. На столе стояло два больших серебряных подноса, сплошь уставленных недопитыми бокалами. Было их штук 60, не меньше. Спиной к двери в исподнем платье стоял старый Литовёт и через воронку сливал содержимое бокалов в бутылки, которые тут же закупоривал. В комнате, кроме присущего Литовётову помещению духа, стоял противный кислый запах давно разлитого шампанского. Я поскорее закрыл дверь и меня он не видал.

Как-то раз спросили его шутя, какую марку он предпочитает.

— Уайт Стар, другого не пью, — был ответ.

Но это он, разумеется, сочинял. Вряд ли он мог различать марки шампанского иначе, как по бутылке. Он с одинаковым удовольствие сосал и «Monopole Sec» и «Cordon Vert», одним словом всякую марку, которая в данное время была в моде в Собраньи.

Вообще под словом «вино» Литовёт понимал исключительно

шампанское. Как-то раз в самый обыкновенный день, за завтраком я сказал ему:

— Литовёт, да я у Вас красного просил!

— Так бы и сказали! — буркнул старик с явно недовольным видом.

Бутылку, разумеется, пришлось выпить.

Ко всем офицерам Литовёт был не ласков (ласков он быть вообще не умел), а внимателен. Но были у него и любимцы. Главным обратом те, которые больше пили. Им он прислуживал особенно охотно. Но чинопочитание соблюдал строго, и старшим всегда подавал раньше, чем молодежи. Ревностно блюл полковые порядки.

Большой обеденный стол в Собраньи стоял покоем, узкая середина и два длинных конца. В средней части центральное место, как раз под большим портретом Петра, было место командира полка, обыкновенно пустовавшее. Ближе к нему садились старшие, молодежь сидела на концах, чем моложе, тем дальше к концу.

Помню раз как-то мой ротный командир А. А. Швецов разговаривал со мной в читальне и мы оба, разговаривая, прошли в столовую завтракать. А. А. сел на одно из мест недалеко от Петра и любезным жестом показал мне на место рядом с собою. Хоть я и чувствовал, что сажусь не в свои сани (второй год службы), но раз капитан приглашает — сел.

Подошел Литовёт. Заказали мы по завтраку. Швецову его «сижки обернуар» были поданы моментально, а я сижу и жду. Жду, жду, наконец, мне надоело.

— Литовёт, дайте же мне завтрак!

Буркнул что-то и ушел. Опять жду. В конце концов вступился за меня сам А. А.:

— Литовёт, дай же поручику завтракать, наконец.

Подошел Литовёт, наклонился к моему уху и буркнул:

— Я Вам давно туда подал! — и показал головой на подпоручичий конец. Пришлось идти на свое место.

* * *

Строго говоря, вольнонаемные лакеи были в Собраньи не нужны. Из двух тысяч солдат всегда можно было выбрать 5–6 расторопных молодцов, уже раньше знакомых с этим делом. Служить в Собрание шли очень охотно. Отличная офицерская еда, чистая и легкая служба и в материальном отношении не безвыгодно. За «недовольствие из котла», как говорили солдаты

«за неудовольствие», полагалось каждому около 3 рублей в месяц. Собрание от себя давало по 5, а кроме того чаевые…

Но отпустить Литовёта было совершенно немыслимо. Он был собранская реликвия и никакой Распорядительный комитет на это бы не решился. Кроме того он был сам Семеновец, старый солдат 9-й роты.

6-го декабря 9 рота праздновала свой ротный праздник. В роте был образ Николая Чудотворца. После молебна в роте и официальной части с поздравлениями, командир роты, офицеры и раньше служившие в роте, пришедшие на молебен, все в полной парадной форме, шли в собранье завтракать.

По случаю торжественного дня командир роты ставил «вино». Прислуживал всегда Литовёт и ему неизменно подносился стакан его любимого напитка.

* * *

Великая вещь умереть вовремя. Повезло в этом отношении и Литовёту. Говорю «повезло», потому что не представляют себе, что бы он мог делать после революции… Он был совершенно одинок, в частные дома поступить было уже невозможно, в рестораны его бы не взяли, он был слишком стар и слаб на ноги… Другой работы он не знал. Предстояло бы ему кончить свою жизнь босяком…

Но судьба над ним смилостивилась. Года за два до войны, зимой он простудился и заболел воспалением легких. Поместили его в хорошую больницу, платную, каждый день от Собранья приходили его навещать — не нужно ли ему чего-нибудь. Но и это не помогло. Болезнь бросилась на почки. А тут сказалось долголетнее пристрастие к «шипучему». Открылся нефрит и через несколько дней Литовёт помер.

Хоронили его все офицеры. Они же и поставили ему на могиле чугунный крест с надписью:

«Старому слуге офицерского Собранья
И. А. Литовёту, Офицеры Семеновского Полка».

Христофоров

Человек лет под 50, маленький, толстый, лысый, большие рыжие усы, на кончике носа очки в белой оправе.

Одет неизменно в белую тонкую солдатскую рубашку, без малейшей складочки на толстом животе. На рубашке красные погоны с золотой фельдфебельской нашивкой. Фигурой и лицом необычайно похож на белую морскую свинку.

Говорит очень быстро, охотно и с хорошо знакомыми офицерами не прочь посплетничай, о полковых делах, которые знает в совершенстве. Характер веселый и смешливый. В разговоре часто хихикает, но отнюдь не подобострастно, а скорее сообщнически… Знает себе цену.

Со старшими офицерами почтительно фамильярен, к младшим относится ласково-покровительственно. И «Ваше Превосходительство» и «Ваше Высокоблагородие» и «Ваше Сиятельство» — выходят у него на одни манер, как-то «Высс», похожее даже не на слог, а на нечленораздельный звук.

Писаря у него ходят но струнке, хотя никто никогда не видал, чтобы он накладывал на них взыскания, или даже строго с ними говорил.

Сколько лет он носил полковую форму, никто кроме него самого, кажется, не знал. Было известно, что кончил он в свое время полковую «Школу солдатских детей» и поступил в канцелярию писарем, но случилось это 25 или 30 лет тому назад, никто хорошенько сказать не мог, так как самый старший полковник поступил в полк уже при нем.

Владимир Васильевич Христофоров, старший писарь Строевого Отделения Полковой Канцелярии, официально правая рука полкового адъютанта, а неофициально — его наставник и учитель. Если принять во внимание, что при необычайной памяти и добросовестности он пересидел, по крайней мере, 12 полковых адъютантов, 6 или 8 командиров полка и десятка полтора начальников дивизии, можно себе представить, какой склад всевозможных постановлений, приказов, приказаний и распоряжений хранился у него в голове.

Вся строевая часть полкового приказа, все, что офицера непосредственно касается, все назначения, увольнения, командировки, отпуска, болезни, дежурства, караулы — все это проходило через его руки.

Бывало, клеят тебя несколько раз в месяц в караул в «Экспедицию Заготовления Государственных Бумаг», караул и далекий и скучный… Пойдешь наверх в канцелярию «выяснять».

(Это уже начиная со второго года службы. В первый год вообще разговаривать не полагалось. Назначили и иди!).

— Христофоров — или — Влад. Вас., опять меня в экспедицию закатили!

— Ей-Богу, Высс…, это полковой адъютант распорядились!

И хоть знаешь, что все наряды ведет он, особенно, когда адъютант с ленцой, — ничего с ним не поделаешь…

Начальник учебной команды, Шт. — капитан Алексей Матвеевич Поливанов был образцовый служака, но человек горячий. Чуть что, бывало, багровеет в лице, задыхается и придушенным, полным страдания голосом начинает вопить.

Весна. В учебной команде идут усиленные занятия перед экзаменами. Каждый час на счету. И вдруг, в проекте приказа вся команда по караулам! Это значит два дня пропало, день караула и второй день отдыха, как полагается по уставу.

«Матвеич» сжимает кулаки и наклонив голову, как бульдог, летит в полковую канцелярию.

— Где этот Христофоров? Давайте мне Христофорова!

С невинно-удивленным лицом появляется Христофоров.

— Послушайте Христофоров, Вы скажите, Вы это нарочно? Вы это на зло мне делаете?!

— Высс…, Ей-Богу, это полковой адъютант!

— Давайте мне его сюда, полкового адъютанта!!!

— Вес…, Высс…, Ей-Богу, не извольте волноваться, они с командиром полка в кабинете заняты.

И показывает головой на закрытую дверь в адъютантский кабинет. А там, запершись, сидит адъютант один и ждет, пока «Матвеич» успокоится.

— Взорвать вас всех здесь, всю вашу канцелярию. Бомбу вам сюда!!! — шипит Матвеич.

— И ей-Богу, Высс…, напрасно волнуетесь… все они Вас знают. И сколько лет в полку служу, никогда такой учебной команды не бывало… Ей-Богу, Высс… все говорят!

— Врете Вы все, старая лисица!

Но похвала всегда приятна и начальник учебной команды, полууспокоенный, уходит.

Христофоров стучится в кабинет к адъютанту.

— Высс…, сейчас капитан Поливанов, ей-Богу, Высс…, умора… Всех нас чуть не разнес!

— А, может быть, их можно и не назначать?

— Высс… Никак нельзя. Команда всегда три раза в год в караулы ходит, а в этом году только раз ходили… Ей-Богу, Высс… им полезно… Практическое изучение устава гарнизонной службы!

И на этот раз уже откровенно хихикает.

Учебная команда в караул, конечно, идет.

Как сверхсрочный фельдфебель, Христофоров имел тут же, через корридор, против канцелярии, комнату, двойной солдатский паек и рублей 25 в месяц жалованья. В комнате у него я никогда не был, но по аналогии с другими фельдфебельскими помещениями, она должна была быть разделена на три части: гостинную, она же и столовая со столом, покрытым клеенкой, диваном и мягкими стульями, спальню и кухню. Жилищная площадь небольшая, но сам хозяин приходил домой только обедать и спать. В канцелярии он сидел с 8 утра и до 11 часов вечера, даже и в праздники.

Христофоров был человек семейный. Жену Христофорова я никогда не видал, но по корридору канцелярии иногда шмыгали рыженькие гимназистки, и исчезали в его двери.

Жить на 25 рублей в месяц, хотя бы и при квартире и пайке, — семейному человеку трудно, а потому из полковых сумм ему что-то уделялось. Кроме того существовало неписанное правило, что при каждом приятном событии в офицерской жизни, отмеченном в полковом приказе, — производство, отпуск, получение роты и т. д., — Христофорову презентовалось юбиляром от 3 до 5 рублей, а иногда и больше, по средствам каждого. Впоследствии дело это упростили и офицеры просто стали платить ему по 50 рублей в месяц, из своего кармана, установив на этот предмет особый вычет.

На войну Христофорова не взяли. Он был необходим для мирного времени, а для войны не годился.

Но и в Запасном батальоне в Петербурге, при весьма нестроевом командире П. И. Назимове и при прапорщике «со стороны» — адъютанте, при огромных комплектованиях и посылках в полк маршевых рот, — дела ему не прибавилось. К этому времени он был произведен в военные чиновники, но говоря со старыми офицерами еще долго сбивался на привычное «Высс…».

Войну Христофоров переживал плохо. В сентябре привезли раненым А. А. Рихтера, через несколько времени убитого Д. П. Коновалова, а на следующее лето Ф. Я. Сиверса. Все это были близкие ему люди, двое бывшие полковые адъютанты, один заведующий мобилизацией. Христофоров как-то сразу постарел, посерел, перестал хихикать и еще глубже ушел в свою канцелярскую писанину.

Февральская революция, как почти, всех его сверстников, старых слуг полка, его ошеломила. Писаря его немедленно же с восторгом нацепили на себя красные банты. Надел и он, но,

видимо, без всякого удовольствия.

Помню в конце июля, уже в статском платье, по делу захожу как-то вечером в канцелярию. В этот день как раз была у Мариинского дворца демонстрация солдатских толп, не желавших ни Константинополя, ни аннексий и ни контрибуций. Христофоров сидит за столом один и что-то по обыкновению проверяет. В канцелярии пусто. Все писаря ушли гулять.

Начали мы с ним говорить на злободневные темы.

— Высс…, г-н капитан, что же теперь будет?

— Да что же будет, Владимир Васильевич, проиграли войну, разве Вы сами не видите?!

— А что ж дальше-то будет?

— Как-нибудь выкрутимся… Велик Бог земли Русской!..

Больше я Христофорова не видал.

Когда настал октябрьский переворот и полк. Бржозовский умудрился превратить Семеновский полк в «Полк по охране Петрограда», Христофоров по-старому заведывал строевой канцелярией. В этих казармах на Загородном проспекте он вырос и состарился. Куда же ему было идти?

Что о ним случилось дальше — не знаю.

Разбивка гвардейских новобранцев — годы 1904–1906

Новобранцы, отобранные воинскими начальниками для службы т. Гвардии, начинали прибывать в Петербург партиями приблизительно в начале октября. Отбирались они по росту, сложению и состоянию здоровья. Это был, действительно, цвет русской молодежи, лучшее, что давала Россия в свои лучшие отборные войска.

Уже в начале октября в полковом приказе начинали появляться такие параграфы:

> «Сегодня в 5 час. вечера в Михайловском манеже Его Сиятельство командир Гв. Корпуса будет производить очередную разбивку новобранцев. Для приемки новобранцев от полка нарядить и выслать к указанному часу в манеж по четыре унтер-офицера от рот К. В., 5-ой, 9-ой и 13-ой.
>
> Для наблюдения за приемкой и для отвода новобранцев в казармы назначается подпоручик Н. Н., которому быть в обыкновенной форме. Для унтер-офицеров форма одежды — парадная при тесаках.
>
> Для вещей новобранцев нестроевой роте нарядить подводу, которой и пробыть к задним воротам манежа по Малой Итальянской к 7 часам вечера. Туда же к тому же часу прибыть хору музыки.»

* * *

К 5 часам вечера во всю длину огромного, освещенного манежа, стояло человек 800 парней в самых разнообразных одеяниях. Все построены по росту, в несколько рядов, один ряд от другого сажени на три. Все пострижены под машинку, шапки и картузы у всех в руках. Рядом с каждым на земле сундучок с пожитками. В манеже тепло. Слышен гул голосов, а от дыхания и прочих испарений все кажется как бы в тумане.

Разбивка было дело нелегкое. В Санкт-Петербурге стояли две гвардейские пехотные дивизии; первая — полки Преображенский, Семеновский, Измайловский и Егерский. И вторая — Московский, Лейб-Гренадерский, Павловский и Финляндский. Кроме того стояли два полка конницы: Кавалергардский и Конная гвардия.

Там же размещались: Гвардейская артиллерия, Гвардейский Экипаж, 3-й батальон стрелков и Гв. Саперный батальон.

В Царском Селе стояли Кирасиры Е. В. (желтые), Лейб-Гусары и три Батальона стрелков, 1-й, 2-й и 4-й Императорской Фамилии. В Гатчине квартировали Кирасиры Ее Величества (синие), а в Петергофе помещались Конно-Гренадеры, Уланы и Лейб-Драгуны.

Каждый гвардейский полк имел свой тип, который и начальством и офицерами всячески поддерживался и сохранялся в возможной чистоте. В Преображенцы подбирались парни дюжие, брюнеты, темные шатены или рыжие. На красоту внимания не обращалось. Главное был рост и, богатырское сложение. В Конную Гвардию брали преимущественно красивых брюнетов. Семеновцы были высокие, белокурые и «лицом чистые», по возможности с синими глазами, под цвет воротника. Когда-то «полк, Наследника Цесаревича Александра Павловича», в его время все солдаты подбирались под тип Великого Князя. На это обращал внимание сам Император Павел. Такого же, приблизительно, типа были Кавалергарды, только постройнее и половчее. Измайловцы и Лейб-Гренадеры были брюнеты, первые покрасивее, вторые пострашнее. Лейб-Егеря были шатены, широкоплечие и широколицые. Московцы — рыжие. В Павловцы шли не очень высокие блондины, а в память основателя — курносые. В гусары подбирались невысокие стройные брюнеты. Такой же тип сохранялся для стрелков, при чем самые красивые лицом отбирались в четвертый батальон Императорской Фамилии.

В старину гвардейская разбивка считалась делом не только трудным, но и важным. Император Александр II всегда производил ее лично. Император Александр III парадной и смотровой частью вообще интересовался мало и, на разбивки не ездил. Позднее этим делом занимался Великий Князь Владимир Александрович, долгие годы главнокомандующий войсками гвардии Петербургского Военного округа. В описываемое мною время, и позднее, вплоть до Великой войны, разбивку всегда производил командир гвардейского корпуса.

Кроме приказом назначенных офицера и унтер-офицеров, на разбивке присутствовали непременно полковые адъютанты и зачастую и сами командиры полков или их заместители. Таким образом к 5 часам в манеже у входа собиралась блестящая толпа, человек в 30–40.

Все они здесь не столько по обязанности службы, сколько для того, чтобы получить в свои полки людей покрасивее и повиднее. Свой глаз всегда — алмаз.

Через несколько минут после 5-ти, обыкновенно на извозчике, подъезжал командир корпуса. Это была настолько примечательная фигура старого Петербурга, что о нем стоит сказать несколько слов.

Генерал-Адъютант князь Васильчиков, небольшого роста, крепкий старик, в лейб-гусарской форме, с красным лицом, толстыми губами и седой бородой, был одним из типичных представителей гвардейских начальников старой школы, т. е. времен до Японской войны. В роду кн. Васильчиковых он был, кажется, третий командир гвардейского корпуса. Считая, что служба в гвардии есть не только честь, но и удовольствие, он всегда всех хвалил, и зря никого не беспокоил, служа но мудрому правилу великой Екатерины: «живи и жить давай другим». По его мнению начальство (высшее) было создано Богом отнюдь не для устрашения, но для поощрения и наград. Он полагал, что в мирное время гвардейский солдат должен смотреть смело и весело, стройно ходить церемониальным маршем и молодцом стоять на часах. А если, не дай Бог, случится война, то сражения будут решаться для кавалерии конной атакой, а для пехоты — штыковой. А так как он твердо знал, что все это будет проделано не хуже, чем это делалось всегда, то за будущее вверенных ему войск кн. Васильчиков был совершенно спокоен. Об успехах скорострельной артиллерии он имел смутное понятие, а о пулеметах, как впрочем и все наши военные того времени, никакого.

По утрам командир корпуса ходил в штаб подписывать бумаги, а остальное свое время делил между Яхт-клубом и прогулками пешком по Невскому и Морской. По уставу ему становились во фронт не только встречные солдаты, но и офицеры его корпуса. Офицерам он любезно кланялся, а с солдатами неизменно здоровался. А когда их нарочито громкие ответы пугали проходивший тут же дамский пол, до которого старый гусар был большой охотник, это видимо, доставляло ему немалое удовольствие.

Войдя в манеж и сняв при помощи вестового пальто, командир корпуса в своей красной фуражке и синей, отороченной барашком, венгерке, подходил к группе офицеров и здоровался. Затем все шли на середину манежа. Старший из генералов выходил вперед и кричал:

— Смирно! Слушай меня! Сейчас командир корпуса с вами поздоровается. Отвечайте ему — «Здравия желаем, Ваше Сиятельство!»

Наступала тишина. Вперед выступал Васильчиков и хриплым гусарским баском кричал:

— Здравствуйте, молодцы, будущие Царские гвардейцы!

В ответ раздавался гул голосов. Каждый что-то говорил. Некоторые из строя вежливо кланялись. Начиналась разбивка. Командир корпуса подходил к великанам правого фланга. Непосредственно за ним шел адъютант штаба войск гвардии со списками, а рядом становился огромный и широченный детина старший унтер-офицер Е. В. роты Преображенского полка, всегда один и тот же. После командира корпуса на разбивке он был главным действующим лицом. В двух шагах за ним, левее, двигалась группа офицеров. Немножко поодаль, с другой стороны, становились унтер-офицеры приемщики.

Подойдя к правофланговому и внимательно на него посмотрев, командир корпуса подымал руку и мелом ставил у него на груди «I». В ту же секунду великан, Преображенский унтер, хватал его за плечи и с зычным ревом «Преображенский» пускал его волчком в группу приемщиков. Там его подхватывали и провожали к тому месту у стены, где стояли остальные Преображенские приемщики. Правильность разбивки не пострадала бы, конечно, если бы разбиваемые просто отходили к своим приемщикам, но такова была вековая традиция. Нужна было именно швырнуть. И чем беспомощнее и смешнее совершал свой полет парень тем считалось лучше. Операция была совершенно безопасна. Упасть не было никакой возможности. Из рук преображенца беспомощный новобранец сразу же попадал в объятия своих же будущих однополчан, что быть может имело даже некоторый символический смысл.

Цифры мелом на груди обозначали: 1 — Преображенский, 2 — Семеновский, 3 — Измайловский, и т. д. 1 подчеркнутое обозначало Кавалергардский, 2 подчеркнутое — Конная гвардия, 8 подчеркнутое — гусары и т. д. Из партии в 800 человек, первые три сотни были обыкновенно народ исключительно видный и красивый. За них шла борьба. То и дело к корпусному командиру подвигался то один, то другой офицер и, указывая на какого-нибудь молодца, говорил:

— Ваше С-во, вот этого нам дайте.

Группа медленно подвигается по фронту. В середине шеренги стоит красавец блондин, румяный и круглолицый. Семеновский адъютант давно уже на него нацелился.

— Ваше Сиятельство, вот этот голубоглазый, совершенно семеновский тип!

— Я вам и так уже молодцов дал сегодня! — ворчит генерал. — Ну да Бог с Вами.

Рука в белой перчатке подымается и на груди у красавца вырастает двойка.

— Семеновский — орет преображенец и новорожденный семеновец перелетает в объятия своих однополчан.

Для огромного большинства разбиваемых решительно все равно в какой полк они попадут. Но некоторые новобранцы выражают пожелания.

— Дозвольте в Измайловский, — заявляет какой-нибудь армяк.

— Зачем тебе?

— Брат там у меня в третьей роте. Очень хвалит.

На груди армяка появляется тройка и одним измайловцем становится больше. Несмотря на то, что все новобранцы знают, что в кавалерии служить труднее, а главное, дольше, чем в пехоте, есть такие, которые не могут устоять перед блеском формы и просятся в конницу. Послать в деревню свой портрет в бобровой шапке с султаном, в красной венгерке, в белом ментике, и с саблей — слишком большое искушение. Наивные молодые люди еще не знают, что можно иметь отличный портрет на коне и за все время службы ни разу не подходить к лошади. В районе расположения всех пехотных полков имеются отличные фотографии, где снимается только голова, а все остальное уже готово. Сидит Лейб-Егерь в своей собственной форме в мундире с лацканом и в кивере. Все это в красках. Лицо розовое, мундир черный, лацкан зеленый и т. д. В правой руке он держит обнаженный пехотный тесак, выкрашенный в серебрянную краску. А под егерем конь, масть по выбору. У коня все четыре ноги на воздухе, серебряные подковы и в каждой подкове золотые гвоздики. На паспарту золотой вязью написано: «В память моей военной службы». Такое изображение стоит полтора целковых.

Группа начальства медленно подвигается по фронту. Там где она прошла пустое место, и только на земле стоят сундучки. Первая линия почти кончена. Подходят к рыжему здоровому верзиле, который смущенно улыбаясь, говорит густым басом:

— Желаю в гусары.

Общее веселье.

— Чего тебе там делать? — говорит корпусный.

— Форма уж больно хороша!

— Ты в гусарах всех лошадей поломаешь! А форму я тебе дам не хуже.

И на груди верзилы рисуется подчеркнутая тройка.

— Кирасирский — орет преображенец, и любитель красивых форм попадает среди высоких людей в касках и палашах.

После 7 часов разбивающие и разбиваемые начинают заметно уставать. Последние ряды проходят быстро, руководствуясь, главным образом, тем, в какую часть сколько еще нужно додать. К

8 часам разбивка кончена. Разбирают сундуки, начальство уезжает и партии с унтер-офицерами по бокам и с хором музыки впереди под воинственный марш, расходятся по своим казармам, а иногородние по вокзалам.

Но и это еще не конец. В тот же вечер у полковой канцелярии, новобранцы разбиваются по ротам, из которых каждая также имеет свой тип. И только поздно вечером, уставшие и обалдевшие от новых впечатлений, молодые гвардейцы садятся за ужин и укладываются спать, с тем, чтобы на другой день в 5 часов утра сходить в баню и, облачившись во все казенное, начать службу царю и отечеству.

Главный караул в Зимнем дворце во время «высочайшего отсутствия»

Караульная служба в Зимнем дворце неслась различно, в то время, когда царь там жил, и когда не жил. Когда я служил в полку, Император Николай II уже безвыездно проживал в Царском Селе, почему и караулы в главном Петербургском дворце отправлялись неизменно во время «отсутствия».

Все пехотные полки Петербургского гарнизона (раз или два в год туда включались и Военные Училища) несли этот караул по очереди, так что почти всегда мы сменяли Преображенцев, нас сменяли Измайловцы, их Егеря и т. д. Каждому полку приходилось бывать в карауле, в Зимнем дворце, средним числом, раз в 10 дней.

От полка, занимавшего главный караул, назначался «дежурный по караулам» — полковник, и «рунд» — капитан или штабс-капитан.

В те дни, когда очередь падала на нас, вся верхняя половина первой страницы полкового приказа пестрела офицерскими фамилиями. Изображалось это приблизительно так:

> «…Наряд в караулы от Лейб-Гвардии Семеновского Полка:
>
> Дежурный по караулам 1-го отделения города Санкт-Петербурга полковник Левстрем, Рунд — Шт. — кап. Сиверс П.
>
> На главный караул от полковой Учебной команды при начальнике команды шт. — кап. Поливанове, при младших офицерах подпор. Макарове и подпор. Коновалове.
>
> В Аничков дворец — караул от полковой Учебной команды при подпор. Ильине.
>
> В Государственный банк караул от Е. В. роты при подпор. Иванове-Дивове.
>
> Дежурный по полку Шт. — кап. Пронин II,
>
> Помощник: Подпор. Кавелин,
>
> Полковой караул от Е. В. роты».

Учебная команда была полковая школа, которую нужно было пройти, чтобы быть произведенным в унтер-офицеры. Роты посылали туда, по окончании смотра молодых солдат, самых развитых, самых способных и самых ловких своих людей, одним

словом весь свой цвет. Учили там, кроме стрелкового дела, уставов, строя и гимнастики, множеству всяких наук. Топографии, гигиене, русскому языку, русской историк, военной истории, главным образом полковой, географии, русской и европейской… Ученик Учебной команды не мог не знать, с кем у России общие границы, какой главный город Германии и сколько населения во Франпии. Одним словом, это была смесь военного училища с народным университетом.

Учебная команда ходила в караулы обыкновенно три раза в год. И офицерами, и солдатами это хождение справедливо рассматривалось как практическое обучение караульной службе, а потому все «драили» во всю. Тоненькая книжка в клеенчатой черной обложке «Устав гарнизонной службы» была в карманах не только у офицеров, но и у унтеров… В караул брали не меньше трех экземпляров, один для офицеров и два на солдатское караульное помещение.

Сейчас, после 34 лет, пишучи эти воспоминания в служебные часы на аргентинском почтамте в г. Буэнос-Айресе, у меня под рукой этой драгоценной книжки нет. Поэтому возможно, что я что-нибудь и напутаю, но очень надеюсь, что немного.

Утром в день караула занятий в Учебной команде не производилось. Ничего «репетить» не разрешалось, дабы не утомлять людей. Все утро было посвящено приведению себя в блестящий вид. Шло усиленное мытье и бритье, чистка сапог, медных блях, побелка поясов и т. д. Мундиры и шинели в караул выдавались 2-го срока, отпускные.

Между 9-ю и 10-ю в команду приходят младшие офицеры. Для появления их был свой порядок. Первым входил самый младший, принимал рапорт дежурного и здоровался. Когда входил следующий по старшинству, пришедший раньше командовал ему: «Смирно!» и дежурный ему рапортовал и т. д. Когда младший появлялся в роте после того, как старший уже пришел, никаких внешних знаков внимания ему не оказывалось и из гробового молчания, которым сопровождалось его появление, он мог убедиться, что он опоздал. Ильин, Коновалов и я были самыми близкими друзьями и вместе нанимали на Рузовской улице квартиру, где иногда бывало очень весело. Вставали, пили чай к уходили в команду мы всегда вместе. Но я был старше Ильина на один год, а Коновалова на два, и по этой причине мне регулярно приходилось мерзнуть на улице минут 5, покуда оба они по порядку войдут и проделают, что полагается. В ротах, где бывало двое младших офицеров, что случалось редко, этот порядок, не так строго соблюдался, но в команде все исполнялось по букве.

Форма в караул полагалась «караульная», т. е. переводя на обыкновенный язык, зимою для солдат: шинель с барашковой шапкой (впоследствии с кивером) пояс с медной бляхой, с орлом (в первых трех батальонах белый, в четвертом черный), один подсумок с пачкой «караульных» патронов (15, три обоймы) и, разумеется, винтовка. Смотря по количеству градусов мороза, полагались башлыки. Для офицеров: та же шапка, мундир с погонами, при шароварах и высоких сапогах, пальто, поверх пальто шашка и револьвер в кобуре со шнурком, который надевался через голову, под воротник. До введения «походных мундиров», при которых в строю полагались желтые перчатки, в строю перчатки у офицеров и зимой и летом были всегда белые и непременно замшевые. В караулы поверх, мундира офицеры надевали обыкновенно летнее легкое пальто. В тяжелом драповом пальто в караульном помещении было слишком жарко.

В 11-м часу приходит хорошо выспавшийся, что не часто случается, начальник команды. Во всю силу легких кричу:

— Смирно! Г-да офицеры!

Момент торжественный. У всех, кто в шапке или фуражке, рука не подносится, а взлетает к головному убору. Все остальные, включая и г. г. офицеров, замирают в идеальной стойке, чуть подавшись корпусам вперед. Тишина такая, что если бы было лето и мухи, слышно было бы, как они летают. Дежурный подходит с рапортом. За два шага стал, с отчетливым приставлением ноги, взмахнув рукой под козырек, начал, не крича, но так, что слышно во всех углах, по всему помещению:

— Ваше Высокоблагородие, в Полковой Учебной команде за время моего дежурства никаких происшествий не случилось.

Начальник команды Алексей Матвеевич Поливанов (для офицеров просто «Матвеич», да и для чинов неофициально тоже), небольшого роста, плотный, с бульдожьей физиономией. Новое темно-серое летнее пальто, тонкие, высокие лакированные сапоги, со множеством складок, ремень, портупея, шнур, все с иголочки, все блестит. Рука в белой перчатке с оттопыренным большим пальцем, слегка вздрагивает у барашковой шапки.

Раз, два… Дежурный отступил в сторону, дал дорогу.

— Здравствуй, Еременко!

— Здравия желаю, Вашесродие!

Из канцелярии вышел фельдфебель Яков Емельянович Серобаба и остановился у дверей.

— Здравствуй, Серобаба!

Яков Емельянович отвечает обыкновенным голосом, не крича, с достоинством, по-фельдфебельски. Он в караул не идет и сегодня будет отдыхать.

— Здорово, братцы!

Рассыпанные по всему помещению 120 человек, как один, подхватывают, ускоряя к концу:

— Здравь жлаем — ваш-сок-родь!

Обыкновенно полагается обойти и окинуть хозяйским глазом все помещения команды. Процессия подвигается в таком порядке: в голове Матвеич, за ним офицеры, тут же Серобаба, замыкает дежурный.

Но сегодня Матвеич бросает;

— Продолжайте! — и проходит прямо в канцелярию.

Нужно кинуть последний взгляд на «постовую ведомость», т. е. посмотреть, чтобы те часовые, которые в прошлый раз стояли на наружных постах, теперь попали бы на внутренние, еще раз проверить парных часовых и т. д.

Наконец, все готово и за пять минут до начала развода (11.15), караулы выводятся на двор 3-го батальона. Все вытягиваются в линию. На правом фланге музыка, за ней главный караул, за ним Аничков дворец, а за ним Государственный банк.

В столичном городе Санкт-Петербурге плохих караулов вообще не было. Но и хорошие имеют разные степени. Так вот караул от Учебной команды Семеновского полка был всем караулам караул, такой, что лучше не бывает. Люди статные, красивые, сытые, здоровые, лицом приветливые, веселые, отлично выучены, но отнюдь не затурканы, одеты с иголочки… Не только винтовку каждого можно было разобрать до последнего винтика и все окажется вычищено и смазано, но каждого человека можно было тут же раздеть догола и все на нем будет вымытое, чистое, здоровое и все на своем месте. Совершенно так же, как нас самих бывало в Корпусе жучили воспитатели за непромытые уши, грязную шею или неостриженные ногти на ногах, так и мы, офицеры, в этих делах не давали нашим ученикам ни пощады, ни спуску. Одних ножниц в команде имелось по четыре пары на взвод. Единственно чего не чистили — это зубов. До такой высокой ступени цивилизации в наше время еще не дошли. В 21 год у людей, потребляющих здоровую пищу, зубы редко бывают плохие. Кроме того, сохранению их помогал ржаной хлеб, 3 фунта в день на человека. Потрешь зубы ржаной корочкой, они и блестят.

Приблизительно в 11.15 дневальный в воротах 3-го батальона, который знает свое дело, поворачивается к начальнику главного караула и, взяв руку под козырек, докладывает:

— Вашесродие, несут…

Это обозначает — несут знамя. Действительно, через полминуты в воротах показывается держащий под козырек

полковой адъютант, а за ним в 3-х шагах знаменщик, со знаменем на плече.

Завидев знамя, старший караульный начальник выходит для командования и командует:

— Под знамя… слушай, на краул!

Все берут «на караул» и офицеры салютуют шашками. Музыка играет первое колено полкового марша. Знаменщик становится на свое место, между старшим караульным начальником и музыкой, и поворачивается лицом к фронту. Адъютант уходит. На сегодня его работа кончена.

Теперь караулы со знаменем и с музыкой ожидают «дежурного по караулам», который будет производить «развод с церемонией». Дежурный по караулам никогда не опаздывает. Не успело знамя стать на место, как в воротах показывается он сам.

Завидев начальство, начальник Главного караула выходит для командования и, став лицом вдоль фронта, командует:

— Для встречи справа, слушай, на кра-ул!

Раз, два… взяли на караул. Со вторым счетом по всей линии головы не повернулись, а вскинулись направо. В такт блеснули офицерские шашки. Музыка снова гремит полковой марш.

Дежурный по караулам, будущий герой Опатова и георгиевский кавалер, а тогда просто знаменитый стрелок (13 императорских призов) полк. Левстрем, здоровается, обходит фронт, отходит на середину и становится шагах в 15 впереди, лицом к караулам.

Караулы берут «к ноге». Музыка начинает играть коротенькую, красивую музыкальную вещицу в разных темпах, — наш полковой развод с церемонией. Все слушают ее, стоя смирно.

Музыка кончила играть. Дежурный по караулам громко говорит:

— Караульные начальники на середину!

Все караульные начальники берут под козырек и выходят на середину, выстраиваются в ряд в двух шагах перед дежурным.

Всем им он раздает запечатанные конвертики, куда вложена бумажка с паролем на этот день и на следующий. Пароли изготовлялись в Комендантском Управлении и рассылались по полкам накануне. В мое время с этим делом все шло гладко, но кто-то из старых офицеров рассказывал, что раз в Комендантском с паролями напутали и начальник старого караула, несмотря на то, что отлично знал начальника нового, отказался сменяться и с платформы увел свой караул обратно в караульное помещение. Все уладилось только тогда, когда на место происшествия явился сам комендант.

Раздав конверты с паролями, дежурный по караулам говорит:

«Караульные начальники на свои места!»

Получив такое приказание, караульные начальники отчетливо поворачиваются кругом и маршируют каждый на правый фланг своего караула.

Чтобы встать, как полагается, на свое место в строй, это тоже нужно что-то понимать. Нужно вступить на пустое место так, чтобы твои каблуки пришлись на одной линии с каблуками стоящей шеренга, и тогда, при повороте кругом, идеальная инкрустация обеспечена.

Когда караульные начальники стали, дежурный по караулам командует:

— По караулам!

И с этой командой церемония развода караулов окончена.

По команде старшего караульного начальника, все караулы поворачиваются направо, вздваивают ряды, берут на плечо, в это время плечом заходит музыка.

— Ша-гом марш! Смирно, равнение налево! — командует Матвеич и, предшествуемые гремящей музыкой, 3 караула выплывают в Беговой переулок, наискось пересекают Загородный и вступают в Гороховую.

Следуют в таком порядке: впереди два барабана и две свистульки, которые воспроизводят довольно приятные на слух мелодии в то время, когда музыка отдыхает. За ними в четырех шагах старший музыкант Матвеев, за ним музыка. В четырех шагах за музыкой следует знамя. В четырех шагах за знаменем шествует Поливанов, за ним наш главный караул, за ним караул в Аничков, сзади караул в Государственный банк. По бокам и сзади, стараясь не попасться на глаза городовых, галопируют мальчишки.

Когда кончают свистульки, начинает музыка. Воинственные марши главным образом немецкого происхождения. И немудрено, так как почему-то почти все военные капельмейстеры были немцы. Помню так называемый «Нибелунги марш» с прекрасным соло басов, переделанный из похоронного марша Вагнеровского Зигфрида. Другой марш, под который мы много лет ходили и который назывался «Старые друзья», я имел удовольствие слышать долго. Им в Буэнос-Айресе начиналась и кончалась немецкая передача по радио. Марш «Старый Егерь», под который мы столько раз ходили на парадах, мне довелось услышать в синематографе 1-го мая 1945 года. Перед И. В. Сталиным под этот марш проходила доблестная Советская Армия.

Кем эти марши выбирались и рекомендовались для службы в русских — войсках, я не знаю, но какой-то критерий того, что подходит и что не подходит все-таки существовал.

Доказательство — нижеследующий случай. Какой-то Егерский офицер летом 1906 года был в Париже, попал на Монмартр и пленился только что появившимся там матчишем. Он купил ноты, привез и Петербург и отдал в музыкантскую команду разучить. И вот как-то раз во время относа знамени, когда полурота черномазых, здоровенных, мордастых Егерей во всем параде маршировала по Морской в 4 часа дня, музыка стала залихватски наяривать:

Живей виляйте торсом
С канальским форсом,
Нет в мире танца лише,
Бодрей матчиша…

Гулявшая в этот час публика слушала с большим удовольствием, но Егерский адъютант сел под арест.

Мы ходили под более приличную случаю музыку и, можно сказать без лишней скромности, ходили удивительно. Равнение безукоризненное, винтовки несли круто, штыки как одна линия, правая рука спереди до подсумка, сзади наотмашь, шаг легкий, широкий, гвардейский.

По уставу проходящим войскам дают дорогу все, за исключением пожарной команды, а потому задержки быть не может. По дороге отстали и свернули в сторону караулы в Аничков и в Государственный банк.

С Гороховой на Морскую поворачиваем мы одни. Караулу полагается войти в ворота Зимнего дворца ровно в 12 часов, когда начинают играть часы на Петропавловской крепости и бьет полуденная пушка. Поэтому, подгоняя время, но Морской идем или полным шагом, или немножко задерживаем.

Пересекаем Невский. Подходим к Арке Главного Штаба. Показывается Александровская колонна, а за ней красавец Зимний Дворец. На больших часах при входе под арку без 4 минут 12. В 4 минуты надлежит перемахнуть всю огромную Дворцовую площадь, Передаем вперед, чтобы прибавили шагу. Идем на полный ход. По булыжникам площади ветер перекатывает сухой снежок. За 50 шагов, до Дворца снова вступает замолкнувшая музыка и около каменных ворот «Нибелунги марш» гремит оглушительно. В самый момент, когда проходим под воротами, бухает полуденная пушка. Когда подходим к самым воротам, свистульки и музыка принимают в сторону, пропускают караул, а затем заходят плечом и уже молча идут назад домой.

Завтра утром музыка опять придет за нами ко Дворцу.

Как только голова нашего караула показалась из глубокой арки дворцовых ворот, огромный рыжий детина, Преображенский часовой у фронта, крепко вдаряет в колокол и свирепым голосом орет:

— Караул вон!

За широкими стеклянными дверями дворцового караульного помещения Преображенский караул уже выстроен и ждет сигнала. Бодрым шагом выходит и выстраивается на одной линии с передним отрезом будки.

— Равняйсь, смирно!

Замерли и ждут.

Из Преображенской Учебной команды Приклонский и младший офицер Эллиот, кажется, ничем себя впоследствии не проявили. Зато старший офицер, плотный невысокий подпоручик, с черной бородкой и с красным темляком, был Кутепов.

Наш караул, у ворот посеяв музыку, идет дальше вдоль платформы. Доходим до конца. Подается команда:

— Караул, стой!

Останавливаются и берут к ноге.

— Караул, налево!

— Ряды стройся!

— Равняйсь!

— Смирно!

Начинается смена караула, церемония величественная и импозантная.

В Букингамском дворце в Лондоне, через сквозную дворцовую решетку, публика каждый день любуется сменой караула Королевской гвардии. Я ее видел и тоже любовался. Нами, к сожалению, некому было любоваться. Наши караулы сменялись на внутреннем дворе и любоваться нами могли только дворцовые дворники, которые, наблюдая эту церемонию каждый Божий день, никакого интереса к ней не проявляли.

Церемония смены начинается со взаимного приветствия. Когда новый караул стал, начальник старого выходит для командования и командует:

— Слушай, на кра-ул!

В ответ на это, наш караул делает то же самое. Теперь оба карауля стоят друг против друга, держа «на караул». Офицеры стоят в строю с шашками у ноги.

Постояв так несколько секунд, караульные начальники мигают друг другу, одновременно берут шашки «подвысь», рукоятка на высоте подбородка, и режа углы (не по солдатски, а по офицерски, легче и элегантнее) сходятся у среднего входа на караульную платформу. Старый с платформы не сходит, а новый

на платформу не подымается. Останавливаются в 2-х шагах друг от друга, лицом к лицу.

Остановившись, вместе опускают шашки и новый громко говорит:

— Семеновского полка штабс-капитан Поливанов — и тоном ниже — пароль Митава.

— Преображенского полка штабс-капитан Приклонский.

Снова вместе берут шашки «подвысь», поворот кругом. Оба возвращаются на свои места.

Оба караула, опять начиная со сменяемого, берут «к ноге». Тогда наш караульный начальник командует:

— Часовой у фронта, вперед!

Первый смены часовой у фронта (на этот пост выбирались люди особенно высокие и представительные) выступает из первой шеренги и, режа углы, идет на платформу к будке. Полагалось не просто идти, а «печатать с носка». Когда он подойдет, старый Преображенский часовой делает шаг вправо, освобождая ему место, на которое он и вступает, но кругом еще не поворачивается. Теперь оба часовых стоят рядом, но смотрят в противоположные стороны.

Старый часовой начинает «сдачу». Кричать не требуется, но говорить надлежит громко, медленно и внушительно.

— Пост № 1 у фронта обязан охранять вход в Караульное помещение. Под сдачей состоит: будка, тулуп, кеньги и колокол!

После этого новый часовой может просто повернуться кругом и этим показать, что он пост принял. Но высокий класс требует еще немножко покочевряжиться, обойти кругом будку, посмотреть цела ли она, потрогать висящий в ней тулуп и даже ударить в колокол, не разбит ли он…

Проделав все это, новый часовой становится у будки опять так, как он стоял во время сдачи, и, наконец, многозначительно, лихо, с прищелком поворачивается кругом.

Этим поворотом он показал, что пост он принял и что с этой секунды часовой у фронта уже он.

Как только новый часовой повернулся, старый, без всякой команды, выходит, поворачивается налево, идет вдоль фронта, (проходя мимо стоящих во фронте офицеров, нужно не забыть отдать им честь поворотом головы) и становится на левый фланг своего караула.

Когда часовой у фронта стал на свое место, старший в карауле офицер командует тихо знаменщику «шагом марш!» и, держа руку под козырек, ведет его в караульное помещение, где знамя укладывается в особую стойку. Часового особого при нем не ставится.

Когда по расчету времени, знамя успело крепко улечься в свою стойку, караульные начальники взглядывают друг на друга, одновременно выходят для команды и командуют:

— Караул, направо! Шагом марш!

Старый караул, проходя позади будки часового, сходит с платформы, а новый, через противоположный вход, вводится на платформу и дальше прямо в караульное помещение, где люди расходятся, ставят винтовки в пирамиды и идут оправиться. Перед тем, чтобы стать на два часа на пост, надобность сего естественна. Офицеры нового караула проходят в офицерскую часть караульного помещения. Через 2–3 минуты раздается голос караульного унтер-офицера:

— Разводящие, готовь первую смену!

В это время старый караул под командой старшего офицера уходит домой, а старый караульный начальник через платформу проходит в офицерское караульное помещение. Здороваются, вынимают папиросы, начинаются разговоры о службе, о начальстве и т. д. Пока продолжаются разговоры, идет смена постов.

Приблизительно через полчаса, в дверях показываются два караульных унтер-офицера, Преображенский и наш, и каждый рапортует своему начальству, преображенец, что посты сдал, а наш, что посты принял. Во время рапорта, как полагается, все присутствующие стоят смирно.

Следуют рукопожатия, пожелания спокойного караула, последняя смена Преображенских часовых с караульным унтер-офицером уходит строем домой; уходит и длинный Приклонский одиночным порядком.

На 24 часа огромный красавец Зимний дворец поступает под нашу охрану.

Все эти повороты, резки углов на ходу и прищелкивание каблуками я с таким вкусом здесь описываю вовсе не потому, что хочу показать, что в мое время в гвардии процветала плацпарадная прусская наука эпохи Фридриха Великого.

Солдат у нас не забивали и в нерассуждающие манекены их не превращали. На стройность во фронте смотрели не как на самоцель, а как на воспитание. Великий учитель и однополчанин наш Суворов говаривал: «солдат в строю стоит стрелкой». А уж на что был враг бесцельной, угашающей дух муштры!..

Не знаю, как теперь, но в старое время российский народ был склонен к расхлябанности и русскую молодежь учить подтянутости, порядку и отчетливости было дело доброе, было и может быть и будет… Те, кто молодцами стояли на часах в Петербургских караулах, те и на полях Галиции и Польши не

спали в сторожевом охранении и не бегали из секретов.

Вернемся, однако, в караульное помещение.

Караульное помещение Зимнего дворца было отличное и просторное. В помещении для солдат имелись широкие и удобные деревянные диваны. Сзади была столовая и помещение, где заступающая смена могла, ночью «отдыхать лежа», т. е. попросту спать.

Офицерское помещение состояло из столовой и смежной с ней длинной комнаты, отделявшейся от нее аркой. В этой длинной комнате у широкого окна, выходившего на двор и на караульную платформу, стоял дубовый стол и около него четыре больших с высокими спинками, чрезвычайно удобных кресла.

Немного отступя вглубь, во внутренней стене камин, над камином почти до потолка зеркало, а на камине старинные часы, на которых стрелки всегда показывали 6 часов с минутами. Хотя стоявшие часы во дворцах были не редкость, про эти часы передавали, что они остановились в минуту взрыва в Зимнем дворце, который был устроен в конце 70-х годов, и которым при помощи адской машины предполагалось взорвать Александра II во время обеда. Взрыв произошел раньше и никто из царской семьи не пострадал, но пострадал караул Финляндского полка, который в этот день нес во дворце службу. В назидание караульным начальникам, дабы побудить их в вящему бдению, каминные часы уже много лет были оставлены показывать час и минуту взрыва.

Дальше за камином в глубине комнаты стояли три дивана, но ими мы не пользовались. Вся мебель и все драпировки в этой комнате были толстого темно-красного репса.

Минут через 10 после ухода Преображенцев к Поливанову подходит старичок в гамашах, в красном жилете, в зеленом фраке, обшитом позументами с двуглавыми орлами — придворный лакей, — и почтительно спрашивает:

— В котором часу завтрак прикажете подавать, и на сколько персон?

— Дежурный по караулам обещал приехать, тогда будет четверо. А завтрак около часу; как он приедет, так и подавайте.

— Извольте подписать требование на вино.

Матвеич подписывает требование на столовое вино, 2 бутылки белого и 1 бут. мадеры. Вино полагается от дворца, как всегда во дворцах, русское, Удельного Ведомства, и отличного качества. 5 бутылок давалось 3 офицерам караула на завтрак и на обед. Пить вино в карауле по уставу не разрешалось, но во дворце это исключение делалось.

Во дворцовых караулах довольствие было организовано

следующим образом. Солдатам от дворца отпускались т. наз. «караульные деньги» по полтиннику на рядового и по 75 копеек на унтер-офицера. Но эти деньги посылались в полк впоследствии, по требованию, и в конце месяца выдавались солдатам на руки, вместе с жалованьем. Обед же и ужин караулу привозился из полка. Чай, сахар и белый хлеб давались от дворца «ad libitum». Горячий чай, особенно зимой, был всегда и в какое бывало время дня и ночи ни заглянешь в караульную столовую, всегда несколько человек сидят и дуют чай. При карауле состоял всегда «посыльный». Исполнял он офицерские и унтер-офицерские поручения. Его унтера командировали иногда за маслом и за колбасой, и тогда уже распивали чай с полным комфортом.

Офицерам «караульных денег» не полагалось, но зато полагалось полное довольствие, которое во время Высочайшего «присутствия» отпускалось из дворцовой кухни, а во время «отсутствия» из ближайшего ресторана, чаще всего из «Отель де Франс», помешавшегося через площадь, на Морской.

Из-под ворот показывается элегантная фигура Левстрема.

— Идет дежурный по караулам! — говорит кто-нибудь из стоящих у окна.

Заметил его и часовой у фронта. Дает два удара в колокол и кричит:

— Караул вон!

Но Левстрем отрицательно машет рукой. Один удар в колокол.

— Караул отставить!

Через минуту Левстрем входит к нам. Все встают. Садимся завтракать. Завтрак из двух блюд, сладкое и кофе, как во всех первоклассных ресторанах, пожалуй, лучше чем в Собрании, но не на много. Пить кофе переходим в кресла.

Часа в 3 дежурному по караулам докладывают, что подан полковой экипаж, сани, или пролетка, и он уезжает проверять караулы.

Больше в этот день мы его уже не видим.

Главный караул в Зимнем дворце во время «отсутствия» был спокойный караул. Дежурный по караулам был свой. Комендантские адъютанты носа туда не совали. Единственно кто мог приехать нас проверить, это Санкт-Петербургский комендант, герой Турецкой войны, маленький, толстый, с седыми усами, генерал-адъютант Троцкий. К счастью для него, старик умер до того, как его фамилия получила столь широкую известность. На смену караула комендант изредка приезжал, но сам караулы почти никогда не проверял.

Время в карауле тянется медленно. Карты запрещены, но мы все трое умели играть только в короли и в дураки. На камине стоит коробка с домино. По устному преданию, император Николай II, будучи наследником и караульным начальником, в этом самом помещении играл в домино. С тех пор игра эта в карауле получила официальное признание. Но мы и в домино не играли. Главным образом читали и перекидывались словами.

Время тянется медленно. Сидим в креслах, слушаем бой часов на Петропавловской крепости и через большое окно смотрим на кусок дворцового двора, с группой высоких деревьев посередине, и на розовато-коричневую стену удивительного Растреллиевского создания.

Каждые два часа является караульный унтер-офицер со словами:

— Вашесбродие, разрешите отправить смену!

Коновалов или я встаем и выходим в караульное помещение, где уже стоят выстроенные смены заступающих часовых, каждая смена со своим разводящим.

Осмотришь их, задашь два, три вопроса и говоришь:

— Ведите!

В четыре часа начинает темнеть. На дворе, на высоких чугунных столбах зажигаются белые электрические шары. Идет мелкий, сухой снежок и вся картина становится еще красивее.

Матвеич, как караульный начальник, не имел права отлучаться от караула. Мы же, младшие офицеры, никакой определенной должности в караульной иерархии не занимаем. Приказаний наших часовые слушаться не должны, но раз мы их прямые начальники, то на наши вопросы отвечать они обязаны. Поэтому поверять часовых мы можем, а для этого имеем право гулять и вокруг дворца, и внутри его. Коновалов делает это днем, а я, как старший, ночью.

В 5 часов тот же лакей подает нам вкусный чай, с маслом и со сладкими булками.

В 8 часов подается обед. К обеду иногда приезжает рунд. Его обязанность проверять городские караулы ночью.

В 9 часов вечера производится вечерняя заря. Весь караул выстраивается на платформе, командуется:

— Смирно! На молитву, шапки долой!

Караульный унтер-офицер громко читает: «Отче наш». По окончании командуется:

— Накройсь! — и караул уводится внутрь.

Наступает время «после вечерней зари», когда караул на платформу не вызывается и никаких команд в караульном помещении не подается, чтобы не будить отдыхающих.

Мы, офицеры, снимаем мундиры и остаемся в пальто прямо на-рубашку, т. к. в Зимнем дворце топят на совесть и, нужно полагать, из-за несовершенства центрального отопления, воздух ненормально сухой. За время караула одними офицерами выпивается несколько графинов воды. Сколько пьют чины, не поддается учету.

Часа в 2 ночи, с караульным унтер-офицером, выходишь поверять часовых у подъездов на Дворцовой площади и на Набережной. Мороз усилился. По всей Неве гуляет ледяной ветер. Стекла фонарей полузалеплены искрящимся снегом. На набережной пусто. Изредка от Троицкого моста пронесутся сани, или прошуршит автомобиль.

Часовые стоят в тулупах с поднятыми воротниками. Можно, конечно, попытаться подойти незаметно, посмотреть, не залез ли часовой в будку и не спит ли он там. Но такую чудовищную вещь даже и представить себе нельзя. Гвардейские часовые на постах не спят.

Можно попытаться смутить его душевный покой и подловить его в незнании прав и обязанностей часового. Например, сделать попытку взять у него из рук винтовку или приказать ему снять тулуп. Но на это, наверно, получишь гордый ответ:

— Часовой может отдать свою винтовку только Государю Императору — или — Часовой исполняет приказание Государя Императора, караульного начальника, караульного унтер-офицера и своего разводящего!

— Да, но я твой прямой начальник!

— Так точно, Вашесродие, но не на посту.

И при этом многозначительно на тебя посмотрит, как бы говоря:

«И чего ты дурака валяешь, брось ты, брат, эти детские штучки! На них молодого солдата можно поддеть, а не ученика Учебной Команды!»

Поэтому без всяких подвохов, подходишь открыто и спрашиваешь самое естественное:

— Ты тут не замерз?

— Никак нет, Вашесродие!

— Ну вот, через час сменишься, горячего чаю получишь!

Самое тяжелое время в карауле от 4 до 5 часов утра. Спать хочется неистово… В гарнизонном уставе было все ясно, за исключением одного туманного параграфа. Часовым, перед заступлением на пост, определенно разрешалось ложиться и спать, что они и делали. Про караульного же начальника было сказано, что ему «разрешается отдыхать лежа, растегнув крючки на воротнике». Но молодому и здоровому человеку «отдыхать

лежа» и не спать совершенно невозможно. Поэтому во избежание недоразумений мы в Учебной команде вовсе не ложились, а по очереди дремали в креслах. Чтобы разогнать сон, лучшее средство ходить. Поэтому часа в 4 опять беру караульного унтер-офицера и отправляюсь гулять, на этот раз уже по дворцу.

Огромные еле освещенные залы. Безконечные корридоры, где нога тонет в малиновой дорожке ковра. По бокам высокие двери красного дерева с бронзовыми ручками. Кое-где по стенам светят алебастровые чаши на темных кронштейнах. Тишина как в пустом соборе, даже не слышно собственных шагов. Говоришь невольно вполголоса. Идем но плану. От парного поста у «брильянтовой комнаты» до часового «на подъезде Ее Величества», где стоит чучело саженного медведя — нужно пройти чуть ли не пол дворца.

Иногда нарочно возьмешь в сторону и идешь наудачу. Можно было бы заблудиться, но через каждые 2, 3 залы где-нибудь в углу на диванчике дремлет фигура дворцового служителя, который, если нужно, выведет на дорогу.

Возвращаюсь в караульное помещение. Бужу Митю Коновалова, а сам глубоко усаживаюсь в кресло и закрываю глаза.

В 8-м часу начинает светать и во Дворце просыпается жизнь. Дворники, в серых армяках с синими кушаками, сгребают снег, метут караульную платформу и скребут тротуары.

К 9 часам утра все уже на дневном положении. Мы вымыты, но не бриты. В карауле бриться не рекомендуется, чтобы не пришлось выскакивать рапортовать начальству с намыленной щекой. Под пальто опять надеваем мундиры. Приносят отличный дворцовый кофе, холодное масло катышками и горячие калачи в салфетках.

От 10 до 12 дня время довольно неприятное. Ощущение такое, как бывает, когда, после ночи не в спальном вагоне, подъезжаешь к Петербургу, но осталось до него еще порядочно…

Наконец, без четверти 12 начинают собираться. Несессеры с умывальными принадлежностями, журналы и книги вручаются «посыльному», который все это везет на извозчике домой. Дается на чай служившим за столом дворцовым лакеям. Принято было давать по рублю с носа. С дежурного по караулам, да с трех офицеров, вот уже 4 рубля, и это каждый день. Жили они не бедно.

Без 5 минут 12 весь наш караул выстроен перед раскрытыми стеклянными дверями в Караульном помещении. С площади доносятся обрывки музыки. Бьет 12-часовая пушка. Музыка внезапно вырастает и начинает греметь оглушительно. Из-под арки дворцовых ворот показывается голова Измайловского

караула.

Наш часовой у фронта ударяет в колокол, «Караул вон» Мы выходим на платформу. Начинается вчерашняя церемония в обратном порядке.

Принос и относ знамени

Постоянное жительство знамен тех полков, где шефом был царь, была галлерея героев 12-го года в Зимнем дворце.

Накануне того дня, когда полк заступал на главный караул, к Зимнему дворцу посылалась от полка полурота, при двух офицерах и с хором музыки, форма одежды — караульная, т. е. для офицеров мундиры, и раньше барашковые шапки, потом кивера.

Так как парадные мундиры с шитьем приходилось надевать часто, даже и после введения в 1907 году защитного цвета кителя, который носился на занятиях и получил потом название «походного мундира», некоторые офицеры пускались на хитрость. К рыжим защитным кителям пришивали синие с золотым шитьем воротники, от старых парадных мундиров и от них же красные обшлага и тоже с золотым шитьем. Под пальто все равно не видно, что надето, а экономия в изнашивании дорогих парадных мундиров большая. Такой фальшивый мундир можно было надеть и в караул зимой и в наряд на похороны, наряды очень частые. Всем полковникам и генералам, помиравшим в столице, для похорон полагалась воинская часть не меньше полуроты, с музыкой и при офицерах. Назначались офицеры и для несения орденов. Вообще такой мундир можно было надеть всегда, когда не предполагалось снимать пальто.

Назначенная для приноса знамени полурота, с двумя офицерами, официально говорилось «при двух офицерах», и с музыкой, которая возбудительно играла, следовала нашим обыкновенным путем, по Гороховой и Морской и шла прямо к дворцу, к подъезду т. наз. «Ее Величества», т. е. к тому, который был ближе к Миллионной улице. Шагах в 80 от подъезда, с музыкой на правом фланге, она выстраивалась лицом к подъезду, брали «к ноге» и офицер командовал «вольно».

К этому времени полковой адъютант, или офицер назначенный вместо него, со знаменщиком, или опять-таки с его заместителем, старшим унтер-офицером Е. В. роты, рядышком, в полковом экипаже, или просто на извозчике, подъезжают к главным воротам дворца и идут к караульной платформе. Завидя их, часовой у фронта бьет в колокол для вызова караульного начальника. Выходит караульный начальник, здоровается с адъютантом и приглашает его в офицерское караульное помещение. Там поболтав и покурив, оба они выходят в помещение для караула и караульный начальник дает адъютанту разводящего поста у знамен.

Адъютант с разводящим и со знаменщиком идут в галлерею 12-го хода и там адъютант берет свое знамя и снимает с него чехол. Делать это нужно было сугубо осторожно из-за ветхости шелковой материи знамени. Затем адъютант надевает на знамя ленты и в этом виде передает его знаменщику. При дожде и в дурную погоду чехол со знамени не снимался. Знаменщик берет знамя на плечо и они вместе, адъютант, держа руку под козырек, впереди, знаменщик со знаменем сзади, выходят на подъезд к ожидающей их полуроте.

Командир полуроты выходит для командования и командует:

— Полурота, смирно! Слушай на кра-ул!

И салютует шашкой. Музыка играет полковой марш. Знаменщик становится на свое место, правее командующего офицера. Берут к ноге. Затем, «отделениями левое плечо вперед», впереди музыка, знамя и полурота, опять тою же дорогой, через площадь, под арку по Морской и Гороховой возвращаются домой. Когда несут знамя, офицеры держат шашки «На плечо».

Все военнослужащие, чином ниже генерала, при встрече со знаменем становятся ему во фронт. Генералы отдают честь.

Придя в расположение полка, полурота со знаменем проходила на двор полковой канцелярии и там выстраивала фронт. Опять брали «на караул». Выходил адъютант, обогнавший караул, и относил знамя к денежному ящику, где знаменщик клал его на стойку, под охрану часового. В канцелярии знамя оставалось до следующего дня, когда тот же адъютант выносил его на развод с церемонией.

После караула опять-таки на другой день, знамя тем же, но обратным порядком, снова относилось в Зимний дворец.

Другие караулы

В мирное время несение караульной службы было искони одним из главных занятий гвардейского солдата. В те отдаленные времена, когда казарм еще не существовало, а солдаты жили «на квартирах», им распределяли места для спанья всегда на одну треть меньше положенного состава, учитывая, что ночью один из трех непременно будет занят на карауле. В новорожденном Петровском Петербурге караульная служба была еще тяжелее. Несмотря на малое его тогда пространство и незначительное население, полки Преображенский и Семеновский высылали в караулы ежедневно две трети своего состава. Петровская гвардия держала офицерские караулы не только на всех заставах, при въезде и при выезде из города, но и на мостах. Офицерский караул существовал при перевозе через реку Фонтанку. Офицеры, начальники караулов, обязаны были переписывать все проходившие обозы, обозначая число подвод, откуда, куда и с чем идут, причем один из указов Петра гласил: «чтобы взяток с проезжающих ни под каким видом не брать, ни сеном, ни дровами, ни чем прочим, под штрафом военного артикула, равно смотреть и за солдатами, которые при карауле обретаются».

При Петре большое внимание обращалось на отдание чести караулами. Доходили до таких тонкостей, что каждому воинскому чину караул отдавал честь различно. Генерал-адмиралу офицеры обнажали шпаги, барабаны и литавры били поход три раза, и играли на трубах. Генерал-лейтенантам и вице-адмиралам офицеры обнажали шпаги, играли на трусах и на барабане били дробь два раза. Генерал-майорам и «шаутбенахтам» (соответственный морской чин), офицеры обнажали шпаги и на барабане били дробь только один раз. Караульная служба тогда была настолько тяжела, что солдаты «недоросли из дворян», которых в тогдашних гвардейских полках было всегда не меньше 40 %, пытались за деньги нанимать за себя в караулы солдат из «сдаточных». Указом 22 августа 1722 года Петр строжайше запретил подобного рода наймы. При Елизавете и при Екатерине II, на часах часто стаивал недоросль из дворян солдат Преображенского полка Гавриил Романович Державин. Другой недоросль из дворян, Александр Суворов, который проживал на вольной квартире, но у себя в Семеновском полку ревностно нес солдатскую службу, раз стоял на часах в Петергофе, около павильона Монплезир. Было лето, солнечное утро, и императрица Елизавета Петровна, в сопровождении одной только фрейлины, вышла погулять в Петергофский парк. Подходя

к морю, она увидела часового, маленького и на вид тщедушного солдатика в Семеновской форме и с ружьем много выше его самого. При приближении царицы этот тщедушный солдатик так ловко брякнул ей ружьем на караул, что она остановилась, вступила с ним в разговор и узнав кто он и что он, вынула из мешечка серебряный Петровский рубль крестовик и подала ему. Но молодой служака принять рубль отказался, говоря, что солдату на часах запрещено принимать деньги.

— Ну, возьмешь, когда сменишься! — сказала Елизавета и опустила рубль на песок рядом с часовым.

Рассказ этот, исторически верный, т. к. в свое время был записан со слов самого фельдмаршала, можно было прочесть во всех военных хрестоматиях. Теперь, интересный юридический вопрос: принял все-таки Суворов подаренный рубль, или нет? Стоя часовым он его не взял в руки, но в конце концов, пожалуй, все-таки принял, и стоя на часах.

В наше время караульная служба не была уже так обременительна, как в старину. Все же молодым офицерам в первые три года службы и старослужащим солдатам, на второй и на третий год службы, ходить на караулы приходилось довольно часто. Нашим районным караулом, куда мы ходили каждый день, и только мы, был караул в Государственном Банке. Здание Государственного Банка главным фасадом выходило на Садовую, а задним фасадом на Екатерининский канал, около Львиного мостика. Дом стоял во дворе, отступя от высокой, глухой железной решетки и главных ворот, которые всегда держались на запоре и открывались только для пропуска караула. Чиновники и публика проходили в Банк со стороны канала. Внутри ограды, в глубине, боком к главному зданию, стоял дом караульного помещения, очень удобный и прекрасно оборудованный. Через маленький корридор, как раз против главных дверей, выходивших на караульную платформу, помещалась комната караульного начальника. В ней стоял письменный стол, на котором всегда лежала развернутая «постовая ведомость», против стола стул, а рядом со столом глубокое и удобное кожаное кресло. У противоположной стены кожаный диван с кожаной подушкой. Огибая комнату караульного начальника, корридор выходил в обширное солдатское караульное помещение, где стоял обеденный стол, лавки, у одной стены стойки для ружей, а у другой деревянные нары, на которых заступающие на посты имели право «отдыхать лежа». Еще дальше помещалась маленькая кухня для разогревания солдатской и офицерской пищи, а за ней комната банковского сторожа. Банковский сторож, лет 15 один и тот же, с рыжими бакенбардами, был старый солдат Московского

полка и участник Турецкой войны, по фамилии Щедров. Он был большой резонер, с караульными солдатами обходился сурово — не дай Бог, если кто-нибудь плюнет на пол, — и до разговоров с ними вообще не снисходил. Зато любил поговорить с караульными начальниками. Излюбленной темой его рассказов был генерал Гриппенберг, на Турецкой войне командир Московского полка, какой он был строгий, справедливый и как он заботился о солдатах. Между прочим, это был тот самый генерал Гриппенберг, родом финн, который на Японской войне командовал 2-ой армией, рассорился с Куропаткиным и, не дожидаясь позволения, самовольно уехал в Петербург. Излишне говорить, что этот поступок, в сущности дезертирство, сошел ему тогда с рук совершенно безнаказанно.

Из караульного помещения витая железная лесенка вела во второй этаж, в помещение для арестованных офицеров. Чаще всего помещение это пустовало, но случалось, что комната бывала занята и это всегда было довольно неприятно. Нужно сказать, что, к сожалению, не все арестованные офицеры умели держать себя корректно. Некоторые из них заявляли бессмысленные претензии, требовали, чтобы к ним пускали посетителей, обижались и нервничали. По гарнизонному уставу, караульный начальник, по заступлении, обязан был их «принимать по списку», т. к. все они фигурировали в постовой ведомости, и выслушивать их претензии. Эта процедура бывала особенно стеснительна, т. к. зачастую это бывали почтенные капитаны и ротмистры, лет на 15 старше безусых начальников караула. В этих случаях единственное спасение было «сухая официальность». Когда в карауле мне приходилось иметь дело с арестованными офицерами, я обыкновенно являлся в их помещение и «представлялся» каждому. На всякие претензии и просьбы неизменно отвечал: «Слушаюсь, г-н капитан. Разрешить это я не имею права, но я сейчас пришлю Вам бумаги и конверт. Извольте подать рапорт коменданту и я сейчас же перешлю его с посыльным». Сам разговаривать к ним я никогда не ходил и если офицеры эти являлись в комнату караульного начальника «поболтать», принимал их стоя и всячески им показывал, что там им не место. Находились и такие, которые «под честным офицерским словом» просили отпустить их «на часок повидаться с женой». На это приходилось делать каменное лицо и предлагать опять-таки снестись с комендантом.

По положению, раз днем караул поверял полковник, дежурный по караулам, и раз ночью — рунд. Так как ворота банка были постоянно заперты, то и тот и другой должны были оставлять свои экипажи на улице, а сами идти пешком по

асфальтовой дорожке шагов полтораста до караульного помещения. От сторожа Банка, который днем и ночью стоял у ворот, был проведен электрический звонок прямо в комнату караульного начальника. Сторожа у ворот все были старые служаки и прекрасно знали свое дело. Покуда начальство еще только готовилось вылезать из экипажа, они нажимали спасительную кнопку и караульный начальник уже знал, что ему нужно было делать. Та же процедура с предупредительной кнопкой имела место и тогда, когда поверять караул являлись комендантские адъютанты. Благодаря той же спасительной кнопке, ночью «отдыхать лежа» было также совершенно безопасно, разве уже караульный начальник попадался такой, какого никакими звонками не разбудишь.

Нельзя сказать, чтобы богатый Государственный Банк очень заботился о воинах, которые денно и нощно его охраняли. Кроме кипятка, ни солдаты, ни офицеры от Банка ничего не получали и даже чай в тюричках приходилось приносить в караул с собой. Обед и ужин солдатам привозили из рот, а офицерам в судках из Собрания.

Караул в Государственном Банке был маленький, кажется всего 6 постов. Считая по три человека на пост, плюс два разводящих, караульный унтер-офицер и посыльный, всего 22 чина и один офицер. Кроме часового у фронта, все посты были внутренние и одиночные, но где они были расположены, не имею понятия. По уставу караульный начальник из помещения караула отлучаться не мог. На случай тревоги, из Банка в караульное помещение были проведены особые тревожные звонки. По такому звонку караульный унтер-офицер должен был с шестью чинами стремглав нестись туда, откуда звонили, но таких случаев на моей памяти не было.

В карауле в Государственном Банке мне случалось бывать много раз и должен сказать, что в смысле безмятежного спокойствия караульных начальников, из всех караулов он был, пожалуй, самый приятный.

Недавно мне довелось прочесть книгу одного американского писателя, описывавшего свою жизнь в Лондоне и свое знакомство, с несколькими офицерами английской королевской гвардии. Один из этих офицеров раз пригласил американца к себе обедать, в 7 часов вечера, и дал номер дома, в самом коммерческом центре города, в «Сити», на улице «Ниток и Иголок». К назначенному часу американец отправился по адресу и первое время долго не мог понять, в чем дело. Данный номер оказался номером английского Государственного Банка. Он все-таки позвонил и вышедшему на звонок человеку объяснил, что его пригласил 1-го

Королевского Гвардейского полка лейтенант Рессель, но что он все-таки думает, что ошибся адресом. К еще большему его удивлению оказалось, что никакой ошибки не произошло и его любезно проводили в… караульное помещение. Там в комнате караульного начальника был накрыт стол на два прибора, а сам караульный начальник, одетый в замшевую кофточку, радостно протянул гостю руку. Красный с золотым позументом мундир караульного начальника висел на спинке стула, а на другом стояла его высоченная и огромная меховая шапка. Никем не тревожимые, приятели очень вкусно пообедали — обед был от банка — и выпили вина. Часов в 10 вечера американец отправился домой. Дело это происходило в 1908 году, т. е. как раз тогда, когда и мы ходили в наш русский Государственный Банк, но с тою разницею, что нам, русским гвардейцам, принимать гостей, да еще статских, в караульном помещении и в голову бы не могло прийти.

Приблизительно раз в 8 дней от нашего полка наряжался офицерский караул в Аничков дворец. Там здание караульного дома и караульная платформа помещалась как раз напротив главного подъезда дворца, а так как большие ворота всегда держались запертыми и около них постоянно стоял дворцовый служитель, а в будке у него имелась спасительная кнопка, то никаких неприятных неожиданностей, как и в Государственном Банке, караульному начальнику в Аничковом дворце опасаться не приходилось. Во дворце часто жила вдова Александра Третьего, императрица Мария Федоровна. Когда, очень редко, ей приходилось выезжать, караульных начальников заблаговременно предупреждали и на платформу выбегал караул. С караулом старушка никогда не здоровалась, а только ласково ему кивала и на этот кивок, если поспевали, мы полным голосом ей отвечали.

Во дворце помещение караула было прекрасное, а у караульного начальника роскошное, со всегда топившимся камином и с глубокими мягкими креслами. Чины получали по рублю караульных денег, а офицеры прекрасный завтрак и обед с дворцовой кухни. Кроме того им полагалось в день по бутылке столового вина, красного или белого, по выбору, а в большие праздники и царские дни еще по полбутылке шампанского. Караул в Аничковском дворце, если не такой спокойный, как в Банке, был все-таки очень приятный караул.

Значительно менее приятный караул был в Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг. Экспедиция помещалась на Фонтанке, недалеко от Калинкина моста и охранять ее ходили поочередно Измайловцы, Егеря и мы. Дом Экспедиции был довольно мрачный и караульное помещение маленькое, низкое и

темное. За комнатой караульного начальника помещалась комната арестованных офицеров и в ней всегда кто-нибудь сидел. В Экспедиции для наших офицеров, на общем мрачном фоне, был только один светлый луч. Директором там состоял бывший директор Технологического Института, весьма ученый профессор Н. И. Тавилдаров. Сын его Николай, участник Японской войны, был наш офицер. Когда в семье узнавали, что у них в доме стоит Семеновский караул, из профессорской квартиры караульному начальнику присылали первоклассный обед, с вином и с закусками.

В карауле в Комендантском Управлении (Садовая 3) мне пришлось быть всего один раз. При карауле этом всегда содержалось довольно много арестованных офицеров, больше чем при всех других караулах, но караульных начальников они не беспокоили. С ними, к счастью, сносились комендантский штаб-офицер и адъютанты. Караул этот мне памятен только потому, что единственный раз за всю службу, там мне один неприятный адъютант записал в постовую ведомость какую-то пустяшную неисправность.

Самый беспокойный караул, в котором мне пришлось побывать, был офицерский караул в Красном Селе. На вторую половину июля и первые дни августа государь Николай II переселялся обыкновенно в свой маленький деревянный Красносельский дворец и оттуда выезжал на смотры, стрельбы, маневры, скачки и т. п. военные развлечения. В Красном же Селе, во время лагерного сбора, проживал грозный вел. кн. Николай Николаевич и командир Гвардейского корпуса. В маленький караульный дом, против дворца, поочередно все полки гвардии высылали офицерский караул, который ко дворцу, когда в нем жил царь, и к дому Н. Н. и командира, корпуса, выставлял парных почетных часовых. И вот в обыкновенное время еще не так, но во время царского присутствия, с раннего утра и до позднего вечера, мимо караульного помещения, по широкому шоссе главной Красносельской улицы, взад и вперед, верхом, в экипаже и в автомобилях, начинали летать генералы и полковники один другого важнее. И чуть не каждому из них по уставу на платформу полагалось вызывать караул. Хорошо было то, что почти никто из них на караул не обращал никакого внимания. А плохо то, что все они проезжали настолько быстро, что при нормальных условиях успеть проделать всю церемонию, как полагалось, не было никакой возможности. Но по счастью и в этом карауле имелась спасительная «сноровочка». Электрических звонков не было, но зато, за несколько домов справа и слева от караульного помещения, выставлялись «махальные» сторожа

дворцового управления. Все высокое начальство они отлично знали в лицо и при появлении каждого подавали знак часовому у фронта, который незамедлительно ударял в колокол. Само собою разумеется, что в этот караул полки посылали людей расторопных, чаще всего из Учебной Команды, а часовыми у фронта, которым все время приходилось зорко смотреть по сторонам, ставили самых шустрых. Так как времени для выравнивания уже не было, на асфальтовой платформе проводили широкую черту мелом. К ней надо было подбегать. Сам караул, при раскрытых настежь широких стеклянных: дверях, с винтовками между колен, все время сидел на верхних ступеньках лестницы в полной готовности. Не успеет еще отзвучать колокол, как все опрометью бросались каждый на свое место. Через 10 секунд караул бывал уже выстроен и выравнен и караульный начальник весело командовал:

— Шай, на кра-ул!

Помню раз, при проезде Николая Николаевича, мы так чисто и ловко все это проделали, что он не только с нами поздоровался, но и успел нам бросить:

— Хорошо, молодцы!

Существовал еще один караул, куда изредка ходил наш полк. Это был «городок огнестрельных припасов» на Охте. Замечателен он был лишь тем, что идти туда нужно было целый час. К моему большому удовольствию, меня туда ни разу не назначали.

Очень легкий, но довольно скучный наряд было дежурство в Военных Госпиталях. В Семеновский госпиталь, помещавшийся за Семеновским сквером, против Царскосельского вокзала, назначали обыкновенно молодых офицеров 1-ой Гвардейской дивизии. Дежурному вменялось в обязанность пройти по всем палатам два раза днем и раз ночью, пробовать пищу и о всех замеченных неисправностях, кроме как в области чисто санитарной, доносить начальнику госпиталя, или лично, или рапортом. В одной комнате с офицером помещался и дежурный врач, обыкновенно тоже из молодых.

В этой самой дежурной комнате, лет за 50 до описываемого мною времени, состоялось первое знакомство двух великих русских композиторов. Один из них был тогда молодой военный врач Бородин, а другой юный подпоручик Преображенского полка Мусоргский.

Будучи сам человеком заурядным, должен к сожалению сказать, что никого из замечательных людей мне в госпитале увидать не посчастливилось.

Наш полковой собор

Наш собор был построен в царствование Николая I тем же академиком Тоном, который строил и Храм Христа Спасителя в Москве.

В первые годы революции обе церкви были разрушены, отчасти но мотивам политическим, отчасти же потому, что, как, утверждали знатоки, ни та ни другая не имела художественной ценности.

О художественной ценности судить не берусь. Возможно, что ее, действительно, не было. Но для нас, и офицеров и солдат, наш Собор представлял большую духовную ценность и то, что его срыли и сравняли с землей, всех нас, стариков, всех, кто его знал и в нем молился, больно ударило по сердцу. Это была одна из жестокостей революции, которые, как говорят, увы, без жестокостей не совершаются.

Постараюсь описать наш собор, как его помню.

Стоял он на Загородном проспекте, почти против Автомобильного переулка. Главный вход был со стороны Семеновского сквера, а к боковым дверям вели широкие ступени, подымавшиеся прямо с тротуара Загородного.

Местоположение Собора было не очень выигрышное. Выходя боковым фасадом на улицу в густо застроенной части города, снаружи он не производил большого впечатления, но зато внутри он был очень хорош. При входе особенно поражала его высота и стройность его размеров. Огромный средний купол покоился на четырех массивных колоннах, деливших церковь на обширную центральную часть и две боковых. На задних колоннах, на стороне, обращенной к алтарю, на высоте человеческого роста, висели старые полковые знамена, начиная с времен Петра.

С правой стороны, считая от входа, за бронзовой решеткой у амвона, стояли знамена 2-го, 3-го 4-го батальонов и наш галерный флаг.

В память военных подвигов, совершенных Преображенцами и Семеновцами на море, в 1908 году нашим двум полкам было дано по лодке, «Петровские боты», каждая лодка вместимостью на 30 человек при 8 гребцах. Команда на этих ботах была из 3 и 9 роты и из тех же рот офицеры. В обыкновенное время командир 3-ей роты и младший офицер 9-ой носили на погонах петровские золотые вензеля. А когда «выходили в море», что случалось один раз в году, весной, при открытии навигации, гребцы были одеты матросами. На корме развевался «галерный флаг», обыкновенный белый с синим крестом, «андреевский», которому отдавались

почести, полагающиеся знаменам. Поэтому и в Соборе он висел вместе со знаменами.

В двух колоннах, в особых ковчегах, за решеткой и под стеклом хранились золотые жезлы Семеновцев фельдмаршалов: вел. кн. Николая Николаевича (старшего) и князя П. М. Волконского. Фельдмаршалы эти были не так, чтоб уж очень боевые. Николай Николаевич, правда, командовал нашими войсками в Турецкую войну 1877–78 года. Князь же Волконский никогда ни в каких боях участия не принимал, даже в молодых годах, всю свою жизнь состоя при Александре I, сначала в свите, а потом министром двора. Но были у нас в полку и боевые фельдмаршалы: Суворов-Рымникский и Дибич-Забалканский. Их фельдмаршальские жезлы хранились, к сожалению, в других местах.

Снаружи, рядом с папертью, был ход в нижнюю церковь, где стоял деревянный, разборный, писанный масляными красками, иконостас, служивший когда-то для походной церкви Александра I и побывавший с ним и под Аустерлицем и в Париже. До 1905 года нижняя церковь была необорудована и богослужений там не совершалось. В 1905 году в нижней церкви были похоронены тела трех чинов, убитых в Москве, и через несколько месяцев там же тело генерала Мина, убитого З. Коноплянниковой на Петергофском вокзале.

Особенное значение церковь получила с тех пор, когда, с началом первой германской войны, в ней стали хоронить наших убитых офицеров. Все тела, которые удавалось вынести, в цинковых гробах, сделанных из патронных ящиков, привозились в Петербург и замуровывались в бетонные саркофаги, которые располагались во всю ширину церкви, рядами. К 1917 году ими была занята почти вся нижняя церковь. Было их не меньше сорока. После войны предполагалось соорудить под церковью склеп усыпальницу, но… «Бог судил иначе»…

В то время, которое я описываю (1906–1913) полковой собор стоял еще крепко и казался навеки нерушимым. Благодаря обилию богатых прихожан, купцов из Апраксина рынка и Гороховой, щедрых на украшение храма и благотворительность, — среди других военных церквей он занимал исключительно счастливое положение. Полк давал причт, один из лучших в Петербурге церковных хоров, несколько сторожей и, в случае нужды, любое количество рабочих рук для чистки, поправок, починок и т. д.

Приход, с своей стороны, не только не жалел денег на храм и на всех, кто его обслуживал, но содержал богадельню, детский приют, ночлежный дом и даровую столовую, оказывая, кроме

того, многим неимущим прихода помощь — и натурой, и деньгами.

Свадьбы, похороны и всякие требы для бедных, разумеется, совершались бесплатно. Всей церковной и благотворительной частью ведал причт собора, под общим наблюдением ктитора и старосты. Ктитором, так сказать представителем от полка, долгие годы состоял полковник Андрей Ал. Швецов, человек хозяйственный, богомольный, весьма добрый и с немалыми связями. А старостой, выборным от прихода, — И. И. Синебрюхов, апраксинский купец и большой миллионер. А так как ладили они между собою хорошо, то можно себе представить, какую силу представляла собою такая пара.

Со старостой Синебрюховым случился раз такой случай. В один из очередных ремонтов собора, Синебрюхов, человек вообще тароватый, показал раз совершенно необыкновенную широту, отвалив на какие-то нужды тысяч десять рублей серебром. Ктитор, который его на это подзуживал, решил, что за такие щедроты старика нужно почтить и устроить в его честь в Собрании обед.

Обед устроили, с отличной закуской, с тостами, все честь честью. Все же делать из этого обеда, который должен был носить скорее официальный характер, «загул» никто не предполагал. Выпили водки, вина, по два, по три бокала шампанского и довольно… Но оказалось, что вопрос решили без главного действующего лица. И. И. Синебрюхов кончать так скромно не собирался. Выпив винца, он вошел во вкус.

— Очень мне нравится у вас это шипучее… А можно еще!?

— Конечно, можно, Иван Иваныч, сейчас подадут.

— Нет, вы мне уж позвольте, теперь я распоряжусь… Эй, молодец! Подай-ка сюда две дюжины!

Подошел старый Литовёт и с недоумением посмотрел на старшего офицера. Таких заказов ему принимать еще не приходилось. Офицер ему мигнул, что, мол, можно, и через 10 минут вино появилось. А потом еще и еще… Синебрюхов вошел в азарт и все требовал и требовал… А ему все подавали и подавали…

Наконец, уже очень поздно, так под утро, И. И. неуверенно поднялся на ноги, подозвал Литовёта и развернул свой трехстворчатый бумажник.

— Ну, говори, любезный, сколько с меня следует!

Литовёт молчит. А сидевший с Синебрюховым рядом полковник тоже встал и говорит ему:

— Иван Иваныч, спрячьте Ваш бумажник. Вы наш гость, а гости у нас не платят…

Тот так и сел.

— Как не платят, да я тут всем распоряжался, всем командовал, все заказывал… А Вы мне платить не даете… Да как же Вы можете меня так конфузить?!

А ему в ответ: — Извините, нам очень неприятно и мы Вас очень уважаем, но менять для Вас двухсотлетние порядки мы не станем…

— Так что мне теперь делать? Ну, а молодцов Ваших, что подавали нам, можно поблагодарить?

— Это, конечно, можно.

Опять был позван Литовёт и из трехстворчатого бумажника ему самому и на всю братью собранских служащих было вручено две радужных бумажки, иными словами двести рублей, сумма по тем временам немалая, больше чем два месячных жалованья младшего офицера.

Тут же, не выходя из комнаты, И. И. всех присутствующих пригласил на следующее воскресенье к себе ужинать. И что это был за ужин… Вспоминая сейчас даже не верится, чтобы в пище и питье люди могли устраивать такие неистовства. Свежая икра в серебряных ведрах, лангусты величиною с большую тарелку, седло дикой козы, самые дорогие французские вина, цветы из Ниццы… А уж шампанского, хоть, залейся. На ужин было приглашено и наше духовенство. Все веселились и особенно протодьякон, который в конце ужина провозгласил хозяину многолетие такой густоты, что люстра дрожала…

Кстати о нашем духовенстве.

В соответствии с приходом и причт был большой: три священника, три дьякона, несколько псаломщиков, много сторожей к старший над ними, правая рука ктитора, с 13-го года полковой знамещик, подпрапорщик Рафаил Ал. Чтецов, с бородой до половины груди и с крестами и медалями с левого плеча, до правого.

Собор был открыт с раннего утра и до позднего вечера и за свечным ящиком постоянно стоял Чтецов. Домой он уходил, кажется, только обедать и спать.

Настоятелем Собора в мое время был протоиерей о. Александр Алексеев, проведший с полком всю войну. На походе он, в зависимости от сезона, или в сером армяке и меховой шапке, или в соломенной шляпе, ехал верхом на смирной толстой серой лошадке и со своим чисто русским широким лицом и окладистой седой бородой, был похож больше на зажиточного мельника, чем на духовное лицо. Человек он был добрый, но без всякой сладости и обращения был скорее сурового. Красноречием не отличался и слова любил простые и внушительные. На войне

во время проповедей он громил солдат, да и «господ офицеров» за леность и нерадение к церковным службам, угрожающе размахивая крестом.

До сих пор не могу забыть одно его обращение к духовным чадам. Обращение это было так удачно и столь уместно, что в этот раз вне всякого сомнения дошло, куда нужно.

Новый 1915 год наш Полк встречал на отдыхе в посаде Гощин, под Варшавой. К 12 часам ночи, в лучшем доме местечка, в училище, отведенном под офицерское собрание, был приготовлен ужин, а перед ужином, по православному обычаю, должен был состояться новогодний молебен. Перед началом молебна о. Александр посмотрел на нас сурово и самым простым языком сказал приблизительно следующее:

— Дорогие братия, все люди ходят под Богом, а на войне особенно. Вот вы все, пять месяцев тому назад, вышли из нашего родного города на войну. Все вы были тогда сильны и здоровы. И сколько из вас за. этот короткий срок превратилось в беспомощных инвалидов, и скольких из вас Господь Бог уже призвал к Себе… А война еще только началась… Нам неизвестно, кого из вас, из здесь предстоящих и молящихся, призовет Он к себе в этом году. Но можно сказать с уверенностью, что многие из вас будущего 1916 года на этой земле не увидят… Даже тех из вас, которые останутся живы, и тех ждут раны и болезни, тяжелые труды и тяжелые испытания… Помолитесь же от всего сердца Господу Богу, чтобы послал Он вам силы переносить эти тяготы спокойно и безропотно, как должно православному христианину. А тем, кого позовет Господь Бог к Себе, пусть подаст Он добрый ответ на страшном Своем судилище… Аминь!

Слово было короче воробьиного носа, но сказано оно было столь внушительно и так кстати, что все мы, и верующие и маловерующие, в этот раз молились по-настоящему, истово и от всего сердца.

Солдаты о. Александра откровенно побаивались, а офицеры относились к нему с почтением. Единственное исключение составляли молодые доктора, которые на походе изо дня в день, ночуя с ним в одной халупе, наглели до того, что крали и поедали за утренним кофе просфоры, которые собственноручно пек настоятель для совершения литургии.

В атаки впереди солдат о. Александр не ходил, да вряд ли это было и нужно, но для напутствия умирающих появлялся всюду, где это требовалось. Во время боев, в эпитрахили, с крестом и с запасными дарами, он находился обыкновенно на ближайшем к сражению перевязочном пункте, не отставая от докторов, к которым, несмотря на их проделки, он чувствовал определенную

слабость.

Вторым священником был о. Иоанн Философов. В противоположность настоятелю, он был человек светский, знал иностранные языки, имел хорошую библиотеку и очень недурно говорил. При красивой и представительной наружности, он обладал удивительно приятным и музыкальным голосом. Служил он прекрасно. Незадолго до конца войны он был переведен настоятелем в Никольский Морской собор.

Третьим священником был о. Иоанн Егоров. Человек молодой и горячий, магистрант Петербургской академии, совершенно исключительный проповедник, он был пастырем новой формации, в стиле известного в свое время о. Григория Петрова.

Когда наша третья маршевая рота, с Дивовым и со мной, в середине ноября 14 года выезжала на пополнение действующего полка, ранним утром, перед самой посадкой в вагоны, мы все триста человек, строем и с винтовками пошли в собор, принять от него последнее благословение. Помню, что всю раннюю обедню в церкви стояли с винтовками. С винтовками в руках и причащались Святых Тайн. Перед причастием о. Иоанн устроил нам всем общую громкую исповедь. Провел он ее так, что почти все мы вышли из церкви с омытой душой и со слезами на глазах.

Как большинство русских интеллигентов, февральскую революцию о. Иоанн принял всерьез и очень ей обрадовался. А тут подоспели страстная неделя и Пасха. По традиции в страстную пятницу вынос плащаницы совершался всегда с большой торжественностью. В мирное время на вынос обязательно являлся командир полка и все офицеры в мундирах. Он же и выносил плащаницу из алтаря, вместе с тремя полковниками по старшинству. На Пасху 17-го года полк был на войне, но все церемонии производились по старому, только в сокращенном виде. Вместо командира полка плащаницу выносил полковник командир Запасного батальона, вместо полковников ассистировали ему капитаны, командиры рот, вместо всех офицеров явились больные и раненые, лечившиеся в Петербурге. В этом качестве явился и я с палочкой и устроился со стулом около средней колонны. И тут пришлось мне увидеть и услышать страшную сцену, которую я никогда не забуду. Если существует в мире чорт, он в эту минуту в нашем соборе был и весело смеялся.

Когда плащаницу вынесли и уложили, а певчие кончили петь, о. Иоанн Егоров поднялся на помост плащаницы и начал говорить проповедь. К сожалению начал он говорить не церковную проповедь мира и любви, а политическую речь, где были «гнет самодержавия» и «страдания народа» и «солнце свободы» и «упавшие цепи», одним словом все, что тогда полагалось. Но

полагалось в других местах, а не рядом с плащаницей. Помню, всем нам стало не по себе. Зачем он так говорит в церкви и в такую минуту? И вдруг слышим с середины церкви дикий, истерический женский вопль:

— Врешь ты все, мерзавец!

А затем отчаянные рыдания. Какая-то просто одетая молодая женщина посреди церкви билась в истерике. Произошло замешательство. К женщине бросились, взяли ее под руки, принесли воды, посадили. Она еще что-то кричала… О. Иоанн побледнел, скомкал конец проповеди и второпях закончил всю службу. Потом мы узнали, что женщина эта была вдова городового, которого всего полтора месяца назад толпа схватила на его посту, убила и спустила в прорубь под лед. В этот день, с двумя малыми детьми, бедная женщина в первый раз пришла в церковь помолиться перед плащаницей.

Надо отдать справедливость о. Иоанну, он был человек смелый и убеждений твердых. С еще большим жаром, чем он громил с амвона власть павшую, он, после октября, не побоялся громить власть пришедшую и принял венец мученический в подвалах Зиновьевской Чека.

Бесспорно самой красочной фигурой нашего причта был протодиакон Николай Васильевич Крестовский. Огромного роста и соответственного сложения, с черной бородкой и гривой вьющихся волос, всегда веселый, с громоподобным голосом, он был любимцем полка и всего Введенского прихода. Выпить он мог — море, каковое обстоятельство не могло, разумеется, не способствовать его широкой популярности. Он был не только добродушен, как большинство людей его сложения, но очень сострадателен и активно добр. Ночлежный дом, столовая и оказание всякой помощи — находились в его непосредственном ведении, и не бывало церковной службы, чтобы, при выходе, его не ожидало несколько скудно одетых личностей. Приходская голытьба стояла за него горой. Когда его произвели в протодиаконы, он был этим очень горд и на обращение «о. Диакон» отзываться перестал. Рассказывали, что какая-то старуха раз после службы долго плелась за ним по церкви, взывая:

— О. диакон! О. диакон!

Тот никакого внимания. Наконец, на пятый раз, Николай Васильевич наклонил голову и бархатной октавой в нижнем «до» пустил:

— Прото!

Та опять не понимает — О. диакон!

— Прото…

Наконец, старуху осенило:

— О. протодиакон!

— То-то! — отозвался он на два тона ниже и остановился.

Единственным, кажется, тернием в жизни Крестовского был его сын, отъявленный социалист и бунтарь. Он периодически где-нибудь сидел или куда-нибудь высылался, и командир полка и ктитор, по просьбам отца, неустанно за него хлопотали.

Вторым диаконом одно время был о. Иван Нюхин, из казаков. У него был голос, бас, большой красоты и силы. Какой-то благотворитель из прихожан посоветовал ему учиться пению и обещал денежную помощь. Нюхин снял сан и уехал в Италию. Через два года он выступал на Мариинской сцене в «Демоне», под фамилией Павлова. Но большого имени, сколько помнится, он себе не сделал.

Одно из многих достоинств нашего причта было то, что все они всегда, при полной церкви и при пустой, служили одинаково — истово и благолепно. Бывало часов в 6 утра возвращаешься домой в офицерский флигель, с какого-нибудь бала. На улицах пусто. Дворники скребут тротуары. Ночной извозчик сонно цокает и сонно помахивает концами возжей. Но спешить некуда. Ложиться спать все равно поздно. В 8 часов нужно быть на занятиях. Проезжая мимо собора, велишь остановиться и зайдешь в церковь лоб перекрестить. Собор почти темный. В притворе двое нищих, за свечным ящиком Чтецов, а перед приделом, где служат, трое старух и какой-нибудь мастеровой. В огромном пустом храме голоса разносятся гулко и отчетливо. Идет ранняя обедня. Служат дежурный священник, дьякон и поют двое певчих. Но и возглашают и поют и читают — так же истово и торжественно, как если бы служили при полном народа храме в один из двунадесятых праздников.

Канун полкового праздника в Петербурге

(В те годы, когда полк в Царское Село не выходил).

В день Введения во Храм Пресвятой Богородицы, 21 ноября (ст. ст.) Семеновский полк праздновал свой полковой праздник. В этот же день справлял свой престольный праздник полковой собор.

Уже с утра 20-го праздничное оживление чувствовалось даже на соседних улицах. Извозчики перед подъездом Собрания сильно увеличивались в числе, поздравляли офицеров с «наступающим» и на два дня повышали свои притязания, по крайней мере на двугривенный.

В приюте и в приходской столовой шла раздача пожертвованной купцами бакалеи и мануфактуры. Все, кто просил, что-нибудь да получали. И можно с уверенностью сказать, что если в этот и на следующий день пьяных в приходе было не мало, то голодных не было вовсе.

В соборе сторожа и командированные на помощь солдаты наводили последний блеск и чистоту, натягивали ковры, готовили самое нарядное облачение и проверяли свет.

В этот день в казармах занятий не производилось. Фельдфебеля в своих помещениях готовились к приему гостей. Солдаты командами и по-одиночке густо шли в баню, в полковую и на Казачий, брились, стриглись, чистились и в самое неурочное время пили чай с ситным и с баранками. Дисциплина заметно слабела, ибо все начальство было занято своими делами.

В офицерском собрании усиленно звонил телефон. Председатель Распорядительного комитета (главный вершитель всех дел Собрания — выбирался из старших офицеров) и хозяин Собрания (должность второстепенная, выбирался часто из молодежи), — усиленно готовились к ужину-монстр в самый день праздника, — торжество по своим размерам, великолепию и продолжительности заслуживающее специального описания.

Буфетчик латыш А. И. Люман развивал оживленную деятельность. Собранские вестовые, под предводительством Литовёта (старый вольнонаемный лакей) перетирали парадную посуду, хрусталь, начищали многопудовое собранское серебро. В этот день завтрак, и обед готовились и подавались наспех. Все больше «антрекоты» и «омлеты-офицзерб».

У офицеров тоже было не мало хлопот. Когда я вышел в полк (в 1905 году) кителя существовали только белые и носились

летом в лагерях. Зимой на занятиях и вне занятий, офицеры носили сюртуки, а на дежурстве, в караулах и во всех парадных случаях мундиры. Чтобы ходить чисто и опрятно, нужно было иметь не меньше 3 сюртуков и 3 мундиров, которые, по причине золотого шитья на воротнике и рукавах, особенно скоро изнашивались. Большинство подгоняло шитье новых мундиров именно к полковому празднику, и зачастую последняя примерка назначалась чуть ли не в последнюю минуту.

Были среди офицеров люди аккуратные, чаще всего немецкого происхождения, у которых всегда все было приготовлено заранее, и мундиры и сюртуки и все прочее висело и лежало в шкафах и комодах «по срокам». Но было не мало и таких, которые вспоминали о необходимости купить новые погоны, шарф или портупею только тогда, когда их нужно было надевать, и тогда денщики летели за ними к Пивоварову, Скосыреву, Фокину или в Гвардейское Экономическое Общество.

Форма одежды на всенощную под полковой праздник полагалась «обыкновенная». Еще Куприн писал, что форма эта, несмотря на название, была не очень обыкновенная и носилась сравнительно редко. При обмундировании времен Александра III и первой половины царствования Николая II, форма эта состояла из мундира с погонами и с цветным поясом при орденах, в Петровской бригаде при нагрудном знаке, с барашковой шапкой, при шароварах и высоких сапогах. По введении Александровской формы (мундиры с пуговицами и лацканами) многие находили, что она гораздо красивее и элегантнее старой. Но и старые, с косым бортом, гвардейские мундиры, со своим чисто русским покроем, были тоже очень хороши. Главное их достоинство было то, что они шли ко всем фигурам и сложениям. Они были хороши и на стройном поручике и на дородном полковнике.

Ровно в 6 часов вечера раздавался первый удар соборного колокола, но уже к этому времени войти в храм было не легко. В седьмом часу церковь была полна до отказа и протиснуться внутрь с главного входа было уже немыслимо. Толпа стояла плечом к плечу, так что нельзя было перекреститься. Солдат в церкви было по наряду от каждой роты и команды, т. к. всех, плюс прихожане — вместить было нельзя. Сплошной стеной стояли прихожане и «народ». Особо почетные лица пропускались в алтарь, или теснились у свечного ящика, где стояли и ктитор и староста.

Все паникадила и свечи были зажжены. В куполе были открыты окна. Но несмотря на это, от дыхания над толпой стоял пар, и люди и предметы различались как в тумане. Изредка толпа колыхалась, как волна, напирала на стоявший перед офицерской

загородкой живой забор великанов солдат, слышался сдержанный гул, как вздох… Солдаты хватались за руки, отваливались назад и через минуту толпа снова откатывалась и снова становилось тихо. От времени до времени выводили и выносили «сомлевших», чаще женщин, иногда и мужчин. Они садились на ступеньки на снежок на паперти и, придя в себя, шли назад в церковь. Православные люди по большим праздникам любили долгие службы. Всенощная длилась больше трех часов. Читали и пели все, что полагалось под престольный праздник, все целиком, без единого выпуска и сокращения.

И служба, шла медленно и торжественно. Служил Протопресвитер Военного и Морского духовенства. Я помню еще тучного старика Желобовского, затем Голубева, б. главного священника Манчжурской армии, друга Куропаткина, и, наконец, о. Георгия Шавельского.

Много лет спустя, в эмиграции, живя в Софии, мы часто с ним вспоминали всенощные под Введение, и он не раз мне говорил, что сам он редко испытывал такое молитвенное настроение и такой душевный подъем, как тогда, когда служил в этот день в нашем полковом соборе.

Сослужило с Протопресвитером не менее шести-восьми священников, и из них, кроме причта и гостей — старые Семеновцы, принявшие священство. Всегда служил о. Вениаминов, священник, церкви Аничковского дворца. Иногда приезжал и служил архимандрит Амвросий (капитан Тидебель), впоследствии настоятель храма Российской миссии в Тегеране. Кроме протодиакона Крестовского, служило еще три или четыре дьякона.

Престол, жертвенник, все аналои, столик, на котором совершалась лития, и все священно — и церковно-служители, начиная с Протопресвитера и до псаломщика, все и все были одеты в особенное полковое облачение, золотой парчи, с вытканными по ней колосьями (полковым шитьем) вперемежку с синими васильками. Облачение это — большого богатства и красоты чуть не на 20 человек, было в свое время специально заказано и пожертвовано в полковую церковь г-жей Новинской, в память сына, молодого офицера, умершего от чахотки. Вынималось и одевалось оно только раз в год, на полковой праздник.

Служба идет медленно и торжественно. Поет полный полковой хор в 60 человек, хор удивительный по стройности и тонкому вкусу в исполнении. Управляет регент Алексеев. Уже не в первый раз несется громкий и радостный, как пасхальный, напев тропаря Введению:

— Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедаше. В храме Божием ясна Дева является и Христа всем предвозвещает»…

И в ответ, в тон последней ноте хора, с середины церкви, без всякого усилия наполняя ее всю, раздается могучая, бархатная октава Протодиакона:

— И о сподобитеся на…ам слышания Святого Ева…ангелия…

В этот вечер проникнуть в собор после начала всенощной с главного входа было немыслимо. А потому снисходя к слабости г. г. офицеров и щадя их новые мундиры, с правой стороны церкви оставлялось для них свободное место, шагов в 12 длины и шагов в 8 ширины, отгороженное с двух сторон переносной деревянной решеткой. Вход за загородку открывался из боковых дверей, с Загородного проспекта. При входе, в вестибюле, между наружными и внутренними дверями, ставились вешалки и наряжались вестовые для снятия офицерских шинелей.

Ко всенощной офицеры собирались не спеша. До освящения хлебов загородка была почти пуста, только у задней решетки, почти вплотную к ней, стоял ряд бывших фельдфебелей и унтер-офицеров, превратившихся в околодочных, курьеров, швейцаров в министерствах и прочих тому подобных столпов прежних времен. Все это были люди крепкие, основательные и представительные собой. На формах, длиннополых сюртуках и пиджаках у всех на левой стороне полковой знак. При входе особенно знакомых офицеров, то один, то другой из них, расплывался в широкую улыбку, раздавалось тихое, но отчетливое:

— Здравия желаю, Ваше Высокоблагородие!

За чем следовали поцелуи и взаимные поздравления. Немного впереди с офицерами стояли старые Семеновцы. Приезжал маленький и тоненький П. П. Дирин, Н. П. Галахов, С. И. Гаевский, П. И. Лебедев, Истомин и многие другие. Приезжали Семеновцы, состоявшие при большом и малых дворах, офицеры Генерального Штаба и те из ушедших в запас, которые съезжались на полковой праздник со всех концов России. Тут же были жены офицеров в закрытых вечерних платьях.

К освящению хлебов за загородкой становилось тесно, но еще задолго до окончания службы некоторые офицеры потихоньку исчезали и, накинув шинели и перейдя улицу, накапливались в Собрании. Там уже был приготовлен чай и закуска. И многие старые друзья, целый год отделенные друг от друга жизнью и расстояниями, пользовались этим тихим и уютным временем, чтобы поговорить по душам, зная, что на другой день, в толпе и многолюдстве сделать это будет уже труднее.

Ротный праздник в 9-й роте

Каждая по настоящему спаянная воинская часть, живущая своей жизнью, есть в сущности живой организм и каждый такой организм имеет свою физиономию. Все 16 рот в полку комплектовались одинаково, носили одну форму, жили в одинаковых условиях ели одну пищу и проходили одинаковый курс обучения. И несмотря на это, если хорошенько присмотреться каждая из этих 16 единиц чем-то отличалась одна от другой. Отличия эти обуславливались несколькими факторами. Во-первых, и превыше всего, личность начальника. Затем личности фельдфебеля, по новому старшины, и командного состава и, наконец, что-то невесомое, но очень реальное, тот дух, который оставался от старого, та сила инерции, которою люди, сами того не замечая, продолжали жить и иногда жили довольно долго. На моей памяти одна из наших рот, которой много лет командовал волевой, серьезный и во всех отношениях образцовый офицер, после его ухода попала в руки пустого и легкомысленного человека, два года, спустя рукава, отбывавшего номер и занимавшегося своими собственными делами, ничего общего с военной службой не имевшими. На войну эту роту вывел третий командир, лично храбрый, но не умный и слабовольный. И вот, несмотря на четыре года под командой неудачных командиров, полученный этою ротою заряд был настолько силен, что в смысле твердости и боевой надежности, до самого конца она была одной из лучших в полку. Совершенно естественно, что те роты, которые пользовались хорошей славой в мирное время, оказались хороши и на войне, и это несмотря на часто менявшихся командиров и фельдфебелей и четыре раза за войну переменившийся полковой состав.

В нашем 1-м батальоне до войны пользовались исключительно хорошей репутацией роты 2-я и 4-я. Второй ротой восемь лет командовал А. С. Пронин, человек серьезный, хозяйственный и хороший строевик. Фельдфебелем у него был старый Чичигин, который за несколько лет до войны ушел на Главный Почтамт начальником военной охраны, где хорошо платили и куда он понемножку перетащил много запасных солдат своей роты. Стрельбою Пронин никогда особенно не увлекался, но почему-то вторая рота всегда стреляла отлично и нередко забирала полковые призы. Четвертой ротой, почти так же долго командовал капитан Н. М. Лялин. Он был убежденный холостяк, имел исключительные хозяйственные способности и был прекрасный организатор. Человек методический и волевой,

нервов он не имел и рассердить его не было никакой возможности. Бывают люди буйно-напористые, Н. М. был тихо-напористый и шел вперед, как паровой каток, медленно, спокойно и неукоснительно. Как истинный властолюбец, старых опытных фельдфебелей он не держал, а держал молодежь своей выучки, которые преданно смотрели ему в глаза и своего мнения не имели. 4-ая рота ходила у него по струнке.

Как я уже писал, на разбивках в гвардейском корпусе новобранцы распределялись по типу. То же самое соблюдалось и в полках. В головные роты батальонов, в 1-ую, шефскую роту, носившую наименование «роты Его Величества», в 5-ую, 9-ую и 13-ую давали всегда людей высоких и видных. В этом отношении хуже всего обстояло с Е. В. ротой, куда шли исключительно великаны. Среди них нередко попадались красавцы и богатыри, но не мало было там и «макарон», длинных белесых полячков, из губерний Калишской, Ломжинской и Петроковской, выросших на картошке и никогда мяса дома не видавших. На хороших солдатских харчах, при двух мясных порциях п при 3 фунтах хлеба в день, ко второму году службы, большинство из них отъедались, выравнивались и становились молодцами хоть куда.

Единственная рота в полку, где по традиции солдаты носили подстриженные бородки, была 5-ая рота. Когда я с нею познакомился, ею командовал штабс-капитан Борис Семенович Пронин, т. п. «Боба Пронин», младший брат командира 2-ой роты. При недурных хозяйственных способностях, строем «Боба» не увлекался, а любил вкусно покушать, в меру выпить, выкурить хорошую сигару и сыграть в бридж. В отношениях с людьми он был совершенный «джентльмен» и, за исключением некоторой ленцы и барства, других недостатков не имел. Солдаты его любили, а офицеры неизменно выбирали в «распорядительный комитет» и в «суд чести». И даже то обстоятельство, что всю войну «Боба» провел в «начальниках хозяйственной части», должность, которую он исправлял отлично, во мнении офицеров ему не повредило. Под мягкой и либеральной командой Бобы Пронина, 5-ая рота ничем не блистала, но все же оставалась крепкой и надежной ротой и такою была и на войне.

Одна из лучших рот в Полку была 6-ая. Много лет ее воспитывал швед Левстрем, человек твердый и великолепный стрелок. При нем на стрелковом поприще 6-ая рота постоянно соперничала со 2-ой. Когда Левстрем, перед производством в полковники, сдал роту, ее принял А. А. Свешников, тоже отличный стрелок. Судьба его была самая необычайная. На войну он вышел «младшим штаб-офицером». Всякую «ученую» войну он презирал и даже карты читал плохо. Девизом его было: «вперед,

без страха и сомненья…» Не было ничего удивительного, что при таком девизе он заработал Георгиевский крест, но довольно удивительно было то, что он остался жив, и что из пяти полученных им в разное время ран, ни одной не было очень серьезной. Когда началась революция, он «ушел в частную жизнь» и превратился в рабочего на каких-то земляных работах. И вот этого человека, которого в течение 4 лет не сумели убить австрийские и немецкие пули, в 1918 году, где-то около Любани, задавило на смерть вагонеткой.

На войну славную 6-ую роту вывел Веселаго, и как все, что этот человек делал, он командовал ею умно и талантливо. В первый период войны фельдфебелем в 6-ой роте был большой молодец подпрапорщик Матвеенко. 7-ая рота, хотя ею долго командовал хороший стрелок, и выдающийся спортсмен Лоде, ничем особенным не выделялась, но зато 8-ая была худшая рота в полку. Лет 7 ею командовал, или, вернее, над ней «шефствовал», капитан Семен Ив. Назимов, личность во многих отношениях анекдотическая. Человек богатый и с большими связями в чиновном и в придворном мире, приятель знаменитого очковтирателя генерала Воейкова и Нововременского журналиста Меньшикова, он занимался правой политикой, биржевой игрой, устройством делишек своей многочисленной родни, одним словом, всем, чем угодно, только не своим прямым офицерским делом. Он мог легко устроить человеку получение ордена, место с приличным складом, или придворное звание. Нужных ему людей он обхаживал весьма ловко. Тех, кто любил поесть, он возил по лучшим ресторанам. Тем, кто был непрочь выпить, он устраивал гомерические кутежи у цыган, или накачивал их шампанским в Собраньи, при чем сам напивался в первую голову. Для настоящего двигателя закулисных пружин в большом масштабе он был слишком глуп, но при деньгах и некоторой доле хитрости, обделывать маленькие дела ему обыкновенно удавалось. В полку его всерьез не принимали, но так как был он человек скорее добрый, когда нужно было кого-нибудь устроить, офицеры и солдаты обращались к нему, и все всегда устраивалось к общему удовольствию. На войну Семен Назимов вышел полковником без определенных занятий и первое время болтался при полковом штабе. Вскоре он исчез и мы о нем больше не слыхали. Надо думать, что он растворился в бесчисленной массе тыловых штаб-офицеров. На войне несчастная 8-ая рота, которая носила громкое имя «Суворовской», т. к. когда-то в 8-ой роте фельдмаршал начал службу, переменила несколько командиров, один другого неудачнее, и среди других рот, в смысле боевой надежности, пользовалась самой плохой репутацией.

В 4-м батальоне были хороши 13-ая и 16-ая роты. Первую на войну вывел Степан Гончаров, а другую Поливанов. Но должен сказать, что об этом батальоне у меня всегда было смутное понятие. Зато 3-ий батальон я знал хорошо, т. к. начал службу в 9-ой роте, а на войне командовал 12-ой. Все роты этого батальона были, пожалуй, одинаково хороши и в хороших руках могли показать, и показывали на войне высокий класс.

Когда в конце мая 1905 года, после отпуска, я явился на службу в полк, меня назначили младшим офицером в 9-ую роту, которой командовал тогда капитан Андрей Александрович Швецов. Он был состоятельный человек. И он и его жена любили театры, рестораны и светскую жизнь, но все это нисколько не мешало ему быть хорошим и исполнительным офицером. Стрельбой и строем он не слишком увлекался, но был прекрасный хозяин, знал людей и рота у него была в порядке. Фельдфебелем у него был старый Филипцов, тоже больше «хозяйственник», чем «строевик». Бывало по целым часам, зимой в канцелярии, а летом в деревянном балаганчике, где жил ротный писарь, ротный командир и фельдфебель вели бесконечные разговоры и главным образом на хозяйственные темы. Кажется в 1916 году А. А. Швецов был произведен в генералы и получил в командование Л. Гв. Гренадерский полк. С полком он достойно воевал, офицерами был уважаем и в его рядах был тяжело ранен.

Свежему человеку может показаться странным, почему я так много говорю о «хозяйстве» и о «хозяйственных» офицерах. Казалось бы, в такой маленькой единице, как рота, какое уж там может быть хозяйство? И тем не менее хозяйство у нас в ротах существовало и довольно сложное. Роты вели хозяйство двух родов. Одно ротное по довольствию, где все определялось раскладкой, установленными ценами и где все контролировалось хозяйственным отделением полковой канцелярии. Это было хозяйство официальное, где все было налицо, и все на учете. Но параллельно с ним существовало и другое хозяйство, ротное, «артельное», где ротный командир был полный хозяин и куда, по возможности, полку совать нос он не давал. В полках искони существовали «вольные работы». За Московской заставой нашему полку принадлежало несколько десятков гектаров отличной огородной земли. Земля эта сдавалась в аренду вольным огородникам, с тем условием, что работать на них должны были исключительно наши солдаты и за условленную плату, обыкновенно рубль в день. Этот рубль делился пополам: полтинник работнику и полтинник в ротную артель, в так называемые ротные «негласные суммы». Если принять во внимание, что на огородах солдат работал полтора месяца,

сентябрь и половину октября, то за это время он зарабатывал, считая праздники, круглым счетом до 40 рублей. Из них 20 он клал себе в карман, а другие 20 сдавал в ротную артель. Когда же таких огородников рота имела возможность послать десять, то в артельные отчисления это давало уже почтенную сумму в 200 рублей. И такие работы выполнялись из года в год. Нечего и говорить, что солдат, желающих идти «на огороды», было всегда много больше, чем можно было послать. Каждому из «огородников» давалась расчетная книжка, где все его заработки и забранное было проставлено, и за три года службы, к выходу в запас, у многих накапливались приличные деньги. Артельные негласные суммы, которые в некоторых ротах достигали двух тысяч и больше рублей, ротные командиры в ротах, конечно, не держали, а сдавали их в банк на общий счет командира и фельдфебеля. В зависимости от хозяйственных талантов ротных командиров, некоторые роты были богаты, другие только состоятельны, а третьи сравнительно бедны. В курсе ротных хозяйственных комбинаций держались только фельдфебель и артельщик. Своих младших офицеров в эти дела ротные командиры обыкновенно не пускали. Теперь: куда шли артельные деньги? Нужно помнить, что казна и солдат и офицеров всегда содержала нищенски. До 1906 года солдат от казны не получал даже мыла, не говоря уже о чае и сахаре. И вот все, что казна не хотела или не могла дать и все, что было необходимо для содержания в чистоте и в нормальных удобствах сотни молодых людей, все это покупалось и заводилось на ротные негласные деньги. Во всех ротах были заведены кипятильники, где имелся кипяток с утра и до вечера, держалась в порядке одежда и аммуниция, шились и чинились сапоги, покупались вакса и щетки, заводились теплые одеяла, заводилось и чинилось постельное белье, простыни и наволочки, заводилось и чинилось носильное белье, мастерились табуретки, покупался чай и сахар, широко отпускалось мыло, и на каждый день и на баню, покупались бритвы, ножницы для стрижки ногтей и машинки для стрижки волос, и отпускались деньги на ротную школу. Должен сказать, что все это я знаю исключительно из наблюдений, т. к. в мирное время ротой никогда не командовал, а командовал только на войне, где все было много проще и денег было много. Но думаю, что сказанного достаточно, чтобы увидеть, что у настоящего рачительного ротного командира в мирное время было много дела и много забот. С 1906 года солдатам казна стала отпускать «мыльное к чайное довольствие», но за то, кажется, еще через год, были уничтожены «вольные работы». Помню, что старых ротных командиров эта мера не очень обеспокоила и

какими-то путями артельные суммы все-таки продолжали пополняться.

Существовала, между прочим, курьезная аномалия. Роты были богаты, а полк, т. е. полковое хозяйство, бедно. На хозяйственной почве между ротами и полком велась постоянная война. Полк, например, предлагает ротам «озаботиться заведением новых чехлов на соломенные матрасы». Роты отвечают, что на такой расход у них нет денег. Полк ставит «точку на и» и разъясняет, что расход этот надлежит произвести на ротные негласные суммы. Роты отвечают, что негласных сумм на такой расход им не хватит. Рассерженный полк принимает драконовскую меру и предписывает ротам в трехдневный срок представить в хозяйственное отделение полковой канцелярии подробный отчет об имеющихся у них негласных суммах. Припертые к стене ротные командиры держат совет. Нагло врать им все-таки не хочется, а показать честно нет никакой возможности. Негласные суммы слишком велики и если цифру их полк узнает, он сможет просто приказать отчислить хотя бы только половину их в полковые хозяйственные суммы. Ротные командиры идут торговаться с начальником хозяйственной части и дело кончается компромиссом. Хозяйственная автономия за ротами до времени оставляется, но жирный кусок из артельных сумм оттягивает себе полк.

В 1909 году А. А. Швецов был произведен в полковники и сдал 9-ую роту Романовскому, который только что окончил Военную Академию, с зачислением в Генеральный Штаб и вернулся в полк. По закону все офицеры, окончившие дополнительный класс, т. е. 3-ий год академии, перед тем, чтобы надеть форму Генерального Штаба, обязаны были отбыть двухлетний ценз командования эскадроном или ротой. Каждый старался отслужить этот срок у себя в полку. Тогда же переменился в 9-ой роте и фельдфебель. Ушел старый Филиппов и на его место был назначен Мих. Гавр. Новиков, вскоре произведенный в подпрапорщики. Он был уже мужчина новой формации, молодой, представительный, кажется бывший рабочий и совершенно интеллигентный человек. Иметь с ним дело было одно удовольствие.

Сергей Вл. Романовский, он же «генерал Ро», с которым я познакомился еще тогда, когда юнкером посещал гостеприимную квартиру капитана П-ва в офицерском доме, был во всех отношениях блестящий офицер. Умный и живой, с кипучей энергией, военную службу он любил всей душой и своему делу отдавался с самозабвением, просиживая в роте с раннего утра и до позднего вечера. Соперничество между военными частями и

местный патриотизм каждой есть, один из главнейших факторов военного совершенствования. При приеме Романовский перед строем объявил, что «хотя он имел счастье принять роту в отличном состоянии, но так как в совершенстве нет предела, он приложит все свои силы, чтобы славная 9-ая стала лучшей ротой в полку по стрельбе, по строю, по гимнастике и по поведению и что он твердо уверен, что г-да офицеры, и фельдфебель, и командный состав, и все чины роты ему в этом помогут. Рота крикнула «ура» и все обещали стараться. Вскоре подошел ротный праздник.

Праздником роты всегда считался праздник того образа, который висел в роте прямо перед входом. Образа эти очень большие, в серебряных ризах, были вделаны в деревянные киоты, на подобие церковного иконостаса, и место это было обыкновенно огорожено деревянной решеткой. Перед образом всюду висели лампадки, всегда зажженные. Деньги на масло отпускались из ротных сумм. В качестве специального ротного покровителя, в одной роте висел Александр Невский, в другой Дмитрий Ростовский, в третьей св. Владимир, и т. д. У нас в 9-ой роте висел образ Мирликийского чудотворца Николая. Этот маленький, с квадратной седой бородкой добрый старичок, с чисто русским лицом, хотя и был итальянец, в прежние времена был перегружен работой. Кроме моряков, которых он опекал специально, он считался официальным заступником и покровителем всей старой России. Когда дела там шли из рук вон плохо и казалось не было выхода, умные люди грустно качали головами и говорили: «Одна надежда на Николу Угодника…» Что мог он, конечно, делал, но слишком уж много у нас наваливали на его старые узенькие плечи. На такую махину одному старичку было определенно не разорваться.

Свои ротные праздники роты справляли по разному. Всюду и всегда начиналось молебном, затем официальное поздравление, потом для офицеров закуска у фельдфебеля, а для чинов улучшенный обед, и на этом праздник обыкновенно заканчивался. Были роты, где устраивались и вечерние развлечения. Нанимали фокусников и гармонистов и кое-где ставились спектакли. Раз 12-ая рота, которой командовал тогда хозяйственный и сам богатый человек А. Ф. Штейн, наняла несколько конных омнибусов, крытых линеек, которые еще доживали свой век в Петербурге и у публики носили картинное название «40 мучеников». На этих мучениках вся рота целиком отправилась веселиться в Народный дом. Вход туда для солдат стоил гривенник и кроме того из ротных сумм каждому было дано еще по двугривенному на гулянку. Такие расходы нашей 9-

ой роте были не под силу, но все же мы с Романовским решили отпраздновать наш праздник с возможным блеском. Я тогда строевой службы в полку уже не нес, но продолжал числиться в 9-ой роте и по старой дружбе с ротным командиром принимал деятельное участие во всех приготовлениях. Долго мы думали, что бы нам такое устроить, сделали два заседания с фельдфебелем и со взводными командирами, подсчитали расходы и, наконец, решили устроить бал. Из 100 человек в роте в таких делах имело голос приблизительно немножко больше половины, старослужащие по второму и по третьему году службы. Они были, так сказать, полноправные члены общества. Другая же часть, новобранцы, всего только месяц назад надевшие форму, которых еще на улицу было опасно выпускать, были славные барашки, которые опрометью бросались туда, куда их посылали и ни на какое самостоятельное действие способны не были. На втором заседании, куда было привлечено все начальство, человек 20, первым делом было решено образовать комиссии, причем долго обсуждалось, кого куда назначить. Каждый должен был получить назначение по его прирожденным способностям. Комиссий было оборудовано пять. По украшению помещения, — им надлежало купить цветной бумаги, достать еловых веток и все разукрасить. Комиссия по угощению, — на их обязанности лежало угощение гостей в столовой чаем и сладкими булками. Комиссия охраняющая входы, — они должны были проверять, билеты приглашенных и никого из посторонних не пускать, особенно солдат чужих рот. Комиссия гардеробная должна была помогать гостям раздеваться, давать каждому номерки и следить, чтобы ничего не пропало. И, наконец, «вышибательная» комиссия. Главным был в ней назначен унтер-офицер Сергеев, огромный и серьезный мужчина, косая сажень в плечах. Ему в помощь было дано четыре молодца, один другого внушительнее. Одно из главных достоинств их было то, что все были непьющие. Их обязанности были исключительно полицейские. Все члены комиссий, за исключением украсителей, получили распорядительские банты из синих лент. Для распоряжения танцами был приглашен подпоручик Павел Азанчевский, мой старый сослуживец еще по Учебной команде. Кроме него, помочь создать оживление, обещали прийти еще трое молодых офицеров. За эти услуги всем им в ротной канцелярии был обещан «крюшон». Распорядителем всего бала, с правом решающего голоса во всех спорных вопросах, Романовский назначил меня.

В роте выбрать танцующих было не так уж трудно. Из старослужащих половина умели танцевать польку и кадриль. Человек пять танцевало вальс. Главная трудность была в дамском

вопросе. В деревнях все это очень просто. Вся молодежь растет вместе, все друг друга знают с детства и все друг с другом танцуют. В городе, где у солдат знакомства случайные, на наш бал мог попасть такого рода элемент, что сами устроители были бы не рады. На этот важный вопрос было обращено самое серьезное внимание. Все танцоры были опрошены, кого они намерены пригласить, всем было подробно разъяснено, кого можно приглашать и кого нельзя и всем им были розданы пригласительные билеты за ротной печатью и за моей подписью. В смысле танцующих девиц большая надежда возлагалась на Офицерский Дом. Во всех семьях женатых офицеров имелись домашние прислужницы и среди них были и молоденькие. Из офицерских жен на балу непременно обещала быть и помогать молодая жена Романовского, жена командира 12-ой роты Л. М. Штейн и 20-летняя жена Эссена со своей младшей сестрой Асей. Таким образом, после многих забот и хлопот и этот самый больной вопрос, как нам казалось, был разрешен удовлетворительно.

Наконец настал знаменательный день 6-го декабря, он же царский день именин императора Николая II и, в его царствование, русский национальный праздник. Помню, что светило тусклое солнце и мороз в этот день был жестокий. Церемония молебна и поздравлений была назначена на 10 часов утра, но мы с Романовским, одетые в полную парадную форму, с красными лацканами и с киверами, явились в роту на час раньше. Помещение 9-ой роты преобразилось до неузнаваемости. К потолку были подвешены разноцветные бумажные цепи, такие же цепи на ружейных пирамидах. Все картины и портреты, которые висят на стенах, разукрашены еловыми ветками. Про умопомрачительную чистоту и говорить нечего. Вдоль всего ротного корридора постлана красная дорожка, удобная тем, что при ее наличии никаких долгих равнений не требуется. Все станут к ней носками и рота выравнена идеально. Без 10 минут десять выстроили роту, конечно, без ружей. Не рота — а красота. У всех чисто-начисто вымыты лица и руки, сапоги блестят, бляхи и пуговицы сияют, пояса белеют и выпяченные груди краснеют. Все, кому уже нужно бриться, выбриты безукоризненно, но огромное большинство подбородков в этой операции еще не нуждается. Сейчас идет только поправка киверов. Новобранцы, которые надели их в первый раз в жизни, или сдвигают их на затылок, или нахлобучивают на нос. Наконец все готово и ротные часы с гирями бьют десять. Первыми входят гости — командиры других рот батальона. Все они в сюртуках. Здороваются с офицерами и с фельдфебелем и, как того требует тонкое

приличие, отпускают комплименты насчет парадного убранства и общего великолепия. Когда командир 9-ой роты будет приглашен к ним на праздники, он будет говорить то же самое. Командир полка на ротные праздники обыкновенно не является, но батальонный командир приходит обязательно. Ему командуют:

— Смирно, г-да офицеры!

Он здоровается с людьми и поздравляет с праздником. К этому времени пришло и духовенство, о. Александр Алексеев и протодьякон Крестовский. Они уже сняли свои заиндевевшие шубы и надевают облачение. Протодьякон раздувает кадило и басисто откашливается. Подается команда: «На молитву, шапки долой!» Все снимают кивера и по знаку Романовского, расстраивая ряды, толпой подходят к образу. Впереди, сразу за духовенством, становятся офицеры, а рядом певчие. Певчих всего десять человек и выбрать их из роты было легко. Песнопения для молебна полагаются самые несложные, а «святителю отче Николае», тропарь «правило веры и образ кротости» и «многая лета», мы с ними предварительно прорепетировали несколько раз. Молебен заканчивается громоподобным многолетием Государю Императору, державе Российской и «всем служащим и служившим в 9-ой роте Лейб-Гвардии Семеновского полка…» Кончился молебен, духовенство уходит и начинается второй акт церемонии. Люди бегут на свои места и во мгновение ока выстраиваются по красному половику. Романовский подает команду: «Накройсь!» Хозяева надевают кивера, а гости фуражки. Офицеры 9-ой роты становятся на правый фланг. Фельдфебель Новиков выносит и ставит перед строем маленький столик, а на него водружают серебряную братину, один из наших стрелковых призов, куда уже влита бутылка водки. Рядом кладется маленький серебряный ковшичек, тоже какой-то приз. Сейчас начнутся тосты. Их будет много, но никакой импровизации допущено не будет. Всякий твердо знает, что ему полагается сказать. Когда все замерли в идеальной стойке, Романовский подходит к столику, берет ковшичек, делает вид, что зачерпывает из братины — пить водку на пустой желудок и без закуски никому не весело — подымает ковшичек и провозглашает первую здравицу:

— За державного шефа нашего полка Государя Императора.

Все кричат ура. За сим следуют тосты за полк, за батальонного командира и за «почтивших нас своим присутствием» командиров соседних рот. После этого, в качестве старшего офицера в роте, вперед выступаю я и провозглашаю тост «за ротного командира». Романовскому «ура» кричат с одушевлением. Он два раза машет рукой, но «ура» все еще

гремит. Наконец, все успокаивается, он в последний раз берет ковшичек и приподнятым голосом говорит:

— За наших младших офицеров, за фельдфебеля подпрапорщика Новикова, за наш командный состав, за всех вас, братцы, и за всю нашу славную 9-ую, урраа!

На этот раз раздается «ура» самое искреннее и самое одушевленное и продолжается довольно долго. Это «ура» уже самое последнее и после него для чинов официальная часть собственно закончена. Все они бегут к своим кроватям, снимают парадные мундиры и переодеваются в свои каждодневные зимние верблюжьи бушлаты. Позволить им идти в столовую в мундирах с красной грудью и есть в них борщ, конечно, никакому ротному командиру и в голову бы не пришло. Того и гляди замажутся. Через десять минут вся рота уже внизу и стоит за столами. Мы сходим вниз и для виду пробуем пищу. Для торжественного случая сегодня в котел положено два фунта сметаны, а в кашу два фунта коровьего масла. Поэтому борщ и всегда вкусный, сегодня выходит одно объедение. Предварительно из серебряной братины, откуда черпались тосты, выливается водка и дается унтер-офицерам. Одна бутылка на шесть человек немного, но для возбуждения аппетита достаточно. Попробовав пищу и посадив людей, мы, офицеры, подымаемся наверх и идем закусывать к фельдфебелю. К закуске приглашается батальонный командир и все гости. Набирается офицеров человек семь.

Жалованье фельдфебеля-подпрапорщика 40 рублей в месяц, плюс большая комната с отоплением и освещением, плюс три солдатских пайка. Жить на это скромно можно, но угощений устраивать нельзя. Поэтому накануне праздника кто-нибудь из нас идет в комнату фельдфебеля, с ним и с женой фельдфебеля обсуждает, что нужно купить, и передает ей собранные между ротными офицерами рублей 15–20. Деньги эти хозяйкой принимаются без всяких лишних церемоний, т. к. закусочный стол у фельдфебеля в день ротного праздника, стол, который стоит целый день и к которому, после ухода офицеров, подходят фельдфебеля соседних рот и его гости, это тоже старая традиция. Все входят, пожимают руки хозяина и хозяйки и чинно рассаживаются. За столом в гостях никаких «высокоблагородий» уже нет, и гости фельдфебеля и фельдфебель гостей величают по имени и отчеству. По старому русскому обычаю жена фельдфебеля за стол не садится, а ходит кругом стола и угощает гостей. На столе бутылка белой очищенной, рябиновка и зубровка. На тарелках ломти хлеба, баранина, ветчина, разных сортов колбасы, сыр, селедка, сардинки и кильки. Выпив две, три рюмки, первая поздравительная, вторая за хозяев, и поговорив о

погоде, о том, как жаль, что не смогли прийти такой-то и такой-то, офицеры служившие в роте раньше, и о том, как сегодня стройно пели певчие, через 15–20 минут все гости снова пожимают руки хозяину и хозяйке, благодарят за угощение и чинно уходят. Офицеры 9-ой роты, как были в парадных мундирах, идут завтракать в Собрание и, опять-таки, по традиции, ротный командир ставит шампанское.

После завтрака офицеры 9-ой роты свободны. Бал начинается только в 7 часов, сразу же после солдатского ужина. Но нам с Романовским, в качестве главных распорядителей, придется прийти немножко раньше. На бал форма одежды офицерам — кителя, в предвидении оживленных танцев самые старые, а чинам — гимнастерки. В 7 часов в роте все уже готово и все на своих местах. Пришла полковая музыка, конечно, не целиком, полковой адъютант согласился прислать десяток музыкантских учеников. Так как все они умеют играть марш, польку, вальс и кадриль, это все, что нам нужно. Половина восьмого. Оглядываю бальный зал и с беспокойством убеждаюсь, что кавалеры налицо, а дам нет. Они отсутствуют. Офицеры приглашенные пришли и музыка для оживления уже два раза сыграла марш. В канцелярии сидит жена Романовского, Л. М. Штейн и еще одна молоденькая офицерская жена. Всего три. И это все. Нельзя же с тремя дамами начинать бал?!

Говорю Л. М.:

— Что же мы будем делать, если никто не придет?

А она говорит:

— Не беспокойтесь, придут, Вы женщин не знаете. Они всюду всегда опаздывают.

Еще минут через 20 пришли первые гостьи. Пожилая женщина в ковровом платке и с ней две барышни в шляпках. Приемная комиссия к ним бросилась и отобрала у них билеты, но те прямо прошли в фельдфебельскую комнату. Оказались родственницы Новикова. Барышни все-же сказали, что будут танцевать. Еще через несколько времени явились три девицы из Офицерского дома. Подождали еще и еще, никто не приходит. Пришлось открыть бал с восемью наличными дамами, и на пять из них хватило офицеров. Придворные балы начинались с полонеза. Дирижер Азанчевский велел музыкантам играть марш и поставил нас в пары. Еще пар десять составили из танцующих чинов, сказав им, чтоб танцевали друг с другом, как говорилось «шерочка с машерочкой». После марша танцевали польку, потом вальс, потом кадриль… Азанчевский проявлял максимум энергии, водил кадрильную цепь по всем взводам, кричал и командовал, музыканты изо всех сил дули в трубы и били в барабан. Шуму

было много, но настоящего веселья все-таки не получилось. На вечеринках молодые люди без девиц по-настоящему веселиться не могут. А мы, устроители, не сообразили одного, и самого главного, что хорошие девушки к солдатам танцевать в казарму, да еще в первый раз, прийти побоятся.

В 11 часов гости ушли, музыку отпустили и рота стала укладываться спать. Полицейская комиссия, которой к счастью ничем своей деятельности проявлять не пришлось, — пьяные если и были, то все держали себя чинно, благородно, — последний раз обошла подвальные помещения и доложила Романовскому, что нигде никакого беспорядка не замечается. Последними из роты вышли мы, и выходя решили, что если будем живы и здоровы, на следующий ротный праздник балов устраивать не будем, а наймем фокусника.

Высокое начальство — портретная галерея

В Ярославском кадетском корпусе, где я проучился семь лет, у нас в классе под стеклом висела таблица высокого начальства, которую мы должны были знать наизусть, со всеми чинами и титулами. Если где-нибудь наврешь, — без отпуска. Знали мы ее, разумеется, на зубок. Возглавлялась таблица императорской фамилией, из тех, кто был повиднее.

После самого царя, шел его двоюродный дед, Михаил Николаевич, который носил название «генерал-фельдцейхмейстера».

Из-за «фельдцейхмейстера». который на простом языке обозначал начальника всей артиллерии, и которого произносить было нелегко, в свое время было пролито не мало мальчишеских слез.

За фельдцейхмейстером шли «дяди государя» и из них первым стоял: «Его Императорское Высочество, великий князь Владимир Александрович, главнокомандующий войсками гвардии Санкт-Петербургского военного округа».

«С ним» я не служил, т. к. в год моего выхода в полк (1905), он уже ушел. Но помню я его очень хорошо и лично и по рассказам.

Несколько ниже ростом, чем все старшие Романовы, он был очень красив и представителен. Носил короткие бакенбарды, как во времена Александра II, и обладал весьма звучным и приятным барским баритоном. Сильно картавил, говорили, еще сильнее, чем отец.

Как и полагалось начальству доброго старого времени, он никогда никого не ругал и не разносил, а только хвалил и благодарил. Неизвестный до того для высокого начальства обычай разносить и браниться, ввел Николай Николаевич, его заместитель.

Во времена близкие к моим, на лошадь Владимир Александрович садиться уже не любил, а больше ездил в коляске, в лагерях на тройке и на широких козлах, рядом с кучером, адъютант.

Рассказывали про него, что едет он раз в Красном Селе по авангардному лагерю, где стояла 23-ья пехотная дивизия, полки Печорский и Онежский. Катят по военному полю и подъезжают к полку, который производит ученье. Владимир Александрович привстает в коляске и звучным, сдобным баритоном кричит:

— Здогово Печогцы!!!

Но адъютант заметил ошибку и нагибаясь с козел поспешно докладывает:

— Онежцы, Ваше Высочество!

— Здорово Пе-че-неж-цы! — поправляет Вл. Л. и под громкий ответ «печенежцев» — «здравия желаем ва-ва-ва-во» следует дальше.

Первые числа, августа. Чудный летний вечер с маленьким ветерком. Солнце почти уже село.

В Красносельском лагере происходит «заря с церемонией».

Царь со свитой, совершив объезд всего главного и авангардного лагеря вернулся к царскому валику, между Семеновским полком и артиллерией и слез с лошади.

Солдаты в белых рубашках, без оружия. При тесаках только дневальные под «грибами». Все стоят на передней линейке группами и поют песни. Командир и офицеры, все без оружия, но в белых перчатках, стоят большой группой впереди знамени, мирно беседуя. На широком лоснящемся «гунтере» подъезжает В. А. Приехал поздороваться и поболтать. Командир говорит: «Господа офицеры!» Все вытягиваются и берут под козырек.

— Командиру мое высокое почитание, господам офицегам здгавия желаю!

Командир, ген. Пенский, с которым В. А. на «ты», и старшие офицеры подходят к лошади и начинается приятный разговор. Всех старших офицеров В. А. знает в лицо. Держится важно, но во то же время с большой простотой. На прощание, повышая голос так, чтобы все слышали, говорит:

— По тгадиции полагается гасказать. Когда мой дед (Николай I) в эту ночь спал в палатке, как газ на этом месте (показывает на ка раульную палатку около знамени), готные командиры клали кгугом в палатки солдат, котогые не хгапели!

В великом посту жена Вл. Ал. вел. кн. Мария Павловна старшая устраивала у себя во дворце на набережной грандиозный благотворительный базар. Несколько вечеров перед этим наши офицеры приглашались во дворец помогать разбирать вещи и устраивать киоски. Часто их оставляли обедать. За обедом была только семья, несколько чинов двора и человек 6–7 наших. Как хозяева, и Вл. Ал. и Мария Павловна были очень любезны и очень внимательны, особенно с теми, кого они меньше знали.

Последний раз я видел В. А. при не совсем обыкновенных обстоятельствах. Не помню уж в каком году дивной Петербургской весной, часу в шестом утра, после исключительно приятно проведенного времени, я возвращался к себе домой с Кронверкского проспекта. Погода была такая прекрасная и так

мне было хорошо на сердце, что я решил пойти пешком, хотя бы часть дороги. В этот час на улице, конечно, ни души. Иду весело и слышу, что мерной рысью меня кто-то обгоняет, но не извозчик. Я обернулся и вижу одиночка, караковый рысак, короны на фонарях, а в пролетке, как всегда держась очень прямо, сидит знакомая фигура с бакенбардами. Я поспешно стал во фронт, но очевидно на физиономии моей отразилось такое непритворное изумление, что Вл. А. усмехнулся и погрозил пальцем. Я хотел было погрозить ему в ответ, но не поспел.

В столь ранний час, «что он делал в этой местности, скрыто мраком неизвестности». Старый шалун, наверное, ездил развлекаться. Во всяком случае ездил он не «по делам службы», так как в эти годы он и места никакого не занимал.

Года через два он умер.

Был он веселый и «добрый барин», зла никому не делал, правда, и добра делал немного. Но зло, конечно, было. Зло было в том, что он много лет занимал такое место, на котором другой мог принести пользу.

О командире гвардейского корпуса кн. Васильчикове было уже кое-что написано в очерке «Разбивка новобранцев». Был он тоже «добрый барин» и, как говорили, прекрасно рассказывал анекдоты. Судить не могу, не слышал, но один анекдот с ним прекрасно помню, т. к. во время того, как он происходил, я стоял в строю в 20 шагах от главного действующего лица. Когда после поездки в Москву мы в самых последних числах декабря 1905 года вернулись в Петербург, царь прислал Васильчикова благодарить полк за службу и «боевые действия».

На плацу полковой канцелярии полк выстроился без оружия.

— Полк, смирно! Г-да офицеры!

Вышел Васильчиков, поздоровался и стал говорить, громко и сильно шамкая:

— Государь Император приказал мне поздравить вас с благополучным возвращением и поблагодарить вас за доблестную службу царю и отечеству. Лейб-гвардии Семеновский полк со славою, вот уже двести лет… триста лет… двести лет… — оборачивается и адъютанту и полушепотом, но так, что всем слышно, быстро спрашивает: — двести или триста?

— Двести, Ваше Сиятельство, — почтительно докладывает адъютант.

И тот, как ни в чем не бывало, тем же голосом продолжает:

— …Со славою вот уже двести лет…

И т. д., и т. д., все, что в таких случаях полагается.

В 1906 году, сразу после Японской войны, произошла у нас полная смена высокого начальства. Главнокомандующий

войсками гвардии, «добрый барин» № 1, вел. кн. Владимир Александрович ушел, впрочем, еще раньше. Сменил его Николай Николаевич, который, хоть умом был и не орел, несомненно был преисполнен энергии и желания принести пользу. Перед этим Н. Н. несколько лет был «генерал-инспектором кавалерии» и, нужно отдать ему справедливость, такого ей, по хорошему солдатскому выражению «поддал живца», что во время войны наша конница была на голову выше и немцев, и венгров.

Недоброй памяти Японская война была небогата победами. Естественно, что всякое действие, которое было не кругом поражение, превозносилось до небес и все главные действующие лица таких действий выходили на линию героев. Так прославились генералы Ренненкампф, Мищенко, Никитин, Зарубаев, б. начальник 6-ой стрелковой дивизии Данилов, командир одного из восточно-сибирских полков Лечицкий, командир Выборгского полка Зайончковский и многие другие. Кроме Лечицкого и быть может Зайончковского, на большой войне все они провалились, а Ренненкампф действовал так, что во всех других армиях, кроме нашей «бабушкиной», ему полагался бы расстрел. После гибели Самсонова и его армии, будучи даже не судим, а только «отчислен», он уже в октябре 14-го года весело гулял по Невскому в полной генеральской форме.

* * *

По примеру генерал-инспектора кавалерии, в 1906 году был учрежден пост «генерал-инспектора пехоты» и назначен был на этот пост генерал Зарубаев.

Николай Платонович Зарубаев был на японской войне начальником дивизии и отличился под Дашичао, где его войска прекрасно дрались и заработали своему начальнику первоклассную боевую репутацию. Несмотря на фамилию, которая отлично подошла бы лихому кавалерийскому ротмистру, был он воин пехотный с ног до головы. Иначе как пешком никто его не видал. И вид у него был пехотный. Среднего роста, слегка сутулый, плотный, с седыми усами и с большим пурпурным носом дулей. Пьяным его не видали и про наклонность его к Бахусу не говорили. Но нос у него был такой «безошибочный», что большого труда стоило убедить себя, что генерал трезвенник.

Сиял Зарубаев на нашем горизонте очень недолго, не то год, не то два и потом назначен был командующим войсками Одесского округа. На большой войне он или совсем не был, или подвизался в ней незаметно. В качестве генерал-инспектора

пехоты, Зарубаев посетил наш полк только один раз и оставил по себе незабываемый след. Но прежде, чем об этом посещении рассказывать, следует сказать несколько слов об единственном из всего полка нашем офицере, который с Зарубаевым по службе имел соприкосновение и как раз в это самое посещение.

Подпоручик, Алексей Рагозин, выпуска 1903 года из Пажеского корпуса, был рыжий рыжий детина, почти саженного роста, по каковой причине был назначен младшим офицером в государеву роту и на погонах носил царские вензеля. Был он не слишком интеллектуален, не читал не только книг, но и газет, но зато был абсолютно незлобив, хохотать готов был по самомалейшему поводу, денег не считал, когда были, а уж выпить был не только не дурак, а прямо мудрец. Одним словом, душа человек и рубаха парень.

Дневной полковой наряд в мое время был такой. Кроме караулов вне полка, в 12 часов на «малый развод» выходили: дежурный по полку, капитан или штабс-капитан, помощник — подпоручик, дежурный фельдфебель, полковой караул и затем дежурные и дневальные от рот или команд. Дежурство по полку была повинность не тяжелая, особенно для дежурного. Помощнику еще вменялось в обязанность раза два в сутки проверить караул и обойти раз все казармы ночью, дежурный же мог целый день сиднем сидеть в Собраньи, переходя с кресла в читальной к столу в столовую и обратно. А так как «офицерский флигель», где жило большинство женатых офицеров, находился в «расположении полка» (казармы были на трех улицах, на Загородном, на Рузовской и на Звенигородской), то многие уходили к себе домой обедать и почти все уходили домой спать. Помощник дежурного обязан был спать в Собраньи, где рядом с «дежурной», позади имелась маленькая комната с двумя большими кожаными и весьма покойными диванами. Кроме того в этой комнате имелся шкаф, где хранились четыре подушки, два отличных тигровых одеяла и полный комплект постельного белья, которое каждый день менялось, регулярно отсылалось в прачечную, и расходы по стирке относились на счет Собрания.

Официального разрешения, конечно, не было и полагалось, что в этом деле господа офицеры руководствуются гарнизонным уставом, где дежурным разрешалось ночью «отдыхать лежа», но все всегда знали, от вел. кн. Владимира Александровича и ниже, что в войсках Петербургского гарнизона дежурные по полкам офицеры ночью спят в простынях, под одеялами, раздеваясь до рубашки. И никто никогда против такого порядка вещей голоса не подымал.

Но вот однажды поздней осенью на дежурство по полку

заступили капитан А. С. Пронин и помощником Алексей Рагозин. Пронин, между прочим прекрасный служака, — на войне отлично командовал армейским полком, — вечером удалился в лоно семьи, в офицерский флигель, а Рагозин, хорошо поужинав и выпив, и совершив ночной обход казарм, как полагалось, разделся и лег спать.

На следующее утро часов в 8, вестовой из передней будит его и докладывает:

— Ваше Высокоблагородие, в передней генерал пришли и Вас спрашивают.

— Проводи его в читальню и скажи, что я сейчас приду.

Через минуту тот же вестовой, но уже несколько встревоженный появляется снова и говорит, что генерал желает видеть дежурного офицера немедленно.

— Предложи ему кофею и скажи, что я сейчас выйду, — сквозь сон сказал Рагозин и не спеша стал подыматься с дивана.

Еще через минуту в комнату просовывается голова вестового, а за ним появляется генерал-лейтенант с георгиевской ленточкой в петлице пальто.

— Я генерал-инспектор пехоты. Вы дежурный офицер?

— Так точно, Ваше Превосходительство, — отвечает Рагозин, стоя смирно, но об одном сапоге.

— Как Ваша фамилия?

— Подпоручик Рагозин, В. П-во.

Генерал круто повернулся и вышел.

Через день Рагозин сел на 15 суток под арест, постельное белье в Собрании куда-то исчезло, на диванах появились кожаные подушки, вместо пуховых, а дежурные по полкам Петербургского гарнизона, стали по ночам «отдыхать лежа», как им и полагалось по уставу.

* * *

Командир корпуса Васильчиков ушел в 1906 году и на место его был назначен Данилов, «герой» японской войны, сразу же произведенный в генерал-лейтенанты и получивший генерал-адъютантские аксельбанты.

Он был коренной офицер л. — гв. Егерского полка и в молодости был известен приверженностью к Бахусу и неряшливостью в одежде. Говорили, впрочем, что на японской войне он, действительно, выказал если не воинские таланты, то большую личную храбрость.

Данилов был небольшого роста, довольно плотный, с

длинными свисающими усами и седоватой бородкой клином, человек порядочно за 50. Общим видом весьма напоминал престарелого пехотного «капиташу» одного из российских полков с глухой стоянкой. Ходил в развалочку и явно играл под «мужичка-простачка». Офицеры его звали «Данилкой» и никакого почтения к нему не питали.

Визитами нас высокое начальство не баловало, придерживаясь Петербургских обычаев, где явиться в дом без приглашения, «на огонек», считалось неприличным. Большие генералы приезжали в поле исключительно на смотры, на смотр стрельбы, на инспекторский и т. п. Смотры, как общее правило, сходили отлично, после чего начальство приглашалось в Собрание, зимой к завтраку, летом в лагерях к обеду. Завтраки и обеды, которые и так были хороши, увеличивались еще на одно блюдо, ставилась богатейшая горячая закуска и выкатывалось море вина. Одним словом: «побольше провизии для начальника дивизии». Высоких гостей считалось обязательным хорошенько подпоить. На такое дело генерал-адъютанта Данилова упрашивать долго не приходилось и несмотря на то, что в то время командиром и его соседом по столу был Шильдер, который по хилости здоровья пил один нарзан, каждый раз, что «Данилка» у нас появлялся, он преисправно нализывался.

Помню одно из его выступлений в лагерях. Был, кажется, смотр стрельбы и выбили, как полагается, много «сверх-отличного». Причем без всяких жульств. Мы вообще всегда стреляли прекрасно, да и заведующий оружием, главное действующее лицо в такие дни, поручик Степан Гончаров (убит в октябре 14-го года под Ивангородом), фанатик стрелкового дела (он раз собственноручно пристрелял в тире винтовки всего полка) никогда бы до этого не унизился. «Данилка» был в восторге, благодарил чинов, офицеров и поминутно прикладывал пятерню, с простреленным и торчащим в бок пальцем, к козырьку своей генерал-адъютантской фуражки. В этот день почему-то из всех прилагательных к «Семеновскому полку» и к «Семеновцам» ему больше всего полюбилось слово «правильные», и так он нас потом всегда и звал: «правильные семеновцы».

После стрельбы повели его в Собрание и основательно накачали. Накачался он, впрочем, сам. За столом говорил речи длинные и путаные и сыпал «правильные» направо и налево. После обеда все офицеры ин корпоре проводили его на первую линейку, куда ему подали его беленького маштачка. Но это еще был не конец. Дежурный по полку сказал что-то и все дневальные под грибами заорали:

— Выходи все на переднюю линейку!

Люди выскочили из палаток, кто в чем был, в опорках, в подштанниках, босиком. Данилка опять сказал речь и опять были «правильные». Настроение создалось повышенное и чувствовалось, что все позволено. Кто-то из офицеров крикнул:

— Ура корпусному командиру, качать его!

Как все мальчишки, чины, любящие всякое бесчинство, заревели «ура!», подхватили Данилку и стали швырять его на воздух, не так, как почтительно качают начальство, а как это делается на деревенских свадьбах.

Наконец, несчастного Данилку освободили, водрузили на лошадку и под громовое «ура»! сильно кренясь с седла, он поскакал под гору, направлением на Красное Село.

Кроме смотров и парадов никакой военной деятельности Данилов у нас не проявлял. Единственным его нововведением был на церемониальном марше «скорый шаг», 120 шагов в минуту, т. наз. «стрелковый». Для маленьких стрелков, вроде итальянских «берсальери», это может быть было отлично, но когда наша большая тяжелая пехота, «гоплиты», начинали семенить, то это было и неудобно и некрасиво. Кажется в 1912 году Данилов ушел и в начале войны, уже в почтенном возрасте, ему дали что-то в командование, но насколько мы слышали действовал он не очень удачно, т. к. уже в 15 году был отчислен и назначен на архиерейское место «коменданта Петропавловской крепости». В наше время «архиерейским местом» называлось такое, на котором можно было спокойно сидеть и ничего не делать. Возможно, что теперь понятия переменились.

После «Данилки», командиром гвардейского корпуса был назначен генерал-адъютант Безобразов, коренной лейб-гусар и бывший командир Кавалергардского полка. Он и вывел корпус на войну.

Безобразов был человек придворный, совершенно не военный и как начальник типичнейший «добрый барин». Начальником Штаба он себе взял бывшего военного агента, не то в Париже, не то в Вене, богатейшего Екатеринославского помещика графа Ностица.

Лето 1912 года в Красном Селе. В поле, около дивизионной церкви, 12-ая рота Семеновского полка производит послеобеденные занятия. Стоят прицельные станки. На каждом завичена «малокалиберная трехлинейная, образца 91-го года», винтовочка мать, которая честно и без отказа служила нашей армии три войны и изобретателю которой, скромному капитану, почему-то еще не поставили памятника. Здесь поверяют наводку, через прорезь прицела на вершину мушки, там плавность спуска курка, не дергай, а обжимай… Офицер ходит между группами и

задает летучие вопросы, вроде того, что такое «траектория», причем затрудняющимся в ответе приводится пример траектории не очень салонный, но очень яркий и убедительный. Спрашивается также, куда летит пуля, если свалишь винтовку вправо, и что такое «боек»… В одной группе ставят прицел, в другой унтера поверяют в зеркальце, которое укреплено над прицельной колодкой…

Из-под горы, со стороны Преображенского полка, показываются всадники. Командир корпуса Безобразов, начальник штаба Ностиц и два адъютанта.

Подъезжают к роте.

Ротный командует:

— Рота смирно! — и подходит с рапортом:

— Ваше Превосходительство. 12-ая рота лейб-гвардии Семеновского полка производит занятия приготовительные к стрельбе упражнения. В строю 72 рядовых при 12 унтер-офицерах и подпрапорщике.

Безобразов здоровается с чинами, потом он и начальник штаба протягивают офицеру руку, сходят с лошадей и приказывают:

— Продолжать!

Мимо станков Ностиц проходит равнодушно, но при виде прибора с зеркальцем глаза начальника штаба корпуса загораются любопытством…

— Скажите, поручик, что это такое?

— Это, г-н полковник, прибор для поверки правильности наводки и спуска курка. Зеркала в приборе укреплены под прямым углом.

Поверяющий смотрит сбоку и видит, если винтовка наведена неправильно и если при спуске курка стрелок дернул.

— Вот удивительно, а можно мне посмотреть?

— Пожалуйста, г-н полковник!

Ностиц ложится на разостланный мат, смотрит в зеркальце и приходит в восторг.

— Ну, теперь я понимаю, почему Семеновцы так хорошо стреляют, раз у них такие отличные приборы.

Командующий ротой был тактичный молодой человек и не стал объяснять начальнику штаба корпуса, что прибор с зеркальцем был введен на обучение Российской армии приблизительно в 1893 году и что от Витебска и до Семипалатинска, от Архангельска и до Крыма, все купринские «ефрейторы Сероштаны» прекрасно знают, что это такое.

Безобразов командовал корпусом с 1912 по 1916 год, когда было образовано два гвардейских корпуса и первый, — наша

первая и вторая дивизия, — получил в командование вел. кн. Павел Александрович, а, второй — артиллерийский ген. Потоцкий. К этому времени оба корпуса были сведены в гвардейскую Особую армию, которую возглавил Безобразов, при начальнике штаба гр. Н. Н. Игнатьеве, бывшем Преображенском командире. О нем скажем позднее.

Безобразов проводил июльскую операцию на Стоходе, кровавую и неудачную. Как бы то ни было, в первых числах августа 1916 г. Особая армия приказала долго жить, войска были переданы по соседству в 8-ую армию Каледина, а сам Безобразов в военном смысле канул в Лету.

Карьера его заместителя, вел. кн. Павла Александровича была, как говорится, «чревата». Как все великие князья в России, он постоянно носил военную форму, но входил он в близкое соприкосновение с русскими войсками всего три раза в жизни: командуя эскадроном, конно-гвардейским полком и гвардейским корпусом. Последние две должности с перерывом в 16 лет, во время коего он вообще ничего не делал.

Будучи командиром полка, П. А. совершил довольно предосудительный поступок, развел и женился на жене своего офицера, некоего Пистолькорса, между прочим одной из самых красивых и интересных женщин, которых мне в моей долгой жизни довелось видеть.

Кстати сказать, в это же время в Преображенском полку служил ее брат, подпоручик Карнович, маленький, черненький и совершенно непохожий на свою великолепную сестру. Он по слабости человеческой на основании близкого родства с дядей царя, по началу попробовал было поважничать, но независимые и гордые «Захары» немедленно же прикрутили ему хвост и даже не назначили его в 1-й батальон, что у них считалось отличием.

Как следствие своего «скандального» поведения, П. А. снял форму и уехал жить в Париж.

По этому поводу по Петербургу ходило тогда нижеследующее восьмистишие:

Царь наш добр, но строгих правил,
Не на шутку рассердился,
Как узнал, что дядя Павел
На чужой жене женился…
Вопреки родству и дружбе
Дядю выгнал с русской службы
И теперь нет доли горше
Дяди Павла с Пистолькоршей.

К счастью для И. А. доля его оказалась вовсе не горькой. «Пистолькорша» была ему верной и заботливой женой и родила ему трех удачных детей, особенно мальчика. Кажется в 1910 году Павел Александрович был «амнистирован», вернулся в Петербург, брак его был признан, а жена получила фамилию княгини Палей. Так же стали называться и дети.

Как, и следовало ожидать, в военном отношении П. А. был круглый ноль. Если его старший брат, Владимир Александрович был «добрый барин № 1», то он, по справедливости, мог считаться номером 2-м. Все же хорошие качества у него были и внешние и внутренние. Он был необычайно красив и, без малейшей рисовки, очень представителен и элегантен.

В Музее Зимнего дворца в Ленинграде должно быть сохранилась масляная картина, где П. А., в золотой каске с двуглавым орлом и в золотых латах, галопом проводит на параде Конную Гвардию перед царем Александром III. Очевидцы говорили, что картина сия была «достойна кисти художника».

Внутренне же П. А., при значительной лени и пассивности характера, был не глуп и вполне порядочный человек. Близкие к нему люди говорили, что он отлично сознавал, что цари в России сделали свое дело и что при последнем Романове российская монархия быстро и неукоснительно идет к концу. Но денег заграницу он не переводил и из кипящей котлом России упорно спасаться не желал, надеясь, что ему позволят «уйти в частную жизнь».

Как известно, первая, самая слепая и жестокая волна революции его потопила.

После П. А. и до конца «старой» гвардии, нашим корпусом командовали кажется еще два каких-то генерала, но это уже были гастролеры и писать о них не стоит.

Дивизией нашей 1-ой гвардейской, за мое время (1905–1917) командовали шесть человек, из них, пожалуй, только двое могли считаться военными людьми в современном, для той войны, значении этого слова.

Когда я вышел в полк, начальником дивизии был ген. Озеров бывший командир Преображенцев, высокий, весьма представительный мужчина, с лоснящимся пробором. Звали его почему-то «помадная банка» и был он даже не придворно-военный, а просто придворный человек.

После Преображенской истории летом 1905 года, о которой пусть уже рассказывают старики, бывшие Преображенцы, Озеров ушел и мы о нем больше не слыхали.

На его место приехал старый кавказский человек, просят не смеяться, барон Антон Гр. Зальца.

Дело в том, что наш Кавказ есть и было такое поразительное и удивительное место и жизнь там была такая особенная и такая этой стране была дадена сила ассимилировать самые разнообразные человеческие элементы, что ярыми кавказскими патриотами были не только люди с фамилиями на «адзе», «идзе», «швили» или «ани», но делались ими и Петровы и Степановы и Гончаренки и вообще все те, кому посчастливилось прожить в этом благодатном краю хотя бы несколько лет. И так же скоро, если не еще скорее, «окавкаживалисъ» русские и балтийские немцы. Мне приходилось встречаться с баронами Мейндорф, Корф и Штакелъберг, которые истинной своей родиной считали не остров Эзелъ, а Ахалцик или Ахалкалаки, другого вина как «Напереули» не признавали, и всю свою жизнь, как Чеховские девицы «в Москву», стремились душой на Кавказ. И многие, выслужив пенсию, действительно ехали туда умирать.

Такой кавказец был А. Г. Зальца. На вид хорошо за 50, со свисающими седыми усами, он был, как две капли воды, похож на Лермонтовского Максим Максимыча, с тою лишь разницей, что один был штабс-капитан, а другой генерал-лейтенант. В строю я его совсем не помню и был он у нас не долго, меньше года. Но помню раз в лагерях один очень веселый обед с ним в качестве почетного гостя. Наш командир Мин, который всех знал, оказалось, знал и Зальца и обращался с ним, опять-таки как и со всеми, не исключая и самого царя, с полнейшей непринужденностью.

Как раз за несколько дней до обеда, вторая молодая жена Зальца родила ему мальчишку, которого окрестили Серафимом. Старик был так счастлив и горд, что выпив вина, не мог не поделиться своей радостью с хозяевами. Мин это подхватил и тут началось… Для почетных кавказских гостей в Собраньи имелись турьи рога, отделанные в серебро, каждый вместимостью в бутылку. Кроме того в погребе всегда был налицо изрядный запас кахетинского. Мин начал свои тосты, один другого смелее… Старик, хохотал, краснел, пил кахетинское из специальной «азарпеши» и был в восторге. Начали с чарочки, а потом на нашем конце затянули «Мраволжамие». Услышав родные звуки, старик не выдержал, поднялся и сквозь слезы дал торжественный обет, что сын его Серафим, уже если не офицером, так хоть солдатом будет служить в Семеновском полку. Уехал он только на следующий день, переночевав в командирском бараке. Где-то теперь проживает Серафим Зальца? Может быть еще жив…

* * *

В одно из туманных и седых утр в столице, в Учебной команде Семеновского полка между 7.30 и 8.30 по расписанию стояла гимнастика. Начальник команды шт. — кап. А. М. Поливанов, между прочим родной племянник князя Петра Кропоткина, каковым обстоятельством мы его жестоко дразнили, был образцовый офицер, но имел два недостатка, был характером горяч и несдержан и не любил рано вставать.

В описываемое утро в команде его не было. Он отсутствовал. Зато присутствовали все четыре взводных командира, младшие лейтенанты, по тогдашнему подпоручики, Николай Ильин, Павел Азанчевский-Азанчеев, Дмитрий Коновалов и пишущий эти строки, он же из всех старший. В широком коридоре команды дым коромыслом и пыль столбом. В дальнем углу летают через кобылу, в середине делают стойку на параллельных брусьях, в конце у входной двери, под моим водительством, прыгают через веревочку. Чины делают гимнастику в белых гимнастерках, мы, офицеры, без сюртуков.

Все упражнения заведено у нас было проходить так: офицер, унтер-офицер, а за ним все чины цепочкой. На быстром ходу иногда сбивались в кучу, что вызывало взрывы веселья (на гимнастике и во время классов дисциплина нами сознательно понижалась на 50 %), но чаще всего все проделывали чистенько.

Кончили прыжки на ширину, начинаем на высоту.

Говорю:

— Киковка, поставь на предпоследнюю!

Весь взвод стоит за мной. Я взял разбег, оттолкнулся от трамплина правой ногой, поднялся на воздух, веревочку все-таки каблуком задел, и плавно, по уставу, кулаки в середину, сел на другой стороне, в двух шагах от входной двери. Около двери стоит дневальный и тут же поблизости дежурный ждет начальника команды, который, злой на свое собственное опоздание, весьма способен будет влепить ему наряда два за самомалейшую неточность в подходе или в рапорте. Дневальный слышит шаги на лестнице и распахивает дверь. Дежурный делает последний вздох перед страшным мгновением. Я, как был без сюртука, готовлюсь гаркнуть: «Смирно! Господа офицеры!!» и почтительно застыть на месте. Если кто-нибудь во время рапорта в помещении пошевелится — беда.

Все мы, офицеры, были, конечно, на «ты», но в строю и на службе выявляли самую подчеркнутую подтянутость. Тянулись не только перед Поливановым, но и друг перед другом по старшинству.

На мое удивление, вместо всем нам столь знакомой милой бульдожьей фигуры «Матвеича», в дверях появляется тоненький

маленький генерал в армейской форме, с седыми усами и с царскими вензелями на погонах.

Мое «смирно!» вышло, как всегда, но в голосе звучал оттенок некоторого недоумения. Может быть генерал ошибся дверью или хочет спросить дорогу. Прямо скажу, к таким визитам мы приучены не были.

Генерал между тем, снял фуражку и тонким отчетливым голосом, стрывая каждую фразу, возговорил таковы слова:

— Какая это рота?

— Учебная команда Л.-Гв. Семеновского полка, Ваше Пр-во!

— Вы начальник команды?

— Никак нет, я старший офицер.

— Пусть дежурный подойдет ко мне с рапортом. Я вновь назначенный начальник вашей дивизии, генерал Лечицкий.

Дежурный отрапортовал. Лечицкий поздоровался с чинами.

— Очень хорошо, что офицеры делают гимнастику. Пожалуйста не беспокойтесь надевать сюртуки. Продолжайте занятия.

В эту минуту открылась дверь и на пороге появился Матвеич, полный изумления, что ему не командуют и не рапортуют. Поливанов подошел, представился и представил всех нас. Гимнастика кончилась, убрали машины и чины в ожидании классных занятий, разошлись по взводам.

Фельдфебель команды, Яков Емельянович Серобаба, был холост и поэтому спал в маленькой комнатке вместе с командным писарем. Большое же фельдфебельское помещение было занято под канцелярию. Там стояли столы, стулья, на столах лежали военные журналы, две, три газеты, в шкафах учебные пособия. Вне занятий туда имели свободный вход фельдфебель и все унтер-офицеры — учителя. Там весной производились экзамены и там же Матвеич, с присущим ему жаром, распекал провинившихся, если по каким-нибудь соображениям это не производилось публично, перед строем.

В этой канцелярии в утренние часы для нас, офицеров, всегда имелся горячий чай с лимоном и со свежими баранками. Из-за ранних вставаний, это был наш первый утренний чай. Вся эта роскошь стоила, нам не больше рубля в месяц с носа, причем ею же пользовался и Серобаба, уже бесплатно.

Матвеич провел генерала по взводам, спустились в столовую, в кухню и вернулись опять в помещение. По дороге Лечицкий задал несколько вопросов, Матвеич ответил. И по этим вопросам и ответам сразу же выяснилось между ними полное «сродство душ». Рыбак рыбака видит издалека. Как два лошадника, любители конского мяса, взглянут на лошадь, один пощупает

здесь, другой там, перекинутся двумя, тремя словами и обоим все ясно.

— Ваше Превосходительство, не хотите ли стакан чаю?

— С удовольствием!

Прошли в канцелярию. Лечицкий сел и из серебряного толстого портсигара угостил всех папиросами.

— Здесь у вас хорошо. Хочу установить с полками живую связь. Буду приезжать к вам часто. И прошу не смотреть на меня только как на начальство. Я ваш военный инструктор. Я начал войну батальонным командиром, потом командовал полком, потом бригадой. Все недостатки нашей армии, все, чего нам не хватало, все испытал, скажу, на своей шкуре испытал. Оружие переменилось. Сейчас одной храбростью ничего не сделаешь… Возможно, скоро будет еще война. Надо к ней готовиться. Надо работать, учиться… Это дело офицеров…

Матвеича это задело за больное место:

— Вот Вы говорите, Ваше Превосходительство, учиться, а где прикажете учиться? Вот извольте посмотреть на улицу. Эти оборванцы в семеновской форме, подоткнув шинеля по пояс, улицы чистят, грязь убирают с улиц… Это разве солдатское дело? Это город должен убирать, а не солдаты… Вот мы занятия производим в корридоре, в десять шагов шириной… А рассыпной строй с перебежками на полковом дворе проходим… А выйти за город в поле, куда отсюда выйдешь? Пока до Московской заставы дойдешь, люди сапоги стопчут. Лагерей у нас три месяца, а остальное казарма… Разве это достаточно? Солдаты при трехлетнем сроке службы, должны учиться круглый год… И в поле, в лесу, а не между койками, как у нас учатся. У нас, в Учебной команде, хоть время есть учиться, а вот извольте пройти сейчас по ротам, по 10, 15 старослужащих… А остальные где? Все в караулах, в нарядах. Охраняем порядок в столице!..

Матвеич начинал увлекаться и по скверной привычке постепенно переходил на крик. Все-таки орать на начальника дивизии, да еще при первом знакомстве, как-то немного и не подходило. Я подошел вплотную и незаметно нажал ему на сапог. Но Кропоткинская кровь закипела и то, что наболело, властно требовало выхода. Он уже совершенно не стесняясь дернул по моему адресу плечом и продолжал:

— А потом еще охрана… Возьмут тебя с ротой и поставят на два дня на завод, порядок охранять… Вот тут и занимайся. За порядком полиция должна следить, а не солдаты. Я видел, как рабочие живут… Живут как свиньи… Реформы надо давать, тогда и забастовок не будет!

Весь красный, Матвеич остановился, чтобы перевести дух.

Лечицкий сидел, пил чай, курил и очевидно слушал, что говорят, а не как говорят. Наконец, он приподнял руку и заговорил сам:

— Вы совершенно правы. Но делать-то что? Вы все это можете переменить? Нет, и я не могу. Нужно стараться делать то, что можем. И в теперешних условиях. А то и вторую войну проиграем. И главное работа, работа офицеров… Унтер-офицерского корпуса у нас еще нет…

В эту минуту в корридоре раздался звонок.

— Это что?

— Это, Ваше Прев-во, начало классных занятий. Каждый офицер преподает в своем взводе все предметы, и военные и общие.

— А у вас что сейчас? — обратился Лечицкий ко мне.

— У меня сейчас топография, чтение планов и карт…

— Я к Вам зайду.

— Милости просим.

Поливанов остался в канцелярии, мы с Лечицким пошли в класс. Школьники потеснились и он сел сбоку на переднюю скамейку.

— Должен Вас предупредить, Ваше Прев-во, — говорю — мы только месяц как начали. Сейчас проходим масштабы и условные знаки.

— Хорошо, я послушаю…

Я начал класс. Через несколько минут Лечицкий повернулся и обратился с вопросом к одному из учеников. Ученик был моего 3-го взвода, сибиряк, парень очень сильный, очень серьезный, очень основательный, но на соображение не очень быстрый.

— Как твоя фамилия?

— Чертовских, Ваше Прев-во! — гаркнул тот так, что стекла задрожали.

— Не надо так кричать. Из строя и на улице нужно отвечать громко, а в классе нужно говорить обыкновенным голосом. Скажи мне, какая карта, крупнее — с масштабом в 2 версты в дюйме или 10 верст в дюйме. Подумай и ответь.

Для начинающего вопрос был каверзный. 10 больше 2-х. Ясно, что десятиверстная карта должна бы быть крупнее двухверстной.

Чертовских напряженно думал. Наконец лицо его просветлело.

— Две версты в дюйме крупнее.

— Можешь объяснить, почему?

— Двухверстная крупнее потому, что она больше забирает… — и помолчав немного прибавил: — Ваше Прев-во.

Но душе у меня разлилось масло. К сожалению, в самый

приятный момент открылась дверь и в класс вошел командир полка, Шильдер, в шашке и с видом крайне официальным. О том, что начальник дивизии в полку, ему послали сказать час тому назад, но пока его разбудили, он одевался и прочее, время прошло.

Генералы поздоровались, и оба вышли. Это была, кажется, их первая встреча и друг другу они явно не понравились.

Через несколько минут начальник дивизии уехал.

В этот день за завтраком в Собрании только и разговоров было, что о Лечицком. Поливанов и мы все превозносили его до небес. Другие говорили — поживем — увидим. Третьим не нравилось, что нарушена была старая гвардейская традиция, начальство стало являться в полк без приглашения.

Недели через три, Лечицкий также утром и также неожиданно, нанес визит 2-му батальону. Приехал в 6-ую роту Свешникова и с командиром роты так же быстро сошелся, как и у нас. На этот раз он появился позднее. Визит кончился около 12-ти часов. Когда выходили из дверей, командир 2-го батальона А. К. Баранов пригласил Лечицкого завтракать в Собрание. Тот с удовольствием согласился. За завтраком выпил у стойки рюмку водки, от вина отказался, съел бифштекс с картофелем, и за стаканом чаю стал ровным теноровым голосом, своими обычными короткими фразами говорить о японской войне. Говорил вещи, которые мы знали и по рассказам участников и из газет, но слушали его все затаив дыхание.

Главное, что в нем подкупало и притягивало, это полное отсутствие всякой рисовки и всякого желания произвести впечатление. Чувствовалось, что человек говорит о том, что он выстрадал и о чем потом много думал. И все это ровным, монотонным голосом, почти без интонаций.

Когда Лечицкий собрался уезжать, вышло легкое недоразумение. Он хотел заплатить. Ему не позволили.

— Ваше Прев-во, Вы наш гость. У нас могут платить только наши офицеры.

— Но Вы меня ставите в неловкое положение. Я к Вам часто собирался ездить. Я холост. Хозяйства не держу. Что же мне в рестораны прикажете идти. Я и ресторанов здесь у Вас не знаю. Я всю мою жизнь за офицерским столом питался… Нельзя ли как-нибудь это устроить?

— Хорошо, Ваше Прев-во, мы постараемся устроить.

Лечицкий уехал.

На следующее общее собрание старший полковник поставил вопрос о выборе начальника дивизии «временным членом собрания». Вещь в наших анналах неслыханная. Не обошлось без

протестов. Но поддержали «печники», а Баранов применил обычную тактику — кто согласен, прошу сидеть, несогласен — встать. Лечицкий прошел 25-ю голосами против 10-ти.

Ему послали официальное извещение о постановлении общего собрания и он официально поблагодарил за честь, после чего ему открыли счет, как и всем офицерам.

Нужно отдать ему справедливость, правом своим он не злоупотреблял. Приезжал не чаще одного, двух раз в месяц исключительно к завтраку. Держал себя, как всегда, ровно и спокойно.

Не знаю как в других полках дивизии, но у нас Лечицкий безусловно пришелся ко двору. Нравилась и его чуть-чуть солдатская наружность, его деловитая вежливость, его абсолютная простота в обращении с полковниками, также как и с подпоручиками. При внимательном наблюдении, все же чувствовалось, что с молодежью он разговаривает охотнее. Молодежи в свою очередь нравилось, что, как про него рассказывали, он был сын бедного сельского дьякона, отданный по началу в духовное училище, но оттуда бежавший и в 17 лет поступивший куда-то «вольнопером» (вольноопределяющимся). Затем Окружное пехотное училище, затем долгая лямка пехотного армейского офицера. Затем война и на 50-м году жизни, наконец, успех… Георгиевский кавалер, Свиты Его Величества генерал-майор, начальник 1-ой Гвардейской пехотной дивизии, из которой что ни полк, то российская история, Преображенский, Семеновский, Измайловский. Было от чего закружиться голове, четыре года назад глухого армейского подполковника. А голова у него не закружилась.

Не буду врать, пользовался популярностью Лечицкий не у всех. Были и такие, для которых начальник дивизии Окружного училища, сын дьякона, был столь же странное явление, как если бы он был сын зулуса или бушмена… Но таких, опять-таки скажу правду, было мало. Все, что было в полку «военного», все это было его верные союзники.

Как-то само собою вышло так, что особенно радушно принимали его во 2-ой роте (старший Пронин), в 6-ой и 7-ой (Свешников и Доде), в 9-ой (Романовский), в 13-ой (Веселаго), у пулеметчиков, которыми он особенно интересовался, наконец у нас в Учебной команде, где он уже был совершенно дома.

Рассказывали с ним случай на стрельбе, не смотровой, а на самой обыкновенной. Стреляет 6-ая Свешниковская рота, одна из лучших рот по стрельбе, так же как и ее командир, 6 императорских призов. Стрельба идет лежа по головным мишеням на 600 шагов, но против обыкновения рота стреляет

плохо. После каждого отбоя из-за закрытия выбегают махальные, облепляют кучей мишени, затем перебегают дальше, а оставшийся старший махальный или старательно покажет красной стороной указки, попал, или презрительно махнет по воздуху белой, улетела, мол, ищи ветра в поле.

Не поворачивая головы, лежа на соломенных матах, чины или весело кричат:

— Безвиконный попал! — или недоумевающе и мрачно: — Ковальский, промах!

За линией огня, верхом на деревянной скамейке с ящиком, на случай дождя, сидит кто-нибудь из начальства и в списках против фамилии каждого ставит крестики и нолики. Иногда пускает коментарии, не стопроцентная ругань, это у нас не делалось, но, например, словечко из двух слогов, начинающееся на «ж». Впрочем, опытные ротные командиры и этого делать не позволяют. Коли стрелок стреляет с интересом, хотя бы даже неудачно, волновать его замечаниями нельзя.

И вот как раз на такой стрельбе чины одной из лучших наших стрелковых рот, без всякой видимой причины, м. б. ветер переменился и не успели взять во внимание, стали пуделять один за другим. Свешников стоит сзади молчит угрюмо.

Лечицкий на линии огня между солдатами смотрит в бинокль и то и дело громко делает замечания:

— Опять промах! Что с ними сегодня случилось… Капитан Свешников, почему они сегодня так плохо стреляют?

Свешников кончил Пажеский корпус, был богатый человек, был лично известен царю, но манеры имел не версальские. Всем, всегда и при всяких обстоятельствах говорил то, что думал.

Разозленный плохой стрельбой, он напускается не на стрелков, а на самого начальника дивизии:

— Ваше Прев-во, когда начальник дивизии стоит над каждым стрелком, стрелок думает о том, как у него лежат ноги, а не о том, куда летит пуля. Ваше присутствие их волнует.

— Они меня не первый день видят…

— Так точно, но если мое присутствие на них действует, то тем более Ваше.

— Вы совершенно правы, я уйду… хотите папиросу?

Лечицкий не всегда бывал так кроток. Бывали вопросы, в которых спорить с ним было неуютно. В огромном большинстве случаев он оказывался прав.

Помню раз как суровый солдат Лечицкий сконфузился. Вечером в день полкового праздника, среди других развлечений, был позван цыганский хор. Были почетные гости, великие князья, командир корпуса Данилов, командиры других полков дивизии,

старые семеновцы и, конечно, Лечицкий.

После обеда сдвинули столы, цыгане сели у стены, а напротив на стульях гости. Начались песни величания. Каждого гостя величали отдельно, особенной песней, а потом цыганка подносила ему на серебряном блюде стакан вкна. По обычаю гость должен был встать, выпить вино, обтереть платком усы, поцеловать цыганку и положить ей на блюдо золотой, пять или десять рублей. Обычай этот столетний и все через этот ритуал проходили весело, но совершенно спокойно. Когда очередь дошла до Лечицкого, несколько человек нашей молодежи, которые всех этих цыган отлично знали, подстроили так, что к нему подошла самая молоденькая и самая хорошенькая цыганочка. Лечицкий встал, вино выпил, деньги положил, но когда дошло до поцелуйного обряда, замотал головой и стал пятиться назад. Что тут поднялось, не поддается описанию. Шум, крик, хохот. Наконец его заставили, причем подлая девченка чмокнула его, пунцового от смущения, в самые губы не один, как полагалось, а целых три раза.

В лагерях мы его видели почти каждый день. На все, что было действительно важно, он обращал серьезное внимание, на рассыпной строй с применением к местности, на маскировки, на окопные работы. Тут он, впрочем, всегда говорил, что всем этим премудростям быстрее всего учит пулеметная очередь противника.

При нем ввели у нас пулеметы. Пулеметная рота полковая из четырех взводов, по два пулемета в каждом, а всего восемь, при начальнике и четырех младших офицерах.

Большинство уже тогда понимало, что это оружие будущего, хотя молодых пулеметчиков еще больше занимали двуколки, лошади и всякое другое подобие артиллерии. Лечицкий собирался ввести обязательное обучение пулеметному делу для всех офицеров в полку и большинства унтер-офицеров. Из проекта этого, увы, ничего не вышло. Пулеметному делу, каждый за свой страх, мы учились уже на войне.

На смотровую, парадную часть Лечицкий мало обращал внимания. Как умный человек, он сразу понял, что у нас хромает чисто военная подготовка. На нее он и налегал. Все же когда случались парады и когда он в мундире с серебряным аксельбантом, держа руку у белой свитской барашковой шапки, на отличном сером коне, наверное из манежа, галопом проскакивал по фронту и сухонько кричал: «Здорово, Семеновцы!», он был совсем импозантен и мог утереть нос любому петербургскому генералу, выросшему и состарившемуся на Марсовом поле или, по-старинному, на «Царицыном лугу».

Все хорошее скоротечно.

Лечицкий оставался у нас всего два года. Осенью 1908 года его уже не было. Он получил корпус и на войне командовал 9-ой армией, которая завоевала себе такую же почетную известность, как и Радько-Дмитриевская 10-ая.

Последние месяцы войны его армия стояла и разлагалась на Румынском фронте.

В противность некоторым из старших генералов, Лечицкий был совершенно не политик. Военный профессионал, вести нудные и бесполезные разговоры с комитетами из обозных и штабных писарей, которые запрещали открывать огонь по противнику, старик не мог и не умел. Он ясно видел, что единственно, что оставалось делать, это «там слов не тратить по пустому, где нужно власть употребить». А власти ему не давали. Личная опасность ему не угрожала. Нашлось бы еще много людей, которые его защитили бы, но он был человек щепетильно честный, а для таких людей вопрос стоит так: раз не можешь работать, надо уходить. Он и ушел.

Как-то раз в мае 1917 года, я еще в форме, с палочкой ковылял по заплеванному Невскому. Навстречу мне сухонький, но еще бодрый старичок, с седыми усами, в черном пальто и мягкой шляпе. Я к нему. — Платон Алексеевич… Что Вы здесь делаете и в таком костюме?

— Здравствуйте… Я Вас помню. Вы учебной команды Семеновского полка. Вот видите, ушел совсем. 40 лет служил в строю, а сейчас больше не могу. Я учить могу, приказывать могу, а уговаривать не умею. Эти люди (Керенский и Ко.) по воздуху ходят, а не по земле. Смертную казнь отменили… Я за всю войну четыре смертных приговора подписал, и то за грабеж. Но людям страх нужен… Без этого нельзя воевать… Война кончена… Мы ее проиграли. В армии мне больше делать нечего…

— Что же Вы собираетесь делать теперь? Извините меня, мы старые сослуживцы, ведь у Вас личных средств, наверно, нет?

— Личных средств у меня никогда не было… Всю жизнь жил на жалованье. Есть сейчас у меня три тысячи военного займа, да и то из банка не выдают. Кончу здесь дела, поеду в свое село, где я родился, там большое училище есть, каменное. Я там уж много лет попечителем состою. Деньги им посылал еще с японской войны. Там мне место всегда найдется. Буду ребят арифметике и грамоте учить. Это при всяком режиме нужно. Царя нет, Россия всегда останется…

Мы простились и я больше его не видал. Как он существовал в первые годы революции, мне неизвестно. Среди генералов белых армий имя Лечицкого мне также не попадалось.

В 1908 году вместо Лечицкого начальником нашей дивизии был назначен генерал Мрозовский. Он был коренной офицер нашей 1-ой артиллерийской бригады, Петровской «Бомбардирской роты», а потому в дивизии чувствовал себя как дома. За японскую войну он получил Георгиевский крест, а за женой много денег. Его пара рыжих, в английской упряжи, была одной из лучших в Петербурге. Как артиллерист он пехотного дела не знал и им не интересовался. В обращении был самоуверен и груб. У нас его терпеть не могли. Если он и воевал, то о подвигах его ничего слышно не было. Зато в Москве, где с 15-го года он командовал войсками, его все единодушно ненавидели.

Когда наш полк вышел на войну, начальником дивизии был генерал Олохов, бывший командир Л. Гв. Литовского полка. Был он мужчина высокий, представительный, с окладистой бородой и приятный в обращении. В августе-сентябре 1914 года, во время Галицийской битвы, когда наша гвардия колошматила австрийцев и гнала их перед собой, Олохова можно было иногда видеть довольно близко от боя. Во время позиционной войны он сидел в штабе, приезжая в полки только тогда, когда они стояли в резерве, и то по торжественным случаям, на раздачу крестов и т. п.

Относились к нему безразлично, но не помню, чтобы его особенно ругали, что, при общем ругательном настроении офицеров на войне, само по себе уже хороший знак.

Теперь скажу несколько слов о последнем нашем начальнике дивизии, графе Н. Н. Игнатьеве.

Его кузен, А. А. Игнатьев, генерал советской службы, в своей книге «50 лет в строю», отзывается о нем весьма презрительно, считая его «неудачником» и не называя его иначе, как «бедный Коля», «толстый Коля», «бедный, толстый Коля» и т. п. Что «Коля» был толст, все, кто его знали, могут об этом засвидетельствовать. Но что он был неудачник, это еще большой вопрос. Когда же Игнатьев пишет, что «с горечью должно быть вспоминает и по сей день толстый Коля ту злосчастную операцию на Стоходе, в которой они с «Бэба» (Безобразовым) погубили цвет доблестной русской гвардейской пехоты, бросив ее в бесплодную атаку, по случаю Безобразовских именин» (стр. 99), тут уже никаких споров быть не может. Это ложь бесспорная, нелепая и злая. Также, как я думаю в советской, в старой царской армии бросать войска в атаку «по случаю именин» командующего было совершенно невозможно и я очень надеюсь, что читатели книги гр. Игнатьева, хотя бы и самые молодые, в этой части ему не поверят.

Гр. Н. Н. Игнатьев кончил Военную Академию, как тогда

говорилось, по 2-му разряду, т. е. без зачисления в Генеральный Штаб, и прошел в Преображенском полку всю строевую службу, прокомандовав ротой 7 лет. Вышел он на войну командиром полка и под его командованием, энергичным и умелым, Преображенский полк вписал в свою боевую историю не мало блестящих страниц.

Я лично знал Н. Н. и в полку и особенно близко в эмиграции, где он мне подробно рассказывал про Стоходскую операцию, в которой ни он, ни Безобразов не были повинны ни душой, ни телом. Несмотря на их самые энергичные протесты, приказ атаковать укрепленные немецкие позиции пришел из Ставки, на которую в свою очередь давили из Парижа. Это была одна из многих наших человеческих жертв на «союзнический алтарь». Так это было тогда и понято и принято в войсках.

В первые годы войны, имея командиром, слабого, нерешительного и совершенно не военного Эттера, мы очень завидовали «Захарам» (прозвище Преображенцев), что у них такой отличный командир и дорого бы дали, чтобы поменяться.

Осенью 1916 года, Н. Н. Игнатьев получил нашу дивизию, уже усталую и потрепанную и сделал все, что было в человеческих силах, чтобы привести ее в порядок.

Между прочим, его гражданскому мужеству наши полки обязаны тем, что они, единственные во всей российской армии, сохранили воинский дух и боеспособность до самого конца. Месяца через два после приема им дивизии, из Штаба командующего армией, Каледина, нам в Скурченский лес прислали офицерское пополнение, три камиона только что произведенных из школ прапорщиков, всего человек 60. При тогдашних настроениях в тылу, такого «ремонта» было бы совершенно достаточно, чтобы подорвать дисциплину и порядок и в более крепких частях, чем были к этому времени наши. Игнатьев все это понял и принял героическое решение. Камионам было приказано не разгружаясь поворачивать назад в Штаб армии, а Каледину было протелеграфировано, что прапорщики не приняты, так как такой прием нарушил бы старую гвардейскую привилегию принимать к себе офицеров по выбору. Тут же Каледину было указано, что недохват в офицерах мог бы быть пополнен своими средствами, т. е. производством в офицеры своих подпрапорщиков, бывших фельдфебелей, тех самых, которые, поступив в полки молодыми солдатами, прошли в них всю службу и мирную и военную. Выгоды такой замены были бы очевидны. Вместо ненадежного боевого элемента, хотя бы даже со средним и высшим образованием, элемента, который никаким авторитетом у солдат пользоваться не может, и для которого

честь и слава полка пустой звук, полки получили бы крепких, стойких, испытанных в боях начальников, которые в полках этих выросли и для которых свои полки стали своими семьями. В Суворовские времена за боевые заслуги производили в офицеры солдат даже не очень грамотных, почему же не сделать этого и теперь?…

Такой «постанов вопроса» сразу же отнимал всякое оружие у тех, которые усматривали в этом отказе желание гвардии пополнять свои офицерские ряды исключительно «графьями и князьями».

Но производство своих бывших солдат в свои офицеры состоялось уже значительно позже, после революции при Керенском. В нашем полку было произведено 10 человек, все старые испытанные бойцы. Мне рассказывали, что когда они надели форму и за первым общим обедом командующий полком А. В. Попов сказал им приветственное слово, многие из них плакали.

Сейчас все это кажется диким и неправдоподобным. Но не нужно забывать, что до революции российская армия была классовое войско, особенно гвардия. Там между прапорщиком из Пажеского корпуса и генералом командиром полка, в социальном отношении была очень маленькая разница, тогда как между тем же прапорщиком и подпрапорщиком из солдат, при различии в один только чин, лежала пропасть. Прапорщик и генерал могли сидеть и обедать за одним столом. Подпрапорщик и прапорщик обедали за разными.

Покончив с начальниками дивизии, пойдем ниже.

В мое время каждая пехотная дивизия состояла из 4-х полков и двух бригад, по два полка в бригаде. Если у начальника дивизии было сравнительно немного работы, то командиры бригад уже вовсе ничего не делали, вися, так сказать, в воздухе. У них не было даже штабов. Хозяйственная жизнь полков их совершенно не касалась, вмешиваться в строевое обучение их не пускали полковые командиры. Таким образом, единственным их делом было являться на смотры и парады за десять минут до начальника дивизии, и от времени до времени приезжать завтракать в офицерское собрание. И все это в ожидании получения дивизии или отставки.

Хотя официально это признано никогда не было, наша первая бригада первой гвардейской пехотной дивизии, полки Преображенский и Семеновский назывались, в память основателя, «Петровская бригада».

Когда я поступил в полк, Петровской бригадой командовал барон А. Ф. Лангоф, бывший командир нашего полка. Родом он

был финн, учился в финском Фридрихсгамском корпусе, потом служил в Измайловском полку, кончил Академию Генерального Штаба и командовал нами с 1899 по 1904 г. Был мал ростом и при скудных седых волосах, цвет лица имел бледно-розовый, почему, в созвучии с фамилией, получил прозвище «лангуст». В полку если его и не любили, то уважали за ум и за такт. Как и все бывшие командиры, он при уходе получил нашу форму и потом носил ее не снимая в продолжении всей своей дальнейшей карьеры, совершенно из ряда вон выходящей.

Прямо из командиров бригады, он был назначен министром статс-секретарем по делам Финляндии и, что еще удивительнее, оставался на этом посту вплоть до самой революции. Говорили, что назначение Лангофа было одно из весьма немногих удачных назначений царского правительства и что из всех министров это был единственный человек, который действительно был на месте. Лангоф был большим полковым патриотом, бывал в полку во всех торжественных случаях и, когда было нужно, никогда, не отказывал в помощи своим влиянием и связями. Говорил по-русски, хоть и несколько медленно, — никогда не ронял слова на ветер, — но без малейшего иностранного акцента. Из всей невоенной массы наших начальников он представлял собою новую разновидность: генерал-дипломат и притом первоклассный. Хотя, кто его знает, при его больших способностях, может быть и на войне он был бы не плох.

На ответственном посту командира бригады, Лангофа сменил генерал Сирелиус, бывший лейб-егерь. Он был человек милый, любезный и совершенно бесполезный генерал. В нашем Собрании он бывал часто. По традиции своего полка, он умел выпить, преимущественно водки. Зарядившись основательно перед завтраком, он, окруженный офицерами, любил вести длинные и очень занимательные рассказы, где он нередко «к былям небылиц без счета прилыгал».

После Сирелиуса нашей бригадой командовал очень недолго генерал Зайончковский. Он был человек очень умный и очень ловкий. Писать о нем не стоит, т. к. в пореволюционной России Владимир Медардович хорошо известен и у него наверное найдутся настоящие биографы. В большую заслугу ему следует поставить то, что когда в начале революции офицерам приходилось туго, он не воспользовался своим польским происхождением и не перебежал к Пилсудскому, а остался работать над возрождением той армии, которая ему так много дала.

Бригадным командиром на войну вышел с нами генерал барон Бринкен. Он был молодцеватый генерал, с громким

голосом и седеющей бородкой на две стороны. Явно играл под Скобелева. В военном отношении ничем не прославился. Но еще с мирного времени о нем ползли слухи, что будучи командиром Л. Гв. Петербургского полка в Варшаве, он усердно и систематически занимался «мордобойством».

Рассказывали, что благодаря такой своей мало гвардейской привычке, он раз попал в очень неприятную историю. За какую-то провинность он ударил по физиономии часового, таковым своим действием явно нарушив соответственную статью гарнизонного устава, гласившую, что «часовой есть лицо неприкосновенное». Часовой оказался парень с характером и сменившись с караула заявил своему ротному командиру, что подает на командира полка жалобу. А если, мол, жалобе не дадут хода, он все равно заявит о случившемся на первом же инспекторском смотру. С большим трудом удалось Бринкену это неприятное дело уладить. Солдата перевели в другой полк, но слухи пошли, и из Варшавы докатились до Петербурга. К Бринкену у нас относились холодно и всерьез его не принимали.

Много можно было бы еще сказать о «высоком начальстве», но и этого, пожалуй, будет достаточно.

О среднем начальстве, командирах полка, поговорим отдельно.

Маркиз

Когда я вышел в полк, весною 1905 года, последний командир, о котором еще рассказывали, — дальше была уже «пыль веков», — был Владимир Васильевич Пенский. Командовал он нами с 1890 по 1899, по долготе командования рекорд. Обыкновенный срок был 3–4 года. Пенский был коренной Преображенец, небольшого роста, старый, сухой и с безукоризненными манерами, почему и получил он офицеров прозвище «маркиз». Держал себя с большим достоинством, говорил медленно и слегка в нос. Рассказывали, что вежлив он был умопомрачительно. Раз приехал к холостому подпоручику «отдавать визит», что он проделывал неукоснительно. Посидев немного в кабинете у хозяина и поговорив на общие темы, — о службе во время «визита» говорить было бы неприлично, — Пенский поднялся уходить. Хозяин пошел проводить его в переднюю и, т. к. деньщик куда-то вышел, хотел подать ему пальто. Пенский уклонился и произнес знаменательные слова:

— Помните, молодой человек, генерал может подать пальто прапорщику, но прапорщик генералу не должен.

По Преображенскому полку, где тот тоже служил короткое время, Пенский был дружен с Владимиром Александровичем и говорил ему «Ты, Ваше Высочество». Будучи старшим полковником, он в том же полку наставлял царя, когда тот был капитаном.

Таким образом, по толстовской «неписаной субординации», он, командуя Семеновским полком, справедливо считал себя много выше военного министра и держал себя с начальством соответственно. Такая «независимость» всегда ценится подчиненными и «маркиз» у нас был популярен.

В полку, как и всюду в пехоте, существовала «охотничья команда», насчитывавшая человек 50 чинов при двух офицерах, начальнике и помощнике. Как правило, туда отбирались люди легкие и спортивные. В лагерях они исполняли должности разведчиков, а больше половины зимы проводили в тех же лагерях в Красном Селе, с утра до вечера гоняя на лыжах. Если попадались удачные офицеры, в этом спорте команды показывали иногда высокий класс. Например, за год до германской войны, охотничья команда Измайловского полка с моим приятелем еще по училищу, Вл. Соколовым, в рекордное время совершила пробег из Архангельска до Царского Села, где их встречал сам парь. И Соколов рапортовал царю, что «отсталых нет».

Охотничьи команды употреблялись иногда в качестве охраны

и загонщиков на царских охотах, особенно тогда, когда приезжал в Петербург кто-нибудь из знатных иностранцев.

Тогда гвардейские команды привозили по железной дороге в Гатчину, обыкновенное место охот; все получали отличное дворцовое довольствие, а чины, кроме того, по серебряному рублю с носа в день, что им особенно нравилось.

Раз как-то зимой, на одной из таких охот начальнику, нашей команды, поручику Ш., вместе с двумя егерями, заряжавшими и подававшими ружья, пришлось стоять на номере в пяти шагах за царем. Николай II никогда не увлекался спортом, но две вещи он любил и делал хорошо: ездил верхом и стрелял. В этот раз он был в ударе и стрелял отлично. Ш., который сам был страстный охотник и отличный стрелок, и из винтовки и из охотничьего ружья, стоял сзади и облизывался. Один выстрел был особенно удачный дуплет, причем второго фазана царь срезал вкось, уже на довольно большом расстоянии. Когда он упал, Ш. не выдержал и сам себе, но довольно громко, сказал:

— Вот здорово!

Всякая удача вдвое приятнее, когда есть кто-нибудь, кто может ее оценить. Царь обернулся и с веселой улыбкой спросил:

— Вам понравилось?

— Очень, Ваше Величество!

— Как Ваша фамилия?

— Ш., В. И. В-во.

— Вы сын такого-то?

— Так точно.

— Ну вот, раз Вам понравилась моя стрельба, возьмите себе этих фазанов и съешьте их за здоровье императрицы и мое.

— Покорнейше благодарю, Ваше Императорское Величество.

Когда охота кончилась и команды были отпущены, фазанов упаковали и Ш. весьма довольный повез их к себе в Петербург. Но в сердце у него все-таки сосал маленький червячок. Предстоял разговор с «маркизом». По уставу каждый воинский чин, которого государь или другое высокое лицо удостаивало разговором, обязан был по возвращении в расположение своей части немедленно же подробно доложить об этом своему начальству.

Ш. долго обдумывал план разговора и решил по возможности все скомкать. Он стоял за царем, тот повернулся и подарил фазанов.

Но «маркиз» был старая лисица.

— Позвольте, позвольте, Вы говорите, что государь подарил Вам пару фазанов… Но с какой же стати? Так, ни с того, ни с сего? Тут что-то не так… Вы мне не все рассказываете…

— Я позволил себе выразить одобрение отличной стрельбе

Его Величества.

— Но в какой же форме, что Вы именно сказали?

— Я сказал: «Вот здорово!»

— Теперь мне все ясно. А не находите ли Вы, что это несколько неподходящая форма обращения поручика к Всероссийскому Императору?

— Ваше Прев-во, я очень хорошо понимаю, что так не следовало говорить, но слово вырвалось у меня инстинктивно…

— Да, я понимаю, инстинктивно… Я все-таки посоветую Вам в будущем больше действовать по воле Вашего разума, чем под влиянием импульсов и инстинктов.

И подал руку.

Будучи хорошим командиром, воспитателем главным образом офицеров, и в условиях мирного времени, для строя «маркиз» совершенно не годился. Высокие сапоги он носить не любил и надевал их только в лагерях, когда ходить в длинных штанах и маленьких шевровых ботинках было уже абсолютно невозможно.

При нем, впрочем, самый хвостик их захватил и я, производились сомкнутые полковые ученья, ученья времен Очаковских и покорения Крыма.

На поле перед лагерем полк выстраивал полковую резервную колонну, в первой линии батальоны 1-й и 2-й, а в затылок им 3-й и 4-й, все роты во взводных колоннах.

Получался огромный правильный четырехугольник, ящик, где вся штука была в равнении, особенно при захождении плечом. При таком учении все четыре командира батальонов, четыре батальонных адъютанта, командир полка и полковой адъютант были верхами.

Из всех возможных эволюции полка в этом древнем строю, «маркиз» признавал только два, движение вперед и движение назад. Старая же «шкапа», на которую он водружался, обыкновенно бывала, в предохранение от укуса оводов, с крупа и с боков, до такой степени густо намазана лизоформом, что вонь разносилась по всему полку, особенно когда генерал для удобства командования, становился с подветреной стороны.

Беря пропорционально, конь был ровесник седоку и с самыми лучшими манерами. Вероятность того, чтобы он лягнул, была приблизительно такая, как если бы сам «маркиз» вдруг харкнул в гостиной на пол. Тем не менее однако, несмотря на это и на густой слой вонючей жидкости, обыкновенно принималась еще одна предосторожность. За командиром шел солдат конюх, в руках у него была березовая ветка, при «помощи которой он сгонял с лошади слепней, оводов, мух и прочих врагов

генеральского спокойствия. Когда генерал, переезжая с места на место, трогал маленькой рысцой, более резвых аллюров он не признавал, конюх с веткой рысил за ним.

«Маркиз» был независимый и состоятельный человек, за карьерой не гнался и никаких статских генеральских мест, которых было так много, устраивать себе не пожелал.

В 1899 году он честно и чисто вышел в отставку.

Командиры: Шильдер, Зуров, Кульнев и Новицкий

На командиров полка нам определенно не везло. Сами по себе все они были не плохие люди, почтенные люди, но или уже потерявшие ясность мысли старики, или смертельно больные старики, или люди к военной службе, да еще на войне, абсолютно негодные. А когда попались два действительно первоклассных командира, то карьера их, неожиданно прервалась трагически и совершенно необычайным образом.

Об убийстве Мина, в августе 1906 года, я узнал из газет, сидя в отпуску в деревне. Когда я вернулся, я узнал, что на другой же день, в виде особой милости полку, царь послал узнать, кого бы мы хотели себе в командиры. Ему ответили, что хотим генерала Шильдера.

Известных Шильдеров в списках российской армии, если не ошибаюсь, насчитывалось трое. Был когда-то «герой» турецкой войны Шильдер-Шульднер. Про него сложили песенку:

Шильдер-Шульднер генерал
Он под Плевну подступал.
Он пять тысяч уложил
И начальству доложил:
«Трудно!»

Затем был еще генерал Шильдер, известный историк, который написал капитальную историю царствования Александра I. Наш Шильдер был просто Владимир Александрович Шильдер и карьера его была такая.

В 1873 году он вышел в наш полк из Пажеского корпуса и на турецкой войне сражался в чине поручика. В начале 80-х годов был долгое время полковым адъютантом и стяжал себе репутацию самую блестящую. Затем он неожиданно ушел из полка воспитателем детей какого-то великого, но небольшого князя, причем с семьей его долго жил на Кавказе. Затем он был инспектором Александровского лицея. К тому времени, когда его неожиданно вызвали в Петербург принимать наш полк, он уже несколько лет состоял директором Псковского Кадетского корпуса, от роду имел 55 лет и из строя отсутствовал лет двадцать. Вот это-то последнее немаловажное обстоятельство, прося его себе в командиры, наши как раз и упустили. 20 лет

большой срок. И те, которые все еще расчитывали увидеть «орла», увидели старую курицу. Главное зло было даже не годы. Его современник Лечицкий был не моложе. Главное зло был преждевременный рамолисмент, в который впал почтенный человек, не имевший мужества отказаться от должности, к которой он был явно неспособен. Командовал он нами всего год, но год этот был сплошной анекдот.

Шильдер был немного выше среднего роста, старчески худ, и держался подчеркнуто прямо. На длинной тощей шее, похожей на вареную куриную ногу, была прикреплена маленькая голова, покрытая седо-желтым пухом. Картину дополняли тусклые голубые глазки и длинные, распушенные по концам седоблондинистые усы, которые он то и дело молодецки разглаживал. Говорил замогильным голосом, неестественно медленно и сильно картавил. В речи явно чувствовалась замедленность рефлексов головного мозга. Копировать его было легче легкого и делать это успешно могли люди даже со средними имитаторскими способностями.

Давно замечено, что люди, получившие новую должность, охотнее всего занимаются в ней тем, что им больше всего напоминает старую. Помню в Преображенском полку служил лихой ротный командир кн. Оболенский, строевик первый класс. Как это часто случалось, назначили его вице-губернатором в Кострому. В 1908 году, по делам матери, мне довелось быть в Костроме. Город славный, город древний, но грязноватый и очень патриархальный. И вдруг, в таком старосветском городе, полиция (нынешняя милиция) такая, какая и столичного города, Санкт-Петербурга не сконфузила бы. Полицейские молодец к молодцу, одеты с иголочки, а честь отдают не хуже, чем у нас в Учебной команде. Как к бывшему однобригаднику, немножко и по делу, я пошел к Оболенскому с визитом. Первые слова его были:

— А какова у нас полиция? Как одеты? Как честь отдают? Выправка какая, а? Сам за этим смотрю… Недавно сам сапоги пригонял… Сам отдание чести проверяю!

Я принужден был согласиться, что в Костроме полиция действительно на пять. Казалось бы были у вице-губернатора и более важные государственные занятия, чем пригонка полицейских сапог, но князь Оболенский это дело знал, а потому и занимался им с любовью. А вице-губернаторские дела были ему незнакомы и непонятны, а потому и менее приятны. А кабы был кн. Оболенский не капитаном, а ротмистром, то кроме отдания чести и сапог, обратил бы он, наверное, специальное внимание и на костромских пожарных лошадей.

Шильдер двадцать лучших лет жизни занимался педагогикой.

Естественно, что приняв полк он главное внимание свое обратил на ту часть полка, где имелись карты, доски, губки, мел. т. е. классы, т. е. полковую учебную команду. Приходил он к нам почти каждую неделю и, конечно, не помогал, а только мешал.

Является на урок географии. Сначала сидит и глубокомысленно слушает. Потом начинает задавать вопросы.

— Как твоя фамилия?

— Курочкин, Ваше Прев-во.

— Ну, скажи мне, Кугочкин, где Франция? Можешь показать на кагте?

Курочкин идет и показывает.

— А что, Фганция больше, чем Госсия или меньше?

— Россия много больше, Ваше Прев-во.

— А кто во Фганции теперь, пгезидент или коголь?

— Президент, Ваше Прев-во.

— А что лучше, пгезидент или коголь?

У Петра Курочкина, очень развитого и бойкого петербургского рабочего, который до военной службы почитал у себя на заводе хороших книжек, имеется на этот вопрос свое мнение, но он честным и открытым взглядом прямо в глаза смотрит генералу и громко отвечает:

— Король, Ваше Прев-во.

— Да, это ты, бгат, вегно сказал, коголь лучше, а еще лучше цагь православный.

И довольный заключительной фразой, генерал медленно поднимается. Все вскакивают и вытягиваются.

— Хогошо, бгатцы, учитесь, ученье свет, а неученье тьма.

— Рады стараться, Ваше Прев-во.

— А у Вас виден к делу интегес, благодагю Вас! — и пожимает мне руку.

Наш младший состав учебной команды, т. е. Коновалова, Азанчевского и меня, Шильдер определенно полюбил и, о ужас, стал приглашать к себе обедать.

Когда Вас приглашали туда, куда Вы не хотели идти, отделаться было легче легкого. На письменное приглашение надлежало ответить письмом, на телефонное телефоном, в том смысле, что страшно, мол, сожалею, но, как на зло на этот день назначен дежурным и иду в караул и не имею возможности поменяться. Можно было отговориться и болезнью. Но это было уже менее распространено, так как на другой день могли Вас встретить на улице или в театре и это вышло бы уже неловко. В случаях приглашений командира полка, ни одна из этих отговорок, не годилась. По должности своей он был обязан знать, кто из офицеров был болен и мог очень свободно прийти

самолично навестить болящего, особенно холостого офицера. Прекрасно знал он также, что офицеры учебной команды от нарядов свободны. Таким образом, как это было ни скучно, приходилось напяливать маленькие лакированные ботинки и длинные штаны, а к ним или мундир с погонами или сюртук с эполетами и являться в командирский дом к семи часам вечера.

В противоположность Мину, командирский дом при Шильдере был поставлен на очень скромную ногу. Больших приемов он почти не делал. В такие дни, кроме нас трех, за стол садились его жена, почтенная Анна Михайловна, сын, 15-летний лицеист Миша, и девица племянница Лизочка К., весьма благовоспитанная, которая приглашалась, видимо, чтобы веселить нас. Если бы она не была так зверски благовоспитана, за ней можно было бы и поухаживать.

Сам по себе обед был невыносимо скучен, если кому-нибудь из нас, главным образом мне, — такова была моя специальность, — не удавалось заводить генерала на рассказы. «Поговорим о старине…» Как все старики, или преждевременные старики, он путал, настоящее и прекрасно помнил прошедшее, и чем дальше, тем живее и яснее. Сговорившись заранее, мы заводили его на рассказы об охоте, о турецкой войне, о временах Александра Второго, которого он хорошо знал, и о старой полковой жизни…

Под рассказы, которые бывали иногда очень интересны, обед проходил сносно. После обеда переходили в гостиную и усаживались в кресла. Коновалов садился за рояль и начинал свои рулады. Можно было даже закрыть глаза под видом, что наслаждаешься музыкой, но следовало соблюдать сугубую осторожность, чтобы не присвистнуть носом. Это время от 9–11, когда нужно было выжимать из себя слова и всеми силами стараться не заснуть, было самое тяжелое. Наконец, около 11 разносят чай. Теперь выпить чашку чая, раскланяться и уходить. Никогда, так хорошо и бодро не чувствуешь себя на улице, как когда выйдешь из длинных и скучных гостей…

По правилам хорошего воспитания, после того, как тебя позвали в семейный дом обедать, полагалось, не позже как в следующий приемный день, быть у хозяйки дома с визитом. Визит этот назывался «Visite de digestion», т. е. «визит пищеварения». И показывал он, что тебя хорошо накормили и ты за это благодарен. Делалось это с теми домами, где ты бывал не часто, а так сказать официально. Опять-таки по этикету, хозяин дома обязан был такие визиты отдавать. Делалось это обыкновенно не лично. Смешно было бы какому-нибудь члену Государственного Совета, или министру, человеку старому и

занятому, лично являться на холостые квартиры всех тех поручиков и корнетов, которые плясали у него на балах и ели его обеды. Визитные карточки таких людей, непременно загнутые, в знак, того, что был лично, всегда каким-то таинственным путем попадали по адресу, но все-таки по почте не посылались. Покойный граф В. А. Коковцев посылал обыкновенно своего камердинера в своей министерской шубе и в своей министерской карете развозить карточки по городу. Карета, с камердинером подкатывала к подъезду. Выскакивал швейцар и почтительно открывал дверцу.

— Скажи, братец, тут живет поручик Петров?

— Так точно, здесь, Ваше Высокопревосходительство.

— Вот передай ему эту карточку и скажи, что был Председатель Совета Министров…

После такого визита швейцар целый год кланялся подпоручику Петрову много ниже, чем всем другим жильцам.

Шильдер по своим годам и положению мог, разумеется, свободно всяким мальчишкам самолично визиты не отдавать. Но тем не менее он всегда это проделывал и самым добросовестным образом.

Помню раз такой случай. На нашей коммунальной квартире, на Рузовской, мы устраивали иногда веселые чаи с вином и с закуской. В те времена «коктейль-парти» были еще неизвестны. Приходили к нам наши приятельницы, девицы хорошенькие, веселые и без всяких церемоний. Постоянными жителями нашей квартиры, кроме нас и двух деньщиков, были еще два щенка, пойнтеры, Бим и Бом, один рыжий, а другой белый с рыжими подпалинами. Обитали они преимущественно на кухне, в которой никогда никакой пищи не приготовлялось, и составляли радость жизни наших деньщиков, Алексеева и Чирченки, которые, при редко сидевших дома хозяевах, иначе померли бы со скуки. Деньщики их водили гулять, дрессировали и вообще охотнее занимались ими, чем нами, хотя впрочем все мы, и люди и собаки, жили весьма дружно.

В это воскресенье у нас был как раз устроен чай-гала, даже с танцами. Коновалов гремел на рояле, мы плясали, щенки лаяли, скакали и хватали нас за ноги… Веселье шло на полный ход. Одна из девиц неосторожно пришла в боа, из перьев, которые тогда носили и еще более неосторожно, раздеваясь повесила его в передней на вешалку довольно низко. Щенки это боа приметили и, пока мы танцевали, стянули его и в один миг разорвали его в клочья. По всей квартире полетели пух и перья… После такого происшествия крик, шум, хохот и вообще буйное веселье достигло, как говорится апогея. Вдруг звонок. Слышим: «Здравия

желаю, Ваше Прев-во… Так точно, дома!» Шильдер. Первые пять минут, помню, прошли с некоторым напряжением. Барышни, которые из вакханок мгновенно превратились в институток, были представлены генералу в качестве «двоюродных сестер». А потом все пошло, как по маслу. Шильдер сел, внимательно осмотрел щенков, заговорил о собаках, об охоте, сам был когда-то охотник, разгладил усы, с удовольствием выпил чаю и просидел у нас час. А когда он, наконец, ушел и за ним закрылась дверь, одна из девиц суммировала общее впечатление тем, что сказала:

— А какой симпатичный старикан!

* * *

Описываемое ниже следовало бы озаглавить, скажем, так: «футбол в каменном веке». Хотя дело это происходило много позже, а именно в 1907 году.

В этом году в высоких сферах пожелали «ввести в войсках гвардии игру в футбол». Пожелали ввести ее таким же образом, как вводили новые портупеи, т. е. со среды на четверг, приказом. Главным инициатором всего дела был кавалергардский полковник В — в, лицо близкое царю, большой штукарь и гроссмейстер ордена очковтирателей. Дело казалось проще простого. Все русские мальчики умеют играть в лапту, почему же не заиграть в футбол? Вместо маленького взять большой мяч и бить его не палкой, а ногами. Вот и вся хитрость. А для этого нужно только предложить воинским частям озаботиться приобретением на полковые средства футбольных мячей, по два на полк, образовать команды и с Богом. А самое главное, как можно скорее, начать состязания и приглашать на них больших генералов, а потом и самого царя, благо никто из них в футболе ни аза не смыслит. Что такое есть футбол и как в него играют по-настоящему, сами инициаторы имели разумеется, весьма приблизительное понятие.

Доживая мои эмигрантские дни в Аргентине, мне поневоле приходится наблюдать, что такое есть настоящий футбол. После того, как лет 60 тому назад его привезли сюда англичане, футбол сделался этой стране национальным спортом. В Буэнос Айресе одних футбольных клубов имеется больше сотни. Матчи между большими клубами, профессиональными игроками собирают до 40.000 зрителей, которые если что идет не так, могут устроить побоище. В каждой аргентинской семье найдется два — три любителя футбола, которые игру понимают тонко и если не смогут пойти на матч, то отчет о нем в газетах прочтут от доски

до доски. В них, в дни состязаний, футболу отведены целые страницы. А самое главное это то, что для каждого нормального здорового мальчика здесь футбольный мяч то же, что для нас был перочинный ножик. Необходимое условие мальчишеского счастья. На всех тихих улицах, где мало движения, после школы мальчишки упражняются с мячем, если не с кожаным, так с тряпичным. И достигают в этом деле настоящей виртуозности. Как я слышал, может быть не совсем в таком размере, но нечто подобное происходит теперь и у нас на родине.

До революции в России спортом занимались только привиллегированные классы, и то до смешного мало. Наша деревня спорта не знала. Мальчишки играли в игры, парни танцевали и это все.

На мое счастье, или в этом случае несчастье, по инициативе одного молодого и спортивного воспитателя у нас в корпусе был заведен футбол, но дело было еще в самом зачатке. Да и условия были не очень подходящие. На лето мы все разъезжались на каникулы. Пять месяцев в году корпусной плац был покрыт снегом, сначала по колено, а потом по пояс. Оставалось полтора месяца весны и полтора месяца осени. При таких условиях многому не научишься. Как бы то ни было, элементарные правила мы все-таки знали и понятие об игре имели.

Когда в полк пришло распоряжение о введении футбола, Шильдер распорядился опросить чинов учебной команды, — в ротах и спрашивать не пытались, — кто умеет играть. Как и следовало ожидать, никто даже не знал, что это такое. При дальнейших разъяснениях обнаружилось, что трое наших юношей видели футбольные мячи в окнах магазинов. Приступили к допросу офицеров. Оказалось, что и из них игроков не имеется. При допросе с пристрастием мне пришлось сознаться, что правила игры мне известны и что мяч я ногами несколько раз в моей жизни пинал. Главным образом из дружбы, в том же сознался и мой товарищ по учебной команде Павел Азанчевский. Получили мы мячи и приступили к тренировке. В этом деле главная трудность была даже не в угаре. Наша молодежь ловкий народ. Всего труднее было добиться, чтобы каждый знал свое место и «пасировал». А то или он стоит и зевает, или все собьются в кучу. А уж если какой-нибудь игрок с темпераментом заполучит мяч, то будьте уверены, никому его не отдаст.

Через две недели в воскресенье был объявлен «матч» между нашей командой и кавалергардской. На поле перед полком разбили нашу большую палатку, развесили флаги кавалергардские и наши, расставили стулья, складные кресла… В палатке стол с белоснежной скатертью, на нем серебряный

самовар, торты, печенья, прохладительные напитки, сандвичи, «виски», одним словом все, что полагается. Все это, конечно, на средства Собрания, иначе говоря на наши собственные. В великолепной коляске прикатил великолепный командир кавалергардов, один из десяти самых богатых людей в России, князь Юсупов граф Сумароков Эльстон. С ним его жена красавица Зинаида Юсупова, молодое прелестное лицо и седые волосы, первая дама Санкт-Петербурга. Приехал и инициатор всего дела В — в. Общество собралось самое блестящее. Кавалергардская команда с офицером пришла раньше. Офицер оказался наш знакомый и человек понимающий. Мы с ним с первого слова договорились.

— Я, — говорит кавалергард, — четыре года учился в школе в Англии и три года, играл там в футбол. Все, что они здесь желают устроить, есть гнусный балаган. Где уж нам к чорту «матчи» устраивать, когда наши игрочки из пяти ударов два бьют в землю, а два в ногу товарища… Ваши знают свисток?

— Единственно, — отвечаем — что они хорошо знают, это свисток. Но свистку даже смирно становятся.

— Ну, это уже и не требуется… Давайте сделаем не так матч, как тренировку… Я возьму себе середину поля, Вы оба ближе к голам. Вы останавливайте моих, я Ваших… одним словом, каждый всех. На мелочи внимания обращать не приходится… Будем следить, чтобы не было уж очень грубых нарушений и, по возможности, членовредительства. Но нам трем придется побегать…

На этом и порешили. Начался матч, и что это был за «матч» — не поддается описанию. Первые десять минут, пока не разогрелись, все шло еще прилично, но потом пошла писать губерния… Мы все трое, «рефери», как бешеные носились по полю и то и дело оглашали воздух свистом. Иногда и свисток не действовал. В пылу азарта, для приведения в чувство, некоторых игроков приходилось хватать за плечи и трясти… Не обошлось и без потерь. Одному кавалергарду повредили колено, а одному нашему свихнули руку. Тому, что на поле битвы не осталась половина бойцов, команды обязаны исключительно нашему самоотвержению. Свою команду мы постарались выбрать из небольших людей, но кавалергарды были сплошь верзилы. Наша команда, как более ловкая и подвижная, забила гостям восемь голов. Все же, в качестве любезных хозяев, мы позволили и кавалергардам забить нам два гола.

Часа через два этот, с позволения сказать, «матч» кончился. Команды пошли пить чай с булками и с колбасой, а Азанчевский и я, охрипшие и уставшие, как собаки, взяли кавалергарда в уже

опустевшую палатку и допили с ним оставшуюся «виску». А когда кончили бутылку, послали в Собрание за второй.

Недели через три к нам пришла играть Конная Гвардия. Вместо Юсупова с женой явился маленький и толстый Хан Гуссейн Нахичеванский с монументальной «ханшей». Матч вышел еще скандальнее, т. к. конно-гвардейский офицер понимал в футболе еще меньше нашего. Не очень по душе пришлись матчи и самим нашим действующим лицам, которые в игре находили немного удовольствия, а смотрели на дело с узко-патриотической точки зрения, «набить ряшку» долговязым гостям и тем поддержать честь своего полка. Для нас с Азанчевским эти матчи были форменный зарез. У каждого были свои «делишки» и в городе и на дачах, а из-за дурацких матчей половину праздников приходилось торчать в порядочно уже надоевших лагерях. Офицеры наши их также терпеть не могли, так как из-за них порядочному числу приходилось сидеть в воскресенье «без отпуска». А когда Шильдер находил, что офицеров мало, он самолично устраивал на уезжающих облавы и тогда наблюдались такие сцены. Едет по средней линейке на рыжем извозчике на Красносельскую станцию какой-нибудь жених поручик. На душе у него приятно и радостно. И вдруг в самом опасном месте, до поворота на открытое шоссе, из-за куста, где он стоял в засаде, выходит Шильдер.

— Извозчик, стой! Вы куда едете?

— Я, Ваше Прев-во, еду по очень важному делу…

— Вы знаете, что сегодня в тги часа очень интегесный матч… Я Вас пгошу остаться…

— Ваше Прев-во, мне…

— Я Вас пгошу остаться, как личное одолжение!..

— Ваше Прев-во…

— Я Вам, наконец, пгиказываю остаться!

— Слушаюсь, Ваше Прев-во.

Несчастный поручик, сжимая кулаки, слезает с извозчика и идет домой в свой опостылевший барак. Единственно, кажется, кто получал удовольствие от матчей, это был сам Шильдер. Он молодецки гладил усы, но старинному, по модам Александра II, ухаживал за дамами и разливался соловьем.

Не знаю по какой причине, поняло ли начальство, что игру в футбол нужно вводить иначе, или что-нибудь другое, но в следующие лагери «матчей» у нас уже не было.

* * *

На, Шильдерово несчастье были у нас в лагерях не одни «матчи», где он имел удовольствие любезничать с великосветскими дамами. Были там и строевые ученья, и рассыпной строй и смотры, а главное стрельба, стрельба и, стрельба. Зимою он еще кое-как держался, но когда началось настоящее строевое обучение в поле, бедный старик окончательно потерял душевное равновесие. Он вмешивался во всякие мелочи, давал невпопад приказания, которые потом приходилось отменять, суетился, нервничал, без толку приставал к офицерам и к концу лагеря извел нас всех до такой степени, что «директора» стали ругать на все корки. Повезло ему в том, что нашим старшим полковником был в это время Эрнест Лаврентьевич Левстрем, в первый год войны командир 1-го Е. В. Гвардейского Стрелкового полка, заработавший себе и своему полку хорошее имя под Опатовым.

Левстрем был среднего роста, худой и умный швед, великолепный стрелок, — тринадцать императорских призов, — и человек с тактом и с характером. Не все его одинаково любили, но уважали и слушались поголовно все. Если бы не Левстрем, в трудных лагерях 1907 года пропал бы бедный Шильдер, «как швед под Полтавой».

Лагери 1907 года были действительно трудные. Начальство на нас наседало. Лечицкий допекал со стрельбой. До половины июня стоял собачий холод. Ингерманландский дождь моросил с утра до вечера. Чины дрожали в насквозь промокших палатках, укрываясь сырыми шинелями. Мы дрожали в наших бараках и в огромном Собрании, где никаких печек, конечно, не водилось. Согревались главным образом изнутри.

Водку, настоенную на березовых почках, так называемую «зеленую водку», потребляли в изрядном количестве даже те, которые вообще к вину относились с осторожностью. Как правило, водку в Собрании себе к прибору нельзя было требовать. Пей не отходя от закусочного стола. А если отошел, водки больше не получишь. Если хочешь пей вино. За ужином в лагерях делалось исключение и маленькие пузатые графинчики с изумрудной влагой стояли почти у каждого прибора. Водка эта не покупалась, а изготовлялась в Собрании своими средствами. Кроме отменного вкуса, она отличалась еще небесным запахом. Нальешь, бывало, в рюмку, понюхаешь и почувствуешь аромат весны. А потом проглотишь и станет тепло, сухо и на душе весело. К этому периоду относится сложенная полковым поэтом кн. Касаткиным песенка, распевавшаяся на мотив: «пой, ласточка, пой!» Начиналась она так:

«Надоела нам страшно наводка,
Надоел нам Лечицкий давно…
Лишь одно утешение водка,
Жизнь иначе была бы…»
Пой, ласточка, пой…»

Почти каждое утро с шести часов была стрельба и чаще всего под дождем. Стрельбище мокрое, трава хлюпает под ногами. Сойдешь с травы на дорогу, ноги разъезжаются в грязи. Офицеры и фельдфебеля в клеенчатых накидках. Некоторые офицеры надели длинные резиновые сапоги. Но большинство их не одобряет и месит грязь в обыкновенных, «черного товару», которые сырость как угодно пропускают. По их мнению резиновые сапоги имеют «нестроевой вид», что, конечно, и правда. Стрельба идет плохо. Уж где тут на шестьсот шагов попасть в «головную», когда и соломенный мат, на котором лежишь, и сама «головная», и прорезь прицела и вершина мушки, — все покрыто тонкой мокрой сеткой, поминутно застилающей глаза. Все ходят злые. Скверное настроение начальства передается на линию огня, вследствие чего стрельба, разумеется, идет еще хуже.

Обыкновенно командиры полка являлись на стрельбу только в исключительных случаях. Шильдер торчал на стрельбище постоянно и всем мешал. Иногда он приезжал туда верхом на обозной лошади, которую ему специально подобрали за кроткий нрав. Как сейчас стоит перед глазами его мало воинственная фигура, под дождем в клеенчатой накидке, в смокшей фуражке и с обвисшими усами. Надо полагать по причине застарелой болезни, приобретенной долгой сидячей жизнью, нормально верхом он ездить не мог и на седло ему клался надувной резиновый круг, точь в точь такой, какие употребляются в больнице.

В таком виде он ездил по ротам, делал замечания и требовал, чтобы ротные командиры обращали специальное внимание на то, в каком положении у лежащих стрелков лежат ноги. А когда в какой-нибудь роте, сразу же после сигнала «отбой», раздавался одиночный выстрел, Шильдер свирепел, поднимал своего скакуна в галоп и с протянутой рукой, как на Фальконетовом памятнике, летел на место преступления, истошным голосом вопя:

— Кто стрельнул?

На том же стрельбище, но на этот раз уже в отличную погоду, стрельба как-то раз производилась днем. Когда все роты отстреляли, часов около 7 вечера, приступили к офицерской

стрельбе, стоя, на сто шагов, в круглые призовые мишени. Каждая смена но десять человек, по старшинству, полковники, капитаны и т. д. Призовикам, Левстрему, Лоде, Свешникову и Гончарову вестовые подали их собственные винтовки, где все ложе было залеплено золотыми и серебряными накладками в память взятых призов. Мы, все прочие, взяли винтовки из рот, те, из которых стреляли обыкновенно. Выбили, как полагалось, «сверх отличного». Левстрем отстрелял в первой смене и уложил свои пять пуль, как всегда, в квадрат не дальше семи. А когда все кончили и выяснились результаты, сказал в шутку, обращаясь ко всем: «Молодцы, ребята, хорошо стреляете». Мы также в шутку, довольно стройно ему ответили. Со стрельбы чины уходили обыкновенно одиночным порядком. Отстрелял свое и ступай. На этот раз довольно много народу осталось посмотреть, как стреляют «господа» и все они наблюдали за офицерской стрельбой с живейшим интересом. От удачной стрельбы настроение у нас у всех поднялось. Длинный Лоде, который несмотря на свой капитанский чин, был необыкновенно молод душой и как скауты «всегда готов» на все не совсем обыкновенное, неожиданно предложил:

— Давайте пойдем в Собрание водку пить строем и с песнями.

— Очень хорошо, отлично, давайте пойдем!

Хочу, кстати, сказать здесь несколько слов про милого Лоде. Он был один из многих наших русских немцев, у которых ничего немецкого уже не осталось. Даже свой баронский титул он отбросил и если бы кто-нибудь из офицеров назвал его «бароном», он мог бы, пожалуй, рассердиться. Спортсмен он был первоклассный. Отличный лыжник, прекрасный стрелок, в начале 90-х годов ярый велосипедист… Когда появились первые мотоциклетки, он завел себе самую новую и стал носиться по Петербургским дорогам, удивляя людей и пугая лошадей. Когда появились первые автомобили, Лоде стал автомобилистом. Когда родилась авиация, он пытался попасть в авиационную школу. Его туда не взяли. Вышел из лет. Был он тогда уже капитаном на вакансии полковника.

Долговязый, всегда жизнерадостный, не очень тщательно одетый, мастер на веселое, а иногда и на крепкое слово, барон Влад. Эд. Лоде был любимцем и солдат и офицеров. В 13 году он получил уже не помню какой стрелковый полк и повел его на войну. Не все командиры полков в ту войну любили подвергать себя опасности. Лоде, со своими неизменными шутками и крепкими словцами, самолично лазил всюду, куда лезли его солдаты. В сентябре 14 года он был убит пулей в голову. Потом

во время войны мне случилось встретить одного раненого капитана его полка. Когда он узнал, что я Семеновец и отлично знал Лоде, мужественный капитан, сам Георгиевский кавалер, пустил слезу.

Так вот, кроме Левстрема и еще двух полковников, мы все в этот веселый вечер построились по росту, расчитались на первый, второй, повернулись направо, вздвоили ряды, взяли на плечо и под командой Лоде строевым шагом пошли в Собрание пить «зеленую водку». Взвод получился хоть куда. Романовский лихим солдатским тенором затянул «Во кузнице»… Все многочисленные чины, которые нам по дороге попадались, особенно подчеркнуто лихо перед нами вытягивались, весело скалили зубы и были в восторге.

При самом выходе со стрельбища видим стоит Шильдер. Мы еще больше подтянулись, дали тверже ногу, Лоде бодро скомандовал: «Взвод, смирно! Равнение направо!» Вскинули мы головы и видим, что Шильдер наш покраснел, взялся рукой за ус, да вдруг как гаркнет:

— Пгекгатить! Газойтись!

Выходка была до такой степени нелепа и неожиданна, что все мы к первую минуту растерялись. Потом остановились, отдали винтовки подбежавшим чинам и, вне себя от недоумения, уже не строем, а толпой пошли дальше. А потом началось:

— Да что он, обалдел? Какая его муха укусила! Да как он смеет орать на офицеров, да еще в присутствии чинов! Что он воображает, что мы кадеты, а это Псковской кадетский корпус. Кабы был он не «директор», а командир полка, вместо того, чтобы орать на нас, как на мальчишек, он бы улыбнулся и крикнул бы нам: «Спасибо, молодцы, за отличную стрельбу». А мы бы ему, под левую ногу, ответили: «Рады стараться, Ваше Прев-ство»… Это так оставить нельзя. Пусть Левстрем его научит, как себя вести с офицерами!»

Как правило, во всех столкновениях офицеров с командиром полка, со стороны офицеров выступал всегда старший полковник. Все происшествие Левстрем видел сам, так как стоял тут же рядом и был всецело на нашей стороне. В тот же вечер в командирском бараке происходило объяснение. И на следующий день после обеда Левстрем нас собрал в читальной и от имени Шильдера объявил, что «командир полка сожалеет о той резкой форме, в которой он обратился к г. г. офицерам, но с другой стороны продолжает считать, что в присутствии нижних чинов г. г. офицеры не должны были устраивать профанацию строя».

В чем он тут нашел «пгофанацию стгоя», никто из нас понять не мог, но на этом инцидент был закрыт.

Если командир полка боится начальства, то будь он самой прекрасной души человек, уважать офицеры его не будут. Шильдер боялся всех, даже начальника дивизии Лечицкого, которого все очень почитали, иногда добродушно подругивали за излишнее «менторство», но решительно никто не боялся, ни солдаты, ни офицеры.

Раз как-то в лагерях мы только что сели за обед. В огромном зале все расселись, как полагается, командир полка посередине стола под портретом Петра, напротив старший полковники так дальше по чинам. Молодежь на концах. Собранские разносят суп. Все голодные и усталые и потому главным образом едят, а не разговаривают. В зале тихо.

Вдруг быстро входит запыхавшийся чин, подходит к Шильдеру и прерывающимся голосом громко докладывает:

— Ваше Прев-во, дежурный по полку приказали Вам доложить, что начальник дивизии находится в расположении полка.

Теперь почему «прерывающийся голос»? Весьма понятно почему. От палатки дежурного офицера на передней линейке и до собрания, по крайней мере полкилометра, каковое расстояние молодец покрыл в предельный срок. Было бы нормально, чтобы такие важные пункты в лагере, как палатка дежурного офицера, канцелярия, командирский барак и собрание были связаны между собою телефоном. Но при нашем техническом убожестве у нас даже этого не было и все приказания и сообщения по лагерю передавались через пеших вестовых, которые не имели даже велосипедов. Отсюда запыхавшийся вид и прерывающийся голос.

Реакция Шильдера на доклад вестового была совершенно неожиданная. Он вскочил и громким взволнованным голосом сказал:

— Господа! Хватайте шашки и бежим!

Мы все тоже поднялись и стояли в нерешительности и в полном недоумении. Положение спас по обыкновению Левстрем.

— Помилуй, В. А., куда же нам бежать? Сейчас обеденное время, солдаты кончили обедать и отдыхают… Мы обедаем… Если бы начальник дивизии захотел вызвать полк по тревоге, но тогда пробили бы «тревогу»… Вот тогда нужно было бы бежать. Генерал Лечицкий в расположении полка бывает пять раз в неделю. Сейчас с ним дежурный офицер. Все его приказания он примет и передаст. Если начальник дивизии хочет нас видеть, пускай приходит сюда… Если он хочет есть, его здесь накормят… Это тоже не в первый раз. Никуда нам бежать не нужно, а нужно сесть и спокойно продолжать обедать!..

Под влиянием таких умных речей Шильдер успокоился и

снова сел. А садясь промолвил:

— Да, ты пгав, Эгнест, Лечицкий еще ничего, стгашиться нужно Загубаева.

Зарубаев был тот генерал-инспектор пехоты, который несколько месяцев назад, рано утром, не слишком для нас удачно, посетил полк без приглашения и имел короткую беседу с дежурным по полку, который стоял перед ним непричесанный и в кальсонах.

Карьера Шильдера блестящая иллюстрация того, как в наше время делались высокие назначения. Был он не плохой человек, джентльмен и все такое, и в свое время служил добросовестно и с пользой, но в том физическом и умственном состоянии, в котором он тогда уже находился, годился он в лучшем случае заведывать каким-нибудь инвалидным домом, а то и прямо в чистую отставку. Все же после Семеновского полка царь предложил ему принять… Министерство Народного Просвещения! От министерства Шильдер имел благоразумие отказаться и попросил Пажеский корпус и получил его. Каким авторитетом он пользовался у пажей, может иллюстрировать маленькая картинка, описанная мне нашим офицером Сергеем Дириным, который в то время, когда все это происходило, стоял в строю и все самолично видел и слышал.

Младший специальный класс Пажеского корпуса в чем-то проштрафился и директор должен был прийти его распечь. В зале построен класс. Тишина такая, что муха пролетит слышно. Наконец слышатся шпоры Шильдера, раздается команда «смирно!» и все замирает.

Шильдер выходит на середину перед строем, останавливается и разглаживает усы. Длинная драматическая пауза. Не здороваясь, что еще больше увеличивает эффект, замогильным голосом он начинает говорить.

— Жизнь не шутка!.. — большая пауза. — Жизнь не игхушка! — Очень большая пауза. — Жизнь не тгу-ля-ля!! — Самая большая пауза.

Все с напряжением ждут, что будет дальше. А дальше ничего. Шильдер круто поворачивался и уходит. Надо полагать, что он все-таки что-то приготовил, но в последнюю минуту забыл…

Самое удивительное было то, что после Пажеского корпуса, где он безнадежно провалился, Шильдеру дали в управление Александровский лицей (Пушкинский), в котором он директорствовал целых семь лет вплоть до самого его закрытия. Говорили потом, что за всю столетнюю историю этого учебного заведения, которое дало России Пушкина и Щедрина, по распущенности лицеистов и общему беспорядку время Шильдера

было самое упадочное.

После революции бедный старик прожил еще несколько лет так, как в эпоху военного коммунизма могли существовать «бывшие люди», он служил истопником, починял зонтики, точил старые бритвы «жилет» и попеременно со старухой женой часами стоял в хвостах… Умер он в тюрьме от разрыва сердца.

Когда после, лагерей 1907 года Шильдера от нас, наконец, убрали, новым нашим командиром был назначен генерал-майор Александр Александрович Зуров, брат моряка, доблестно погибшего в Цусиме, и двоюродный брат графов А. А. и Н. Н. Игнатьевых, о которых в этой книге я уже упоминал.

Как все Зуровы совершенно лысый, А. А. был высокий еще молодой человек, очень хорошо воспитанный, очень серьезный и очень деловой, но несколько суховатый. Впрочем, при нашей гвардейской «аутаркии», когда всем в полку, кроме строя, управлял старший полковник, некоторая отдаленность командира от офицеров была вещь вовсе не плохая.

До нас карьера А. А. была: Пажеский корпус, Преображенский полк и Военная Академия. К Генеральному Штабу он причислен не был.

Несмотря на суховатость в обращении, старый холостяк Зуров сразу же пришелся нам ко двору. Даже и те, на кого трудно был угодить, признавали, что командира мы получили такого, что лучше и желать нельзя. Лично мне кажется, что воевать под его начальством было бы одно удовольствие. К сожалению командовал он нами очень недолго и принужден был навсегда уйти из строя по самому неожиданному и нелепому случаю, в котором сам он ни душой ни телом виноват не был. Один молодой офицер умышленно изменил текст телеграммы, которую царь послал полку на полковой праздник. Этому невероятному происшествию посвящен один из очерков этой книги, под заглавием «Подпоручик Николай Ильин — редактор царской телеграммы». Вел. кн. Николай Николаевич грубо накричал на Зурова, и ему ничего не оставалось другого, как уйти.

Потому что его ценили и уже начинали любить, а главное потому, что он невинно пострадал, провожали Зурова совершенно исключительным образом. Кроме полкового жетона, поднесли ему еще прекрасный подарок. Кроме того офицеры всех четырех батальонов, каждый по отдельности, снимались с ним в группе. Группа нашего 3-го батальона и сейчас, когда я все это пишу, висит у меня перед глазами в моей маленькой квартирке в Буэнос-Айресе. Самая же главная часть проводов был прощальный обед-монстр, который был ему устроен. На обеде этом дом Романовых был представлен тремя членами, Константином

Константиновичем, Кириллом Владимировичем и Борисом Владимировичем. Первые два были связаны с Зуровым по Преображенскому полку, третий но нашему. После тоста за уходящего командира полка, оглушительное ура продолжалось пять минут. Продолжительность небывалая. Наконец поднялся растроганный Зуров и, изо всех сил сдерживая волнение, стал благодарить, говорить, как он любит и уважает наш полк и как ему тяжело, что «неожиданные обстоятельства» заставили его с ним расстаться. Момент был высокого напряжения. Когда Зуров сел и на минуту стало тихо, Борис Владимирович, выражая общее настроение, в полголоса, но так, что всем было слышно, произнес выразительное двухсложное русское слово «сволочь». К кому это слово относилось, всем было ясно. Если бы появился в зале в эту минуту вел. кн. Николай Николаевич, то встретили бы его неприветливо. Тогда все были возмущены, но строго-то говоря, по существу Николай Николаевич был виноват только в том, что был груб. Несчастье, постигшее бедного Зурова, относится к категории карнизов, неожиданно падающих на голову прохожего. Обыкновенно карнизы не падают, но если уж случится такой случай, ничего тут не поделаешь: приходится нести последствия.

А. А. Зуров в строй так и не вернулся. До самой революции он управлял дворцами в Москве и, говорили, занимался какими-то историческими работами в Московских архивах. После революции он перебрался в Польшу, где у него был клочок земли. На этом клочке, занимаясь фермерством, он и умер за два года до второй германской войны.

* * *

Следующим нашим командиром был генерал-майор Илья Яковлевич Кульнев. По какой причине он получил наш полк, мне неизвестно. В Академии он не был, на Японской войне также не был. Долго служил воспитателем в каком-то кадетском корпусе — везло нам на педагогов, — а последнее время перед назначением, командовал в Смоленске 4-м Пехотным Капорским полком. Надо думать, что в назначении его главную роль сыграла его громкая фамилия. Он был родным правнуком знаменитого героя шведской и Отечественной войны 12-го года, авангардного генерала Кульнева. Портрет знаменитого Кульнева висел, да и теперь, наверное, висит рядом с портретом Милорадовича в галлерее героев 12-го года, в Зимнем Дворце.

И. Я. Кульнев числился нашим командиром полтора года, но фактически командовал несколько месяцев. Остальное время

лежал дома и болел. Хотя и не неся уже строевой службы, я тогда жил в полку в офицерском флигеле и постоянно бывал в Собрании. За все это время я видел Кульнева только два раза. И оба раза он был в полной парадной форме. Первый раз когда принимал полк, а второй, когда лежал в гробу и мы с Леонтьевым стояли над ним почетными часовыми.

Про похороны рассказывать нечего, хотя они были, очень парадные, с великими князьями, с венком от царя, с десятками генералов, и свитских и простых, с войсками, с музыкой, все чин чином. А про прием полка Кульневым расскажу подробно, так как прием этот, можно сказать, был единственный в своем роде. Думаю, что никогда в Российской армии таких случаев не происходило.

Приему должны были быть посвящены два дня. Первый день представление офицеров в Собрании и парадный завтрак, а второй обход рот и полковых помещений. Полк новому командиру сдавал Левстрем.

К 11 часам в Собрание явились все офицеры, строевые, нестроевые, в постоянных командировках, одним словом все, кто носил полковую форму. Тогда как раз только что были введены новые Александровские мундиры с красными лацканами, и общая картина, получилась очень красивая. Приехал маленький П. П. Дирин, председатель общества старых Семеновцсв. Явились полковые доктора, духовенство, И. П. Широков, военный чиновник, делопроизводитель хозяйственной части, регент церковного хора Алексеев и оружейный мастер Антонов.

На войне все это переменилось радикально, но в мирное время ни духовенство, ни доктора, ни тем паче все другие полковые «апендисы», входа в Собрание не имели. Это был клуб «господ», куда всем прочим ход был заказан. Но по торжественному случаю приема полка новым командиром все социальные перегородки пали. На один день. Всего в зале собралось к завтраку человек 70. Приехали, командир бригады и начальник дивизии генерал Мрозовский.

По трем стенам большой столовой выстроились в ряд все по старшинству, полковники, капитаны, штабс-капитаны, поручики, подпоручики, духовенство в шелковых рясах, доктора в парадной форме, в эполетах… На самом левом фланге в пиджаке стоял бородатый и мрачный оружейный мастер Антонов.

Наконец, по беспроволочному телеграфу собранских вестовых передалось, что командир полка приехал. Все быстро стали на свои места, и даже подравнялись. Послышались шпоры. Левстрем стал на правый фланг и громко сказал:

— Господа офицеры!

Вошел Кульнев. Он был довольно представительный мужчина, среднего роста, стройный, неопределенных лет, немного за пятьдесят. Новый с иголочки Семеновский мундир с красным лацканом, генеральские «жирные» эполеты с царскими вензелями, и золотой аксельбант. При назначении нашим командиром царь взял его в Свиту.

Как только командир вошел, музыка ударила полковой марш:

«Мы верно служили при русских царях,
Дралися со славою и честью в боях.
Страшатся враги наших старых знамен,
Нас знает Россия с Петровских времен.
Царь Петр покрыл нас славою побед
И помнит бой Полтавский помнит швед.
Да будет же свят сей залог вековой
В Семеновской славной семье полковой,
Да будут потомки потешных полков
Надеждой для Руси, грозой для врагов…
Царь Петр покрыл нас славою побед
И помнит бой Полтавский помнит швед».

Полковой марш был полковой гимн. Слушать его можно было не, иначе, как стоя смирно. А если на улице, то руку к головному убору.

Прослушали полковой марш и, когда музыка замолчала, Кульнев, отвесил нам глубокий поклон. Поклонились и мы ему. Кто по чину и должности носил шпоры, щелкнул шпорами, остальные каблуками. Левстрем начал представление.

— Ваше Прев-во, разрешите представить Вам господ офицеров. Полковник Тунцельман. — Короткий военный поклон — с приставлением ноги корпус принимает исходное положение — и рукопожатие.

— Полковник Тимрот 1-ый, — тот же церемониал. — Капитан Шелехов. Капитан Пронин 1-ый. Капитан Лялин. Капитан князь Касаткин Ростовский, и т. д., и т. д. все семьдесят человек.

Когда пришла моя очередь шаркать ножкой, меня поразил болезненный вид, нового командира. Провалившиеся щеки, усталые потухшие глаза, в лице ни кровинки и все лицо шафранно-желтого цвета.

Наконец кончилась сухая и постная часть. Лица из строго официальных снова сделались человеческими. Скоро можно будет пропустить рюмку, другую водки и вкусно поесть. По особо торжественному случаю завтрак будет богатый, не меньше как из четырех блюд. Закуска тоже по первому разряду. В обыкновенные

дни закусочный стол не являл собою большого разнообразия. Зубровка, рябиновка, белая водка и кое-где овальные тарелочки с ломтиками хлеба, с кружками колбасы, кусочками ветчины, селедка, сардинки, шпроты… Однообразный пейзаж… Теперь весь стол, высокий, но узкий, нарочно, чтобы до всего можно было дотянуться, был уставлен яствами, при одном воспоминании о коих у человека, как у собак профессора Павлова, начинается секреция слюны. Красовались на столе серебряные кастрюлечки с горячей закуской, биточки в сметане, посыпанные укропом, сосиски в томате, форшмаки с селедкой, белые грибы в — сметане, паштеты, разные «каната», хрустящие, поджаренные в масле квадратики белого хлеба, с покоющимися на них кильками, всевозможные сыры, царь сыров — рокфор, камамбер, старый честный швейцарский, и, наконец, посредине, патриции закусочного стола: икра, омары и копченые сиги, а к ним в серебряных соусниках густой желтый майонез. Водок на столе стояло сортов десять. На все вкусы. И среди них, то там, то здесь красовались тонкие, запотевшие, только-что со льда, графинчики со светлейшей очищенной, которую в России с одинаковым удовольствием потребляли и царь, и генерал, и пахарь, и рабочий.

Закуски на столе были расставлены не как-нибудь, а с пониманием. Посередине, куда подходит начальство и старшие, ставилось то, что получше, а по концам, которые бывали облеплены молодежью, же больше кусочки жареного свиного сала, колбаса, сардинки, шпроты и проч. тому подобные деликатесы фельдфебельских именин. Чтобы подпоручику заполучить икры или кусок омара и вместе с тем не нарушить строгих собранских правил благоприличного поведения, нужно было проявить немалую ловкость и проворство.

В лагерном собрании, где закусочный стол был длинный, около него свободно умещалось человек шестьдесят. В городском собрании, где стол был короче, при таком скопище людей приходилось уже закусывать в две смены.

Как только приступили к закуске, музыка грянула полковой «колонный марш». Под этот марш в 1813 году наш полк входил в Париж. Это была тоже специальная музыка, но далеко не столь торжественная, как полковой марш. Под звуки колонного марша разрешалось двигаться, разговаривать и даже есть. По моему поручичьему чину, состоя во второй смене, я со своего места мог отчетливо видеть, как генералы подошли к столу и командир с приятной улыбкой налил начальнику дивизии рюмку водки. А тот ему. Потом выпили еще и, наверное, еще. У стола генералы стояли минут двадцать. И вдруг новый командир полка поднял

рюмку и громко на весь зал, каким-то особенно возбужденным голосом, крикнул: «Господа!»

Мгновенно все стихло, но все мы почувствовали себя неловко. Это было явное нарушение порядка. По ритуалу следовало новому командиру закусить, отойти в сторону, чтобы дать место другим, затем сесть за стол на свое место под портретом Петра, по правую руку начальник дивизии, по левую председатель союза старых Семеновцев. Затем надлежало ему спокойно съесть первое блюдо, а когда разольют шампанское, встать и сказать первый тост за державного шефа государя императора. Второй тост за Российскую армию и за гостей, начальника дивизии и других. Тогда со своего места напротив поднялся бы старший полковник и предложил бы тост за нового командира. После этого ему было бы крикнуто «ура», приличное, но сдержанное, так сказать выжидательное. Посмотрим, мол, как ты себя будешь вести дальше. По одному крику «ура», начальство всегда могло почувствовать, какое к нему есть настоящее отношение. И уже только тогда полагалось командиру благодарить и сказать настоящую речь в честь полка, что он горд и счастлив, и дружная работа офицеров и все такое прочее.

Тут же происходило явное нарушение всех традиции и установленных правил. Тосты с рюмкой водки у закусочного стола. Невиданное и неслыханное дело!

Между тем при гробовом молчании 70 человек, даже собранская прислуга с блюдами застыла на местах, громким, но неверным голосом Кульнев продолжал говорить:

— Сегодня, господа, я счастлив… Вы не знаете, как я счастлив… Я — армейский офицер. Темная глухая армейщина… В академиях не учился… В гостинных не вертелся… И вдруг меня государь император, назначает командовать своим Семеновским полком. Он дает мне на погоны свои вензеля… Николай второй император и самодержец всероссийский… Вы понимаете, что я сейчас чувствую, что я переживаю… Кто там. шевелится! Когда говорит командир полка, все должны стоять смирно! Так что я говорил? Да, я счастлив, я глубоко счастлив, я безконечно счастлив, что государь мне дал в командование полк. И какой полк — Лейб-гвардии Семеновский полк — исторический полк, полк Петра Великого… Да, так что я говорил? Полк, Петра… Сии птенцы гнезда Петрова… Да… выходит Петр, он горд и ясен… Да, так что я говорил?

Мы все семьдесят человек стояли в изумлении и недоумении и чувствовали себя очень неловко. Случалось, приходилось слышать речи взволнованных и растроганных людей, но таких речей никогда раньше в Собрании не раздавалось. А потом всех

сразу осенило: он пьян.

А Кульнев между тем продолжал:

— Хотите Вы знать, что у меня делается на душе? Да, вот, я говорю, что я счастлив… Я, наверное, скоро умру, но под конец жизни Бог мне послал счастье… Государь император дал мне, глухому армейцу, свой Семеновский полк… Кто там смеет разговаривать?.. Когда командир Семеновского полка говорит, все должны молчать, молчать!.. Да, так что я говорил?!..

Никто, конечно, не разговаривал, но всем стало ясно, что назревает скандал. Кульнева необходимо было убрать, во что бы то ни стало и как можно скорее. Рядом в комнате стояли музыканты. В самом зале было до десятка собранских вестовых. Для них зрелище пьяного командира было зрелище малоназидательное. Кроме того, все, что происходило в офицерском собрании, незамедлительно становилось известным в казармах. В тот же вечер весь полк будет знать, что на приеме командир полка напился вдребезги, единственный из всех.

Начальник дивизии Мрозовский переглянулся с Левстремом, и, выждав паузу, обратился к Кульневу:

— Ваше Прев-во, Вы устали, утомились, Вы бы пошли отдохнуть…

— Ваше Прев-во… кто здесь хозяин… Вы или я? Я прошу Вас не мешать мне говорить с моими офицерами. Так вот, что я говорил? Я командир Семеновского полка… Я счастлив… Я горжусь этим…

И еще на десять минут. Наконец, полковой адъютант Унгерн-Штернберг решил применить военную хитрость и выманить Кульнева из столовой. Он за спинами тихонько пробрался в буфет, затем демонстративно оттуда вышел, подошел к Кульневу и сказал:

— Ваше Прев-во… Ваша супруга из командирского дома спешно просит Вас к телефону.

Телефонная будка помещалась в дежурной комнате. Если бы заманить туда Кульнева, то с ним можно было бы уже справиться. Но не тут-то было.

— Вы кто? Ах да, полковой адъютант… Скажите моей жене, что когда я говорю с моими офицерами, я занят… И какие там жены… К чорту!.. Я командир Семеновского полка, а жена моя должна ждать…

Что тут было делать? Нельзя же все-таки было увести его силой. Он мог начать отбиваться. И что бы тогда получилось, страшно подумать. Единственный выход был дать ему еще водки и ждать, покуда он ослабеет и обмякнет. И вот мы стали ждать и ждали минут сорок. А Кульнев все говорил. А если кто-нибудь

начинал двигаться, он кричал и выходил из себя. Это было очень мучительное время. Наконец он ослабел и пошатнулся. Этого только и ждали. Подхватили его под руки и увели в дежурную комнату. Там раздели и уложили на диван. Дали знать его жене. Бедная женщина прилетела в слезах и тут все объяснилось. Оказалось, что бедняга уже давно был очень серьезно болен почками, но болезнь свою скрывал, не хотел уходить в отставку и лечился дома. Весь последний месяц он сидел на молочной диете. Всякого алкоголя ему не только пить, но нюхать было стражйше запрещено. Перед тем, как отпустить его из дому, жена взяла с него слово не пить ни капли и он торжественно обещал. А потом на радостях не выдержал. Выпил он всего каких-нибудь четыре, пять рюмок, самое большее. Его повышенному настроению в этот день была еще одна важная причина. Кульнев был семейный человек и никаких личных средств не имел. Царские вензеля на погонах и золотой аксельбант, т. е. звание флигель-адъютанта или свиты Его Величества генерал-майора, было звание исключительно почетное и никаких денег не давало. При командирском жаловании 3.000 рублей в год в Петербурге и с семьей, ему не на что было бы сшить себе новые мундиры, полковой и свитский. Свитская форма была особенная, с серебряным шитьем и стоила дорого. И вот в это самое утро он получил от министра двора уведомление, что царь из своих личных средств, из так называемой «царской шкатулки» назначил ему четыре тысячи рублей в год «на представительство». С души у него свалилась тяжесть. А тут еще церемония приема полка. Ну, как было не выпить рюмки водки по такому случаю? Он и выпил.

В этот день никакого торжественного завтрака не вышло. Все мы жалели беднягу Кульнева и были в подавленном настроении. Большинство разъехалось по домам, не притронувшись к завтраку. Львиная доля заготовленных яств досталась собранским вестовым и полковому караулу, благо караульное помещение находилось в том же подвальном этаже, что и офицерская кухня.

После приема полка, Кульнев слег в постель и проболел несколько месяцев.

Лето 1909 года в мировом масштабе ознаменовалось одним важным событием. Французский летчик Блерио на своем аппарате перелетел через Ламанш, т. е. из Франции перелетел в Англию. Сейчас это кажется смешно, но тогда это был подвиг и достижение, о котором пространно писали газеты всего мира.

В то же лето в нашем полковом масштабе имело место тоже немаловажное событие — 200-летний юбилей Полтавской битвы. 26 июня 1709 года — 26 июня 1909. В Полтаве готовились большие торжества. К этому дню туда должен был приехать царь

и туда же отправлялась вся наша Петровская бригада, то есть Преображенцы, мы и 1-ая батарея 1-ой Гвардейской Артиллерийской бригады — бывшая Петровская Бомбардирская рота. Мне лично быть в Полтаве не довелось. Тогда я сидел в русском генеральном консульстве в Мешхеде и под руководством моего учителя мирзы Риза-Хана усиленно изучал персидский язык. Поэтому о нашей Полтавской эпопее я знаю только но рассказам товарищей. В Полтаве мы должны были пробыть неделю, причем весь церемониал был подробно разработан заранее. Туда входил царский смотр войскам, примерное сражение на Полтавском поле битвы, а затем всякие осмотры, увеселения, приемы, обеды, балы и т. д.

К поездке у нас стали готовиться задолго. Ротные командиры усиленно пригоняли солдатское обмундирование. Каждый чин должен был выглядел, так, чтобы с первого взгляда свести с ума всех полтавских дивчат. Те, кто были родом из Полтавы, писали своим и устраивали встречи. Офицеры шили себе новые кителя и запасались деньгами. Брали с собой палатки и солдатские и офицерские, т. к. бригада должна была стать лагерем неподалеку от города. Собрание брало с собою нашу большую палатку-шатер, вместимостью на сто человек, а кроме того на то же количество людей столового белья, серебра, хрусталя и посуды.

Ехала вся наша офицерская кухня с четырьмя поварами. Брали с собою большую часть нашего винного погреба и «на всякий случай» 50 дюжин бутылок шампанского. Нелишне будет сказать мимоходом, что из всего взятого в Полтаву винного запаса назад в Петербург не привезли ни одной бутылки.

Всем войскам были приготовлены прямые поезда Петербург — Полтава. Чинам были даны удобные «жесткие» вагоны, с длинными скамейками, со спальным местом на каждого. Офицеры получили вагоны Международного О-ва. Как путешествие, так и вся полтавская неделя были сплошным праздником и для чинов и для офицеров. Все удалось на славу, начиная с погоды, которая все эти дни была как на заказ. Для чинов, кроме смотров, парадов и примерных сражений, которые как-никак были занимательны, город Полтава устроил гулянье, спектакль и другие развлечения, уже не говоря о пище, на которую полтавские отцы города тоже не поскупились. Доказательство то, что несмотря на большую беготню, все вернулись в Петербург потолстевшими.

Полтавским городским головой тогда был Курдюмов, бывший гусар и богатый человек. А товарищем городского головы Аглаимов, наш старый семеновец. Нечего говорить, что заботясь о чинах, они позаботились и о «господах офицерах». Всяких

увеселений, а в особенности угощений им тоже было предложено вдоволь. На все обеды, которые нам давали, Преображенцы и мы неукоснительно отвечали. При постоянных поездках из лагеря в город офицерам приходилось держать постоянных извозчиков, что влетело в копеечку. Вообще, когда вернулись домой и подсчитались, то обнаружилось, что, кроме личных расходов по обмундированию и передвижению, одно Собрание на Полтавских торжествах обошлось каждому офицеру рублей в двести. Зато уж юбилей справили на славу.

В память Полтавского юбилея, мы все, офицеры и чины, получили для ношения на груди бронзовые медали на голубой Андреевской ленте. На одной стороне был профиль Петра, а на задней стороне его знаменитые слова: «А о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, жила бы только Россия».

С нами в Полтаву ездило наше духовенство. Не все, конечно, а только двое, старший священник и старший дьякон. Дьякон наш был очень красочная фигура, двойник знаменитого Лесковского Ахиллы Десницына. Такой же богатырь и такой же простец. Любил и умел выпить, преимущественно водки. Говорил, что это помогает ему для голоса. В Полтаве было много церковных служб, панихиды, молебны, и главным образом на открытом воздухе. Микрофонов в то время не водилось. А знатоками уже давно замечено, что никогда настоящий бас не звучит так сочно и густо, как на следующий день после.

В одной палатке с великаном дьяконом помещался его закадычный приятель, маленький и щуплый полковой капельмейстер Зилинг. Зилинг, в противоположность жизнерадостному и сангвиническому дьякону, был сентиментальный меланхолик и тоже пьяница. По вечерам у себя в палатке дьякон Крестовский и капельмейстер Зилинг каждый вечер закусывали и выпивали, причем после десятой, рюмки разговор обыкновенно сворачивал на богословские темы.

Миша Нагорнов (убит под Красноставом в июле 15-го года), тогда еще подпоручик 16-ой роты, жил в палатке рядом с дьяконом и разговоры эти неоднократно слышал. Имея дар смешно рассказывать, он долго потом в Собраньи клал в лоск офицеров, представляя в лицах, как дьякон убеждал Зилинга перейти из лютеранства в православие и как он ему доказывал преимущества православной веры над лютеранской. Как настоящему россиянину, слово «Зилинг» дьякону произнести было трудно, поэтому приятеля своего он называл «Зилига».

Разговоры между ними велись приблизительно в таких тонах:

Дьякон: — Хороший ты человек, Зилига, а жаль мне тебя..

Зилинг: — Почему же Вам меня жаль, отец дьякон?

Дьякон: — А вот почему. Вот ты сейчас водку пьешь, а когда помрешь ты, куда твоя душа пойдет? Ты мне вот что скажи!

Зилинг: — Туда же, куда и Ваша…

Дьякон: — Нет, это ты, брат, врешь… Я православный христианин, крещеный. А ты кто? Лютер… У тебя может и души то вовсе нет… Душа у тебя пар… Как у кошки. Ты подумай только, в каком ты полку служишь и вдруг лютеранин…

Зилинг: — А я считаю, отец дьякон, что хорошие люди могут быть и православные и лютеране. Вот и офицеры есть лютеране, даже католики есть.

Дьякон: — Эка, дурачок, то офицеры, а то ты…

Зилинг: — И еще Вам скажу, отец дьякон, что по-моему тот, кто меняет свою веру, тот нехороший человек. И папаша и мамаша у меня были лютеране, а зачем же я буду мою веру менять?

Дьякон: — Эка, дурачок, что говоришь… На хорошее и менять не стыдно… Скажем, к примеру, живешь ты в свином хлеву, а тебе каменный дом двухэтажный предлагают. Ты и тут не переменишь?… Ну, и дурак будешь, коли не переменишь…

Обыкновенно теологические разговоры между дьяконом и Зилигой велись и кончались мирно. Но как-то раз, не знаю по каким причинам, всего вернее сильно переложили, дьякон из мирного православного миссионера, превратился вдруг в воинствующего католика и возымел намерение окрестить Зилигу, тут же сейчас, не откладывая в долгий ящик, путем троекратного его погружения в ближайшем пруде. Почуяв опасность, маленький Зилига бросился на утек. Дьякон за ним. Зилига, как заяц, летел между палаток, направляясь к часовому у знамени, где он справедливо расчитывал найти защиту. На его несчастье, на полном ходу, огибая одну из палаток, он зацепился за веревку и растянулся. Тут дьякон, который с криком «держи его», шел в пяти корпусах сзади, его настиг и сгреб в охапку. И побывать бы в эту ночь бедному Зилиге в пруду, если бы на шум не прибежал дежурный офицер и не водворил порядок. В эту ночь в лагере оставался он один. «Господа» где-то пировали.

Перед самой Полтавой Кульнев подлечился, вновь вступил в командование и во главе полка провел все Полтавские торжества. Ничего не пил и держал себя отменно, спокойно и с большим достоинством. С царем и царской свитой вел себя так, как будто бы среди всей этой компании он сам родился и вырос. Все-таки, при общем состоянии его здоровья, Полтава его доканала. Вернувшись в Петербург, он слег и снова сдал полк Левстрему. Через несколько месяцев мы его хоронили.

* * *

Со второго курса в Павловском училище начиналась военная история. Читал ее полковник Генерального штаба Евгений Федорович Новицкий. Как сейчас помню его первую лекцию. Дежурный скомандовал: «встать, смирно!» и в класс вошел сорокалетний полковник, в золотых очках, с усами и с бородкой. Одет в черный сюртук. Многие офицеры Генерального штаба носили не темнозеленые, как все офицеры, а черные сюртуки. Серебряный прибор, серебряный аксельбант и на правой стороне груди серебряный академический знак, В дверях он поклонился аудитории, — профессора в Училище военных приветствий не употребляли, — сказал: «садитесь, господа», и прошел на свое место. Очень длинная пауза. Мы все сидим затаив дыхание и уставившись ему в очки. Как отличного лектора мы уже знали Новицкого по репутации. Наконец, раздался голос, глуховатый, немного в нос, но громкий и выразительный.

— Живем мы в трудное время. Решаются роковые задачи, которые к тому же и подкрадываются невзначай. И удачно решает их тот, кто долгим к самоотверженным трудом к этому подготовился. Когда наступят решительные сроки, пусть каждый из нас будет иметь великое счастье войти в бой с чистым сердцем, спокойным духом и с сознанием, что ничем не пренебрег дабы удостоиться победы!

Откуда была эта фраза, из Драгомирова, из какого-нибудь другого военного авторитета, или, наконец, авторская собственность самого лектора, сказать не сумею. Но нужно признать, что вступление было блестящее. И такого же качества была вся лекция, которую он прочел без единой бумажки.

Дальше Новицкий говорил, что Японская война, которая тогда тянулась уже много месяцев, не последняя наша война, что наше поколение увидит наверное, еще другую, много страшнее японской… Что Российскую Империю, которую потом и кровью строили наши предки, нужно сохранить и в целости передать нашим детям… Что мечты о вечном мире прекрасны, но неосуществимы и что пацифисты вредные люди, так как на подобие страусов зарывают свои головы в песок, дабы не видеть грозящей опасности и т. д., и т. д.

Час пролетел незаметно. Если бы не было это строжайше запрещено, то по окончании лекции мы бы устроили Новицкому овацию.

Со следующей лекции он начал курс военной истории и провел его мастерски. Слушать его было одно удовольствие и плохих учеников у него не было. Я лично расстался с Новицким

самым приятным образом, получив у него на выпускном экзамене за Северную войну двенадцать баллов.

Года через два после нашего выпуска, Новицкий оставил военно-педагогическую карьеру и пошел в строй. Он был назначен командиром 12-го стрелкового полка в Жмеринке в Польше.

В 1910 году он получил в командование наш полк.

С точки зрения максимума пользы, которую человек способен принести, бросив педагогическую карьеру, Новицкий сделал ошибку. По натуре и по влечению сердца, он был педагог и педагог очень высокого класса. Педагог гораздо больше, чем военный, и педагог даже с оттенком кабинетного человека. Он мог бы составить блестящий курс любой военной науки и не менее блестяще его прочесть. Мог бы составить новый «полевой», или еще лучше «устав внутренней службы». В этом уставе, в сотнях параграфов и подразделений, были бы предусмотрены все возможные и невозможные случаи. Стоил бы ему он огромного труда и наверное из всей Российской армии знал бы его основательно только он один.

Настоящее его место было бы в Военной Академии, или еще лучше место начальника военного училища, т. к. в дополнение к блестящему дару слова, необычайной добросовестности и исключительной трудоспособности, он был вовсе не сухарь, а человек добрый и отзывчивый. Молодежь его бы обожала. А потом всю жизнь, до самой смерти, со слезами на глазах, вспоминала бы, какой у них был удивительный начальник и каким хорошим вещам он их в молодости учил.

Собственная учеба Новицким была пройдена с предельным блеском. Корпус и училище он кончил «с занесением на мраморную доску», а Военную академию с медалью.

В качестве маленькой иллюстрации способностей Новицкого, приведу записанный рассказ А. В. Попова, в то время командира нашей государевой роты.

> «В августе 1912 года, в намять участия нашего полка в Бородинском сражении, моя рота была командирована в село Бородино, для участия в юбилейных торжествах и царском параде. Генерал Новицкий, приехавший в Бородино за два дня до парада, приказал мне к трем часам дня привести роту на поле Бородинского сражения, на батарею Раевского, и приехал туда сам. Изложив чинам кратко причины войны с французами, он подробно описал самый ход сражения, причем описывая атаки французов на батарею Раевского, где мы стояли, и

наши контратаки, говорил так образно и увлекательно, что привел солдат, слушавших его с напряженным вниманием, в полное восхищение. Воодушевление их было так велико, что когда генерал кончил и уехал, они, окружив меня, с волнением говорили мне о своем восторге, вызванном захватывающим рассказом командира полка».

Если бы Новицкого слушали юнкера военного училища, то ничего бы удивительного тут не было. Но аудитория его на батарее Раевского была невысокого развития: солдаты дореволюционного времени, из которых процентов 60 были «малограмотные». Чтобы их увлечь и зажечь, простого уменья говорить было мало. Нужно было иметь что-то еще. И это «еще» у Новицкого было.

Встретили у нас нового командира не очень дружелюбно. Во-первых, он был не «наш», т. е. не Петербургский гвардеец. А главное, он был «момент», иначе говоря, офицер Генерального штаба, как их называли еще со времен Скобелева. И очень типичный момент, по крайней мере по внешности.

Через некоторое время, однако, офицеры к нему присмотрелись и в отношениях к нему поделились на три толка. Несколько человек записались в его ярые и безоговорочные поклонники. Середина, а их было большинство, отдавала должное его рвению, усердию и таланту, но считала его все-таки слишком теоретиком. Самая малая часть называла его выскочкой и очковтирателем. Там его вышучивали, и оттуда появлялись по его адресу злые и меткие стихотворения.

Очень многих привлекло на его сторону то, что он сразу же дал понять, что внутренняя полковая жизнь, т. е. жизнь Собранья, его не касается. Его дело служба и строевое обучение. Собранская же жизнь это наша частная республика.

А было в его время в этой жизни немало такого, от чего его порядком коробило. Дороговизна жизни поднялась. Обязательные вычеты увеличились в полтора раза. Обязательные четверговые обеды в лагерях с музыкой, с гостями, часто с великими князьями и всегда с крупной выпивкой шли на полный ход. Принимали начальство, принимали другие полки, принимали депутации иностранных военных, которые приезжали в Петербург. И каждый раз стол был уставлен бутылками французского шампанского. А стоило оно пять — семь рублей бутылка. А подпоручичье жалованье было 86 рублей в месяц.

Новицкий сидел на председательском месте под Петром, пил Нарзан, и с видом доброго дяди, снисходительно добродушно

смотрел, как веселится молодежь. Как педагог он страдал, но чувств своих не показывал. Он знал, что с этим все равно ничего не поделаешь.

Зато на строй и на казарменные порядки он налег добросовестно, как и все, что он когда-либо делал. В строевом отношении Новицкий принял полк в блестящем состоянии. Роты были все как на подбор. Но имелись в полку и нестроевые. Нестроевая рота, обозники, хлебопеки, писаря, музыканты, певчие… В качестве «нестроевых», на строевую их выправку особого внимания никогда не обращалось. Всех их Новицкий взял «на цугундер» и весьма скоро все эти люди, коих отличие были фуражки с козырьком, стали козырять и печатать с носка не хуже, чем их строевые коллеги. Всюду, всегда и везде военные писаря были известны своими статскими манерами. Помощник дежурного по полку, в обыкновенное время лицо не обремененное работой, получил приказание два раза в неделю, в послеобеденное время заниматься с ними гимнастикой, строем и отданием чести.

Существовали в полку такие места, куда командир обыкновенною калибра заглядывал раз или два в жизни. Солдатская лавка, хлебопекарня, баня, оружейная мастерская и прочее тому подобное. Во все такие места Новицкий аккуратно являлся и не реже чем раз в месяц. Причем визиты были не поверхностные, а очень основательные. Он подробно знакомился с тем, как функционируют учреждения. А затем, отнюдь не арбитрарно, а внимательно выслушав все мнения и доводы, предлагал реформы. Всегда у него в кармане была толстенькая кожаная книжечка, где он делал заметки «для памяти».

— Николай Николаевич, — все имена и отчества старших и средних офицеров были им твердо выучены в первый же месяц, — я Вас попрошу подойти к этому вопросу вплотную…

А если через месяц он замечал, что реформа не проведена, он, бывало, посмотрит серьезно через очки и спросит:

— Николай Николаевич, ведь мы же с Вами в прошлый раз решили, что так будет лучше… Почему Вы не распорядились?

И Николай Николаевич, если у него нет серьезного оправдания, при таком вопросе чувствует себя неуютно.

Как настоящий педагог, Новицкий ни на солдат, ни на офицеров никогда голоса не возвышал. Последняя степень командирского неудовольствия была очень серьезный, даже мрачный тон и чуть-чуть насупленные брови. Это был уже разнос.

От всякого неряшества Новицкий страдал физически.

Идет он раз в лагере с одним из старших офицеров по одной из средних дорожек. Офицер курит. Сам Новицкий ни этой и

никакой другой человеческой слабости подвержен не был. Офицер в рассеянности бросает окурок на дорожку. Новицкий останавливается и с полуулыбкой говорит:

— Извините, Димитрий Александрович, не могу видеть беспорядка…

После чего нагибается, подбирает окурок и кладет его себе в карман. После такого случая, который в тот же день получил самую широкую огласку, офицеры на дорожки в лагерях окурков больше не бросали.

Новицкий был педагог настолько ярко выраженный, что наша молодежь, и так, не слишком серьезная, где могла, особенно охотно вела себя с ним по школьнически. «Словчиться» так, чтобы Новицкий не «залопал», у некоторых был спорт и увлекательный.

В его командование сильно участились всякие лекции, обязательные офицерские сообщения, военная игра, одним словом времяпрепровождение такого порядка, когда присутствие «всех свободных от нарядов г. г. офицеров» является обязательным. И вот «словчиться» и «прорезать» такие занятия было всегда особенно соблазнительно.

Еще Л. Н. Толстой писал, что в каждой военной части непременно имеются свои собственные присяжные остряки и забавники. Был и у нас такой, Павел Молчанов, подпоручик богатырски сложенный и говоривший глубоким басом. Он играл под простачка, но как и все люди этой категории был далеко не дурак. Никаким специальным остроумием он не блистал, но стоило ему, бывало, особенно пошевелить усами, крякнуть или просто подмигнуть, и довольно… все окружающие приходили в веселое настроение.

Как-то раз зимой, после завтрака, вместо вечерних занятий в Собрании назначена «военная игра». Все комнаты заняты и сообщения между ними прерваны. На столах разложены двухверстные карты и карандаши, красные, синие и простые для донесений. Офицеры 3-го батальона сидят в «музыкантской» комнате и старший между ними невозмутимый А. С. Пронин. Новицкий ходит из одной комнаты в другую, присаживается к столам и дает советы. В эту минуту он только что пришел. Несколько голов наклонились над картами в раздумьи, куда поставить общий резерв. Между ними одна голова Новицкого. В комнате тихо. Тихо открывается дверь из столовой и в нее просовывается голова Павла Молчанова. Не видя сидящего Новицкого, он густым сценическим шопотом пускает:

«Не спи, казак, во тьме ночной
Новицкий ходит за рекой!»

Побуждения у Павла самые благородные. Кадетская этика. Предупредить товарищей, что начальство находится поблизости.

Осознав, что влопался, Молчанов во мгновение ока смывается. Новицкий подымает голову от карты и с обиженной улыбкой говорит:

— Неужели, господа, я такой страшный, что о моем приходе нужно специально предупреждать?

Всем стало неловко. Выходка была дурацкая. Но все ясно почувствовали, что если бы командир полка был меньше «воспитатель», этого бы не произошло.

Умный Пронин спас положение:

— Ваше Прев-во, нисколько Вы не страшный и мы очень ценим Ваши советы. А Молчанов всегда дурака валяет. Поступок мальчишеский. И не обращайте на него внимания.

— Да я и не собираюсь.

На этом инцидент был исчерпан.

Обыкновенно командиры полка канцелярской частью занимались мало. Строевую часть ежедневного приказа по полку, всю целиком составлял старший писарь строевого отделения Христофоров, великий знаток своего дела. Хозяйственную часть вел такой же высококвалифицированный работник, делопроизводитель хозяйственной части И. П. Широков. Что заготовлял Христофоров в десять минут пробегал полковой адъютант. Заготовленное Широковым не так скоро, но все же довольно быстро, просматривал капитан или полковник, заведующий хозяйственной частью. Все это, уже в готовом виде, подавалось командиру полка, который утром приходил в канцелярию на час, обыкновенно около 11 часов и все добросовестно подписывал.

Нежный друг письменного стола, Новицкий завел другие порядки. При нем почетная должность полкового адъютанта перестала быть приятной. Пришлось ему завести себе кожаный портфель и каждый вечер отправляться в командирский дом, по крайней мере часа на два. А там, за стаканом чая, под командирскую диктовку, составлять, включать, переставлять и переделывать различные пункты и параграфы. Новицкий всю жизнь жил на жалованье и был семейный человек. Никаких привязанностей и страстей, кроме службы, у него не было. Для него посидеть вечерок дома, за составлением полкового приказа было одно удовольствие. Полковой адъютант был человек молодой и любивший повеселиться. В конце концов он взвыл и порешил сдать должность и проситься в строй.

На лагерный сбор Новицкий составил обширный план занятий. Кроме стрельбы, которая была его любимым детищем и которая при нем дошла у нас до последних пределов разумного времяпрепровождения, на программу были поставлены двухсторонние маневры, начиная чуть ли не со взводов. Стояли на программе, между прочим, и ночные маневры, причем, как разновидность их, предполагалось обучить полк, ночным движениям по азимуту. Ко времени Новицкого все офицеры стали уже получать казенные шашки и отличные цейсовские бинокли 12-ти кратные. На крышке кожаного футляра этого бинокля, был укреплен темный, со светящимся циферблатом, компас, а в компасе, кроме магнитной, имелась еще азимутная стрелка. Весь секрет таких ночных движений «но азимуту»; для коих африканская пустыня «Эль Аламейн» была бы много пригоднее окрестностей Красного Села, заключался в том, чтобы наметить цель по карте заранее, а затем ночью, ориентировавшись по компасу, отложить азимутный угол, нацелить стрелку на искомый пункт, а засим, с соблюдением всей военной осторожности, начать двигаться. К этому маневру Новицкий стал готовить офицеров заблаговременно. Несколько дней подряд, после обеда, когда солдаты законно спят и г. г. офицерам после утренней гонки так хочется прилечь часика на полтора, Новицкий собирал всех в читальной и подробнейшим образом объяснял, что такое магнитная сила, что такое компас, что такое румб и азимут и как железо влияет на отклонения магнитной стрелки. Последнее явление при таких движениях имело капитальную важность, т. к. у ведущего офицера на поясе компас, на боку у него стальная шашка, а вблизи его двигаются, чины, у которых у каждого винтовка со стальным штыком.

Маневр предполагалось произвести следующим образом. Два взвода учебной команды с офицером должны были выйти к Лабораторной роще и, с наступлением темноты, широкой цепью занять ее опушку. При появлении противника, который по расчетам должен был появиться не раньше 3 часов утра, его надлежало обстрелять. Тем временем противник, т. е. полк, отводился верст на 15 в противоположную сторону. Пришедши на место, он два часа отдыхал, и ровно в 12 часов ночи начинал наступление на вышесказанную Лабораторную рощу.

Самое наступление предполагалось также не простое, а с фокусом. Впереди полка, версты на полторы, должны были идти три ведущих офицерских дозора, опять-таки так, чтобы друг друга не видеть. При ночном времени это было нетрудно. В дозорные были выбраны лихие младшие офицеры Николай Лемешовский, Алексей Якимович и камер-паж Сергей Дирин. Перед

выступлением их часы и компасы были особенно тщательно выверены. Кроме офицера в каждом дозоре имелось, по несколько расторопных чинов. Между собою, по фронту, и в глубину с главными силами, дозоры должны были держать связь «цепочками». Сам Новицкий должен был быть за «посредника» и вся игра должна была вестись на честность, никаких карт и никаких расспросов о дорогах. Что показали азимуты — туда и иди.

В назначенный час выступили. Шли долго и упорно. И, наконец, случилось то, что должно было случиться, на пересеченной местности, без карт, в темноте и без опросов жителей, которые все мирно спали. Все друг друга потеряли и все пришли туда, куда не ожидали. Когда поднялось солнышко, главные силы оказались в десяти верстах от Лабораторной рощи, но… с другой стороны. Один дозор набрел на полк, а два других маячили где-то посередине. В пять часов утра все части, каждая по отдельности, потянулись домой в Красносельский лагерь. Туда же побрела и Учебная команда, которая всю ночь безуспешно прождав противника, со светом благоразумно решила, что в лесу ей больше делать нечего.

Это был единственный опыт в этом духе. Больше его не повторяли. Да и через четыре года, на войне, никто больше по азимуту не холил. И при солнце, и при луне, и днем, и темной ночью мы там ходили исключительно но дорогам.

Кто-то из наших офицеров, уже после смерти в эмиграции Новицкого, написал о нем, что он будучи командиром «обращал большое внимание на стрельбу в условиях современного боя». Это и верно и не верно. На стрельбу он обращал не только большое, но исключительное внимание, но «с современным боем» эта стрельба, конечно, ничего общего не имела. Уже не только вторая, но и первая германская война наглядно показала, что винтовка есть оружие близкого боя и что, за исключением «снайперов», тонкое искусство стрельбы с успехом заменяется автоматичностью: пулеметы и автоматические ружья. Вместо качества на первое место выдвигается количество. Тонкая стрельба требует полного душевного спокойствия, т. е. условий не боевых, а полигонных. Из десяти человек один, когда он видит и чувствует, что в него стреляют, сможет совершенно невозмутимо подводить «через прорез прицела на вершину мушки», не дергать, а «обжимать» и при спуске курка задерживать дыхание… Но как спорт и как школа, стрелковая вакханалия, которой мы предавались при Новицком, свою долю пользы, разумеется, приносила.

До Новицкого мы знали мишени в рост, поясные и головные.

При нем появились всякие усовершенствования: цепи, резервы, батареи, мишени появляющиеся, падающие, движущиеся…

В 1912 году началась выработка нового наставления для обучения стрельбе, в связи с введением новой остроконечной пули, сильно увеличивавшей настильность. Длина прямого выстрела, бывшая раньше 100 шагов, поднялась до шестисот. В связи с этим была переделана, прицельная колодка. За образец был взят Венгерский стрелковый устав который между прочим вводил такие новшества, как стрельба по площадям и по закрытой цели. С такими заданиями наша пехота понемногу превращалась в артиллерию. Испытывать этот новый устав из всей Российской армии было назначено шесть полков, из коих от гвардии одни мы. При такой стрельбе главное значение получало руководство офицеров. Изменения расстояния в глубину достигались переменою прицела. По фронту — указанием условных точек прицела. Например, первый взвод целит на три пальца вправо от самого правого дерева. Второй в середину группы деревьев, третий — в правый верхний угол мишени, изображающей избу.

При таких сложных заданиях одной командой обойтись было нельзя. Требовалось немало объяснений и офицерских и унтер-офицерских. А главное каждый воин должен был понимать свой маневр. Большую роль играло также определение расстояний. Это тоже было офицерское дело. Черной коробочкой старого дальномерного «сюше» уже почти не пользовались. На большую стрельбу носили с собой артиллерийский дальномер, на треноге.

Между прочим, этот треножный дальномер 10 октября 14-го года стоил нам жизни одного из лучших наших офицеров, Степана Гончарова. Вот как описывает его смерть один из участников этого боя:

> «Бедный Степан погиб жертвой своей привязанности к дальномеру, без которого в условиях этого боя можно было свободно обойтись. Но ревностный ученик Новицкого, Степан всюду таскал с собою громадный, похожий на трубу, старый дальномер на треноге. Венгры, очевидно приняв эту громоздкую машину за какое-нибудь новое орудие, сосредоточили на нем свои пулеметы. Одной из первых очередей был убит Гончаров, разрывной пулей в голову, и переранены все его дальномерщики».

Инспекторский смотр стрельбы, на котором должно было состояться испытание нового устава, был назначен на середину июля. Но уже с самого выхода в лагерь, т. е. с 1-го мая, стали к

нему готовиться не покладая рук. Обыкновенный весенний курс стрельбы на нашем полковом стрельбище был пройден в увеличенном размере. В противность прошлым годам, где патронам велся некоторый учет, в этом году расходовали их не считая. Наводка на станках, поверка в зеркала, спуск курка, не дергай, а обжимай, стрельба дробинками, обыкновенно зимнее занятие, все шло на полный ход. Все винтовки были пристреляны. Если кто-нибудь из чинов, до той поры хорошо стрелявший, начинал вдруг пуделять, винтовка его поступала к испытанному стрелку, который определял, в чем дело. Если оказывалась сбитой мушка или обнаруживалась другая неисправность, винтовка отправлялась в оружейную мастерскую на излечение. По выздоровлении, она снова пробовалась начальством и по одобрении возвращалась к стрелку. Чистка и смазка винтовок производилась наидобросовестнейшим образом. Не протереть винтовку после стрельбы было бы уголовным преступлением.

Новицкий увеличил число призов и ввел состязания между ротами. В некоторых ротах состязались между собою взводы. Играли на мясные обеденные порции. Проигравший взвод отдавал их выигравшему. И непонятно, как педагог Новицкий мог это допустить.

Наконец настал день великого испытания. Стрельба назначена была уже не на нашем бригадном, а на большом «Гореловском» стрельбище, находившемся вблизи полустанка Горелово, по линии Лигово — Красное Село. Говорили, что последние два дня перед испытанием, Новицкий, заведующий оружием и несколько чинов с топорами, лопатами и косами, сплошь провели на стрельбище. Нужно было расставить мишени, проверить видимость, посмотреть, как все действует и выкосить мешавшую видимости траву. Рассказывали потом, что так как косьбы было не мало, то этим делом нанялись все, начиная с генерала, который, скинув китель, начал вдруг неожиданно для всех откладывать такие ряды, что настоящему косарю было впору.

Надо отдать справедливость Новицкому, что стрельбой он сумел увлечь поголовно всех, и офицеров и чинов. Каждый смотрел на предстоящее испытание, как на дело самолюбия. Это было состязание, которое для чести полка надо было выиграть во что бы то ни стало и выиграть с треском. Больше всего боялись, как бы не подвела погода. Дождь или ветер могли бы все испортить. По счастью погода выдалась на славу. День был ясный и не жаркий. Стрельбу начали в 6 часов утра, по холодку, а к 11 часам стали известны результаты. Результаты оказались головокружительные. Ни одна не показала ниже «сверх-отличного».

Шестой роте Свешникова досталось довольно трудное упражнение: на 300 шагов, лежа, по головным нового образца, т. е. по мишеням обрезанным по форме головы. По условиям 11 процентов попадания считалось «отлично». Рота выколотила 65.

Высокое начальство ждало результатов стрельбы с таким нетерпением, что тут же сообщило их вел. кн. Николаю Николаевичу. Тот немедленно же позвонил по телефону Новицкому, поздравил его и сказал, что сейчас же сам едет в полк поздравить чинов и офицеров, после чего останется обедать. Действительно, минут через 20 на шоссе показались три всадника. Первый громадного роста на громадном сером коне. За ним адъютант и вестовой. Визит самый неофициальный. Полк был выстроен на передней линейке. Все без оружия. Николай Николаевич поздоровался и крикнул: «Ко мне!» Все и солдаты и офицеры к нему бросились и окружили его плотным кольцом. Говорил он мало, по громко и всех расхвалил. Мог он и разругать и часто ни за что, но когда хвалил, то хвалил щедро и слов не жалел. И чины, и офицеры пришли в восторг и ура было сумасшедшее. Николай Николаевич благоразумно с лошади не слезал. Но публика вошла в такой азарт, что была сделана попытка нести его с конем, в виде конной статуи.

Наконец, чины неохотно разошлись по палаткам и Н. Н., окруженный офицерами, проехал в Собрание. К этому времени туда же приехал командир корпуса Данилов, начальник дивизии Олохов и командир бригады Зайончковский. За краткостью предупреждения, в смысле еды ничего особенного для высоких гостей приготовить не успели. Дали им обыкновенный четырехблюдный будничный обед. Но уже за супом вино стало литься рекой. Сели во втором часу дня, а встали в шесть. Совершенно трезв был только один Новицкий. Корпусный Данилов, взявши за пуговицы героев дня Лоде и Свешникова, заплетающимся языком долго объяснялся им в любви. Дежурного по полку Льва Тимрота пришлось сменить. Вещь в полковых анналах без прецедентов. И середине обеда Новицкий предусмотрительно распорядился, чтобы генеральских верховых лошадей отослали домой, а прислали бы коляски. К концу обеда Н. Н. снова пожелал видеть чинов. Все как были, большинство в опорках, обычный лагерный костюм вне строя, повалили в собранский сад и запрудили его весь. Поломали много кустов и помяли все цветы. И. Н. вышел на терассу и опять благодарил и хвалил. Когда его, наконец, посадили в коляску и повезли, орущая толпа бросилась, за ним и проводила его чуть не до половины Красносельского шоссе.

В следующие лагери 13 года, последний год правления

Новицкого, мы опять заработали себе стрелковый триумф. На состязании всей гвардии полк выбил императорский приз. Приз был большая серебряная братина с уральскими камнями, довольно красивая. При вручении его, произошел очень характерный для наших старых порядков казус. Вот где таились Мукдены, Цусимы и всякие наши военные несчастья.

Специально в полк вручать приз царь не приезжал, а предполагалось, что он передаст его полку на Военном поле, проездом туда, куда он в это время собирался ехать. К назначенному часу полк, пришел на Военное поле. Оправились, построились, почистились и ждут. В положенное время по дороге из Красного Села показалась вереница, автомобилей. Вышел царь. Новицкий командует: «Полк, слушай, на кра-ул!» Музыка гремит «Боже, царя храни». Царь в нашей форме, здоровается и обходит ряды. Сейчас он должен выйти на середину, поблагодарить за службу, поздравить и передать приз. Старый знаменщик Р. А. Чтецов уже приготовится его бережно, обеими руками принять. Как вдруг в царской свите замешательство. Что случилось? Оказалось, что церемонию передачи придется немножко отложить. Дело за сущими пустяками. Приза нет. Забыли захватить. Адъютант помчался за призом в Красное, а царю тем временем предложили осмотреть пулеметную команду, на что он послушно и согласился. Минут через сорок привезли приз и на этот раз церемония прошла благополучно.

В этом же 13-м году Новицкого от нас взяли и дали ему Офицерскую Стрелковую Школу. Это была маленькая военная академия для пехотных капитанов, аттестованных для дальнейшего продвижения. Назначение на этот пост Новицкого было самое удачное. Там он был, как говорят англичане, «настоящий человек, на настоящем месте».

В 15-м году он отправился на войну начальником 18-ой пехотной дивизии. А в 17-ом он получил армейский корпус. На войне он себя держал достойно и приносил пользу. Но все-таки главным призванием его было учение и воспитание. В этой области он был непревзойденный артист. И всех он учил и воспитывал одинаково хорошо. И юношей культурных — юнкеров, и юношей мало культурных — чинов российского воинства, и уже давно не юношей, капитанов своей Ораниенбаумской академии.

В белой армии Новицкий не служил. Гражданская война была совершенно не в его характере.

Интересно то, что стрелковая слава Новицкого распространилась так далеко, что когда он очутился в эмиграции в Югославии, тамошний военный министр предложил ему

организовать для сербских офицеров стрелковую школу, по образцу старой нашей. И с присущей ему добросовестностью Новицкий этим занялся.

Умер он в 31 году в сербском госпитале.

Внутренняя жизнь, собрание, порядки

Во внутренней полковой жизни, т. е. во всем том, что не касалось строевой службы, общество офицеров управлялось самостоятельно. По традиции, также как водилось на военных кораблях, командир во внутреннюю офицерскую жизнь не вмешивался, особенно если он был не из «своих». На кораблях председателем «кают-компании» был «старший офицер», хозяин корабля. У нас эту должность занимал «старший полковник», председатель «общего собрания» и «суда чести». Это был главный полковой авторитет по всем делам, не касающимся службы. Если офицер проштрафился в чем-нибудь легком, старший полковник мог сделать ему легкое «наддрание», отозвав его в сторону тут же в Собрании. Если дело было более серьезное, он мог потребовать офицера к себе на квартиру. В зависимости от важности разговора и характера полученного приглашения, к старшему полковнику нужно было являться или в сюртуке при шашке с фуражкой и надетой левой перчаткой, или в «обыкновенной форме». Тут, неуютно себя чувствующего офицера, принимали в кабинете, или стоя, или сажали. И всегда как-то выходило, что во время этого разговора, за закрытой дверью в соседней гостинной, маленькие дочки полковника играли упражнения на рояли.

Старший полковник не выбирался. Это был старший из штаб-офицеров в полку, часто уже не командовавший батальоном. Так как, производство в полковники велось по дивизии, то бывали годы, когда их был сверх-комплект. Был один такой период, когда у нас в полку было восемь полковников. При таких порядках в старших полковниках можно было сидеть три-четыре года, — как сидели у нас Баранов и Левстрем, показавшие на этой должности высокий класс, — или несколько месяцев. Когда старший полковник уходил в отставку, что случалось редко, или получал армейский полк, если его любили, ему устраивали грандиозные проводы.

Теперь, по какого рода делам можно было иметь удовольствие беседы со старшим полковником? По самым разнообразным. Замечено, например, что офицер неряшливо одевается. Одеваться с иголочки, отнюдь не требовалось, но ниже известной нормы тоже не рекомендовалось. В публичном месте, или на улице, офицер был замечен в обществе явно неподходящей особы. Подчеркиваю, явно. Некоторые офицеры были членами первых четырех петербургских клубов. Яхт-клуба, Нового клуба,

Английского и Сельскохозяйственного. Если бы стало известно, что офицер ведет там крупную игру, старший полковник мог бы призвать его за это к порядку. Времена «Пиковой Дамы» и нашего однополчанина Долохова давно прошли и быльем поросли. В те времена даже гвардейские офицеры не стеснялись играть «наверняка». «Пехотный капитан удивительно штоссы срезывает», жаловался И. А. Хлестаков. Между прочим, в те времена и тем же самым занимались и английские гвардейцы. См. роман Текерея «Ярмарка тщеславия». В наше время азартные игры офицерам были строжайше запрещены, а о том, чтобы применять в этом деле искусство, никто никогда об этом и не слыхивал.

За «неприличные гвардии офицеру поступки», таковой мог быть переведен в армию. В прежнее время это делалось в наказание и по приказу начальства. В наше время старший полковник, посоветовавшись с другими полковниками, и доложив об этом командиру полка, мог предложить офицеру подать рапорт о переводе в любой армейский полк, по желанию, и с самой приятной стоянкой. Устраивалось это через Главный штаб, где у всех полков были свои люди.

Помню два таких забавных случая перевода по домашним и по климатическим обстоятельствам. Один имел место в Преображенском полку, другой у нас. В 1905 году из Павловского училища в Преображенский полк вышли трое: Елагин, Квашнин-Самарин и Граве. Николая Граве я знал с десятилетнего возраста. Был он довольно способный и шустрый мальчик, но совершенно без царя в голове, что называется шалый, и если находил на него стих, то способен был выкидывать штуки самые невероятные. И даже не в пьяном виде, он почти ничего не пил, а так, здорово живешь… В то время служил в Преображенском полку капитан граф Литке, один из «столпов» своего полка, довольно холодный и высокомерный мужчина, безукоризненных манер, молодежь державший на расстоянии. Между прочим, во главе своего батальона он был доблестно убит в самом начале войны. Никому из молодых офицеров, а в особенности из свеже-выпущенных, никому из находившихся в здравом уме и в полной памяти, фамильярничать с графом Литке и в голову бы не могло прийти. Но Николай Граве был молодец на свой образец. Как-то раз Литке без сюртука играл с кем-то на бильярде. Граве вертелся тут же. Раззадорила ли его холодная важность и размеренность движений Литке, или не мог он хладнокровно вынести вида тонких ног графа, расставленных иксом — в этот момент, он как раз целил трудного шара в лузу — но Граве во мгновение ока весь собрался, он был отличный гимнаст, присел на корточки и незаметно просунул голову между Литкиных ног. В следующее

мгновение граф Литке сидел уже у Граве на плечах, отчаянно чертыхаясь и толстым концом кия колотя его по голове. Но шутнику и этого показалось мало. Очевидно воображая себя в корпусе, где ему случалось откалывать и не такие штуки, он с криком «ура» и с графом Литке на плечах, прогалопировал кругом всего бильярда и только тогда спустил его на землю. После этого случая Граве в Преображенском полку из обращения исчез. На войну его, впрочем, опять приняли, но и там, сколько помнится, он оказался не ко двору.

Другой случай был с нашим офицером Евгением Фогтом, который был на выпуск старше меня. Фогт свое общее образование получил в Училище Правоведения, куда поступил 10-ти лет. Учился он плохо, постоянно сидел наказанным, но был любим товарищами, с которыми при случае жестоко дрался. В полку Фогта тоже любили за его евангельскую доброту, прямоту и рыцарский характер. Был он очень компанейский молодой человек и сидеть в Собрании, за вином, было для него первое удовольствие. Случалось ему и перекладывать. Худой, длинный, сутулый, с носом в виде клюва, с близорукими прищуренными глазами, всегда в сильном пенсне, строевыми качествами он не блистал, по среди солдат был популярен за простоту и незлобивость. По причине своей непрезентабельности, дамского общества он избегал, а жил с двумя пожилыми сестрами, которые в нем души не чаяли. В спокойном состоянии Фогт бывало мухи не обидит, но если заденут его за живое, он мог полезть на стену.

Как-то раз после вечерних строевых занятий, на которых он уныло слонялся по казарме, поминутно смотря на часы, решил он поехать на картинную выставку. Он любил и хорошо понимал искусство. На выставке он неожиданно столкнулся со старым правоведским товарищем, которого совершенно потерял из виду. В младших классах училища в белом доме на Захарьевской улице, он с ним дрался чаще, чем с другими. Тем не менее обрадовались они друг другу искренно. Осмотрели выставку, обменялись впечатлениями и сразу же сцепились. Фогт был страстный поклонник французских импрессионистов. Товарищ признавал живопись исключительно реалистическую. Все же при выходе Фогт пригласил, товарища в Собранье обедать. Тот с радостью согласился. Для всякого «вольного», иначе говоря, статского, пообедать в Собрании Семеновского полка была большая честь. В Собраньи у высокого стола приятели основательно закусили и еще более основательно выпили водки и сели обедать. Фогт спросил бутылку красного, потом велел подать шампанского, сначала одну, а потом и другую бутылку. Перед кофеем перешли на коньяк. Как всегда в обыкновенные дни в Собраньи было

человек пять офицеров, которым гость, как полагалось, был представлен. Наконец офицеры разошлись и приятели остались одни. Слегка уже ватными языками, они вели мирную беседу, которая вспыхивала бенгальским огнем лишь тогда, когда разговор заходил о живописи. Фогт с пеною у рта утверждал, что Ренуар и Сезан великие художники, насчет Матисса еще можно иметь сомнения, но первые два суть непревзойденные мастера… Собеседник, ядовито усмехаясь, говорил, что за одну картину Репина он отдаст всю эту жалкую французскую мазню.

Наконец приятели встали из-за стола и, стараясь идти твердо, направились к выходу. По дороге решили приятный вечер кончить в театре. Была зима и на Фогте была фуражка и николаевская шинель, а на приятеле меховое пальто и котелок. У подъезда Собрания сели на хорошего извозчика и покатили по Гороховой. На беду разговор опять зашел о живописи. И когда подъезжали к Семеновскому мосту, страсти уже кипели ключом. Когда же доехали до Синего, то надо думать, что о французской живописи приятель выразил мнение столь чудовищное, что вынести его Фогт оказался не в силах. Он остановил извозчика, встал во весь рост и сделал попытку сойти. Потом что-то вспомнил, — очевидно старые правоведение времена, — повернулся к собеседнику, поднял кулак, и нахлобучил ему котелок на уши. Всю эту сцену видел постовой городовой, который записал номер извозчика и в донесении начальству не забыл упомянул, что офицер был высокий, бледный, в пенсне и в фуражке Семеновского полка. Полицмейстер «доверительно» сообщил о происшествии командиру полка. Через два дня Фогт был вызван к старшему полковнику и ему было предложено уйти. Бедняга плакал, говорил что его жизнь кончена, что кроме полка у него в жизни ничего не осталось, что было правдой, но ничего уже поделать было нельзя. Он перевелся в Севастополь и еще через год снял форму и ушел в запас.

Умереть бедняге Фогту все же посчастливилось в рядах родного полка. В день объявления войны он в пиджаке явился в полковую канцелярию и Христом Богом стал умолять, чтобы его взяли в поход. Его взяли и поставили на взвод. Плохо слыша и еще хуже видя — у него открылись зачатки куриной слепоты. — постоянно теряя свои окуляры, которые солдаты ему искали, он два месяца прошлепал на взводе, не принеся Российской армии никакой пользы и никакого вреда врагу. По своим физическим качествам воин он был самый никудышный. Наконец, в полковом штабе решили выдумать Фот должность и назначили его «начальником команды по сбору винтовок». В это время в винтовках начинал уже чувствоваться острый недохват и

приказано было во всех полках образовать такие команды, чтобы подбирать ружья у убитых, отбирать их от раненых и вообще вести им самый строгий учет. Когда адъютант Соллогуб сказал Фогту о его назначении на нестроевую должность, тот пришел в раж.

— Что, я, винтовки подбирать?! Вы меня еще что-нибудь подбирать заставите! К чорту! Не желаю! Я не для того в полк вернулся, чтобы вы меня старшим мусорщиком назначили!

— Не говори вздора, Фогт… винтовки — не мусор. Я тебе, как адъютант, передаю официально приказание командира полка. Это боевой приказ, а за неисполнение боевого приказа ты сам знаешь, что полагается!

— А я тебе говорю, к чорту! Расстрелять вы меня можете, а унижать себя я никому не позволю! Назначения этого я не принимаю, слышишь, не принимаю! И можешь докладывать, кому угодно, хоть верховному главнокомандующему. Не желаю и не принимаю! К чорту!

Этот разговор происходил под вечер 10-го октября, когда наши роты уже вели памятный бой под Ивангородом. Вне себя от обиды и оскорбления, глотая слезы бешенства, Фогт в полутьме побежал на выстрелы по направлению к цепям. К местности он не применялся, убьют — тем лучше, а спотыкаясь и падая бежал по открытому. Как только дойдет до цепей, он ляжет между солдатами и начнет стрелять. Если ему не позволяют драться офицером, то сражаться рядовым в цепи ему запретить никто не имеет права. Но до цепей бедняга Фогт так и не дошел. Не дойдя до них нескольких десятков шагов, он был убит разрывной пулей в грудь.

Такие стремительные уходы, как Граве или Фогта, были чистенькие уходы. К сожалению, чаще всего уходы были менее невинные и происходили главным образом из-за денег. Случались они обыкновенно в первые два, три года службы. И практика показала, что если юноша этот срок выдерживал, то можно было надеяться, что он будет служить прочно. Запутывалась молодежь чрезвычайно легко и по причинам самым понятным. В простом корпусе или в Пажеском, что в этом случае было совершенно все равно, молодой человек учится, получает от отца карманные деньги, но никакой самостоятельной жизни не ведет. Он ученик, каждый шаг его регламентирован и вся его жизнь проходит под надзором. И вот, в один прекрасный день, без всякой подготовки и без всякого переходного периода, этот юноша надевает форму офицера и со среды на четверг становится взрослым, самостоятельным человеком. Он занимает не простое, а привилегированное положение. В публичных местах ему

оказывают почет и уважение. В ресторанах его встречают с поклонами. В магазинах ему верят в кредит. Хорошо, если поблизости есть отец или старший брат, который сможет его во время остановить. А если этот юноша служить в столицу приехал один… Есть, конечно, полковые товарищи, но чтобы сойтись с молодым человеком и узнать его, а тем более влиять на него, нужно время. Да и сама молодежь обыкновенно очень ревниво оберегает свои права взрослого человека и в свою интимную жизнь чужих пускать не любит. За первые три года моей службы, запутавшись материально, из нашего полка вылетело по крайней мере пять человек. Один был пойман в том, что брал дорогое вино из Собранья на запись, а потом со скидкой продавал его в лавку. Другой похожую комбинацию проделывал с роялями. Брал их на прокат, а затем закладывал. Третий безнадежно опутал себя ростовщическими векселями. Как скоро такие деяния выплывали наружу, авторы их приглашались к старшему полковнику, а затем бесследно исчезали.

Как и у всякого человеческого существа, расходы офицера состояли из квартиры, одежды, еды и удовольствий. В столичном городе Санкт-Петербурге квартиры стоили сравнительно очень дорого. Помню, что за нашу маленькую квартиру, всего из четырех комнат и кухни, правда, с красивым подъездом и со швейцаром, и с окнами, выходившими на Екатерининский канал, мы с женой платили 130 рублей в месяц. За те же деньги в Париже можно было иметь «апартаман» вдвое больше, а в Риме целое «палаццо». Лет за десять до моего выхода в Полк, конечно, не казною, а при помощи полученного большого долгосрочного кредита, для наших офицеров был выстроен отличный каменный дом, который почему-то назывался «офицерский флигель». Русское значение не русского слова, «флигель», это отдельная небольшая постройка, состоящая при большом доме. «Флигеля и службы». Своему скромному имени наш дом нисколько не соответствовал, т. к. имел три высоких этажа, пять подъездов, занимал целый квартал и выходил на четыре улицы. Передний фасад — немного отступя от улицы — перед ним было разбито что-то вроде маленького сквера, — выходил на Загородный проспект и смотрел через него прямо в окна Обуховской больницы. Левая сторона выходила на Рузовскую улицу, а правая на канал, соединяющий Фонтанку с Обводным каналом. С этой стороны можно было любоваться хорошеньким и тогда только что недавно выстроенным Царскосельским вокзалом и немного дальше, вправо, — царским павильоном. Государя Николая II, в его редкие выезды из Царского Села, обыкновенно возили по этой дороге, из павильона по каналу или дальше по Фонтанке. С точки

зрения царской охраны, путь этот имел те удобства, что по этой дороге публика обыкновенно не ходила и не ездила. Задний фасад нашего дома выходил на так называемый «Банный переулок». За ним помещалась наша полковая баня и казармы нашего 4-го батальона и нашей 12-ой роты. На большом дворе нашего дома, сзади, имелось помещение для солдат-конюхов, а дальше конюшни и экипажные сараи. Все офицеры, кому полагалось, держали верховых лошадей, а некоторые и упряжных. Автомобиль имелся один на весь полк, одна из первых моделей шарабана с высокой ручкой для управления, ходившей направо и налево. Такие шарабаны в автомобильных музеях по возрасту занимают теперь второе место. Перед самой войной в сараях появилось еще два автомобиля, но уже почти современных, Балтийского завода.

С виду наш офицерский дом был очень красив, а внутри чрезвычайно удобен. На всех пяти подъездах, — два по фасаду, один по Рузовской и два по каналу, — имелись телефоны и швейцары, наши же солдаты, облеченные в длинные швейцарские ливреи и фуражки с позументом. Нельзя сказать, чтобы они были переобременены работой. Единственная их обязанность была убирать подъезд и лестницу и отвечать на телефонные звонки. А так как все жильцы им месячно всегда что-то презентовали, обыкновенно не меньше рубля, и все, кто имели привычку возвращаться поздно, имели свои ключи, то жизнь эти молодые люди вели самую приятную и спокойную.

В офицерском доме квартиры имелись трех классов. Самые маленькие — для младших офицеров. Состояли они из большой передней, двух светлых комнат, — окна всюду были большие и потолки высокие, — уборной, ванны с колонкой, и большой кухни. Комнаты были или одинаковые, не сообщающиеся, или сообщающиеся, одна маленькая, спальня и большой кабинет. Все было расчитано и продумано основательно. Такая благодать, трудно поверить, стоила 25 рублей в месяц. В этих великолепных квартирах молодежь жила или поодиночке, с соответствующей обстановкой, или, кто имел более спартанские вкусы — по двое. Забыл сказать, что в те же 25 рублей входило электрическое освещение и дровяное отопление ад-либитум..

Еще выше классом были «квартиры ротного командира». Они предназначались для женатых. Эти, кроме двух уборных, ванны, кухни и маленькой комнаты для прислуги, состояли из четырех больших комнат. Квартиры эти, также с освещением и отоплением стоили 45 рублей в месяц. Самые великолепные были квартиры «штаб-офицерские». Их было всего три и в них, кроме всех необходимых дополнений, имелось шесть больших и светлых

комнат. За пользование этими дворцами взималось 65 рублей в месяц. У командира полка через улицу был свой дом, деревянный, одноэтажный, старый, построенный еще при Александре I, по своему очень красивый. Мне случалось бывать в гостях у Преображенских офицеров. Их офицерский дом на Кирочной был много хуже нашего. Те из наших молодых офицеров, которые не жили с родителями, обыкновенно селились в офицерском доме и чувствовали себя там очень удобно. Молодежь жила преимущественно на 1-м и на 5-м подъезде. Было там шумно и непринужденно. До глубокой ночи раздавалась музыка и на визиты дам там смотрели сквозь пальцы.

Подъезды 2-ой, 3-ий и 4-ый, главные, считались солидными подъездами. Там жили полковники и капитаны, люди семейные и положительные и атмосфера там была строгая. Нужно все же отметить, что в офицерском доме полковники и капитаны жили не все. Имелись люди настолько избалованные, что считали, что жить там тесно, неудобно, что все слишком друг у друга на виду и что поэтому приятнее жить на частной квартире в городе. Это были те, для которых лишние сто рублей в месяц были не деньги.

Из вышесказанного явствует, что квартирный вопрос был у нас разрешен как нельзя лучше. Главная часть офицеров жила в районе полка, в 5 минутах ходьбы от своих рот, была помещена не только хорошо, но почти роскошно и платила, за это сущие гроши.

Вопрос одежды был поставлен хуже. В старой царской армии обмундирование было дорогое и сложное, особенно в гвардии. О гвардейской кавалерии и говорить не приходится.

Когда я в 1905 году вышел в полк, в виде парадной одежды у нас была барашковая шапка с андреевской звездой и длинный мундир с косым бортом, кучерского покроя. Форма эта была введена при Александре III, который никаких лишних украшений и ярких форм не любил. Этот кучерской мундир с широкими, шароварами и высокими до колен сапогами гармошкой, при его огромном росте, рыжей бороде и грузной фигуре, был единственная военная форма, которая его не безобразила. В его глазах эта форма имела еще одно достоинство, это то, что ближе всех других подходила к русской национальной одежде. В 1908 году военный министр Сухомлинов, человек пустой и легкомысленный, убедил императора Николая II, которого убедить во всем, что не касалось ограничения самодержавия, было чрезвычайно легко, ввести в войска старые формы времен Александра II. Казалось бы в то время имелось в нашей армии немало других нужд, которые следовало спешно удовлетворить и много других вопросов, которые требовали скорого разрешения.

Можно было бы, например, заняться увеличением числа тяжелой артиллерии или пулеметов, но с этим решено было повременить. Было спешно приступлено к переодеванию всей армии и сколько на этот маскарад было зря выброшено казенных денег — страшно подумать. У солдат хоть нижняя часть туловища осталась неприкосновенной. Офицерам же всю парадную форму пришлось переменить с ног до головы. На головы вместо барашковых шапок надели кивера с белыми султанами, которых единственное оправдание было то, что они были исторические. «Кто кивер чистил весь избитый»… и «веют белые султаны как степной ковыль»… Но ведь историческими были в свое время и петровские треухи и павловская пудра и косы… Туловище одели в тесный, короткий двубортный мундир, с двумя рядами пуговиц. В парадных случаях на этот мундир нацеплялся красный лацкан. Старые мундиры всем пришлось выбросить, т. к. переделывать их на новые было невозможно. Пришлось выбросить и шаровары. При старой форме они носились очень широкие. При новой — это были почти рейтузы. Пришлось выбросить и сапоги. Сапоги шагреневые или лакированные, с твердыми голенищами, которые носились в коннице, были у нас не в чести. Когда в 90-х годах в. кн. Константин Константинович командовал Преображенским полком, он завел моду на длинные, мягкие лакированные сапоги, которые на ноге делали множество складок, на подобие неправильной гармошки. Когда эти сапоги натянешь на деревянную колодку, а иначе как на колодке их нельзя было держать, сапог длинною получался больше метра. Носили эти сапоги с довольно высокими каблуками. При введении новой формы эти сапоги также пришлось выбросить, т. к. к новому мундиру они не подходили. С новым мундиром стали носить обыкновенные полумягкие лакированные сапоги, с двумя или тремя складками.

После введения новой формы, комбинации офицерской одежды получились следующие. В зависимости от случая, офицер мог облечься в парадную форму, что обозначало: кивер с белым султаном, мундир с красным лацканом, эполеты, нагрудный знак (сначала он существовал только в Петровской бригаде, кажется в 1910 году его ввели во всей пехоте), ордена, у кого были, серебряный пояс, т. наз. «шарф», шаровары, высокие сапоги, белые замшевые перчатки и, конечно, шашка, которая носилась всегда. За парадной шла «караульная форма». Это обозначало: кивер, но уже не с султаном, а с «помпоном», мундир без лацкана, погоны, шаровары и высокие сапоги. Нагрудного знака, не полагалось, но зато носился револьвер, на ремне под шарфом и с серебряным шнуром вокруг шеи. Существовала еще

«обыкновенная форма». Она надевалась при явке начальству, преимущественно для разносов, в церковь, на панихиды, вынос плащаницы и т. п. Состояла она из того же мундира без лацкана, кивера с помпоном, при нагрудном знаке, шароварах и высоких сапогах. Была еще «бальная форма». Тот же мундир без лацкана, кивер с помпоном, длинные штаны и маленькие лакированные ботинки. Эту форму, довольно элегантную, можно было надевать и на парадные обеды.

Вместе с киверами и лацканами, в 1917 году отошел в историю русский офицерский сюртук, одежда очень несовременная и для ношения очень неудобная, но с которой связано много воспоминаний. На Бородинском поле на скамейке в расстегнутом сюртуке сидел Кутузов. На военном совете в Филях в сюртуке был начальник штаба Беннигсен. Не даром сидевшая в это время на печи девочка Малаша про себя называла его «длиннополым». В сюртуке с огромными по тогдашней моде эполетами, нарисован Тенгинского пехотного полка поручив Лермонтов. В «Герое нашего времени» штабс-капитан Максим Максимыч по Военно-Грузинской дороге идет за повозкой «в сюртуке без эполет». Была и такая форма и носилась очень часто, так как погон тогда не существовало. Во времена Николая I и раньше воротники на сюртуках носили очень высокие, но с прямыми острыми углами Застегнутый на все крючки, такой воротник сплошным хомутом охватывал шею и подпирал щеки. Зато сюртук разрешалось расстегивать, чем тогдашний офицеры и пользовались. Чтобы высокий воротник не слишком резал шею, в виде галстука, шею обматывали черной шелковой косынкой, а под сюртук надевали белый жилет. В наше время углы воротника закруглили, чем сделали сюртук более удобным для ношения, но зато исчезла милая шелковая косынка и заменилась простым шелковым язычком, который носился на воротнике на резинке вокруг шеи. На практике, так как воротники и у нас носились очень высокие, и под ними крахмального воротничка было не видно, этот галстук часто заменялся простым шелковым лоскуточком, который пришивался изнутри прямо к воротнику. Официально исчезли и расстегнутые сюртуки. Неофициально, в интимной компании, в память прошлого, мы сюртуки все же расстегивали, а под ними, как и в старину, носили высокие пикейные жилетки с золотыми пуговицами. Так как не только полы были на красной подкладке, но и борты гвардейского сюртука были подбиты красным сукном, расстегнутый сюртук с белой жилеткой и с черным маленьким галстуком, была красивая элегантная форма. С мундиром и сюртуком рубашки полагалось носить белые. Надеть под мундир или под сюртук цветную

рубашку было преступление. Во всех армиях существовали свои «военные щеголи», которые задавали тон и устанавливали неписанные законы военной одежды. Были они и у нас. И военные моды шли, конечно, из Петербурга. Первыми военными портными в Петербурге считались Норденштрем, у которого шил царь и Даронин. Сюртук у них стоил 100 рублей. Сюртук должен был быть отнюдь не длинный, чуть выше колеи, просторный и широкий, чуть в талию, но настолько свободный, что когда подымешь руки, он должен был свободно ездить вниз и вверх по туловищу. В сюртуке, также как и в мундире, должны были быть показаны грудь и плечи, по подгладывать для этого вату, отнюдь не разрешалось. Помню, как во время последней примерки, старик Даронин нарочно совал мой палец во все соответствующие места, дабы я мог самолично убедиться, что в сюртуке ничего не подложено. Помню также, что второй и третий сюртук я шил себе совершенно равнодушно, но когда облекался в первый, то испытывал такой же трепет, какой, говорят, испытывают молодые девицы первый раз в жизни надевающие бальное платье. Впоследствии сильную конкуренцию первым петербургским военным портным составило Гвардейское Экономическое Общество. Оно переманило к себе главного закройщика от Даронина и стало шить не хуже, а главное вдвое дешевле. Забыл еще сказать, что по военным канонам красная подкладка на мундире и на сюртуке должна была быть не шелковая, а шерстяная, кашемировая. Это было очень неудобно, так как благодаря этой подкладке при ходьбе, особенно в шашке и в пальто, полы сюртука неукоснительно сбивались наперед и их постоянно приходилось обдергивать. Но ничего нельзя было поделать. Таково было неписанное правило. И когда раз из Москвы к нам приехали молодые офицеры с шелковыми подкладками на сюртуках, им их велено было переменить. Во французской армии сюртуков не полагалось, но они были и у немцев и у англичан. Немецкой ноги в нашем Собрании на моей памяти не бывало, но раз приехала депутация 2-го Гвардейского Королевского Шотландского полка. Это был как раз полк в английской армии соответствовавший нашему. Офицеры были в длинных штанах и в сюртуках очень похожих на наши. Поверх сюртуков они носили серебряные пояса — шарфы, совершенно такие, какие носили в нашей армии во времена Александра II, т. е. со спускавшимися сбоку ниже колен двумя, концами, оканчивавшимися серебряными кистями.

Русский офицерский сюртук можно было носить с погонами и с эполетами. «Сюртук с эполетами» была тоже бальная или обеденная форма. Очень многие офицеры заводили себе так

называемые «Николаевские» шинели, из серого сукна с пелериной и с бобровым или под бобра воротником. Одежда эта была очень дорогая, не меньше 200 рублей, а с настоящим бобром и больше, — очень красивая и в зимние холода незаменимо удобная и приятная, особенно когда приходилось надевать эполеты. Завести себе «николаевскую шинель» была мечта каждого молодого офицера. Но составить себе, о ней правильное понятие для человека, который никогда ее не видал, очень трудно.

Существовала мода и на офицерское пальто. Пальто должно было быть не светлое, а темно-серое, не длинное и широкое, почти без талии.

При всех формах и при всех комбинациях форм, офицеры обязательно носили шашки с темными шагреневыми ножнами. Шашка носилась через плечо, на золотой портупее, продевавшейся под правый, погон. Ходить без шашки офицеры могли только вне службы, в лагерях. В лагерном расположении, даже и чужого полка, офицер мог появиться с тросточкой. Квартировавшие в Царском Селе гвардейские стрелки появлялись иногда с тросточками на музыке в Павловске. Когда в пехоте ввели кивера и красные лацканы, то в гвардии с шашками опоздали. Шашки оставили старые, что было некрасиво и неудобно. Их мы носили сначала поверх лацкана, а потом для них ввели особую поясную портупею. Наконец в армейской пехоте, сказавши «а», сказали и «б», т. е. введя Александровскую форму ввели и Александровское оружие, т. е. саблю со светлыми металлическими ножнами. Случилось это перед самой войной. Все же армейские офицеры, хоть и недолго, но успели пощеголять с саблей и поволочить ее по тротуарам. Нам же, гвардейцам, все не знали, что дать, и так долго думали, что дотянули до самой войны, а там было уже поздно об этом заботиться. Так как правило, что офицер не может появляться в публичных местах и на улице без оружия, оставалось в силе, а неудобство шашек, которые болтались между ногами и мешали ходить, становилось все более очевидным, особенно на войне, в 1915 году на вооружение офицеров ввели морской кортик, который носился на поясной портупее, надевавшейся под китель. Это было, конечно, никчемушнее, но для ношения довольно удобное оружие.

Введя в 1908 году александровскую форму, главное, цвета полков и золотое шитье на воротниках мундиров и на клапанах рукавов, оставили старое. У каждого гвардейского полка было свое шитье. У Преображенцев дубовые листья, у нас колосья, а у Измайловцев некое подобие женских кос, в память основательницы Анны Иоанновны. Шитье это, которое делалось в

ручную, заказывалось всегда в одной и той же золотошвейной мастерской Залемана и стоило не дешево — 30 рублей. Поправить или подновить его было невозможно, а так как до введения кителей мундир приходилось надевать очень часто, на дежурство, в караулы, на похороны и т. д., то мундиров нужно было иметь не меньше трех. В каждой дивизии полки различались по цветам. Первый полк — красный, второй — синий, третий — белый и четвертый — черный. На воротниках сюртуков первых трех армейских полков были вшиты суконные лоскутки соответственных цветов. В четвертых полках воротники были темные, того же цвета как и сюртук. В гвардии воротники были сплошные. У Преображенцев — красный, у нас — синий с красным кантом, а у Измайловцев и Егерей — темные, цвета сюртука. Тех же цветов были и околыши на фуражках, кроме Измайловцев, которые, как им и полагалось, носили белые околыши. В противоположность немецким офицерам, которые носили фуражки с безобразно большими полями, фуражки у нас были обыкновенные, уставного образца. Первая дивизия, как армейская, так и гвардейская, по обшлагу сюртука имела вместо красного белый кант, а вместо черной, как я уже говорил, красную подкладку. Этим белым кантом и красной, генеральской, подкладкой мы чрезвычайно гордились. Бывало садясь, или доставая носовой платок, отворотишь полу сюртука и чувствуешь себя генералом.

Цены предметов офицерского обмундирования были приблизительно такие: кивер, нагрудный знак и шашка, по 20 рублей. К счастью их приходилось заводить один раз на всю жизнь. Обновлять постоянно приходилось мундиры, сюртуки и пальто. Эти, считая на круг, по ценам Экономического Общества, стоили 50–60 рублей. Высокие сапоги стоили 20–25 рублей, ботинки — 12 рублей, шаровары и длинные штаны круглым счетом — 12–15 рублей. Эполеты — 6 рублей; фуражка, пара погон, шарф, портупея, пара белых замшевых или коричневых перчаток, приблизительно по три рубля. Вот тут и считай. И все это при том, что подпоручику гвардии казна выдавала 86 рублей в месяц жалованья. Подпоручику армии платили на пять рублей меньше.

До Японской войны солдаты в лагерях носили белые рубашки, а офицеры белые двухбортные кителя, с высокими воротниками и с золочеными пуговицами с орлами. В таком наряде наша армия вышла на Японскую войну. И только уже на войне додумались до «защитного цвета» и стали спешно их красить. Как результат опыта войны, в 1907 году офицерам велено было одеться в защитные кителя, которые по началу

имели высокий и твердый воротник и один ряд золотых пуговиц. Кителя эти впоследствии сильно эволюционировали и превратились сначала во «френч», а еще позже, ко второму году войны, в полурубашки, с высоким, мягким воротником на костяных пуговицах и со сборками сзади, что позволяло носить их без пояса. Формы этой никто не вводил, а выдумали ее сами офицеры. Эти полу-кителя, полу-рубашки оказались настолько удобны и практичны, что выдержали и вторую Германскую войну. Сейчас, если посмотреть на фотографии офицера 15 года и офицера 45 года, то, если не вглядываться в детали, их можно спутать.

Описание старых офицерских форм было бы неполно, если бы я не упомянул еще о разных «знаках» и «значках», которые носили офицеры. Во времена Александра II был установлен нагрудный знак Академии Генерального Штаба, переименованной впоследствии в Военную Академию. Это был овальной формы серебряный выпуклый двуглавый орел, окруженный венком. Позже, по тому же образцу, были введены нагрудные ученые знаки для всех военных академий и даже для Восточных Языков. Все эти ученые знаки на мундирах, сюртуках и кителях носились на правой стороне груди и носители их заслуженно пользовались своей долей уважения. Кажется до 1900 года левая сторона офицерской груди от всяких украшений была чиста. В 1900 году праздновало свой столетний юбилей Павловское Военное Училище. В виде специального отличия на левую сторону груди они получили круглый золотой веночек с буквою «П», что обозначало Павел I. В 1902 году настал юбилей Пажеского корпуса. Пажи, основанные при Александре I, неизвестно по каким историческим основаньям, в виде отличительного знака получили белый мальтийский крест. Крест этот был укреплен на черном кружке, на котором были приделаны едва заметные даты — 1802 и 1902 и вензеля Александра I и Николая II. Лет пять, эти два знака Павловского училища и Пажеского корпуса, были единственными отличиями, украшавшими левую сторону офицерской груди. Наконец, кажется с 1907 года, тот же министр Сухомлинов завел целую оргию таких значков и к началу войны не было офицера, который не имел бы права, по крайней мере, на два или на три такого рода украшения. Нагрудные значки завели себе все кадетские корпуса и все военные училища. Специальный нагрудный знак существовал для офицеров артиллерии. В 1908 году нагрудные знаки предложено было завести полкам. После долгих обсуждений Преображенцы взяли себе Андреевский крест. Таким крестом кончалась цепь Андрея Первозванного, ордена, как известно, установленного Петром. Измайловцы установили

какую-то комбинацию с вензелем основательницы полка Анны Иоанновны. Лейб-Егеря выбрали себе «кульмский крест», т. е. другими словами немецкий железный крест «айзенкрейц». За бой под Кульмом, который был преддверием Лейпцигской «битвы народов» и где в 1813 году особенно отличилась русская гвардия, король Прусский Фридрих Вильгельм III, тот самый, который клялся в верности Александру I, всех наших офицеров и солдат наградил этим крестом. Этот Кульмский крест кроме Егерей, которые в этом бою особенно прославились, в качестве полкового знака из гвардейских полков имели Конно-Гренадеры и Лейб-Драгуны. Когда пришло время заводить себе полковой знак, наши офицеры выбрали комиссию, которой было предложено этим заняться. Было подано несколько проектов, которые общим собранием все были забракованы. Наконец остановились на кресте, который был нарисован Петром и который, окруженный облаками, был изображен в правом верхнем углу нашего первого Петровского знамени. Ниже, под облаком, был изображен висячий меч. Знак скомбинировали следующим образом. Взяли этот Петровский крест и посадили на него меч. О левой стороны поставили маленький латинский вензель Петра, а справа такой же русский вензель императора Николая II. Для офицеров установили крест белый, эмалевый, а для солдат совершенно такой же серебряный. Когда этот крест устанавливали, мало кому пришло в голову все его профетическое значение: начало службы полка и конец ее. Кексгольмцы, которые происходили от нас, взяли себе такой же крест, но вытянули его вверх. В мирное время ненужные, эти полковые знаки очень пригодились на войне. При защитных фуражках, гимнастерках и у всех одинаковых красных погонах, они зачастую служили единственным средством опознания своих и чужих офицеров и солдат дивизии. Свою долю пользы приносили они и тогда, когда офицер снимал полковую форму. По белому крестику можно было всегда узнать однополчанина. Не только офицеры, но и солдаты не теряли права на ношение полкового знака и после ухода из полка. На право ношения его полковой канцелярией, за подписью командира полка, выдавались особые свидетельства. Носить его имели право только те офицеры, которые по уходе продолжали оставаться членами Собрания.

Поговорив о том, как наши офицеры жили и во что они одевались, перейдем теперь к вопросу об офицерском питании. Зимой все женатые и все те, которые жили с родителями, обедали дома, но завтракали в Собрании три четверти всего состава. От 12–2 часов в Собрании можно было увидеть почти всех. Это было время служебных и неслужебных разговоров. В это время можно

было сбегать в канцелярию, поменяться нарядом и узнать полковые новости. В эти два часа жизнь в Собрании кипела ключом. В лагерях круглый день все были вместе и под конец успевали даже поднадоесть друг другу. Зимой такие ежедневные встречи были настоятельно необходимы. Нужно оговориться, что зимой Собрание держалось петербургского распорядка жизни. Завтракали от 12 до 2-х и обедали от 6 до 8 часов.

Зимой в Собрании завтрак из 2-х блюд — обыкновенно мясо и рыба, или мясо и зелень, или мясо и какой-нибудь омлет — стоил 70 копеек. Обед из трех блюд — 90 копеек. Перед завтраком или обедом можно было подойти к высокому закусочному столу и выпить рюмку водки. Во время этой операции вольнонаемный буфетчик за конторкой, на глаз на листе в твою графу проставлял стоимость потребленного. В зависимости от привычек офицера, это было или 20, или 30, или, наконец, 40 копеек. 40 копеек, была предельная цифра. Ты мог стоять у стола хоть полчаса, перепробовать все закуски и все водки и больше 40 копеек все равно не запишут. В качестве столового питья, некоторые пили пиво, некоторые минеральные воды, а некоторые легкое красное вино, которое Собрание выписывало из Франции бочками, так, называемое «собственного разлива». Полбутылки такого вина стоила 45 копеек. Нужно однако сказать, что днем, в обыкновенные рабочие дни, огромное большинство офицеров ни водки, ни вина не пили.

Опять-таки в обыкновенные дни, в зимнем Собрании относительно прихода и ухода никаких правил не существовало. Пришел, поздоровался, сел за стол, съел свой дежурный завтрак и можешь уходить ни с кем не прощаясь. Но когда завтраки бывали парадные, по случаю приезда высокого начальства, или гостей, нередко депутаций иностранных офицеров, это бывал уже «общий завтрак», церемония, требовавшая самого строгого этикета. Появлялся командир полка. Ставилась общая закуска, более или менее богатая. Все садились по чинам. Посередине под портретом Петра командир, напротив старший полковник, а дальше полковники, капитаны и т. д. Если на такой завтрак, не дай Бог, опоздаешь и придешь, когда все уже сели, то проскользнуть на свое место никак, нельзя. Нужно подойти к командиру полка и доложить причину опоздания. И только получив для пожатия командирскую руку, можешь идти садиться. Большие блюда разносили собранские вестовые и тоже, разумеется, по чинам. Из-за такого стола вставать не полагалось до тех пор, пока командир полка для вида не привстанет, а потом опять не сядет. Этим командирским привставанием г-дам офицерам давалось понять, что желающие могут уходить. Если до командирского

привставания тебе нужно встать и уйти, следовало опять-таки подойти к командиру и попросить разрешения.

Раз во время такого завтрака, как сейчас помню, по случаю приезда японской военной миссии, за таким столом сидели чрезвычайно долго, часов до 3-х. Дело было зимой, в субботу и у меня в Таврическом дворце на катке было назначено свидание с одной милой девицей, причем мне велено было не опаздывать. За столом уже все выпили и съели, а командир все сидит прочно. Часы ползут, а уйти нельзя. Наконец я не выдержал. Совершенно по-мальчишески тихонько сполз со стула, пригнулся и за спинами прошмыгнул в швейцарскую. Думал спасен, но не тут-то было. Только что приготовился надеть пальто, как в дверях высокая фигура старшего полковника Баранова.

— Подпоручик Макаров, почему вы встали из-за стола пока командир полка еще сидел? Потрудитесь сейчас же вернуться! — Пришлось поджавши хвост вернуться на место и отсидеть положенное.

Так же, как и разрешение на вставание, командир полка подавал разрешение на курение. Если он был курящий, то за кофе он вынимал портсигар и закуривал. В ту же минуту собранские зажигали свечи, которые в высоких бронзовых подсвечниках были расставлены по всему столу. Если он сам не курил, он просто приказывал зажечь свечи. До зажжения свечей курить за столом было строжайше запрещено. При таких парадных завтраках, всегда с шампанским и с тостами, все расходы раскладывались на офицеров поровну. Через несколько дней в большой книге офицерских вычетов, в графе общих расходов, против своей фамилии ты имел удовольствие прочесть: «прием японской делегации — 4 рубля; завтрак начальнику дивизии — 3 рубля», и т. д. все экстренные месячные вычеты по порядку.

С выступлением в лагери весь уклад жизни радикально менялся. Никакой еды и питья, кроме чая, в бараках у себя офицеры не держали, а все, что елось и пилось, поглощалось в Собрании, которое помещалось сзади, в саду, шагах в 150 от линии офицерских бараков. Применяясь к солдатскому укладу жизни, в лагерях после полудня офицерам давался обед, а вечером ужин. К ужину, который в хорошую погоду подавался обыкновенно на террассе, каждый приходил когда ему было удобно, от 6 до 9 часов вечера. Обед же был трапеза строго официальная. К обеду всегда приходил командир полка и обязаны были являться все офицеры. За полчаса до срока, старший собранский вестовой звонил в маленький колокол, привешенный на террасе, что обозначало 1-ый звонок к обеду. У соседей Преображенцев был тот же уклад и часто оба колокола,

Преображенский и наш, звонили одновременно. От 1-го до 2-го звонка было двадцать минут, которые надлежало употребить на приведение себя в порядок после утреннего учения, где бывало жарко, пыльно, а иногда и грязно. Хватало времени, чтобы переменить сапоги, надеть чистый китель, вымыться, а в жаркую погоду сбегать в офицерскую баню, взять холодный душ. Бриться рекомендовалось утром, до занятий, но если не поспеешь, то уже к обеду нужно было являться начисто выбритым.

Без десяти минут час подавался 2-ой звонок «к закуске». К этому, звонку приходил командир полка и к нему нужно было подходить здороваться, т. е. стать перед ним на вытяжку и ждать пока он протянет руку. Поклон отнюдь не низкий, а военный, одной головой. Также рекомендовалось здороваться с полковниками, и вообще со всеми старшими, хотя бы на один чин. Когда все соберутся, командир первый подходил к закусочному столу и накладывал себе на тарелочку чего-нибудь вкусного. Это был знак, что можно приступать. В обыкновенные дни у закусочного стола стояли недолго, минут десять. Когда старшие отходили, командир усаживался под Петром, а за ним рассаживались все, каждый на свое положенное ему по чину место. Собранские разносили суп, уже налитый, а затем большие блюда, начиная, как полагается, с командира и старших. С блюда каждый брал себе по аппетиту. Кстати сказать, в этот час у всех, особенно у молодежи, аппетит был серьезный.

Так как в лагерях обед был всегда общий, то за ним строго соблюдались все порядки общего обеда, т. е. явка командиру опоздавших, свечи — знак разрешения курить, отодвигание командирского стула и т. д.

Лагерный обед был гораздо лучше зимнего. Четыре блюда, суп, рыба или зелень, мясо, сладкое и кофе. Все это, плюс закуска, вгоняло цену обеда в 1 р. 30 — 1.40. Вообще лагери было дорогое удовольствие. Часто приезжало высокое начальство на всевозможные смотры, которые всегда сходили прекрасно и которые всегда кончались пьянством, увы, иначе это не назовешь. Сразу же после супа собранские начинали разливать шампанское, которое в течение всего обеда, продолжавшегося несколько часов, лилось рекой.

Для вящего увеселения скучавших в лагерях г. г. офицеров существовали еще так называемые «четверговые обеды». Одно время каждый четверг, а потом два раза, в месяц, уже не в полдень, как всегда, а в 7 часов вечера устраивались большие обеды с приглашенными. Каждый имел право пригласить гостя, военного или статского. Стол украшали цветами из нашей собственной маленькой оранжереи, сооружалась грандиозная

закуска и на хорах гремела музыка. Всегда приезжало из города несколько наших бывших офицеров «старых Семеновцев». Всегда являлся вел. кн. Борис Владимирович, числившийся, но не служивший у нас в полку. Иногда приезжал его брат Кирилл Владимирович, в качестве бывшего Преображенца. Братья отличались тем, что пили как лошади, но держали себя вполне корректно. С разрешения командира полка, Кирилл Владимирович на один из четверговых обедов привез свою жену Викторию Федоровну и английскую писательницу Элинор Глин, которая у них тогда гостила. Это было совершенно против правил, т. к. дамы допускались в Собрании только в кабинеты, помещавшиеся во 2-м этаже, но отнюдь не в большой общий зал. На этот раз было сделано исключение. В английской литературе место Элинор Глин было невысокое, приблизительно то же, что занимала у нас Лаппо-Данилевекая, но романы ее, особенно из иностранной жизни, читались в Англии на расхват. Обед провели очень сдержанно и пили мало. Рядом с писательницей посадили офицеров, говоривших по-английски. Писательница очень интересовалась жизнью русских гвардейских офицеров. В то время в душе ее уже зрел новый роман. Мы всячески старались ее убедить, что жизнь петербургских офицеров очень похожа на жизнь их лондонских собратьев. Они так же, как и англичане, ходят в казарму и учат своих солдат, завтракают и обедают в своих «месс», занимаются спортом и бывают в театре и у знакомых. Писательница кивала головой и со всем соглашалась. А через год появился ее новый роман из «русской жизни», где герой ротмистр «князь Грицко», в своем «дворце» на Фонтанке, играет со своими собутыльниками офицерами в «кукушку». Для молодого поколения поясню, что в «кукушку» в свое время, как рассказывали, играли иногда одуревшие от безделья и пьянства офицеры, со стоянкою в диких местах Азиатской России. Игра состояла в следующем. В комнате, преимущественно обширной, еще лучше в сарае, двери закрывались наглухо и устраивалась полная темнота. Четыре человека расходились по углам. По данному знаку из какого-нибудь угла раздавался крик: «ку-ку». Тогда остальные трое в этот угол, целясь по звуку, палили из револьверов.

Ерунду о русской жизни иностранцы писали и пишут вот уже несколько сот лет. Совсем недавно, один видный американский корреспондент, проживший в Москве от 1941 до 1943 года, в своей книге написал, что до революции сельские священники имели над своими прихожанами право жизни и смерти. Причина этому или бойкое невежество, или голый расчет. Если написать, что в России люди жили более или менее как всюду, это будет

незанимательно. Нужно дать что-нибудь экзотическое, чтобы било в нос. Тогда книгу будут читать. По тому же принципу, до самого последнего времени, составлялись и фильмы «из русской жизни». Кто рассказал Элинор Глин про «кукушку», не знаю. Во всяком случае не мы.

В лагерях, кроме приемов начальства и «четверговых обедов», бывали приемы и случайного характера, главное в силу нашего лагерного расположения. Наше отличное лагерное Собрание, лучшее во всем гвардейском корпусе, стояло в саду, около которого проходило шоссе, соединяющее Царское Село с Красным. В 2-х километрах от нас на этом шоссе, по направлению к Царскому, находилась большая деревня Николаевка, где обыкновенно стоял лагерем Л.-Гв. Атаманский казачий полк. С 1906 года стали вызывать на лагерный сбор в Красное наиболее заслуженные полки из других городов. Первым приехал из Варшавы Л.-Гв. Уланский полк. На следующее лето в ту же Николаевку поставили Нижегородских драгун, привезя их из Тифлиса. Еще через год туда же поместили 13-ый Гренадерский Лейб-Эриванский царя Михаила Федоровича полк, по преданию старейший полк русской армии. Обыкновенная их стоянка была под Тифлисом. Мысль привозить на лагерный сбор в Красное такие полки была не глупая мысль. Этим поддерживалась между полками связь и военное товарищество. Но плохо было то, что кроме дарового проезда, офицерам на поездку в гости, никаких лишних денег не давали, а пребывание в гостях стоило не дешево. В Уланах и Нижегородских драгунах служили люди со средствами, но большинство Эриванцев, кроме жалованья, ничего не имели и потому залезли в долги.

Всем таким гостям, в качестве ближайших соседей, наше Собрание считало своим долгом устраивать парадные обеды, с закусками, с цветами и с музыкой. В грязь лицом, конечно, не ударяли и за таким обедом, не столько выпить, сколько открыть и поставить на стол 150 бутылок шампанского считалось делом обыкновенным. Садились вперемешку наши с гостями и уложить гостя под стол являлось вопросом самолюбия и полкового престижа. Это, конечно, не всегда удавалось. Долго вспоминали потом обед Нижегородцам, когда натренированные на Кахетинском грузинские князья оказались непобедимы и в состязании немало из нашей молодежи легло костьми. После таких приемов обыкновенно все свободные диваны в наших офицерских бараках были заняты «отдыхающими» гостями.

Существовал еще обычай, который соблюдался из года в год. В конце мая Лейб-Гусарский полк походным порядком переходил из Царского Села на свою лагерную стоянку в Красном. По шоссе

мимо нашего сада гусары проходили всегда в одно и то же время, около часу дня, и приближаясь к нему трубачи начинали играть наш полковой марш. Перед трубачами, на сером кровном коне, ехал самый великолепный молодой офицер из всего гвардейского корпуса, гусарский полковой адъютант и царский флигель-адъютант граф Воронцов-Дашков. Свои флигель-адъютантские аксельбанты Воронцов получил в поручичьем чине. В день прохода гусар обед у нас задерживался и в нашу садовую беседку ставился махальный. Как только вдалеке показывался красавец Воронцов и раздавались звуки Семеновского марша, все наши офицеры выходили гусарам навстречу, а собранские вестовые выносили подносы, уставленные серебряными стопками с налитым холодным шампанским. Не останавливаясь, на ходу, гусарские офицеры брали стопки и весело их опрокидывали. Некоторые умудрялись и повторить. После длинного перехода, да в жаркую погоду, это должно быть было приятно. По поводу этих встреч, помню, на одном из общих собраний был поднят вопрос, что раз мы приветствуем офицеров, можно было бы угостить и солдат, хотя бы холодным пивом. Спросили гусар. Те поблагодарили и ответили, что тогда пришлось бы уже слезать с коней и делать привал, а это, пожалуй, и не стоит, в особенности перед самым приходом.

В качестве ответа, в те годы, когда на полковой праздник наш полк приходил в Царское Село, обыкновенно накануне, чины останавливались в гусарских казармах и получали там вкусный обед, а офицеры приглашались на парадный обед в гусарское Собрание. Собрание у Лейб-Гусар было роскошное. Особенно хорош был двухсветный зал, весь отделанный белым мрамором. В стороне помещалась портретная галлерея и там можно было любоваться портретами родоначальника русских «западников» ротмистра Чаадаева и лобастого корнета Михаила Лермонтова. Кумовство с лейб-гусарами повелось в нашем полку, сколько помнится, с Турецкой войны.

Как это ни дико может показаться, но одним из крупных офицерских расходов в лагерях были… маневры. Назначались так называемые «малые маневры», обыкновенно в самых последних числах июля и продолжались дня четыре, пять, с таким расчетом, чтобы к Преображенскому празднику 6-го августа, к Красносельским скачкам, в которых когда-то принимал участие ротмистр граф Вронский, и к парадному спектаклю в Красносельском театре, все было кончено. На маневры наш полк выступал имея, кроме законного обоза, по крайней мере 30 вольнонаемных крестьянских подвод. На них ехали офицерские собственные палатки и Собранье, т. е. огромный шатер-палатка

на 100 человек, а затем кухня, повара, столовое белье, серебро, посуда, хрусталь, столы, складные кресла и стулья, а главное целый погреб вина, причем главное место в этом погребе занимали ящики шампанского. Когда останавливались на ночлег, то первым делом разбивался шатер и накрывались столы. Обед подавался, как всегда, из 4-х блюд, тарелки с полковым вензелем менялись после каждого блюда, также как и ножи и вилки, и перед каждым прибором, с красиво сложенной белоснежной салфеткой, стояло пять стаканов разной формы и величины и между ними, — трогательная подробность — одна зеленая рюмка для рэйнвейна. И все это происходило на маневрах, где по настоящему офицеры должны были бы спать на земле и питаться из солдатских походных кухонь. Как такой разврат мог допускать вел. кн. Николай Николаевич, который, что про него ни говори, был человек военный, — уму непостижимо. Могу сказать еще, что в армии ничего подобного не было. Там маневры были маневры, а не пикник.

Помню, на моих первых маневрах было выставлено «сторожевое охранение», по поводу которого долго совещались, с какой стороны его выставлять. Я был начальником главной заставы, а в 50 шагах сзади сиял огнями шатер-собранье, где весело гуляли командир полка и все наши, а в качестве гостей, офицеры расположившейся поблизости гвардейской конной артиллерии, с командиром бригады кн. Масальским и командиром 1-ой батареи гр. Кутаисовым во главе. За шатром стояли конно-артиллерийские трубачи, которые после каждого тоста трубили то наш марш, то марш конной артиллерии. А иногда, для разнообразия, шатер оглашался конно-артиллерийской песней:

«Есть много войска у царей,
Улан, гусар и егерей,
Но краше конных батарей,
Не сыщешь войска у царей!»

И т. д.

И так всю ночь и до утра. Поднять бы с гроба великого однополчанина, отца нашего Суворова… Что бы он на это сказал!

Нужно заметить, что вообще гвардейские «малые маневры» в период до и сразу после японской войны, были сплошной анекдот. Первые три, четыре дня войска занимались передвижениями, совершая переходы иногда довольно утомительные. Все это была подготовка к последнему дню «генеральной атаки», которая с двух сторон, в определенный час

начиналась и велась всегда на определенный и заранее всем известный пункт — царские экипажи, около которых разбивалась царская палатка. В последнюю минуту, вблизи этой палатки, стоя обыкновенно на пригорке, в самом центре сражения, с биноклем в руках, Государь Николай II мог любоваться, как с двух противоположных сторон на него идут густые цепи рослых гвардейцев, готовясь к финальной сшибке. Приблизительно за 100 шагов до экипажей, офицеры, размахивая шашками, с криком «ура» увлекали свои войска в лаву и люди, смыкаясь с начальником, самоотверженно бросались вперед. Очень увлекаться и набегать на царские экипажи со штыками на перевес, впрочем, тоже не рекомендовалось. В самый решительный момент, когда вот-вот произойдет свалка, царь подавал знак. Стоявшие рядом с ним два лейб-трубача конвоя подымали свои серебряные рожки и раздавались мелодичные звуки «отбоя». Войска останавливались, как вкопанные, и маневр, к общей радости, был кончен. Минут 20 занимал «разбор маневра», на который вызывались старшие начальники, а затем, никогда не позже 2-х часов дня, самое обеденное время, все большое начальство, включая командиров полков, шло закусывать в царскую палатку. Для прочих г. г. офицеров, около палатки, на траве, расстилались скатерти, на которых были расставлены тарелки с хлебом, ветчиной и холодным мясом и бутылки с пивом и вином. Чины питались из своих походных кухонь. В этот день холодным завтраком царь угощал больше 1.500 офицеров. Кстати сказать, разборами маневров не всегда все начальство оставалось довольно. Рассказывали как раз один большой генерал был до глубины души возмущен тем, что по распоряжению какого-то рьяного генштабиста, ему пришлось радикально изменить план наступления вверенных ему частей.

— Я каждый год, — сердился генерал, — вот уже 15 лет наступаю с северной стороны на Большие Рюмки (было такое село), а теперь какой-то молокосос велит мне делать чорт знает что!

Расходы Собранья по малым маневрам обходились каждому из наших офицеров от 80 до 100 рублей, иначе говоря одно месячное жалованье.

Для вящего разорения офицерской молодежи существовал еще один институт, так называемые «шакалы» — пережиток старинных «маркитантов». С тою разницею, что в старину у маркитантов можно было приобрести что-нибудь путное. В 1805 году, перед Шенграбенским сражением, капитан кн. Андрей Болконский, забыв поесть, купил у маркитанта булку с сыром. Наши же шакалы держали в своих корзинах главным образом

всякую ерунду: пастилу, шоколад, рахат-лукум и прочее. У каждого полка был свой «шакал». У нас был Петр, черноволосый бородатый мужик, очень похожий на Распутина. У соседей, Преображенцев, подвизался его сын. Обыкновенная стоянка Петра в лагерях была на ступенях крыльца Собрания, где он всегда торчал в обеденное время. Охотнее всего свой товар Петр отпускал «на запись», причем бывали случаи, когда офицеры должали ему до ста и больше рублей за лагерный сбор. Неукоснительно сопровождал он полк и на маневры. На офицерской распущенности за много лет шакал Петр нажил хорошие тысячи.

В Собраньи, в огромной книге каждому офицеру велся его личный счет всего того, что он съел и выпил. Кроме того, все общие расходы по «представительству» распределялись между всеми поровну. За обед начальнику дивизии с подпоручика, естественно, вычитывали столько же, сколько и с полковника. На этом основании теоретически все члены Собранья пользовались одинаковым правом голоса. Писалось так, но выговаривалось иначе. В течение первого, да пожалуй и второго года службы, молодой офицер никакого права голоса не имел. К нему присматривались. И если на «общем собрании» ему приходила несчастная мысль высказать свое мнение, очень многие поворачивались и начинали смотреть на него в упор, грустно и неодобрительно. После этого юноша обыкновенно терял нить мысли, конфузился, увядал и опускался на свое место. Считалось так, что голосовать он может, но подавать голос ему еще рано. Выходило немножко похоже на того начальника, который, распекая подчиненного, говорил:

— Если Вы, молодой человек, желаете со мной разговаривать, то потрудитесь молчать!

В Тургеневском рассказе «Бреттер» имеется такая фраза:

> «Общество г. г. офицеров…го полка не отличалось от всякого другого общества. В числе их были хорошие и дурные, умные и пустые люди».

В обществе наших офицеров совершенно дурных людей не было, но, как и всюду, были личности бледные и яркие, слабые и волевые. И совершенно естественно, что сильные характеры «задавали тон» и часто пользовались большим влиянием на, молодежь, чем это полагалось бы им по чину. Когда такой «сильный характер» вступал в должность старшего полковника, все шло как по маслу.

В мое время «партий» между офицерами не было. Между богатыми и почти бедными, между знатными и незнатными,

между вышедшими из Пажеского корпуса, из вольноопределяющихся бывших лицеистов и правоведов, из университета, и из военных училищ, не чувствовалось абсолютно никакой разницы. Авторитет приобретался исключительно личностью и ничем другим. Но существовало среди офицеров два течения, довольно резко выраженные. Одни стояли за «блеск», другие за «удешевление». На общих собраниях в зеленой гостиной зимнего Собрания, стоявшие за «блеск» садились направо, около рояля, а потому назывались «роялисты». Ратовавшие за удешевление располагались на левой стороне, около печки, почему и носили название «печники». Указать по каким признакам происходило это разделение совершенно невозможно. В «роялистах», наравне с состоятельными людьми, сидело не мало относительных голоштанников и людей самого скромного происхождения, в то же время как в «печниках» состояло несколько домовладельцев и офицеров вхожих в самые большие петербургские гостинные. Случалось, что из двух братьев один был «роялист», а другой «печник». По военному признаку их также нельзя было разделить. Лидер «роялистов» Лев Тимрот 20-го февраля под Ломжей повел свой батальон в атаку и потерял обе руки. Столпы и опора «печников» Зыков и Лоде были убиты во главе своих полков. Из самых блестящих наших офицеров на войне, паж Веселаго был ярый «печник», а юнкер Павловского училища Алексей Поливанов был столь же ревностный «роялист».

Как и всякое собрание, вести надлежащим образом общее собрание г. г. офицеров было не так просто. Состоя в старших полковницах, мягкий Н. Н. Тунцельман, между прочим храбрый офицер, во главе своего полка потерявший ногу, иногда путался и мямлил. Зато его предшественники Баранов и Левстрем вели собрание артистически.

Общее собрание созывалось обыкновенно по накоплении материала и не реже раза в месяц, всегда после завтрака, в лагерях — после обеда, и о дне его объявлялось заранее в полковом приказе. Протокол решений общего собрания председатель представлял на утверждение командира полка, которое давалось автоматически. Курить во время общего собрания не разрешалось, звонка председателю не полагалось и аплодисменты, или вообще какие-либо знаки одобрения или порицания, не допускались. Маленькая картинка «общего собрания». В зеленой гостинной рядами расставлены стулья. Когда все собрались и разместились, «роялисты» направо, «печники» налево, появляется Баранов с папкой «дел» и садится лицом к собранию, на диван перед столом. Рядом с ним

усаживается «председатель распорядительного комитета». Он же ведет протокол. Мертвая тишина. Баранов роется в папке и раскладывает свои дела по порядку. Наконец, подымает голову и говорит: «Объявляю 8-ое общее собрание открытым. У меня, господа, накопилось несколько дел, которые вам предлагается обсудить. Ко мне поступило прошение запасного унтер-офицера нашего полка Василия Гринчука, который находится в настоящее время в Петербурге, по его словам в бедственном положении. Я не буду вам читать всего письма, но он пишет, что приехал сюда из Чернигова искать места, которое было ему обещано, но которое он не получил. Он просит ему помочь, а в крайнем случае дать денег на билет обратно в Чернигов. Кто желает высказаться?»

С «роялистской» стороны подымается рука.

— Капитан Павлов.

— Я считаю, что мы обязаны помогать нашим однополчанам и мне кажется, что мы могли бы дать ему рублей 25.

Павлов садится. Подымается рука из кучки «печников».

— Поручик Гончаров.

Степан Гончаров, как всегда, говорит монотонно и тягуче, но дельно.

— Мне кажется, что прежде, чем давать ему деньги, нужно на чего посмотреть и с ним поговорить. В какой он был роте и когда он ушел в запас. Может быть есть люди, которые его помнят. Может быть он пьяница и все, что мы ему дадим, он пропьет в первом кабаке!

Из рядов «роялистов» раздается голос Касаткина.

— По твоему, Степан, если человек выпивает, ему уже не нужно помогать? И курица пьет.

Голос председателя:

— Господа, прошу с места не говорить.

Один из видных «печников» подымает руку.

— Капитан Пронин.

— Я согласен с поручиком Гончаровым. Нельзя давать человеку деньги, не зная, что он из себя представляет. По моему его нужно вызвать и просить его ротного командира им заняться. Если он может и хочет поступить на службу, я предложил бы просить капитана Назимова, у которого все министры приятели (смех), заняться устройством его судьбы. Если ему есть нечего, пусть приходит в Собрание. За столом, где сидят вестовые, его будут кормить. Если он хочет ехать домой, нужно купить ему билет и дать немножко денег на дорогу. И пусть на следующем собрании его ротный командир доложит, что было для него сделано. Но я безусловно против того, чтобы давать человеку большие деньги без того, чтобы им предварительно заняться.

Пронин садится на место.

— Кто еще желает высказаться?

Молчание.

— Тех, кто стоит за предложение капитана Павлова, прошу встать. Тех, кто согласен с мнением капитана Пронина, прошу сидеть.

Все сидят, даже «роялисты».

— Предложение капитана Пронина принято единогласно. Следующий вопрос, господа. Командир полка получил и передал мне для внесения на обсуждение общего собрания обращение сельского схода села Успенского, Даниловского уезда, Ярославской губернии. Сельский сход постановил соорудить у себя в селе памятник, Александру II и собирает на что деньги. Он просит нас пожертвовать и добавляет, что на памятнике будут указаны имена всех жертвователей. Кто желает по этому поводу высказаться?

Сначала довольно продолжительное молчание, а затем в роялистской группе оживленные переговоры шопотом. Сразу подымаются две руки.

— Штабс-капитан князь Касаткин.

Встает Касаткин и по обыкновению с жаром начинает говорить о том, как много сделал для России царь-освободитель и как он всегда благосклонно относился к Семеновскому полку. В заключение предлагает пожертвовать на памятник 100 рублей.

Во время его речи в рядах оппозиции также перешептываются. Атмосфера явно начинает нагреваться. Подымается и берет слово лидер печников А. С. Зыков.

— Мы, господа, только что имели удовольствие выслушать прекрасную, высоко-патриотическую речь кн. Касаткина-Ростовского. Все, что он говорил о заслугах императора Александра II, совершенно верно и не подлежит никакому сомнению. Я со своей стороны буду очень рад, если жители села Успенского поставят ему памятник. Но я позволю себе спросить вас, господа, при чем же тут мы, офицеры Семеновского полка? Было время, когда штабы гвардейских полков считали себя государственными учреждениями и как равные с равными сносились с Сенатом и с коллегиями. Но было это при Анне Иоанновне и при Елизавете Петровне. Сейчас мы воинская часть и ничего больше. Сегодня в селе Успенском ставят памятник Александру II. Завтра в селе Высотском будет открываться библиотека и читальня имени Пушкина или Ломоносова и нас тоже будут просить подписываться. Не забудьте, господа, что между нами не мало людей с очень ограниченными средствами и что наше прямое дело не ставить памятники, а учить солдат.

Голос справа:

— Можно и то и другое.

Голос председателя:

— Прошу с места не говорить.

Зыков продолжает:

— Нет, нельзя и то и другое. Не забудьте, господа, что наш полк среди других полков гвардии справедливо считается одним из самых дорогих. И если, мы станем считать себя обязанными помогать всем благим начинаниям в Российской империи, то у нас людям со скромным достатком скоро нельзя будет служить. Поэтому я предлагаю просьбу о пожертвовании отклонить и передать ее тому обществу или учреждению, к которому это может относиться. Разумеется, те из нас, кто настроен жертвенно, могут жертвовать, не пусть тогда эти пожертвования будут сделаны индивидуально, но не от имени полка.

Зыков садится на свое место. Сейчас же справа подымается рука. Значительно менее связно повторяются доводы Касаткина и подчеркивается, что для полкового престижа будет хорошо, что на памятнике будет стоять имя полка и будет плохо, если Преображенцы дадут, а мы нет. Оратору возражают слева. Оживленные дебаты продолжаются еще минут десять. Председатель Баранов, сам бывший «печник», невозмутимо слушает и наконец возвышает голос.

— Господа, — все мгновенно утихает — мне кажется, что мы уже достаточно осветили вопрос и можно приступить к голосованию. Сначала мы решим, будем мы жертвовать или не будем. Если будет решено, что будем, вторым голосованием мы установим сумму. Прошу тех, кто считает, что жертвовать не нужно — сидеть, тех же, кто стоит на пожертвование — встать.

«Роялисты» поднимаются, но не все. Быстрый подсчет. Жертвователей оказывается 18 человек. Нежертвователей — 25.

— Просьбу о пожертвовании решено отклонить. Теперь, господа, председатель распорядительного комитета доложит вам о предстоящем праздновании полкового праздника.

Встает плотный Н. М. Лялин и деловитым голосом начинает свой доклад.

Вычеты на «полковой праздник», собственно на ужин в день полкового праздника, шли целый год, по 5 рублей в месяц с офицера, и к ноябрю достигали почтенной цифры в 2.500 рублей. В старое время это были, большие деньги. На них можно было построить небольшую дачку, или купить домик на окраине города. На такие деньги многочисленная семья среднего достатка могла спокойно прожить в течение целого года. И эти деньги, при помощи цыганского хора, неаполитанских певцов, гитаристов,

цимбалистов и разных других артистов, г. г. офицеры Семеновского полка проедали и пропивали всего лишь в один вечер. Правда, этот вечер затягивался обыкновенно до 8–9 часов утра следующего дня.

В мое время празднование полкового праздника за стены Собрания уже не выходило. Я поступил в полк в 1905 году, когда бушевала первая революция. К офицерам публика относилась несочувственно и им приходилось держать ухо востро. Но, как рассказывали старожилы, в прежние, спокойные времена, в ночь с 21 на 22 ноября старого стиля, нашим офицерам и солдатам позволялось почти все. Существовал, например, обычай развозить офицеров по домам. Конечно, не по главным улицам, а в своем полковом районе. Брали музыкантов, которые к этому часу все были уже навеселе, и сажали их на извозчиков. За кучера садился офицер, конечно, без фуражки и в одном сюртуке. Другой в таком же виде вскакивал верхом на лошадь. Двое других изображали лихих пристяжек, гнули головы и рыли ногами снег. Двое офицеров становились на запятки. Музыканты начинали дуть в свои трубы, кто во что горазд. Кто марш, кто вальс, кто арию из оперы. В таком виде в 9-м часу утра, вереница саней ехала по Загородному проспекту к большому удовольствию проходившей публики, которая махала шапками, поздравляла с праздником и от души хохотала.

Не могу сказать, чтобы такие лукулловские ужины и швырянье деньгами принимались всеми, как должное. Среди «печников» было не мало людей, которые такой порядок, вещей определенно не одобряли. Помню, кажется, в 1907 году в какой-то полосе России, как это часто раньше бывало, случился неурожай. Газеты подняли кампанию и была объявлена подписка на голодающих. Подоспело наше общее собрание. И вот на этом собрании поднялся трезвенник и аскет Степан Гончаров и произнес, наверное заранее подготовленную, — слишком она, была хороша — речь на тему о том, что стыдно нам, русским людям, объедаться лангустами, седлом дикой козы и опиваться шампанским, в то время, как в той же России, другие русские люди едят траву и кору с деревьев. Речь произвела впечатление. Единогласно решили, послать голодающим 2.000 рублей. Но на остальные 500 ужин все-таки устроили, хотя сравнительно довольно скромный.

Самыми приятными, веселыми и относительно скромными обедами, бывали ежемесячные общие обеды в зимнем Собрании. К ним обыкновенно приурочивались проводы уходивших, с поднесением им полкового жетона или подарка. На таких обедах, кроме своих офицеров и «старых Семеновцев», о которых речь

впереди, ни начальства, ни никого из посторонних не бывало. Председательствовал командир полка. Перед сладким разливали шампанское и командиру передавали или беленькую коробочку с жетоном, или футляр с серебряной стопкой, которая была традиционным подарком и на которой гравировалось имя уходившего и годы его службы. Удостоенный жетона или подарка уходивший, обыкновенно уже в чужой форме, часто в форме генерального штаба, или в смокинге, занимал почетное место против командира. Наконец, командир подымался, наступала мертвая тишина и он начинал говорить. Говорилось всегда в одних и тех же тонах. Что вот, мол, сегодня из нашей тесной в дружной полковой семьи, уходит хороший офицер и добрый товарищ такой-то, что все мы желаем ему счастья и успеха на той дороге, которую он себе избрал, и что все мы уверены, что куда бы ни закинула его судьба, своей духовной связи с полком он никогда не порвет и до конца жизни останется верным слугой своего Отечества и достойным представителем своего родного полка. Засим, под звуки полкового марша, следовал акт вручения жетона или подарка и дружеские объятия. Для командира, говорившего такие речи несколько раз в году, это было не так уже волнительно, но для уходившего момент был очень тяжелый. Переворачивалась страница его жизни и почти всегда самая радостная и светлая. Помню, как один молодой офицер, Борис Энгельгардт, после такой речи, как полагалось, поднялся, стал отвечать, но не выдержал расплакался и убежал. Кстати скажу, что по объявлении войны он добровольно вернулся в полк, заработал Георгиевский крест и храбро сражался до тех пор, пока это было возможно.

Помню также, что после вручения мне жетона, договорить до конца свою речь, много раз тщательно прорепетированную, стоило мне большого труда. Перед самыми моими проводами со мною случилась маленькая неприятность. Перед тем я уже несколько месяцев носил статское платье и с повязыванием обыкновенных длинных галстуков все шло благополучно. Но галстуков «бабочкой», которые полагались при смокинге, мне носить еще не доводилось. Надеваю я новый смокинг, начинаю повязывать черный тоненький галстук, стараюсь и так и этак, ничего не выходит. Получается узел, а нужен бант. На беду дома, кроме горничной Дуняши, никого не было. Я к ней. Бились мы, бились, оба вспотели, но завязать так и не сумели. А время уже без четверти семь, а обед назначен в семь и опаздывать, да еще юбиляру, неприлично. Я решил ехать без галстука, положив его в карман. Приезжаю в Собрание и так и вхожу. По счастью одним из первых офицеров, которого я встретил, был Федя Сиверс,

который часто ездил заграницу и для которого в статском туалете секретов не было. Через полминуты у меня под подбородком красовалась самая классическая, черная шелковая бабочка.

Когда обед был кончен, все вставали и уходили в другие комнаты. В это время в столовой спешно готовились к следующему акту «сиденью». Уходила духовая музыка и появлялся наш маленький и довольно стройный струнный оркестр. Классических вещей он не играл, но всю «кабацкую» музыку воспроизводил в совершенстве. В столовой отворялись окна и спешно убирали со стола. Когда все было готово, сдвигали столы на середину, стлали чистые скатерти и на них расставляли серебряные братины, заработанные полком на стрелковом поприще, некоторые из них вместимостью немного меньше ведра. Кругом ставили именные серебряные стопки и все кубки, подаренные ушедшими офицерами. Братины наполнялись шампанским, пополам с белым вином. Но так как туда же широко входили и другие ингредиенты, фрукты и в изрядном количестве лед, то пойло получалось довольно невинное, опьянеть от которого было трудно. На подобие древнегреческих пиров, пили собственно вино с водой, особенно под конец. В качестве «заедок», давали финики, синий изюм, шоколад, пастилу и соленый миндаль. В качестве курева в ходу были или обыкновенные сигары, или шуточные папиросы, одни толщиною в большой палей, другие длиною больше полуаршина.

Когда все было готово, открывались двери и хозяин Собранья приглашал: «Пожалуйте, господа, посидеть». Войти снова в проветренный и по новому устроенный зал было очень приятно. Все рассаживались без мест, кто с кем хотел, само собой подбирались кучки самых близких приятелей, и начиналась часть музыкально-вокальная. Настоящего офицерского хора у нас не было, хотя были люди очень музыкальные и с недурными голосами. Не было его главным образом потому, что никак нельзя было сказать одному — ты пой, а другому — а ты замолчи. Как раз те, которым в детстве медведь наступил на ухо, в большинстве случаев очень любили пение и очень обижались, если им ласково советовали помолчать. С солдатами это было проще и во многих ротах, если попадались любители офицеры, формировались очень недурные хоры. Впрочем, за офицерским столом пели песни такого рода, где никаких качеств от певцов не требовалось.

«Сиденье» начиналось обыкновенно с «чарочки», которая подносилась юбиляру. За «чарочкой» шли песни. По традиции первую песню уверенным козлетоном начинал Лев Тимрот, и все подхватывали:

«Солдат, солдат, командир,
Солдат, солдат, командир,
Солдаат командир,
Солдаат командир!»

Командир полка вставал, кланялся и выпивал свою стопку. За это ему кричали ура, причем, если он был популярен, это делалось с одушевлением, если не очень, то только из вежливости, прилично. Если за столом оказывался бывший командир, то поднимался и он. Вставали только те, за кого пили. Остальные сидели. За командиром шел «солдат, солдат государевой роты». Должен был встать и выпить не только нынешний командир государевой (1-й) роты, но и все бывшие, и все когда-нибудь в ней служившие. Иногда за раз подымалось пять, шесть человек. При такой системе почти каждому приходилось выпивать и «на Антония и на Онуфрия». Если кто-нибудь пытался проскочить, то громкими криками его тут же призывали к порядку. Выпивать стопку до дна было желательно, но не обязательно, а потому мерою каждому была его душа, или его личные возможности. За «государевой» шел солдат 2-й роты, потом третьей и так до нестроевой. Когда кончался батальон, маленький барабанщик на маленьком барабане бил колено «похода».

После «солдата» играла музыка и иногда выступали сольные номера. У Бориса Энгельгарта был красивый баритон, а у Павла Молчанова богатый бас. Оба они, с большим успехом, под аккомпанемент струнного оркестра, пели романсы и песни. Особенно упрашивать их не приходилось.

Имелся еще один способ веселиться. Одна половина стола перекликалась с другой. На одной стороне начинали:

— Всее-ли вы в добром здоровьи? (2)

На этот любезный вопрос другая сторона отвечала:

— Слаава Богу мы здоровоовы! (2)

Получив такой утешительный ответ, первая сторона прямо переходила к делу и спрашивала:

— Моожно ли нам с вами выпить? (2)

На это радостно отвечали:

— Можно, можно, даже доолжно! (2)

И все выпивали.

Не последнее место в общем веселье занимали смешные и более или менее остроумные тосты, в которых молодежь прохаживалась на счет друг друга. В большом ходу были стихотворные экспромты. Адъютанту Соллогубу, весьма

элегантному мужчине, старавшемуся держать себя с большим достоинством, раз было сказано:

«Люблю я соло флейты,
Мне мило соло труб,
Но больше всех люблю я
Тебя, о, соло губ!»

Подтрунивали обыкновенно над одними и теми же, при чем непременным условием было, чтобы заинтересованные лица принимали это как должно, т. е. со смехом. Если имелось опасение, что кто-нибудь может рассердиться, это было уже неинтересно.

Один из очень видных и любимых в полку офицеров, Степан Гончаров, поставил себе идеалом Суворова, не курил, не брал в рот ни капли вина, когда мог ел солдатскую пищу и служил до самозабвения. Когда он видел, что молодые офицеры сидят за вином и в особенности поздно, он подходил к ним и монотонно, учительским голосом, начинал их усовещивать:

— Как вам не стыдно, зачем вы пьете эту гадость… здоровье портите и даром деньги тратите… Завтра рано вставать на стрельбу… Спать идите!

Сам он вставал в 4 часа утра. Солдаты Гончарова очень уважали, но чувствовалось, что и для них он был офицер уж слишком образцовый. И вот вдруг у этого идеальнейшего офицера раз ночью в лагерях загорелся барак. Виноват был денщик, который справедливо считался самым глупым из всех офицерских денщиков. Денщика Степан выбрал себе сам и тоже из идеальных соображений, дабы не отнимать от строя способных солдат. Пожар тушили, очень весело и с большим одушевлением, и офицеры и солдаты, все в подштаниках, как выскочили. После этого была сочинена не очень приличная песенка, которая начиналась: «Тилим-бом, тилим-бом, загорелся Степкин дом… и т. д.». Сгоревший барак и некоторые другие эпизоды служебной, главным образом лагерной жизни Степана, долго служили богатой пищей для всяких шуток и острот. Сам он все выходки на его счет принимал со снисходительным добродушием, так как взрослый отнесся бы к шалостям балованных ребят. В застольных беседах, на которых он демонстративно пил нарзан, но в которых неукоснительно участвовал и видимо находил большое удовольствие, Степан Гончаров служил главной мишенью офицерского остроумия, но были и другие мишени, менее яркие.

Если было настроение, всем столом пели обыкновенные солдатские песни. Командир Новицкий очень любил

Лермонтовское «Бородино» и всегда просил, чтобы его пели, причем сам подтягивал басом.

Во многих кавалерийских полках, когда офицеры подгуляют, даже в ночное время, в офицерское собрание вызывали «песенников». У нас этого никогда не делали. Заставлять солдат, имевших законное право на отдых, «забавлять» г. г. офицеров мы считали неприличным. Правда и у нас играли музыканты, но это были уже профессионалы, которые вставали поздно и вели свою легкую и приятную жизнь.

За такими зимними, обедами существовала еще одна манера развлекаться. Маленькая группа пела куплеты собственного сочинения на известный мотив: «Я обожаю»… Куплеты посвящались наиболее популярным офицерам и должны были быть «экспромты», но экспромты эти весьма часто изготовлялись заранее. Начиналось обыкновенно с классического:

«Куплет наш будет очень прост,
За командира первый тост
Мы предлагаем» (2).

Куплеты выходили всегда веселые, часто неуклюжие, а иногда забавные. Помню А. С. Зыкову, которого очень любили, раз спели:

«Весь зал дрожит от наших криков,
Пусть с нами вместе выпьет Зыков,
Мы уважаем… (2)
Две академии одолев,
Он» мудр как змий и храбр как лев,
Мы уважаем…» (2)

Зыков выпил, сел, подумал и сразу же написал ответ, тоже в стихах.

Около часу ночи командир, и с ним многие старшие, незаметно уходили и оставалась молодежь, которая веселилась до поздних часов. В противоположность лагерным четверговым обедам и всяким обязательным чествованиям начальства, на которых было всегда пьяно, а иногда и откровенно скучно, эти зимние месячные обеды были почти всегда удачны.

Правила ухода из полка были такие. Те, кто не прослужил трех лет, уходили бесследно, даже и те, которые в «черную книгу» не попадали. Ушедший чинно и благородно после трех лет службы, имел право на подарок, который ему баллотировался на

общем собрании. Для того, чтобы пройти на баллотировке, нужно было иметь три четверти всех голосов. Прослужившие шесть лет и больше имели право на полковой жетон, который баллотировался и присуждался простым большинством. Если еще бывали разговоры при присуждении подарка, то жетон обыкновенно присуждался единогласно. Жетон был золотой и заключал в себе на слоновой кости изображения полковых знамен, первого и последнего, и миниатюры двух императоров, первого и последнего, т. е. Петра I и Николая II, про которого тогда еще не знали, что он будет вовсе последним. Удостоенные подарка или жетона получали право носить на форме полковой крест и зачислялись пожизненными членами собрания. Это давало им право бывать там, иметь там свой счет и даже приводить туда гостей. От настоящих офицеров они отличались только тем, что не имели права голоса. Ушедший из полка с жетоном или с подарком автоматически зачислялся в общество «старых Семеновцев», которые также имели своего председателя, выбиравшегося на собрании, и свой суд чести. Если бы «старый Семеновец» учинил что-либо предосудительное, то по суду чести он мог быть исключен из общества и имя его попало бы в ту же «черную книгу». Хотя и редко, но такие случаи бывали. «Старые Семеновцы» поддерживали близкую связь с полком и председатель имел право и возможность оказывать влияние на полковые дела. В полковой жизни это была крупная фигура. Многие из старых семеновцев выходили впоследствии в большие генералы или в крупные сановники и, естественно, тянули за собой своих. Такие общества бывших офицеров существовали во всех гвардейских полках. Благодаря бывшему конно-гвардейцу, министру двора графу Фредериксу, одно время все крупные должности в Министерстве Двора были заняты бывшими конно-гвардейцами. Из старых семеновцев известны были старый генерал-адъютант М. И. Драгомиров, генерал Махотин, б. начальник военно-учебных заведений, министр по делам Финляндии генерал Лангоф, начальник Главного Штаба ген. Михневич, Начальник Морского ген. штаба адмирал кн. Ливен и многие другие. В старых семеновцах состояли и бывшие командиры, которым при прощании подносился полковой жетон, но уже без баллотировки.

Конечно, не на общих собраниях, а в частных беседах, офицеры печникового толка нередко подымали жгучий вопрос: имеем ли мы, офицеры, нравственное право открыто и откровенно пьянствовать в Собрании, особенно в лагерях, в то время, как нашим солдатам не дается даже той чарки водки, которую в прежние времена им всегда, давали. На это возражали

следующее. Что пьянствовать нехорошо — сомнению не подлежит. Все дело в мере. Нигде в уставе не сказано, что солдату воспрещается пить водку или вино. Ему воспрещается быть в нетрезвом виде, но это же воспрещается и офицеру, с той разницей, что если напьется солдат, то он рискует самое большее пятью сутками ареста, если же напьется офицер, то ему грозит подневольный уход из полка и порча всей его карьеры. Офицер умеет пить и держать себя прилично, солдат же, как общее правило, не умеет. В старину солдаты служили 25 и 15 лет, т. е. на военной службе били уже взрослыми, а часто и пожилыми людьми. Нынешние солдаты — мальчишки 21–23 лет. Чем позже они качнут пить вино, тем лучше. Наконец, нынешние солдаты служат три года, а офицеры всю свою жизнь. Нельзя не признать, что доводы эти были довольно веские.

В 1905 году вышла в свет повесть Куприна «Поединок». В ней описывается в самых мрачных красках служба, а главное жизнь офицеров армейского пехотного полка, со стоянкою в глухом местечке в Польше, где единственным развлечением офицеров было ходить на станцию железной дороги, встречать и провожать пассажирские поезда. Описывается офицерское нищенское существование, связи с полковыми дамами, зеленая скука, и безобразные, дикие попойки в Офицерском собрании, где вдребезги пьяные офицеры выплескивали друг другу в лицо стаканы с пивом, срывали друг у друга погоны и сцепившись в драке валились на грязный, усыпанный окурками заплеванный пол. Повесть эта, пожалуй, самая талантливая вещь из всего, что Куприн написал, в офицерской среде в свое время наделала большого шума. У нас ее все читали и комментировали. Одни говорили, что это ложь и злостная клевета на русское офицерство. Другие, что похоже на правду, но сильно сгущены краски. Наконец, третьи утверждали, что все так оно и было и что голая действительность еще много гаже.

Сравнивать жизнь Купринских офицеров и наших, конечно, трудно. Мы были «баловни судьбы». Но тем, что в нашей жизни не бывало не только «поединков», но даже простых ссор, этим мы обязаны исключительно самим себе. Этим мы обязаны «внеслужебной дисциплине», которая ни в каком уставе предписана не была, но которая насквозь пропитывала всю нашу жизнь и которая делала Купринские сцены, или даже легкое подобие их, практически невозможными. Не говоря уже о службе, но и вне службы, и даже в частном доме, среди нас всегда были «старшие» и «младшие», причем старший, хотя бы только на один чин, и хотя бы даже по списку в том же выпуске, имел право приказать младшему и младший обязан был это приказание

выслушать и исполнить. Ссор не было не потому, что все так уже нежно любили друг друга, а потому, что их нельзя было допускать, и тот старший, который в своем присутствии допустил бы такую ссору, был бы сам позван за это к ответу.

Но этому поводу вспоминается один характерный случай. Дело было в самом конце лагерей. Было воскресенье и почти все офицеры разъехались. В довершение неприятности «шел дождь, и перестал, и вновь пошел». Была типичная Красносельская погода первых дней августа. В лагере, кроме дежурного и помощника, остались по наряду по два офицера на батальон, все подпоручики, и старший из них Сергей Романовский. После обеда, накрытого на конце стола, все мы, человек шесть, перешли наверх, в комнату, где стоял рояль, и потребовали себе кофею и коньяку. Сначала все шло тихо и мирно, но потом один из компании, Алексей Репинский, любивший и умевший дразнить, стал вышучивать другого офицера Фогта, который в обыкновенном состоянии был добродушен и незлобив, но если его раздразнить мог быть опасен. Фогт сначала отшучивался, но потом замолчал и стал хмуриться. Начинало становиться неприятно и в воздухе запахло ссорой. Романовский, который несколько раз пытался переменить разговор и унять задиру, увидел, наконец, что пришло время действовать серьезно.

— Репинский, я тебя прошу это прекратить, и я не шучу.

— Что за вздор, что же я такое особенное сказал… Я сказал только, что Фогт…

Но докончить он так и не успел. Романовский поднялся, застегнул китель и ледяным голосом сказал:

— Подпоручик Репинский, я как старший из присутствующих офицеров приказываю Вам уйти.

Репинский побледнел, пожал плечами, но должен был встать и уйти.

Романовский и Репинский были одного корпуса и одного года производства, но по полковому списку Романовский был на три человека старше.

Внеслужебная дисциплина поддерживалась у нас всеми возможными способами. Когда в комнату входил командир полка, все вставали и становились смирно. Если в комнате находились одни обер-офицеры, т. е. капитаны и ниже, и входил полковник — все вставали. Если ты сидел, а стоявший старший, хотя бы на один чин, обращался к тебе с вопросом, ты должен был встать. Каждый офицер, пришедший в Собранье, должен был ко всем подойти и со всеми поздороваться, при чем здороваясь со старшими, нужно было остановиться, поклониться и ждать, чтобы старший протянул тебе руку. Если ты приводил в столовую гостя,

то должен был сначала подвести его к старшему и представить его, а потом познакомить его со всеми остальными. В столовой начать курить можно было только спросив предварительного разрешения у старшего. И старшего не только по чину, а по полковому списку. Если ты уже сидел в столовой и курил и входил старший, то, чтобы продолжать курить, следовало спросить у него разрешения. Никакого «амикошонства», с дружескими подзатыльниками и с обращением друг к другу на «Петьку», «Ваську», «Кольку» и т. и. не допускалось. Почти все офицеры были между собой на «ты», но это «ты» было отнюдь не фамильярное. Всех старше тебя, хотя бы на один чин, полагалось называть по имени и отчеству. «Ты, Николай Николаич», или «ты, Александр Сергеич».

Уже на второй год службы я был «на ты» со всеми капитанами, но позволить себе к ним самомалейшую вольность, мне бы и в голову никогда не пришло. Все эти на поверхностный взгляд незначущие мелочи, сразу же после того, как молодой человек надевал полковую форму, затягивали его, так сказать, в «моральный корсет», к которому он быстро привыкал и который очень скоро переставал чувствовать. И это было то, что называлось «внеслужебная дисциплина».

Не считая гвардейских кавалерийских полков, где, как например, в Лейб-Гусарах или в Конной Гвардии, могли служить только состоятельные люди, из гвардейских пехотных полков, наш был, увы, самый дорогой. У Преображенцев, которые и принимали и тратили на представительство если, не больше, то во всяком случае не меньше нашего, жизнь облегчалась тем, что все общие расходы относились на полковые средства. У них был т. наз. «священный капитал», который пополнялся из доходов с земли и недвижимости, которыми, как юридическое лицо, владело «общество офицеров». Доходы эти были настолько крупные, что позволяли оказывать ежемесячную помощь некоторым из наиболее нуждавшихся офицеров. На эти деньги, и кажется не без помощи бывшего однополчанина императора Николая II, Преображенцы выстроили себе и содержали великолепное, отделанное мрамором Собрание на Кирочной. На те же деньги содержалось их второе маленькое Собрание 1-го батальона на Миллионной. Никаких таких средств у нас не было и все расходы по содержанию нашего Собрания и по приемам гостей нам приходилось нести самим. Существовало два капитала, один «полковой заемный», а другой «заемный гр. Клейнмихеля», пожертвованный бывшим командиром. Но из этих капиталов можно было брать ссуды, 300 рублей, из обоих, которые нужно было погашать и с процентами, что вопроса

никоим образом не решало. При таких порядках, не считай личных расходов по Собранию, завтраки и обеды, которые, у скромного человека достигали обыкновенно 70–80 рублей в месяц, общих обязательных месячных вычетов было 40–50 рублей. Таким образом, получая 86 рублей жалованья, на одно Собранье у молодого офицера выходило в месяц 130 рублей. А квартира, а одежда, а удовольствия? Даже так называемая «светская жизнь», т. е. посещение семейных домов, которые принимали у себя офицерскую молодежь, стоило денег. От времени до времени нужно было приносить цветы и конфеты, или брать ложи в театр.

Между прочим с театром дело обстояло так. Перед началом зимнего сезона Собрание брало абонемент в Мариинский театр на балет. Ложа в бенуаре была из года в год одна и та же. Те четверо, которые в это воскресенье желали ею воспользоваться, должны были записаться на неделю раньше. Сговорившись заранее можно было получить ее и одному и позвать знакомых. В том же абонементе были ложи у Преображенцев и у Измайловцев. Сидеть в театре дальше 5-го ряда считалось «неприлично». Но императорские театры делали офицерам льготу. В Мариинский, вне абонемента, в Александрийский и в Михайловский (французский) можно было приезжать за десять минут до поднятия занавеса и садиться на «свободные места». Такое свободное место в первых двух рядах продавалось офицерам за два рубля.

В «дореформенное время», в смысле офицерской задолженности в Собраньи, порядки были следующие. Офицер завтракал и обедал, приглашал гостей, требовал вина, широкой рукой подписывал записки на бутылки шампанского, а счет его все рос и рос и вырастал иногда до 2–3.000 рублей, и это при том условии, что все его жалованье целиком шло в ту же бездонную бочку — офицерское Собрание. И, наконец, наступало 1-ое мая, официальный день выступления в лагери и грозный день в офицерской жизни. К этому дню все счета по Собранию должны были быть ликвидированы. Давались отсрочки, но не больше трех, четырех месяцев, после чего, если долг был не погашен, происходила экзекуция. Офицер снимал форму, долг его раскладывался на всех, а имя его попадало в «черную книгу». Попасть в «черную книгу» можно было впрочем и не только за долги, а за все «неприличные гвардии офицеру поступки». Исчезал из обращения не только сам попавший в «черную книгу», но бесследно пропадало и его имя, которое стиралось с полкового серебра и вычеркивалось отовсюду, где оно могло фигурировать. Для полка человек умирал и о нем больше не вспоминали. И это случалось обыкновенно с мальчиками 20–23 лет от роду, вся вина

которых была в том, что в Петербурге было много соблазнов, что они были молоды, неопытны, слабы характером и тянулись за людьми, которые были богаче их. Кажется в 1908 году, когда таких скоропостижно ушедших оказалось четыре человека, т. е. больше половины всего выпуска, «Распорядительный Комитет» провел умную реформу. Было решено, что счет на еду закрывать в Собрании офицеру нельзя, но на вино можно и должно. Постановили, что каждый может пользоваться кредитом всего до 200 рублей. Если офицерский счет перевалил за двести, то такому офицеру закрывается кредит на вино. Вино он мог требовать, но расплачиваться за него должен был уже не клочками бумаги с подписью, а наличными деньгами. А так как наличных денег обычно не имелось, то молодому человеку вместо шампанского приходилось пить пиво или ключевую воду. Разумность этой меры сказалась уже на следующий год. Долги на 1-ое мая стали выражаться уже не в тысячах, а в небольших сотнях и число ушедших уменьшилось наполовину.

«Распорядительный Комитет», состоящий из 5 человек, обыкновенно выбирался на год и подчинялся Общему собранию. Если «старший полковник» была власть воспитательная, то распорядительный комитет был орган исключительно хозяйственный и ведал всеми делами Собрания. Между собою Комитет выбирал председателя, причем, как всюду и всегда, если удавалось выбрать подходящего человека, который для блага общественного был согласен безвозмездно давать свой труд и время, все шло отлично и все были довольны. Все офицеры могли непосредственно обращаться в «Распорядительный Комитет», но исключительно письменно, путем «книги заявлений». Книга эта всегда лежала на виду, в Собраньи, но своим видом и содержанием отнюдь не походила на знаменитую Чеховскую «Жалобную книгу». Содержалась она в чистоте и в порядке, и разграфлялась вдоль на две неравные части. Левая, широкая сторона, служила для заявлений, правая узкая, для ответов. Само, собой разумеется, что все заявления и пожелания должны были быть составлены в сугубо корректной форме и должны были начинаться или, кончаться одной фразой: «не найдет ли Распорядительный Комитет возможным и т д. По первому году службы выступать в книге заявлений не рекомендовалось, но начиная со второго, подобрав компанию сочувствующих, чином постарше, делать это было уже можно. Попробую по памяти восстановить страничку «книги заявлений».

Время — лагери, 1906 года.

«10-го мая 1906 года. Сегодня в седьмом часу утра я

пришел в Собрание, чтобы выпить кофею. По крайней мере 10 минут не мог никого дозвониться. Наконец, вылез собранский вестовой, немытый и небритый. Кофей был наполовину холодный и подавший его вестовой был в грязных перчатках. Казалось бы к семи часам утра собранские вестовые должны уже быть на ногах и в приличном виде. Не найдет ли Распорядительный Комитет возможным обратить внимание на это безобразие. Капитан Назимов I».

Через два дня на правой стороне книги появляется ответ.

«Собранским вестовым чистые нитяные перчатки, выдаются два раза в неделю. Буфетчику и старшему вестовому сделано замечание. Предс. Распор. Комитета капитан Лялин».

«23-го мая 1906 года. Не найдет ли возможным Распорядительный Комитет привести в порядок тенисную площадку. Вся она покрыта ямами, вследствие чего мячи отскакивают не по физическому закону падения и отражения, а в произвольном направлении, что делает правильную игру невозможной». За сим следуют подписи пяти офицеров. Наконец на правой стороне появляется: «Два года тому назад тенисная площадка была в полном порядке и несмотря на это почти всегда стояла пустая. Присутствие на ней ям объясняется тем, что г. г. офицеры не дают себе труда надевать перед игрой тенисные туфли, а бегают по площадке в сапогах с каблуками. В виду того, что играющих в тенис офицеров имеется в полку всего 5–6 человек и того, что по наведенным справкам капитальный ремонт площадки стоил бы больше ста рублей, Распорядительный Комитет не считает возможным произвести этот расход».

Подпись председателя.

«26-го мая 1906 года. Не найдет ли Распорядительный Комитет возможным завести в саду, в офицерском гимнастическом городке, наклонную лестницу для лазанья и параллельные брусья».

Следуют подписи 15 человек и из них одного полковника (Левстрема) и двух капитанов (Лоде и Сиверса). Это заявление уже серьезное и заслуживает внимания. И, действительно, на

следующий день на правой стороне появляется:

> «Наклонная лестница и параллельные брусья будут заведены».

И, как всегда это случалось, первые недели после того, как они появились, около них по вечерам всегда толпился народ. Потом это надоело и к ним уже никто не подходил. Взрослые люди, а впрочем и не взрослые, могут правильно и регулярно заниматься гимнастикой только по принуждению. Одно время зимой мы организовали гимнастическую группу и пригласили инструктора. Собралось около 15 офицеров. Три раза в неделю, к пяти часам, в корридоре одной из рот, к великому удовольствию наблюдавших чинов, мы переодевались в спортивное платье и, под командой чеха Вихры, начинали бегать, прыгать и кувыркаться. И тут, как и всегда в такого рода благих начинаниях, увлечение оказалось кратковременным. Наша группа просуществовала всего одну зиму. Почему-то считалось, что заставлять взрослых людей, г. г. офицеров, заниматься спортом, в частности гимнастикой, неудобно и неприлично. В этом сысле единственное исключение делалось для стрельбы в пехоте и для верховой езды в коннице. Надо надеяться, что в нашей новой современной армии этот вопрос поставлен иначе.

Теперь скажу несколько слов о том, что было «принято» и что «непринято».

В старое время в России на железных дорогах существовало 3 класса, первые два мягких, а третий жесткий. Все офицеры, платя за билет 3-го класса, могли ездить во втором. Офицерам 1-ой Гвардейской дивизии рекомендовалось ездить в 1-ом классе, особливо на малые расстояния. Из Красного Села в Петербург, при стоимости билета в 36 копеек, все ездили в первом. Когда я вышел в полк, по столичному городу Санкт-Петербургу еще ползала конка, влекомая парою кляч. В ней ездить гвардейским офицерам было неудобно. Вскоре по главным улицам забегал электрический трамвай. По началу вагоны были чистенькие и новенькие и в трамвае стали ездить все, даже генералы. Когда в субботу после обеда офицеры уезжали из Красносельского лагеря, то выходя с Балтийского вокзала, в трамваях рассаживались кавалергарды, конногвардейцы, лейб-гусары, Преображенцы, наши, и все прекрасно себя в них чувствовали. С течением времени трамваи потеряли свой блеск и новизну и подверглись демократизации. Скоро в них разрешено было ездить солдатам, а офицеры, те кто не держал своих лошадей, постепенно перешли на прежний, довольно дорогой и довольно медленный способ передвижения — извозчиков. Нужно заметить, что первые

таксомоторы появились в Петербурге за год до войны. Извозчичья такса существовала только в теории, а на практике нужно было «рядиться». Садиться «без торгу», особенно на хорошего извозчика, было не безопасно. При расчете, несмотря на твое офицерское звание, он мог тебя обругать, что было уже нежелательно. А потому, выходя из подъезда, обыкновенно говорилось:

— Извозчик, на Кирочную, 40 копеек.

На это почти всегда следовало:

— Пажалте, васясо!»

Отстегивалась полость и твои ноги погружались в сырое сено. Вследствие климатических условий, тротуары бывали часто достаточно грязны и для поездки в тонких лакированных ботинках на бал или на обед, извозчик был единственное возможное средство передвижения. Вообще извозчики была довольно крупная статья расхода. У ведущего «светскую жизнь» офицера на них выходило до 30–40 рублей в месяц. На углу Невского и Владимирской, около ресторана Палкина, находилась биржа «лихачей», у которых лошади были разбитые на ноги рысаки и особенно щегольские санки или пролетки на надувных шинах. Драли они сумасшедшие деньги. На них ездили обыкновенно юнкера кавалерийского училища, студенты белоподкладочники и девицы легкого поведения. Гвардейским офицерам ездить на лихачах считалось неприличным.

Было принято, и нашими «роялистами» всячески поощрялось посещение офицерами больших ресторанов. Считалось, что это хорошо для полкового «престижа». Ездить в рестораны можно было только в первоклассные. Таковыми считались: «Кюба» на Морской, «Эрнест» на Каменноостровском, «Медведь» на Конюшенной, два «Донона», один на Мойке, а другой у Николаевского моста, и «Контан» на Мойке. Позволялось заходить во французскую гостинницу и к Пивато на Морской и в «Вену» на улице Гоголя, но уже только для еды, а не для престижа. В первых шести ресторанах все было действительно первоклассное. И цены были первоклассные. Пообедать там вдвоем, с обыкновенным вином, меньше чем за 10–15 рублей было невозможно. Тем, кто приезжал вечером, после обеденных часов, полагалось пить шампанское. Одно время наша веселящаяся молодежь облюбовала помещавшийся поблизости «Контан» и довольно часто туда ездила, являясь обыкновенно попозднее, когда обед был уже кончен.

«Контан» был небольшой, но очень уютный ресторан, куда входить нужно было по длинному корридору, по коврам, в которых тонула нога и где преобладающие цвета были темно-

красный с золотом. Окна, выходили в сад. При нашем входе, знаменитый тогда дирижер, румын Жан Гулеско, останавливал музыку и оркестр начинал играть Семеновский марш. За это ему на тарелочке посылался бокал шампанского и золотой пятирублевик. Во всех первоклассных ресторанах бутылка шампанского стоила десять рублей. Компания человек в пять могла свободно обойтись двумя бутылками и таким образом удовольствие людей посмотреть и себя показать стоило не так уж дорого.

Когда наша публика отправлялась в большие рестораны, то все обыкновенно заранее справлялись сколько у кого имеется денег и давали друг другу торжественное обещание веселиться на «скромных началах». Это не всегда удавалось. Помню раз была зима и воскресенье, для одиноких и ни к кому не привязанных молодых людей — грустный день, особенно вечер. Синематографов, где человек за гроши может приятно провести время и переменить настроение, тогда еще не существовало. А бывали настроения, особенно у молодежи, которые властно требовали перемены. В один из таких несчастных вечеров, прихожу в Собрание и грустно сажусь обедать. Кроме дежурного в Собраньи ни души. Кончаю обед и думаю: «Еще только семь часов, впереди целый вечер, что же я буду с собой делать?» Читать не хочется, а обстоятельства временно сложились так, что пойти некуда. Вдруг совершенно неожиданно, он почти никогда не обедал в Собраньи, в столовую входит Алексей Рагозин, и тоже в мрачном настроении. Мы друг другу обрадовались и сразу же стали думать, что бы нам такого предпринять. Первым делом установили размеры свободной наличности. У меня в кармане оказалось 4 рубля, а у него 7. Решили провести вечер скромно и культурно: поехать в театр. Приезжаем в Александринку. Билетов нет. Едем во французский Михайловский театр. Приезжаем — билетов нет. Стоим на подъезде и вспоминаем, что рядом на Конюшенной имеется ресторан «Медведь», где только что открылся «бар», первый в Петербурге. В баре можно посидеть перед прилавком на высоком стуле и выпить «кок-тейль», развлечение совершенно по нашим средствам. Пришли к «Медведю», взобрались на стулья, получили по высокому стакану со льдом и с очень вкусным и пьяным снадобьем, выпили и повторили. На душе стало легче. Перед тем, чтобы уходить, решили заглянуть в общий зал, где на убранной цветами эстраде очень увлекательно играют румыны. Не входить, а только заглянуть. В зале, где публики было не очень много, посередине стол, а за ним кончают обедать пять офицеров, два артиллериста, два стрелка и один конногвардеец, все приятели Алексея по

Пажескому корпусу. Самое умное было бы скрыться, но пропустили момент. Нас заметили и тут же отрядили двух нас ловить. Взяли нас под руки и усадили за стол. Эти молодые люди, которые что-то праздновали и были уже в сильно приподнятом настроении, вскоре решили, что так скучно кончать вечер нельзя и что нужно ехать в «Аквариум». «Аквариум» был загородный очень дорогой кабак, где в зале ели и пили, а на эстрада давали «программу», пенье, танцы и прочие развлечения. Мы с Алексеем переглянулись и честно и открыто заявили, что ехать мы никуда не можем по той простой причине, что у обоих у нас в кармане 4 рубля 50 копеек. На это было сказано, что это совершенно неважно, так как у кого-то из пяти деньги есть. А важно другое. Важно то, чтобы Семеновские офицеры не отстали от дружной компании и тем не уронили бы себя на век в глазах их товарищей. При такой постановке вопроса, когда затрагивалась честь мундира, пришлось ехать в «Аквариум», где было накурено, шумно и пьяно. После «Аквариума», уже, неясно помню как, очутились, у цыган, в Новой Деревне. Там был уже сплошной туман. В 6 часов утра на тройках вернулись домой, отвезя стрелков, которые поспели-таки на первый поезд в Царское Село и на занятия не опоздали. Мы с Алексеем в эту ночь, конечно, тоже не ложились. Через два дня мы получили записки, что за приятно проведенное время, с нас по раскладке причиталось получить по 80 рублей с носа. Мы покряхтели и заплатили. Так кончались иногда увеселения на скромных началах.

Отношений между полками гвардии в сущности не было никаких. Каждый полк жил своей замкнутой жизнью. На полковые праздники все полки посылали друг другу поздравительные телеграммы, а в своей дивизии посылались депутации, командир и адъютант. Такие же депутации, опять-таки, в своей дивизии, посылались, если случались похороны офицера, конечно, только в мирное время. Иногда, в редких случаях в лагерях, один полк угощал другой обедом и после этого снимались группой. В нашем музее имелись две таких группы. На одной наши офицеры сняты с лейб-гусарами, а на другой с Преображенцами. Считалось, что все гвардейские офицеры Петербургского гарнизона должны быть между собою знакомы. При встрече в публичных местах все они были обязаны подходить друг к другу, младшие к старшим, и здороваться за руку. В своей дивизии все младшие, более или менее, знали старших и могли сказать, что это полковник такой-то, а это капитан такой-то. Также знали в лицо и при случае здоровались с артиллеристами своей бригады, с гвардейскими саперами и с офицерами гвардейской кавалерии полков, стоящих в Петербурге, Кавалергардского и Конной Гвардии. Но дальше

отношения были уже исключительно личные. Случалось, что два брата служили в разных полках. Через этих братьев, чужие офицеры бывали в чужих Собраниях и завязывали более близкие знакомства. Когда в обыкновенный день чужой офицер приходил в Собранье, особенного внимания на него не обращали. Все с ним любезно здоровались, но занимался им тот, кто его позвал. Если же он приглашался на большой обед, за которым председательствовал командир полка, как бывало на «четверговых обедах» у нас и в Конной Гвардии, то гостю оказывалось специальное гостеприимство, вынести которое было не легко. Чтобы не осрамиться, иначе говоря не напиться вдребезги и не провалиться на испытании, необходимо было соблюдать сугубую осторожность. У закусочного стола больше двух, трех рюмок не пить и все промежуточное, красное и белое, оставлять в стаканах, твердо памятуя, что главное впереди. Когда наступало это главное, вставал командир полка и предлагал тост «за славу такого-то полка, представителя которого мы имеем удовольствие видеть сегодня среди нас». Затем трубачи играли марш гостя и ему подносился сосуд, обыкновенно вместимостью около полубутылки. И этот сосуд нужно было выпить одним духом до дна и над головой перевернуть, в доказательство того, что в нем не осталось ни капли. Затем по ритуалу, через несколько минут, должен был встать гость и, от имени своего полка, выпить, и тоже до дна «за славу и процветание доблестного полка» хозяев. После чего трубили хозяйский марш. Официальная часть была кончена, но испытание далеко нет. Гость садился и к нему начинали подходить собранские вестовые с серебряным блюдом и на нем бокал шампанского. Поднося блюдо гостю, вестовой говорил: «от ротмистра такого-то» или «от поручика такого-то». Гость должен был встать, повернуться лицом к пославшему, который тоже вставал, поклониться и выпить, по возможности до дна. И таких приветственный бокалов посылалось несчастному гостю двадцать пять, тридцать, т. е. почти от всех офицеров, сидевших за столом. Таким «представителем» своего полка мне довелось побывать у Измайловцев, у Конно-Гренадер в Петергофе и у Кирасир (желтых) в Царском Селе. У кирасир нас было двое и в предвидении жестокой выпивки мы приняли предварительные меры предосторожности. Отправляясь на вокзал, мы купили полфунта сливочного масла и съели его без хлеба, пополам. Было довольно противно, но это нас спасло. Поздно ночью из Кирасирского Собрания мы вышли, если не совсем как стеклышко, то во всяком случае соображая, где мы и что мы.

Среди гвардии у каждого полка была своя репутация. Одни

были более популярны, другие менее. Но публично выражать о чужих полках свое мнение, особенно не очень лестное, было строжайше запрещено. Бывали случаи, правда, много раньше моего времени, когда за недостаточно почтительные отзывы о чужих полках, неосторожных офицеров вызывали на дуэль, что иногда кончалось увечьями и смертью. Официально считалось, что все полки Российской армии, в частности гвардии, одинаково хороши, но что есть между ними один полк, который лучше их всех. И это, конечно, свой собственный. Тому же учили и солдат.

Были полки, между которыми наблюдалось соперничество и даже некоторая натянутость отношений. Так не очень жаловали друг друга Кавалергарды и Конногвардейцы, Уланы и Конно-Гренадеры, Преображенцы и мы. Между нами и Преображенцами отношения были подчеркнуто корректные, но близости никакой. И это при том, что зачастую нами командовали бывшие Преображенцы, а Преображенцами наши. Нужно сказать, что когда оба полка выступили в поход, все разногласия исчезли бесследно и сами собою. На войне «чада Петровы» дрались бок о бок и чувствовали себя братьями, какими они и должны были быть.

У многих полков были прозвища, которые держались главным образом в солдатской среде. Измайловцев, за их белые околыши, называли «хлебопеками». Нас, Семеновцев, почему-то «кузнецами», а Преображенцев — «Захарами». Кличке этой имеется псевдоисторическое объяснение. Существовало шуточное предание, что будто бы императрица Елизавета Петровна, которую Гренадерская рота Преображенцев возвела на престол, получив за это название «лейб-компании», приехала раз в казармы поздравить своих лейб-компанцев с праздником. Случилось это 5-го сентября, в день Захария и Елизаветы, именины самой царицы. Получив от солдат поздравление, она поинтересовалась узнать нет ли между ними Захаров, дабы поздравить их в свою очередь. Как только она это сказала, вся рота, как один человек, выступила вперед. Захарами оказались все. «Захары», и солдаты и офицеры принимали свою кличку добродушно и нисколько на нее не обижались.

Почти все, что я здесь описываю, прошло и быльем поросло и разумеется никогда не возвратится. Возвратиться этому так же невозможно, как невозможно, чтобы нынешние современные молодые люди оделись бы вдруг в чулки и пудреные парики, а женщины в высокие корсеты и кринолины. Жизнь идет вперед. Написанное здесь есть маленькая страничка из быта дворянской России, с которой быт прежних гвардейских офицеров был органически и неразрывно связан. Быт есть тот фон, на котором

пишется история, а потому и заслуживает быть правдиво и беспристрастно списанным.

Подпоручик Николай Ильин — редактор царской телеграммы

Со мною в корпусе учился кадет Николай Ильин. Он был на класс моложе меня. Знал я его хорошо главным образом потому, что один год, когда я был в 5-ом, а он в 4-ом классе, по общему ротному ранжиру мы стояли в строю рядом, а в спальне получили рядом кровати. На следующий год осенью, когда мы все вернулись с летних каникул, Ильин во всей 1-ой роте оказался по ранжиру чуть не 5-м. Как это часто случается с детьми, он в 3 месяца вытянулся на полголовы и продолжая расти буйно, кончил Корпус правофланговым.

Когда в нашем 7-м классе были выпускные экзамены, 6-й класс распустили на лето. Потом я уехал в Петербург, поступил в Павловское училище, и на два с половиной года потерял Ильина из виду.

По случаю Японской войны производство офицеров в 1905 году было сделано 22 апреля, т. е. на 4 месяца раньше положенного срока. После производства и явки в полк, представления командиру, офицерам, и всяких других формальностей, меня по положению отпустили в 21-дневный отпуск и я уехал к матери в деревню. Вернулся я, когда полк был уже в лагерях. И сразу же пошла стрельба, ротные учения, затем ротные смотры и т. д., и т. д.

В начале июля получаю я на полк из Москвы письмо. Письмо длинное и обстоятельное. Пишет Ильин. Оказывается, он фельдфебель Его Величества роты Александровского Училища, производство будет этой осенью, в августе; он послал просьбу о приеме в полк, просит меня его кандидатуру поддержать, а главное, как можно скорее и как можно подробнее написать ему про полковую жизнь, про полковые порядки и сколько нужно иметь своих денег, чтобы жить и служить.

Я посоветовался с Кокой Крузенштерном, который был на три года меня старше и который меня на первых порах «опекал», и ответил в таком духе, что, мол, о полковой жизни и порядках нужно писать книгу, а не письмо; что первый год или два к молодому офицеру присматриваются, а посему нужно держать себя тише воды — ниже травы, чем скромнее, тем лучше. Что же касается своих средств, то если он будет питаться в Собраньи, что рекомендуется, то жалованья он вообще на руки получать не будет. А при таких условиях, устроившись с кем-нибудь из офицеров на холостой квартире, хотя и трудно, но можно

прожить, получая из дому 75 рублей в месяц, и от времени до времени сотню, другую на новый мундир или ликвидацию счетов по Собранью. Но с такими финансами о существовании Петербургских холостых удовольствий, дорогих ресторанов и т. д. нужно забыть, шампанского без нужды не пить, почаще ходить пешком, а из развлечений ограничиться посещением семейных домов и театра, благо и то и другое стоит дешево. Ильин за это письмо меня поблагодарил и сказал, что если примут, то он выходит.

Через несколько дней в читальне, после обеда, было назначено «общее собрание». Председательствовал старший полковник К. А. Баранов. Сначала решали какие-то мелкие вопросы, потом Баранов посмотрел в свои бумажки и сказал:

— Господа, в этом году выпуск молодых офицеров будет в августе. Из Александровского Училища подали просьбу о приеме в наш полк два юнкера: фельдфебель Ильин и портупей-юнкер Азанчевский-Азанчеев. Андрей Александрович, Ты говорил мне, что Азанчевский твой племянник?

Командир 9-ой роты капитан Швецов наклонил голову.

— А об Ильине, господа, никто не может ничего сказать?

Молчание. Я робко поднял руку.

— Подпоручик Макаров.

Я встал, пунцово покраснел и прерывающимся голосом — мое первое выступление на общем собрании — начал говорить:

— Позвольте доложить, господин полковник, что я очень хорошо знаю Ильина. Мы были шесть лет вместе в Корпусе. Отец его отставной полковник, кавалерист, живет у себя в небольшом имении в Тульской губернии. Могу засвидетельствовать, что сам Ильин человек скромный и хорошо воспитанный.

— Вы с ним в переписке?

— Так точно.

— Вы его предупредили о необходимости иметь некоторую помощь из дому?

— Так точно, я ему написал.

— Благодарю Вас.

Я со вздохом облегчения опустился на свое место.

— Больше никто ничего об Ильине не знает?

Молчание.

— Ставлю на голосование вопрос о приеме в полк портупей-юнкера Азанчевского-Азанчеева и фельдфебеля Ильина. Кто согласен — прошу сидеть, не согласен — встать.

Все сидят.

— Приняты. Объявляю общее собрание закрытым.

Через минуту читальня опустела.

В начале августа, мы были еще в лагерях, явились новые офицеры. Явился и Ильин. И сразу всем чрезвычайно понравился. Был он, действительно, премилый и очень симпатичный юноша. В свои 19 лет он еще больше вытянулся и раздался вширь. Но над туловищем Голиафа возвышалась совершенно мальчишеская кадетская физиономия с большими серыми глазами, длинными ресницами и с губами вечно растянутыми в широкую улыбку. Он был похож на 7-месячного дога, у которого уже все, как у взрослой собаки, и ноги и хвост, но только морда еще осталась щенячья.

Больше всего привлекало в нем счастье, щенячий восторг, который выпирал отовсюду от сознания, что он, наконец, взрослый, офицер, да еще офицер Семеновского полка.

Вел он себя совершенно так, как было нужно. Скромно и подтянуто.

В ближайшую субботу за обедом состоялось для молодых офицеров «испытание вином». Оба выдержали отлично. Ильин, когда молодежь и некоторые старшие стали пить с ним «на ты», чуть не плакал от упоения.

* * *

Осенью, за недостатком казенных квартир в Офицерском флигеле, мы поселились с Ильиным вместе, в городе, в районе полка. А на следующий год, когда в полк вышел Митя Коновалов, приятель Ильина по училищу, мы все трое взяли большую квартиру на Рузовской, где у нас была столовая, гостинная и по комнате на каждого. Служили мы тогда все трое в Учебной команде. Завтракали всегда в Собраньи, но Коновалов и я обедали там редко. У него в Петербурге был дядя, министр торговли, и многочисленные кузины, у меня — родственники и знакомые, так что после занятий, часов около 5 вечера, мы с ним зачастую уезжали в город, и возвращались домой поздно, прямо спать.

Ильин из расположения полка почти никуда не отлучался. Родных у него в Петербурге не было. Знакомых, как мы ни старались, он себе не завел. Не танцевал. Был слишком громоздок и не весьма уклюж… С девицами и дамами краснел и конфузился. Вообще «салоны» были не его сфера. Даже на ежегодные обязательные визиты жене командира полка и полковым дамам, его нужно было тащить на аркане. Легко и свободно он чувствовал себя только в поле, в казарме и в Собраньи. Там он и торчал все свое свободное время, в обыкновенные дни от 12 до 2

и от 5 вечера до 11 ночи, а в воскресенье и в табельные дни от завтрака и до самых поздних часов.

Он был исключительно музыкален, хорошо пел всякие песенки и романсы и очень талантливо бренчал на рояле. Коновалов, который был серьезный пианист, и которого отличный «Шредер» стоял у нас в гостиной, глубоко презирал и, как он говорил, «кабацкий репертуар» Ильина и всю его манеру игры. Но большинству, особенно под веселую руку, нравилось…

Популярность Ильина к этому времени необычайно возросла. За исключением командира полка и старшего полковника, все поголовно офицеры были с ним «на ты». Все это вместе взятое, и щенячий вид, и телячий характер, и готовность всем услужить, сделали то, что не бывало случая, чтобы в Собраньи загуливала какая-нибудь компания и на почетном месте не восседал бы Ильин, он же «слон» или «слоненок», как его сразу же окрестили… И все равно капитаны или подпоручики, и по какому угодно предлогу — именины, ротный праздник, получение роты, производство, возвращение из отпуска, — все равно, раз на столе стоят бутылки, сейчас же зовут Ильина, благо он всегда под рукой… Одних застольных куплетов, где фигурировали «бокалов звон» и «слон», «вина», «слона» и «Ильина» было съимпровизировано до полдюжины.

Популярность, так иди иначе, всегда стоит дорого.

Отцовских 75 рублей в месяц Ильину стало определенно не хватать. В Собранье приходилось доплачивать и крупно. Уже на второй год службы юноша заболел острым и хроническим безденежьем. Кошелек, как предмет без надобности, по неделям оставался лежать в ящике ночного столика. На службу, как все мы, Ильин ходил пешком, не курил, завтрак и обед давало Собранье, а расходы по квартире, чай, сахар и даже прачку, нам с Митей Коноваловым вскоре пришлось делить не на 3, а на 2 части… Денщика он тоже себе не брал. Обслуживал его мой Алексеев, достойный предшественник Смурова. Но, собственно, даже и двух денщиков на нас трех было много. В почти всегда пустой квартире, оба наши Лепорелло занимались тем, чем преимущественно занимались все денщики Российской армии при холостых офицерах. С утра до вечера валялись на своих койках и плевали в потолок.

При таких условиях физически Ильин мог бы продолжать существовать довольно долго. Но длительное безденежье имеет неприятной свойство скверно отзываться на психике… Покорный этому закону, даже и он в конце концов стал терять свою жизнерадостность. Он все чаще и чаще мрачно сидел в углу и, по старой кадетской привычке, грыз ногти.

От времени до времени мы с Митей устраивали ему жестокую головомойку. Начиналось обыкновенно так:

— Слон, пойдем в театр…

— Не пойду, денег нет.

— Идем, мы тебя приветствуем…

— Я и так у вас кругом в долгу, да и оставьте вы меня, пожалуйста, в покое… Все мне надоело. И вообще я вижу, что бедный человек у нас служить не может.

— Да, если бедный человек на 50 рублей в месяц вылакивает шампанского, то, конечно, не может. Скажи, пожалуйста, почему ты ведешь себя таким ослом? Вот ты полюбуйся, Митя, что он вытворяет! В прошлую субботу после завтрака, заглянул в столовую. Сидит Н. М. Лялин, его брат Гвардейского Экипажа, еще один моряк, и наши: Цвецинский, Шелехов, Касаткин и Боба Пронин… На столе бутылок видимо-невидимо… И на почетном месте восседает наш красавец… Скажи на милость, зачем ты в такую компанию лезешь?.. И как ты туда попал?

— Я тоже проходил, меня позвали, налили вина, я сел…

— Ах, тебя позвали, тебе вина налили… Ну и выпей свое вино, извинись и уходи. Пойми, ты, что это все богатые люди… Что им выкинуть 15, 20 рублей на шампанское, то же, что тебе поехать на трамвае!

— Да это еще что, — вступает Коновалов — как-то недавно Назимов устраивал ужин своим «литературным друзьям»… Было 6 пиджаков, а в нашей форме хозяин Семен Назимов и… Николай Ильин! И, конечно, вино ставил… Ведь ставил? Да брось ты, наконец, свои ногти! Ставил, тебя спрашивают?

— Ну, ставил… Не могу же я пить на счет Назимова…

— Ну, конечно, душечка, не можешь… У капитана Назимова два дома в Петербурге, а у подпоручика Ильина две пары сапог…

Ильин мрачно молчит. Опять вступаю я:

— Все твое горе в том, что тебе непременно нужно лезть к людям, которые в десять раз богаче тебя…

— Зачем же тогда позволяют?

— Что позволяют?

— Да вот пить так в Собраньи?

— Ну, милый друг… Вот ты чего захотел… Собранье — клуб. И мы не кадеты, а взрослые люди. Кто хочет и может, пьет шампанское, другой пьет красное и водку, а третий вообще может ничего не пить, и никто его за это не осудит… Люди у нас служат с разными средствами. Среди солдат то же самое. Один получает из дому 3 рубля, другой рубль, а третий ни шпинта. Один пьет чай с баранками и с колбасой, а другой с казенным хлебом. А солдаты они одинаковые… И мы, офицеры, раз мы служим в

одном полку и носим одну форму, тоже все одинаковы, и в строю и в Собраньи, совершенно независимо от того, кто сколько тратит и кто в какой «свет» ездит. Ты мне ответь вот на какой вопрос: заставляют тебя пить? Принуждают? Почему ты не подойдешь наедине к Цвецинскому или к Пронину и не скажешь им: «Вот ты, Максимилиан Адамович, или Борис Семеныч, звал меня тогда, а я уклонился… Ты понимаешь, я бы душой рад с вами посидеть, да не могу, денег нет…» Можешь быть уверен, что они за это будут тебя только уважать. Им просто, как богатым людям, часто в голову не приходит, особливо в веселом состоянии, что у другого может не быть денег… Да и скажи на милость, зачем ты непременно желаешь подражать Лялину и Назимову, а не берешь пример, скажем, с Феди Сиверса… Он полковой адъютант, все его любят и уважают… Когда бывают общие завтраки, обеды, ужины, и он с удовольствием сидит, и пьет, и гуляет, но чтобы Федя Сиверс, ни с того, ни с сего здорово живешь, сел бы в Собраньи хлестать шампанское… Никогда с ним этого не бывало. А денег у него, поверь, много больше, чем у тебя.

— Немцы аккуратны, экономны и расчетливы…

— Ну, возьми русского, Леонтьева, но он для тебя, конечно, не авторитет, потому что дирижирует на балах. Ну, возьми Андреева, один из лучших строевых офицеров в полку, — между прочим получает из дому столько же, сколько и ты, если не меньше — но он тоже, по-видимому, не годится. Недостаточно великолепен… Ну, попробуем еще. Командир 12-ой роты Зыков… Тут уж ничего не сможешь сказать. Русский, кончил Пажеский Корпус и две академии. Две, — военную и юридическую, и не для карьеры, а просто для себя, так как никуда из полка уходить не желает. По-французски, по-немецки, по-английски, говорит, как ты по-русски. Каждый год ездит заграницу, то в Париж, то в Италию, то в Испанию. Отец его издатель «Русской Старины» и очень богатый человек. А сам он ничего от отца не берет, а одними статьями и лекциями зарабатывает в месяц больше, чем ты получаешь в полгода… И тоже не кругом воздержатель. Я видел, как он в лагерях после четвергового обеда с длинным Лоде казачка откалывал… Ну он-то для тебя авторитет?

Ильин молчит.

— Отлично, молчанье знак согласия. Так хочешь знать его мнение о тебе? Изволь. Недавно он отвел меня в Собраньи в сторону и спрашивает: «Скажи, пожалуйста, что Ильин состоятельный человек?» — Нет, — отвечаю, — Александр Сергеич, совершенно несостоятельный». — «Так что же он так кутит? Вылетит из полка и жизнь себе испортит. А будет жаль… Славный мальчик и хороший офицер!..»

Слон пытается что-то возразить. Мгновенно затыкаю ему рот.

— И вылетишь. Делается это чрезвычайно просто. Сколько у тебя долгу в Собраньи? Наверное уже за 500 перевалило… К весне дойдет до 1000. К 1-му мая полагается весь долг ликвидировать. Отец денег не даст. Дадут отсрочку… Сунешься к ростовщикам… Вексель на две с половиной тысячи. Меньше как 150 % с таких, как ты, они не берут… Не заплатишь в срок — ко взысканию… Пришлют в полк бумажку. Вызовут к старшему полковнику. Тот скажет — мне очень жаль, Ильин, вы хороший товарищ и хороший офицер… но вы сами понимаете, вам придется уйти… — Долги твои полковые разложат на офицеров и наденешь ты синий пиджачок… И никогда, ты в жизнь свою больше в Собранье не войдешь. Будет полковой праздник, даже поздравить не посмеешь. Фамилию твою с серебра сотрут. И вообще будет сделано так, как будто бы ты никогда в полку не служил и никто из офицеров никогда тебя не знал… И сам никому не посмеешь сказать, что ты бывший Семеновец… Потому что если спросят у кого-нибудь из офицеров — был у вас такой Ильин? — то ответ будет «Не знаю, не помню, по моему не было…» А все те, которые теперь с тобой за столом сидят, и вино пьют, и шутят и ты их на «ты» называешь, пройдут мимо тебя на улице и тебя не узнают… Черная книга!..

Это последняя капля. Ильин вскакивает с дивана, затыкает уши и со слезами в голосе стонет:

— Подите вы все к чорту! Что вы меня мучаете!

Бросается в свою комнату и запирается на ключ.

Месяца два слон держится. Воды не замутит. Потом опять побежит старой дорожке.

И все это, как ни грустно, неминуемо кончилось бы для Ильина «черной книгой», если бы не произошло в его жизни важное событие, на фоне коего разыгрался трагикомический инцидент, вследствие которого синий пиджачок он все таки надел, и не по своей воле. Но стремительный уход его повел в конце концов «не к смерти, а к славе Божьей».

Вот как этот случай произошел.

В ноябре 1908 года Государь, из-за здоровья наследника, жил в Крыму, в Ливадии. Свой полковой праздник Введения мы справляли тогда в Петербурге, так сказать в «Высочайшем отсутствии».

Утром была в Полковом соборе торжественная обедня, Введение — храмовой праздник, затем молебен, на который съехались депутации от соседних полков и «старые Семеновцы», а по окончании молебна на площади, перед главным входом в Собор — «Церковный парад». «Церковный» отличался от

обыкновенного парада тем, что не выносились знамена и люди были без ружей. Командир полка А. А. Зуров обошел ряды, поздоровался и поздравил с праздником. Затем поднялся на три ступени паперти и во весь голос прочел только что полученную царскую поздравительную телеграмму. Прочел и передал полковому адъютанту. «Державному шефу» прокричали «ура», музыка сыграла «Боже, Царя храни» и все разошлись. Люди строем пошли есть улучшенный обед в свои роты, а офицеры гурьбой, в перемешку с гостями, повалили есть сильно улучшенный завтрак в Офицерское Собрание.

Дежурным по полку в этот день был поручик Н. Г. Михайловский, бывший студент филолог, мужчина состоятельный, положительный и основательный, а помощником дежурного — Николай Ильин.

В Собраньи, честь честью, как полагалось, под звуки музыки, приступили к закуске, затем сели за стол, съели и выпили, что было положено. Литовёт и собранские разлили вино и начались тосты.

В промежутке между тостами, к дежурному Михайловскому подходит собранский вестовой и шепчет ему на ухо:

— Вашсродие, там в передней один вольный («вольный» на солдатском языке значило статский, человек не в форме) дожидается. Говорит от газеты «Новое Время». Желают списать царскую телеграмму, для помещения, говорит, отчета по полковому празднику, Вашсродие.

— Проведи его в дежурную комнату.

Михайловский выждал, когда замолкло ура и музыка после следующего тоста, положил салфетку, степенно встал, сделал несколько шагов к месту, где сидел полковой адъютант поручик Ф. Я. Сиверс, наклонился к нему и сказал:

— Послушай, Федя, в дежурной сидит репортер из «Нового Времени», хочет списать царскую телеграмму для отчета. Где она?

Федя Сиверс был образцовый служака. Но в эту самую минуту ему не хотелось отрываться от приятной беседы с Преображенским адъютантом, с которым они были приятели еще по Пажескому Корпусу. Он и сказал:

— Голубчик, возьми ее сам. Она в канцелярии, у меня в письменном столе, в среднем ящике. Или, знаешь что… зачем тебе самому беспокоиться. Пошли Ильина… у него ноги длинные.

Михайловскому эта мысль понравилась. Зачем в самом деле иметь помощника, если по всякой мелочи нужно бегать самому. Он степенно вернулся на свое место, подозвал собранского и сказал:

— Попроси ко мне помощника дежурного, подпоручика

Ильина.

Прибежал Ильин. Он весь горел и сиял от счастья и восторга. Были для такого его настроения и особые причины, о которых впереди, но тогда и парад и гимн, и полковой марш, и солнечный холодный ноябрьский день, и парадные мундиры, и тосты, и музыка, две, три рюмки водки и два, три бокала шампанского, и все его любят, и офицеры, и солдаты, и сила, и здоровье, и 21 год от роду… И главное «то», о чем он никому не скажет… В эту минуту во всем Семеновском полку он был бесспорно самый счастливый человек. Бывают тихо-счастливые и бывают буйно-счастливые. Ильин был буйно-счастливый.

— Что прикажешь, Николай Григорьевич?

— Ильин, сходи, пожалуйста, наверх в канцелярию. Там у Сиверса в ящике в письменном столе царская телеграмма. Возьми ее и продиктуй корреспонденту «Нового Времени». Он в дежурной комнате. Если он будет что-нибудь спрашивать, расскажи. Телеграмму потом отнеси сам на место.

— Слушаю, Николай Григорьевич. — И помчался. По дороге чуть не сшиб двух собранских с блюдами. В два прыжка взлетел на 2-ой этаж в канцелярию, ворвался в адъютантский кабинет, схватил телеграмму и таким же аллюром спорхнул вниз в дежурную комнату. Навстречу ему поднялся со стула неопределенного вида седоватый господин в пенсне.

— Вы корреспондент «Нового Времени»? Очень рад! Подпоручик Ильин. — Горячее рукопожатие. — Сегодня полковой праздник. Не хотите ли позавтракать? Не хотите? А то позавтракали бы… Отличный завтрак, с вином… Я сейчас велю подать! Ну, как хотите… Вам царскую телеграмму? Я сейчас вам продиктую. Присядьте, пожалуйста. Бумаги и чернил? Ах, у вас все с собою, сию минуту!..

Ильин развернул телеграмму и стал читать про себя. Телеграмма была в две с половиной строчки:

> «Поздравляю Лейб-Гвардии Семеновский полк с полковым праздником точка Уверен что потомки Петровских Потешных полков всегда и всюду окажутся достойными своих славных предков Николай».

Как дежурный, Ильин на параде не был, чтения телеграммы не слышал, а только из окон Собранья слушал музыку и «ура».

Сейчас он в первый раз читал царскую телеграмму. Читал… и глазам своим не верил… Нет, это быть не может! Такой холодной, сухой и официальной телеграммы добрый государь своему Семеновскому Полку послать не мог! Единственное объяснение: случайно подмахнул не читая… В тех случаях, когда он лично

поздравлял, он говорил совсем в других тонах… Когда завтра, на свободе телеграмму хорошенько прочтут все в Полку, будет горькая обида… Да и все люди, во всей России, которые уважают и гордятся Семеновским Полком, будут оскорблены до глубины души… А Ильин в эту минуту сам был слишком счастлив, чтобы позволить, чтобы кто-нибудь во всем свете был огорчен или обижен. Необходимо было спасти положение. Что бы это ни было, упущение, недосмотр, или злостная интрига, публиковать телеграмму так, как она была написана, было совершенно немыслимо. Ильин задумался. В глубине его души зрело важное решение.

— Вы хотели продиктовать телеграмму…

— Да, да, сейчас, сию минуту. Вы готовы? Пишите пожалуйста: «Сердечно поздравляю дорогой мне, Лейб-Гвардии, — написали? — Семеновский полк с счастливым днем их полкового праздника точка Глубоко уверен запятая, что доблестные потомки Петровских Потешных… написали? — Полков всегда, всюду и везде, нет, зачеркните «везде»… всегда и всюду окажутся достойными… написали? — достойными своих славных предков Николай.

В голове у Ильина промелькнуло, что для теплоты хорошо было бы прибавить еще «душою с вами»… но, решил, что не нужно. И так, как было, получалось уже совсем прилично. На телеграмму в таком виде невозможно было обидеться.

— Ну, так как у вас вышло?

— Сердечно поздравляю дорогой мне Л.-Гв. Семеновский полк с счастливым днем их полкового праздника. Глубоко уверен, что доблестные потомки Петровских Потешных полков всегда и всюду окажутся достойными своих славных предков. Николай.

— Ну, так будет хорошо, — со счастливым сознанием исполненного долга сказал Ильин.

— Вы не откажете подписать?

— Да, да, конечно.

Под телеграммой, своим крупным кадетским почерком, Ильин изобразил свою фамилию, не забыв проставить, как учили, число, год и даже час.

— До свиданья. Всего хорошего.

И снова горячо пожав руку слегка удивленному корреспонденту, Ильин побежал положить телеграмму на место, а потом в столовую, где завтрак уже кончался.

Остальное время дня, до парадного ужина, Ильин провел в беготне по всему расположению полка, от Звенигородской до Рузовской. Нужно было посмотреть, чтобы праздничное настроение в казармах не слишком повышалось и чтобы

откровенно пьяные были спрятаны в безопасные места. Взысканий в этот день не только не накладывалось, но снимались старые и выпускались, всегда немногочисленные, арестованные. Дежурному в Полковой праздник было много дела. И это свое «надзирательское» дело Ильин справлял с присущим ему вообще, а в тот день специально, щенячьим восторгом. Он влетал в роту, отмахивал дежурного с рапортом, всех поздравлял и всех трепал по плечу. Встречали и провожали его тоже всюду с широкими и ласковыми улыбками. А когда возвращался в Собрание, устремлялся в телефонную будку, где запирался и сидел по часу, здорово мешая этим и председателю распорядительного комитета, и хозяину собрания, и буфетчику Люмену, занимавшимся приготовлениями к ужину, и удивлявшимся, с чего это Ильин, который никогда раньше в этом замечен не был, вдруг захворал телефонным недугом.

Вечером, вернее ночью — съезжались к 11 часам — в Собраньи был ужин, с великими князьями, с цыганами, с командирами и адъютантами других полков дивизии, с неаполитанскими певцами, со «старыми Семеновнами» и т. д. Последние выбрались из Собранья часов в 10 утра. На следующий день утренних занятий в полку не было. К завтраку офицеры собрались поздно. С утра принесли «Новое Время», но почти никто его не читал, а те, кто и прочли, ничего особенного не заметили, в том числе и командир полка.

Но нашлись люди, которые заметили. В одном из близких полков обратили внимание, что телеграмма Семеновцам была что-то уж слишком «милостивая». Подозрительными показались: «сердечно поздравляю» и «счастливый день полкового праздника». Так царь почти никогда не писал.

Надо сказать, что фабрика царских телеграмм была сложная и тонкая. Телеграммы посылались разного рода, и соболезновательные вдовам, по случаю кончины всяких важных лиц, но главным образом поздравительные, и высоким особам, и учреждениям, и обществам, и полкам. Кроме нескольких гвардейских полков, государь был шефом многих других военных частей. Заведывали этим делом два чина царской походной Канцелярии, и главным из них был преображенец Флигель-адъютант Дрентельн. Куда бы царь ни ездил, в Крым, в Финляндские шхеры, в Москву или в Киев, всюду они его сопровождали, так как за все свое 23-летнее царствование, в отпуску, как мы все грешные, царь, никогда не был и «служебные обязанности» нес непрерывно.

Дело свое Дрентельн знал мастерски. Никогда не бывало случая, чтобы те, кто имел на это право, был обижен

неполучением во время знака царского внимания. Главная трудность заключалась даже не в том, чтобы помнить все сроки и числа. Для этого держались особые календари, которые каждый день просматривались. Самое сложное было составить телеграмму, где каждое слово должно быть взвешено на аптекарских весах, и при этом еще так, чтобы телеграммы по возможности не были похожи одна на другую. А так как, при всем богатство Российского языка, поздравительных слов имеется в нем все-таки ограниченное количество, то и получались бесконечные комбинации и перестановки непременно одноценных слагаемых. Если одному учреждению писалось: «Уважаю вашу полезную деятельность на благо Родины», то другое учреждение получало: «Ценю вашу плодотворную работу на пользу Отечества», и ни на одну унцию больше или меньше. Если Апшеронскому пехотному полку писалось «славные апшеронцы», то Нижегородскому Драгунскому нужно было дать «Доблестные нижегородцы», а иначе смертная обида.

Исторически известно, что Государь Николай II к исполнению своих царских обязанностей относился самым добросовестным образом и все, что ему подавали, внимательно, от доски до доски прочитывал. Прочитывал он и все телеграммы, которые от его имени посылались, но никогда в них ничего не менял. Он знал, что лучше и политичнее написать все равно невозможно.

Вот эти-то «аптекарские весы» и были всему последующему причиной. Два года тому назад Преображенцы получили просто «поздравляю», а Семеновцы в этом году: «сердечно поздравляю». Тут что-то не так. Нужно проверить. И проверили. Проверили на телеграфе. Проверили в редакции, где показали оригинал за подписью дежурного по полку. Все стало ясно. Тексты разные. Дело пошло выше и на пятый день дошло до ушей Главнокомандующего Гвардией и Петербургским Военным округом, грозного во гневе, Великого Князя Николая Николаевича.

Николай Николаевич взбеленился, вызвал ничего не подозревавшего Командира полка и форменным образом на него наорал:

— Молокосос, мальчишка, безусый подпоручик, да еще при исполнении служебных обязанностей, ничтоже сумняшеся, по своему вкусу переиначивает собственные слова Государя Императора, слова, которые на всем протяжении Империи Российской, между 5 морями, имеют силу закона!!! Какие же порядки, какая дисциплина в полку, где такие вещи возможны?!

Генерал-майор Александр Александрович Зуров, бывший коренной преображенец, кончивший Военную Академию,

образцовый офицер, прекрасный человек и один из наших лучших командиров, стоял навытяжку, как школьник, бледный, как полотно, и закусив губы. Стоял и ничего возразить не мог. По внешности проступок был, действительно, чудовищный.

Зуров вернулся к себе в Командирский дом, сел к столу и написал прошение об отставке. В 44 года его военная карьера была кончена. После этого, до самой революции, он сидел в Москве помощником заведующего Московскими дворцами, генерала Истомина, тоже старого Семеновца.

Когда в полку взяли на цугундер Ильина и стали его спрашивать, как ему могло взбрести в башку удрать такую дикую штуку он ничего толкового ответить не мог. Пьян был? Конечно, нет. Две-три рюмки водки и два-три бокала шампанского, с его тренировкой, от этого не пьянеют… Кроме того он отлично знал, что он был «в наряде», а должностным лицам пить много не полагалось. Была общая линия, которую давали, старшие, что пить можно, но пьянеть не нужно, а терять голову и вовсе нельзя. Это считалось уже провалом. Веселость и в пределах, но отнюдь не больше… А напиться на дежурстве, за это могли выгнать из полка.

А если не пьян, так что же тогда?

Единственно, чего от него добились в виде оправдания, это:

— Нашло затмение.

Но причину этого «затмения» он указать был не в силах, а может быть и сам ее не сознавал.

Вскоре последовали «кары». Полковой адъютант Федя Сиверс был посажен на 30 суток под арест. Дежурный Михайловский и Ильин были приказом «исключены» из полка и уволены в запас. Михайловский через 4 месяца был принят обратно. Ильин был уволен на совсем.

В этом году, как и в прошлые, мы жили с Ильиным вместе, но уже не на Рузовской, а на казенной квартире, в офицерском флигеле.

В первые дни после происшествия, я признаться за него побаивался, как бы он чего-нибудь сумасшедшего не натворил. Уж очень жестоко но нем ударила судьба. Жестоко и, главное, неожиданно. Все эти дни он где-то пропадал и явно от меня бегал. Когда я утром уходил, он еще спал, а возвращался всегда поздно и на цыпочках пробирался в свою комнату.

Я начал не на шутку беспокоиться. Форму он снял сразу же после приказа. Бог его знает, думаю, может быть пьянствует теперь целыми днями по каким-нибудь низким кабакам; на это денег много не нужно…

На пятый день зову моего денщика и спрашиваю:

— Ты знаешь, что случилось с поручиком Ильиным?

— Так точно, знаю. Солдаты очень их жалеют.

— Ну, а что он, заметно грустный, печальный? Я его совсем не вижу, а ты с ним разговариваешь…

— Какое, Вашродие, печальный… Утром встанут, все хохочут, свищут и песни поют… А вчера меня вальс учили танцевать… Только еще плохо выходит. Как с ним, так ничего, а один пойду, нога за ногу заплетет, и шабаш!

Час от часу не легче. С ума он сошел что-ли? Молниеносное помешательство? Тоже бывает от сильных потрясений.

Наконец на седьмой день все объяснилось.

Вечером сижу у себя и занимаюсь. Слышу, открыли ключом парадную дверь, потом стук ко мне.

— Можно, я тебе не помешаю?

— Прошу покорно… давно вас поджидаем!

Вошел Ильин. И на лице, как и весь этот месяц, блаженство, восторг и упоение. Как будто бы его не выгнали, а в чин произвели.

Он сел и стал рассказывать. Рассказывал сбивчиво и сумбурно, то со смехом, то чуть что не со слезами. А во время пауз вскакивал и пытался душить меня в своих могучих объятиях.

В середине рассказа я послал Алексеева в собранье за вином.

Выраженный обыкновенными словами нормального человека, рассказ Ильина сводился вот к чему:

На одном из первых балов, на который кто-то из наших умудрился его чуть не насильно вытащить, как раз в начале ноября, он встретил 20-летнюю девицу Наташу Бр-ль, младшую сестру одного молодого офицера. Офицера этого я хорошо знал. Они познакомились, да так и просидели вместе рядом целый вечер. Оба были неразговорчивы. Больше смотрели друг на друга. На прощанье было решено, что им совершенно необходимо увидеться еще раз и никак не позже следующего дня. Во время третьего свидания, состоявшегося в Летнем саду, на третий день знакомства, им стало ясно, что единственный выход из положения, это немедленно же пожениться. Это важное решение, не обращая никакого внимания на гулявших кругом нянек с детьми, они тут же закрепили долгим поцелуем.

Вот с этого поцелуя и началось Ильинское помешательство. Он был очень чистый и скромный мальчик. От полу-светских дам он бегал, как от чумы, а к светским относился с большой опаской. Влюблен он был в первый раз в жизни.

Разговор с матерью Наташи, — отец несколько лет назад умер, — имел место как раз накануне полкового праздника. Мать сказала, что сама была молода и отлично их понимает… Но как

насчет жизненной прозы? Жить то на что? У Наташи средства крошечные, а претендент получает, или вернее не получает, 86 рублей в месяц жалованья… Пускай поступает в Академию или ищет другую службу. Вообще пусть устраивает свою жизнь на более солидных и прочных основаниях. Принимая же в соображение, что им обоим вместе 41 год, то подождать со свадьбой 2–3 года будет только полезно. А пока что, пусть видятся хоть каждый день, выходят вместе, гуляют и считаются женихом и невестой.

Ильин был на седьмом небе.

Вот в этом-то звании жениха самой лучшей и самой прекрасной на всем белом свете девушки, он и проснулся утром 21 ноября 1908 г. и заступил и а столь памятное для него дежурство.

После казуса, ход событий сильно ускорился. Мать сдалась на мольбы и дала себя убедить, что ждать дольше в сущности не имеет смысла.

Через 10 дней свадьба, в воскресенье после обедни, в приходской церкви на Васильевском острове. Свадьба самая скромная и без всякого «тарарама». Со стороны невесты в церкви будут мать и брат, а со стороны жениха только два шафера. Митя Коновалов и я.

К этому времени стали вырисовываться и материальные дела. В полку и у офицеров, и у «старых Семеновцев», что в этом отношении было одно и то же, — имелись большие связи, и в военном и в гражданском мире. Если хотели кого-нибудь «устроить», то устраивали моментально. Ильина любили и жалели и предложили ему на выбор несколько возможностей. Он выбрал Крестьянский Банк.

Крестьянский Земельный Банк с обыкновенными банками, которые торговали деньгами и занимались спекуляциями, имел общего только название. Это было крупное государственное учреждение. Занимался Банк тем, что скупал за наличные у крупных владельцев земельные площади, большей частью лежавшие втуне, иногда по несколько десятков тысяч десятин, и продавал их крестьянам по себестоимости и с баснословными рассрочками, на 20, 30 и больше лет. При помощи этого банка, с каждым годом все шире и шире развивавшего свои операции, лет через 30–40, вся необрабатываемая помещичья земля, тихо, скромно и незаметно должна была перейти в крестьянские руки. Дело было огромное, живое и интересное.

Кто-то из наших приходился двоюродным братом управляющему Банком. Поехал к нему и попросил за Ильина. Управляющий сказал, что люди им всегда нужны, но что на

первых порах больше 120–130 рублей в месяц он дать не может. Пусть едет в провинцию и учится, благо молод, а там видно будет. Будет хорошо работать, пойдет вперед и пойдет быстро.

Назначение Ильину было обещано в Ярославль.

Дело начинало складываться совсем хорошо. Управляющим Отделением Крестьянского Банка в Ярославле был муж моей старшей сестры, прекрасный человек и между прочим «self made man»[1], сам сын крестьянина и в своем деле большой дока.

Я написал ему об Ильине письмо и через 5 дней получил ответ. Сделает, конечно, что может, но главное, мол, зависит от самого действующего лица.

В назначенное воскресенье, не в парадных мундирах, как полагалось, а в сюртуках, Коновалов и я явились в церковь. Ильин был в единственном своем пиджачке, в синем. Наташа в обыкновенном белом tailleur[2]. Она нам чрезвычайно понравилась. Видная, красивая и удивительно милая девушка. Для женщины очень высокого роста. Своему Голиафу-жениху — выше плеча. В смысле человеческого подбора составить удачнее пару было немыслимо.

Когда, Ильин нас ей представил и мы приложились к ручке, она отвела нас немножко в сторону и сказала:

— Спасибо вам за Колю.

Мы слегка покраснели и говорим:

— Не стоит благодарности… Теперь, Наталья Алексеевна, уж вы его держите в порядке…

Она посмотрела на нас умно и говорит:

— Я его хоть и недолго, но очень хорошо знаю. И… не беспокойтесь!

Мы еще раз приложились к ручке, а про себя подумали:

— Ну, наш слон попал в хорошие руки… Дай Бог…

После венчания мы с Митей поехали завтракать в собранье, а Ильины к себе.

В этот же вечер мы, с традиционными конфетами, провожали их на Николаевский вокзал.

Зима 1908–9 года была моя первая зима в Институте Восточных Языков. Приходилось довольно много работать. Кроме того завелись новые интересные знакомые и об Ильине я, по правде сказать, начал забывать. Написал ему как-то письмо на Банк. Он мне не ответил. Это меня не очень удивило. Я знал, что писать он вообще не горазд, а письма в особенности.

В первый раз после Ильинской свадьбы, мне удалось попасть в родной Ярославль зимой через два года. Остановился я у сестры. Один из первых моих вопросов зятю был:

— Ну, как у тебя Ильин процветает?

А тот говорит:

— Отлично процветает. И молодец твой Ильин. Когда нам про него из Петербурга написали, мы не очень так чтобы обрадовались… Люди у нас здесь простые… Пришлют, думаем, этакую гвардейскую цацу, с моноклем в глазу и с пробором до поясницы… куда мы такого сунем?… Бумаги подшивать, так, это у нас сторожа делают. Да и где ему с нашими мужиками дела делать. Это не то, что у вас в казарме: Смирно! Глаза в середину! Во фрунте не разговаривать!! В нашей работе разговаривать первое дело… Ходить, да разговаривать… Через несколько месяцев взял его с собой на разбивку участков. Так я ходок не плохой, а он меня загонял… И с мужиками первый сорт… Говорит ясно, дельно, терпеливо, десять раз одну и туже вещь повторит, и так ее повернет, и этак, покуда дойдет, куда нужно. И где он это так научился?

— Да в той же казарме, — говорю — которую вы так презирать изволите… В хорошей казарме гораздо больше рассказывают, чем орут и приказывают… — А чтобы подразнить его, добавляю: — А кроме того сын помещика… С детства в деревне жил…

— Ну, помещичьи сыны тоже разные бывают… Нет, кроме шуток, ей-Богу, молодец твой Ильин. Недавно были у меня знакомые мужики из Ростовского уезда. Я у них в сентябре разверстку делал и Ильина с собой брал. Так они мне говорят: «Ты, Иван Васильич, нам опять этого большого-то пришли… Ильина-то… Он парнишка толковый и человек душевный… И чайку попьет, и поговорит, и растолкует… Ну, и водочки выпить может… умеет!» Главное учится. Что же он у нас два года всего, а уже и межевое дело начал понимать, и землю различает и в лесе разбирается. А это наука нелегкая… В этом году представил его к повышению. Но зато по канцелярии швах… В поле — орел, а заставить бумагу написать, непременно напутает…

— Научится, — говорю, — ну, а как у него семейная жизнь?

— Да лучше не бывает. Эта Наташа у него просто чудо какая баба… Красавица, умница, и держит его крепко… Младенец у них недавно родился, великан… Премированные родители. Живут, конечно, очень скромно. Жалованье маленькое… 130 рублей. От разъездов, по трешнице в день, ему кое-что остается. Но в их годы это пустяки!.. Все так начинали. Нет, я тебе говорю, отличная пара, трогательная пара!

Вечером я отправился к Ильиным в гости. Жили они во втором этаже деревянного домика на Воздвиженской улице. Было у них весьма небогато, но очень уютно. По стенам в столово-гостинной висели полковые фотографии и стоял даже рояль,

правда, довольно старенький. Шампанского нам не подавали, а пили мы чай с плюшками, ели солонину с хреном и усидели графинчик водки. А когда стали клянчить второй, то Наташа оказалась адамант и выдать еще категорически отказалась. Она то сидела с нами, то уходила в соседнюю комнату успокаивать повелительно оравшего гигантского младенца, у которого резались зубы. Лакеев в гетрах или горничных в фартучках и кружевных наколках тоже не было. От времени до времени в комнату входила средних лет и огромного роста — подстать этому жилищу великанов, — домашняя прислужница, единственная в доме. На голове у нее был платок, а на ногах валенки. Она громко давала советы Наташе насчет младенца и непринужденно встревала в наш разговор. Ей так же непринужденно отвечали. Чувствовалось, что в этом маленьком доме с большими обитателями, она не последнее лицо, и что отношения тут царят простые, человеческие, без всяких этих Петербургских фиглей-миглей.

Ушел я от Ильиных очень поздно, крепко расцеловавшись с обоими. А на следующий день утром я уехал и больше их никогда не видал.

В 11-м году меня назначили служить заграницу. В 13-м я вернулся в Петербург и женился. А в 14-м началась война.

Ильина, как молодого запасного офицера, призвали, но не знаю по какой причине в наш полк он не вернулся. Его бы, конечно, с радостью приняли.

Попал он в Сибирские стрелки. В середине ноября 14-го года сибиряки грудью защищали Варшаву. Шли страшные, кровопролитнейшие бои под Болимовым и Боржимовым. Ильин командовал уже ротой. 20 ноября его дивизия отбила девять немецких атак, почти без помощи артиллерии.

На следующий день 21-го, в самый день Введения, с утра пошли в атаку наши сибиряки. Ильин поднял свою роту, крикнул, махнул шашкой, встал во весь свой богатырский рост, и был убит наповал пулей в голову.

Слышал потом, что Наташа уехала в Америку и вышла там замуж. А премированный младенец вырос и сделался американцем.

«Полковые дамы» или «жены офицеров»

В Собрании, по неписанному правилу, подымать разговор о знакомых дамах, а тем более о женах своих офицеров, считалось верхом неприличия.

Этого вопроса нельзя было касаться даже принципиально, т. к. из рассуждений общего характера, легко было незаметно свернуть на частности, а это было бы, разумеется, совершенно недопустимо.

Но в откровенных беседах с глазу на глаз, о том, что должны представлять собою жены офицеров, конечно, говорили и по этому вопросу, как себя помню, существовало два мнения.

Защитники института «полковых дам» говорили приблизительно так:

> Семеновский офицер не может жениться на «неподходящей к полку» особе. Условия «подходящности» следующие: хорошая семья, хорошее воспитание и безупречная репутация. Во всех монархических странах Европы, всюду, где есть «двор», и в Германии, и в Австрии, и даже в Швеции, на происхождение и на социальное положение жен гвардейских офицеров обращается вимание. В Англии, например, требуется, чтобы жена гвардейского офицера была «presentable», т. е. имела бы право быть представленной ко «двору».
>
> Звание жены Семеновского офицера столь же высоко и почетно, как и звание ее мужа. По закону, для того, чтобы жениться, офицер должен спрашивать разрешения командира полка. Но это еще мало. О будущих женах офицеров нужно собирать справки и чем больше в этом деле будет создаваться затруднений, тем лучше… Но зато уже, когда все сроки прошли, все условия выполнены, и разрешение получено, то жена офицера как бы «принимается в полк», точь-в-точь, как в свое время был принят в полк ее муж. С этой поры она вступает в корпорацию «полковых дам», становясь к жене командира полка приблизительно в те же отношения, как ее муж к командиру.
>
> Писаной субординации для «полковых дам» нет, но неписанная имеется, и выражается она в приветствиях,

визитах и т. п. Теоретически, жена командира полка, если понадобится, может дать жене молодого офицера «совет», сделать то-то и то-то, или не делать того-то и того-то. Полковые дамы это одна семья, женщины одного круга и воспитания, и в этом случае только естественно, если более пожилые и опытные будут направлять на путь истины молодых и более легкомысленных.

Другая сторона говорила так:

Никаких «полковых дам» нет и быть не должно. Для хорошего военного жена всегда лишнее место уязвимости. Поэтому самое лучшее, если офицер не женится вовсе. Существуют же в России старые кавалерийские полки, где по традиции моложе подполковничьего чина офицер жениться не может. А иначе выходи из полка. И в смысле товарищества и боевой доблести это лучшие во всей нашей армии полки. Но если уже офицер иначе не может и все равно этот шаг сделает, то в выбор его никто не имеет права вмешиваться. Единственная оценка, которая должна применяться к жене офицера, это хорошая она жена своему мужу или плохая. Державный основатель наш, Петр, вторым браком был женат не на кисейной барышне, а женщине, которая видела виды. И Петр был с ней счастлив и она помогала ему в его трудах.

Корпорация «полковых дам» не только бесполезна, но и вредна. Офицеров полка связывает очень многое: форма, служба, общие интересы, полковые традиции, полковое товарищество в мирное время и боевое в военное. Все это настолько наполняет жизнь, настолько со всех сторон опутывает человека, что неминуемая разница характеров, некоторая разница социальных кругов, и часто весьма крупная разница материального положения, все это отходит на задний план и перестает чувствоваться. Полк десятки людей сбивает в одну семью и вырабатывает свой тип. И в выработке этого типа громкие фамилии и швыряние деньгами никакой роли не играют. Сбить в одну семью пятнадцать офицерских жен нет абсолютно никакой возможности, хотя бы уже потому, что кроме одинаковой формы их мужей их ничто в сущности между собой не связывает.

Пытаться ввести в среду офицерских жен какое-то подобие субординации — противоестественно и нелепо. Полковник всегда старше капитана, годами, службой в

полку и опытностью. Свою долю почтения и уважения от младших он получает законно и натурально. Но предположите, что такой сорокалетний холостяк полковник, с 20 годами службы в полку, пожелает жениться на 20-летней девочке, только что со школьной скамьи. И 30-летняя жена капитана, мать троих детей, должна будет стать к ней в положение младшей, уступать ей место, являться к ней первая с визитом и т. д.

Уже по своей природе, во всякие свои объединения, — особенно лишенные прямой, непосредственной цели, — женщины, к какому бы они кругу ни принадлежали, и как бы воспитаны ни были, неминуемо вносят мелочность, откуда пикировки, пересуды, сплетни и всевозможные мелкие гадости…

Конечно, нельзя требовать, чтобы все 45 офицеров полка были между собою закадычными друзьями. Но при помощи внеслужебной дисциплины, которая существует в Собраньи, легко добиться того, что весьма мало симпатизирующие друг другу люди, будут во внешне приличных отношениях.

С женщинами, опять-таки совершенно независимо от круга и воспитания, даже таких скромных результатов добиться немыслимо. Среди дам всегда найдутся «неразлучные приятельницы», но будут и такие, которые «не выносят» и «терпеть не могут» друг друга, чувств этих своих скрывать не станут и разумеется всеми силами будут стараться втянуть в свои распри и мужей. И это еще не все. В таких полковых «семьях», со включением туда и жен, неминуемо заводятся ухаживания, флерты, и, как неизбежное следствие их, дуэли, разводы, обмены женами и стремительные уходы из полка.

Поэтому никакой полковой социальной жизни, обязательного знакомства «домами», обязательных общих увеселений и т. п. быть не должно. Обязательное общение должно быть только между офицерами, в Собрании или в других местах, но исключительно на «холостой ноге». Если бы полк был «дипломатический корпус», участие жен в общей жизни было бы обязательно. Если бы полк стоял в каком-нибудь глухом местечке на австрийской границе, где единственные цивилизованные женщины это жены товарищей — это было бы неминуемо. Но в городе Санкт-Петербурге каждый имеет возможность найти себе приятный круг знакомых и помимо полка. Берегитесь «Маленького Гарнизона» и Купринского «Поединка». А потому, долой «полковых дам» и да здравствуют «жены офицеров»,

которые чем меньше принимают участия в полковой жизни, тем лучше для них самих и тем спокойнее для их мужей.

В мое время оба эти течения вылились в нечто среднее, но со значительным уклоном в сторону второго. «Полковые дамы» существовали, но в полковой жизни участия почти не принимали.

Прежде чем жениться, офицер по закону спрашивал разрешения командира полка, но разрешения давались сравнительно легко, особенно во время войны. Помню два или три случая отказов, но в этих случаях, если бы молодые офицеры просили разрешения у своих отцов, то результат был бы тот же.

При женитьбе повелительно вставал один насущный вопрос. Вопрос материальный. Если холостому офицеру его личных средств хватало только на себя, а у невесты не было ничего, то тогда приходилось уходить и искать службу, которая оплачивалась лучше, чем офицерская.

Считалось, что все жены офицеров должны быть между собою знакомы. Для этого каждая должна была побывать у каждой в приемные дни, между 5 и 7-ью часами вечера. Считалось достаточным это сделать раз в году. Младшие начинали, старшие отвечали.

Для того, чтобы узнавать жену своего товарища на улице и в публичных местах, те же ежегодные визиты к полковым дамам должны были проделывать и все офицеры. Для молодежи это была довольно тяжелая повинность. Для храбрости отправлялись обыкновенно по-двое на одном извозчике. Покончить с этим делом нужно было до второй половины ноября, до полкового праздника. Тогда же, до праздника, полагалось быть у жены командира полка.

Как сейчас помню мой первый визит в командирский дом, визит не так чтобы очень удачный.

Когда я вышел в полк, командиром был Г. А. Мин, хотя сам человек скромного происхождения, но по жене, рожденной княжне Волконской, принадлежавший к самому большому Петербургскому свету и любивший всякий блеск и великолепие. В жене его, Екатерине Сергеевне, наоборот, не было ничего «грандамастого», и видом, манерами и платьями она очень напоминала какую-нибудь Тульскую помещицу средней руки. Была еще дочка, Наташа, тоже очень милое и скромное существо. Тем не менее, благодаря вкусам хозяина, командирский дом был поставлен на очень широкую ногу, и даже командирские денщики, вместо обыкновенных белых солдатских рубашек, в торжественных случаях облекались в ливрейные фраки и красные жилеты.

Приемный день у Екатерины Сергеевны был суббота. С

визитом я отправился, сколько помнится, в одиночку. Уже подходя к подъезду, мне сильно не понравилось, что весь двор был полон карет. Были и придворные. Автомобилей в то время еще не водилось, по крайней мере в общем обиходе. Вошел я в швейцарскую, сняли с меня пальто и я, как полагалось, в самом новом сюртуке, с длинными штанами, с шашкой через плечо, левая рука в белой перчатке, по очень скользкому паркету, со сдавленным сердцем, пошел на пытку. Прошел две пустых залы и подошел к большой гостинной, откуда слышались оживленные голоса. Для бодрости я шел довольно быстро. Гостинная была не очень большая и для робкого визитера весьма подло устроенная. Около двери был поставлен большой резной красного дерева «трельяж», надо полагать еще времен Александра I, когда он наследником командовал Семеновским полком и жил в этом доме. Трельяж этот как ширма заслонял от входившего всю гостинную, со всеми гостями. А когда его обогнешь, то на быстром ходу, тут думать уже некогда. Еще несколько шагов и ты в самой гуще. Я смутно видел, что сидели какие-то дамы, стояли какие-то генералы, несколько офицеров других полков, двое или трое наших; видел круглый чайный стол, не с самоваром, а с серебряной спиртовой машинкой, вокруг него какие-то девицы и люди в статском.

Хозяйку дома, Екатерину Сергеевну, я как-то мельком видел, но конечно не узнал и бодрым шагом направился к первой даме, которая мне показалась самой подходящей. И, конечно, не попал. Шаркнул ножкой, чмокнул даму в ручку, а потом, как полагалось в Собрании, стал обходить всех гостей, с правого фланга, приговаривая: подпоручик Макаров, подпоручик Макаров… Руки, конечно, не протягивал.

Ждал, чтобы мне ее подали. Это я твердо знал еще с детства. Потом вышло самое скверное. Сел я на какой-то хрупкий золоченый стул и одна из девиц принесла мне чашку чаю (отнюдь не стакан, на светских приемах стаканов не давали) и принесла еще маленькую фарфоровую тарелочку с печеньем. Я вежливо поблагодарил и взял. Сижу. В правой руке у меня чашка, а в левой фуражка, перчатка и тарелка. Очень неудобно. Чтобы попробовать печенье, нужно поставить на пол чашку, что делать не принято. Чтобы глотнуть чаю, нужно как-то избавиться от фуражки, перчаток и тарелки. Но куда же их деть? Можно было, конечно, положить фуражку на колени, в нее сунуть правую перчатку и наверх водрузить тарелку. Но проделать это одной левой рукой, затянутой в перчатку, без долгой предварительной практики и с неспокойной душой было здорово трудно. Я и не решался и сидел так довольно долго с самым мрачным видом.

Наконец, одна очень молоденькая девица сжалилась надо мной, отобрала у меня чашку и тарелку и увела меня беседовать к окнам. По дороге я еще услыхал, как одна из дам сказала другой, показывая на меня глазами: «pauvre garcon». Сказала тихо, но я расслышал. Беседа наша у окна походила больше на вопросник.

— Вы давно в полку? — Пять месяцев. — В какой вы роте? — Рано приходится вставать утром… Вот я бы не могла так, и т. д.

Через несколько минут я восстановил душевное равновесие и не прощаясь выскользнул из гостиной. Спасительницей моей оказалась племянница Е. С., Ольга В., с которой потом мы сделались большими приятелями и часто с ней вспоминали мой первый выход в «большой свет».

Уже после первой зимы в Петербурге, я понял какие я в тот памятный день совершил крупные тактические ошибки. Во-первых, входить быстро можно в казарму, а в гостинную следовало входить медленно. Торопиться некуда. Вошед, рекомендовалось остановиться на пороге и сообразить, так сказать, план кампании. И первым делом выяснить, кто хозяйка и где ее местоположение. К ней нужно было направиться и приложиться к руке. Здороваться полагалось только со знакомыми, а незнакомым дамам полупоклон, а мужчинам ничего. «Головной убор» можно было свободно положить рядом на ковер. От чашки чая благоразумнее было вежливо отказаться, а уж тарелку с печеньем, когда ее некуда поставить иначе как на пол, принимать и вовсе не следовало. И вообще такой визит лучше было проделать стоя, подойдя к кому-нибудь из знакомых.

Но всякое знание приобретается опытом, не исключая и познаний в светском обращении.

Еще более яркий случай имел место с одним из однополчан, но уже в доме совершенно другого типа. Дом этот был большой, с многочисленными дочками, племянницами и подругами. В доме держались русских обычаев, и пятичасовой чай пили в большой столовой, за длинным столом. На столе честно стояли всякие пироги и торты и мужчинам полагались стаканы. И гости прямо шли в столовую. Приятель мой явился в дом в первый раз и чувствовал себя смущенно. Он честь честью первым делом подошел к хозяйке, тут все было на чистоту. Дама за самоваром, она и есть хозяйка, а потом решил всех обойти и всем отрекомендоваться. За столом сидело человек 25 и обход занял минут десять. Чем дальше он подвигался, тем напряжение увеличивалось. Некоторые гости были заняты разговором и не видели, что кто-то стоит за стулом и жаждет представиться…»Дядя Коля!.. дядя Коля, с тобой здороваются»…

— А, что… где? Ах, да, да, очень приятно.

Когда молодой человек закончил обход, он уже дошел, что называется, до точки, тем более, что он заметил, что на дальнем конце несколько пар лукавых глаз наблюдают за ним с веселым любопытством. Наконец, бедняга получил из рук хозяйки свой стакан чая и понес его к своему месту, но… не донес. Стакан выскользнул из рук и брякнул на пол. Немедленно же вслед за этим с девичьего конца раздался взрыв бешеного хохота. Молодой человек постоял немного, затем повернулся к двери и вышел… Внизу в швейцарской надел пальто и уехал домой с таким чувством, что все равно в этом доме больше не бывать.

Жизнь, однако, судила иначе. Он не только начал часто бывать в этом доме, но через два года женился как раз на той самой девице, которая больше всех над ним издевалась.

От застенчивости я излечился довольно скоро. Вылечил меня тоже наш офицер, капитан П., человек вовсе не военный, но мужчина неглупый, наблюдательный и сам весьма «светский».

Как-то раз он мне говорит:

— Послушай Юрий, ты застенчив?

— Очень.

— Хочешь, я тебя вылечу?

— Хочу.

— Так вот слушай. Застенчивость у нормального человека происходит главным образом от избытка самолюбия. Тебе постоянно кажется, что куда бы ты ни пришел, все только тем и заняты, что наблюдают, как ты поклонился, как ты повернулся и что ты сказал. Всякую минуту ты чувствуешь, что ты «центр», центр всеобщего внимания… А это и есть самая большая ошибка. Как только ты себе ясно, крепко и навсегда усвоишь простую истину, что все люди главным образом заняты своими делами и никому до тебя дела нет, и никому ты не интересен, как ты только это осознаешь, ты спасен… Все пойдет как по маслу, пропадет связанность и напряженность и ты не только перестанешь страдать, но начнешь находить удовольствие в обществе людей даже мало знакомых.

Совет был мудрый и помог мне чрезвычайно. Меньше чем через год я был на верном пути к выздоровлению.

Но мой случай был простой. Я был юноша возросший в провинции и для которого до Петербурга, самый «великосветский» дом, где он бывал, был дом нашего ярославского губернатора, где, кстати сказать, все было весьма по-семейному. Я помню случаи много сложнее. Помню, например, одного царского флигель-адъютанта, носителя одной из самых известных русских исторических фамилий, скажем точнее, фамилии матери Петра Великого. Родился в Петербурге и

воспитывался в Пажеском корпусе. Человек, которому было хорошо за 30. А я своими глазами видел как, разговаривая с малознакомыми дамами, он пунцово краснел, как 15-летний мальчик.

Приведу пример еще более разительный. В 1906 году, в июне, весь наш полк был приглашен в Петергоф к царю на «garden party». Прием должен был произойти на царской даче, в Александрии, в дивном парке с громадными старыми, деревьями и удивительной красоты зелеными лужайками. Накануне мы приехали из Красного Села поездом и переночевали в Уланских казармах. А на следующий день, часа в четыре, всем полком строем пошли в Александрию, с хором музыки во главе. Идти было, помнится, не очень далеко. Перед воротами парка остановились, еще раз почистились и смахнули пыль с сапог. Все были в белом, офицеры в белых кителях, солдаты в белых рубашках, и все без оружия, ни шашек, ни винтовок, ни тесаков. Погода была такая, какая только умеет бывать в Петербурге в ясные, солнечные, не жаркие, с ветерком, дни. Придя в положенное место, мы остановились и вытянулись в две шеренги, по-ротно, офицеры на своих местах. Вышел царь. Он тоже был в белом кителе и без оружия, в нашей форме; форму было видно только по синему околышу белой летней фуражки. Он обошел ряды и поздоровался. Потом скомандовали:

— Разойтись!

И мы разделились. Чины пошли дальше, где им были приготовлены столы с угощеньем, чай, сладкие булки, бутерброды и конфеты. Туда же пошел и царь с командиром полка, обходить столы.

А мы, офицеры, отправились в другую сторону, где под деревьями стоял огромный круглый чайный стол, покрытый до земли белоснежной скатертью, а на нем серебряный самовар, чашки, печенья и всякая снедь. На столом сидела царица в белом кружевном платье и принимала «гостей»… Тут же бегали царские дочки, старшей было 10 лет. Двухлетний наследник, который из-за болезни не мог ходить, сидел на руках у дядьки, матроса Деревенько. Потом его передали на руки старшему нашему фельдфебелю Р. Л. Чтецову. Придворных почти никого не было. Дежурным флигель-адъютантом был на этот день назначен вел. кн. Борис Вадимирович, который фактически у нас не служил, но числился в списках полка, часто носил нашу форму и считался как бы нашим офицером. У всех у нас настроение было радостное и веселое. Царь был также весел и, как всегда, в обращении очень прост. Умных министров он боялся, перед старшими генералами робел, но тут, в знакомой среде солдат и офицеров он чувствовал

себя тем самым полковником, командиром батальона Преображенского полка, каким он когда-то был, да так на всю жизнь и остался.

Царские девочки очень веселились. С громкими криками носились по лугу и играли с молодыми офицерами в пятнашки и в горелки. Царица исполняла обязанности хозяйки. Наливала чай и каждому лично передавала чашку. Насколько можно было судить по коротеньким фразам о детях, о погоде, или о чае, сладкий, крепкий, с лимоном или с молоком, говорила она по-русски довольно свободно, хотя с сильным английским акцентом. Но свою хозяйскую должность она исполняла с таким явным страданием, что на нее жалко было смотреть. В то время она была уже мать пяти детей и носила звание всероссийской императрицы одиннадцатый год. Казалось бы, какое смущение и неловкость могла она испытывать в обществе каких-то незнакомых 40 офицеров, которые скорее сами стеснялись в ее присутствии. И тем не менее меня поразило, что когда она задавала свои, нехитрые вопросы, лицо у нее шло красными пятнами. Это было ясно заметно, так как в те времена приличные женщины щек себе еще не красили. А когда она протягивала чашку, рука у нее крупно дрожала. Но тут, конечно, была не одна только застенчивость. Уже в те времена, наша первая полковая дама, супруга шефа, была больная и глубоко несчастная женщина.

* * *

В первый год службы с узнаванием своих дам на улице и в публичных местах часто выходило не все гладко.

Например, сидишь в театре. В антракте видишь своего офицера с дамой. Теперь, кто эта дама? Если жена, то полагается подходить. Если это родственница, сестра, сестра жены и т. п., то можно и подойти и не подойти. Если это просто знакомая, то подходить не нужно. Одного 20-минутного визита в год все-таки мало, чтобы запомнить 15 новых женских лиц, которые вдобавок имеют свойство радикально меняться с каждой новой шляпой или новым платьем.

По второму году все дамы уже выучивались твердо.

Вот собственно и все социальные обязанности холостых по отношению к женам их товарищей.

Никаких обязательных поздравлений, с новым годом, с Пасхой, с именинами, рождениями, не существовало. Было два, три женатых ротных командира, которые запросто принимали и кормили главным образом своих младших офицеров, но и только.

Никаких вечеров, балов, спектаклей и т. д. в Собраньи не устраивалось и дамам вход туда был заказан. Делалось исключение только раз в год. На третий день Рождества в Школе солдатских детей была елка. Туда приглашались все офицеры с женами. После елки, часов в 11, шли ужинать в Собрание. Дамы являлись далеко не все, а главным образом молодые, любящие повеселиться. Чтобы не стеснять веселья, ни командир полка, ни его жена не появлялись. На этот вечер большую столовую убирали под «ресторан». Выносили большой стол и ставили маленькие столики а на них лампочки с цветными абажурами. По традиции дам приглашали не мужья, а холостые. Ужинали по пять, по шесть человек, причем мужей усаживали за другие столы. На каждый стол приходилось по одной, по две дамы и столы составлялись заранее, с таким расчетом, чтобы все были друг другу приятны. Играл наш маленький струнный оркестр, так называемый «бальный», а когда его часа в два ночи отпускали, кто-нибудь из офицеров садился за рояль и начинался пляс. Обыкновенно играл Унгерн-Штернберг, который умел играть только танцы, но зато воспроизводил их с особенным чисто таперским громом и блеском. Фокстротов и шимми тогда еще не знали, а танцевали вальсы и кадрили.

Я помню один такой особенно удавшийся вечер. Пили нормально, но веселье часто приходит не от питья, а как-то само собой. В этот вечер некоторые из нас побежали в полковой музей, вытащили старые формы и облеклись в них, что между прочим строго запрещалось, но это только прибавило остроты удовольствию. Пустились плясать офицеры никогда не танцевавшие, и неумевшие танцевать, что было особенно смешно. Стали водить головокружительные кадрили, с бешеными галопами. Какая-то пара покатилась на пол, по счастью оказались жена с мужем. Одним словом, веселье было безудержное и буйное… Еще немножко и было бы нехорошо. На следующий день один из наших остряков, Б. С. Пронин, остряк невозмутимо спокойный, который ронял свои словечки уголком рта, что еще больше усиливало впечатление, когда его спросили, как ему понравился вчерашний вечер, не вынимая вечной сигары, процедил: «Было очень мило, немножко чопорно».

Такого рода веселье удавалось, конечно, не каждый раз, но весело и приятно бывало всегда. Главным образом потому, что это был единственный случай попасть в зимнее Собрание, молодые дамы эти ужины очень любили и задолго к ним готовились.

В лагерное Собрание попасть было легче. Там на втором этаже было две комнаты, устроенные на подобие ресторанных

кабинетов. Туда офицеры могли приглашать свои семьи, или просто знакомых. Этим пользовались главным образом тогда, когда офицер сам не мог уехать из лагеря. По праздникам, известное число по наряду не имело права отлучаться из лагерного расположения. Но ни в нижний большой зал ни на нижнюю террассу, ни в сад, дабы не стеснять свободу холостых в их царстве, дамский элемент не допускался. Принимать дам в лагерях у себя в бараках офицерам тоже не рекомендовалось. Единственное исключение был командирский барак, где было несколько комнат. Но я опять-таки не помню, чтобы жены командиров приезжали туда больше чем на несколько часов, исключительно по праздникам.

Все эти мудрые правила, отсутствие обязательного общения, обязательных семейных увеселений и сравнительно очень замкнутая жизнь огромного большинства женатых офицеров сделали то, что за все время моей близкой связи с полком (с 1904 по 1917), я не помню у нас ни одной дуэли, ни одного развода и вообще ни одной романической истории. Не все полки Петербургского гарнизона могли этим похвастаться. В качестве корпорации, жены офицеров выступали только один раз в году. Когда полк справлял полковой праздник в Царском Селе, дамы туда не ездили. Но если торжество происходило в Петербурге, в Михайловском манеже, и на молебне и параде вместе с государем присутствовала и государыня, то получали приглашения и дамы. На молебне они становились вместе с ней, несколько позади. Форма одежды им была: белая шляпа, белый суконный или шерстяной костюм «tailleur», белые перчатки и на шее мех. Те, кто имел шифры, фрейлинские или институтские, или медали, должны были их надевать. Перед молебном жена командира подносила царице большой букет белых роз, с широкими синими, полкового цвета, лентами.

Было еще два случая, когда дамы могли принимать участие в официальной полковой жизни, но это уже по желанию. Они могли приходить на всенощную в Собор накануне Введенья и становиться в офицерскую загородку, а летом, в конце лагеря, приезжать в Красное Село на «зарю с церемонией». Так как и заря, и церемония происходили в расположении нашего-же полка, они имели возможность приятно кончить вечер, поужинав с мужьями и их приятелями на верхнем этаже Собранья.

* * *

Но вот настал приснопамятный август приснопамятного 1914

года. Полк ушел на театр военных действий, полковые дамы остались в Петербурге. Сколько тысяч лет воюют люди и сколько тысяч лет близкие воинам женщины думают и чувствуют одно и то же. Воевать нелегко, но иметь близкого человека в постоянной опасности, засыпать и просыпаться с мыслью где он, что с ним, вот он сейчас, может быть, в эту самую минуту лежит на земле и истекает кровью, а я этого не знаю и не могу ему помочь… Это, пожалуй, еще тяжелее чем воевать… Издали всегда все кажется страшнее.

И в эти дни в Петербурге случилось то, что было понятно и естественно. Жен офицеров, прежде едва знакомых друг другу, соединило и сроднило чувство общей тревоги перед лицом общего испытания.

Еще во время мобилизации одни звонили по телефону другим:

— Ваш муж берет с собою термос? А японскую грелку? А какое белье? Вы знаете, шелковое лучше всего; говорят полная гарантия от насекомых.

Кстати сказать, как много всяких вещей, собранных с такой любовью и трогательной заботой, пришлось на войне выкинуть за полнейшей их бесполезностью… Сколько денег, подарков и всякой ласки получили от молодых «барынь» верные, но плутоватые денщики, чтобы они только получше смотрели за «поручиком» или «капитаном».

А когда полк ушел, то стали ездить и звонить в командирский дом, куда раньше морщась ездили раз в год. И сам собою образовался «Семеновский дамский комитет», а жена поведшего полк командира, Мария Владимировна Эттер, оказалась его председательницей, душой и главной пружиной.

Семеновский формуляр у М. В. был самый блестящий. Ее отец, граф В. П. Клейнмихель, был когда-то нашим командиром и она в полку родилась. А потом, выйдя замуж за И. С. Эттера, когда он был еще в молодых чинах, прошла с ним, так сказать, все должности от младшего офицера и до командира. Никаких специфических черт «матери-командирши» у нее не было. В мирное время она жила замкнуто и заботилась о муже и о сыне, 15-летнем лицеистике. Но с уходом полка на войну, семья М. В. выросла сразу до четырех тысяч.

По рождению и по мужу она принадлежала к самому большому Петербургскому свету, но большей «демократии» трудно было себе представить. Свое собственное «я» для нее вообще не существовало. Рассердить ее было можно, но обидеть немыслимо. С женами фельдфебелей и с великими княгинями она говорила в совершенно одинаковых тонах. На улице ее можно

было принять за гувернантку из бедного дома или за бегающую по урокам учительницу музыки, но никоим образом не за то, чем она была на самом деле. Кажется всю войну она проходила в одном единственном черном платье, с юбкой всегда чуть-чуть на боку.

От мужа, с которым у нее было установлено подобие телеграфного и письменного «кода», М. В. всегда имела самые быстрые и самые верные сведения о том, где полк: в походе, в резерве, в бою или на отдыхе. И понятно, что одноэтажный деревянный дом, на углу Загородного и Рузовской был магнитом, к которому тянулись сердца всех женщин у которых в полку были близкие.

По роковой ошибке, допущенной нашим начальством, наш полк как и все полки русской армии, вышел на войну в переполненном составе. В ротах было по четыре офицера, фельдфебеля стояли на взводах, старшие унтер-офицеры в строю за рядовых. Ошибка, за которую нам пришлось дорого заплатить, когда в первые же месяцы войны половина командного состава оказалась выбитой.

Благодаря непомерному количеству ушедших офицеров, сразу же по своем возникновении, дамский комитет необычайно разросся. Кроме жен, естественным путем туда вошли, матери, сестры, тетки, невесты. С каждым новым поступлением офицеров, пополнялся и комитет, который сразу же повел дело энергично и умело. Конечно, никаких благотворительных чаев или бриджей не устраивали, а первым делом обложили взносами самих себя, а для этого сократили свои расходы. Те, кто держали лошадей, стали ездить на извозчиках и на трамвае. Прекратили приемы, отпустили лишнюю прислугу, если эта прислуга сама не нуждалась в помощи. Молодые красивые женщины перестали ездить в рестораны и вместо 10 новых платьев в год носили и переделывали старые. Сначала взялись за семьи ушедших с полком подпрапорщиков и фельдфебелей. Всем им полагался «паек», но был он совершенно нищенский. Затем по возможности выясняли адреса в Петербурге и окрестностях семейств запасных солдат, ушедших с полком. Их было не много, но такие были. И нужно отдать полную справедливость женщинам этого поколения. Вся эта помощь вовсе не носила характер «благотворительности». Считалось и говорилось так наши мужья и сыновья сейчас рядом, бок о бок, дерутся и страдают, помогают и выручают друг друга. Также и мы, женщины, должны и обязаны друг другу помогать.

И были члены Дамского комитета, которые без шума и огласки брали на свое попечение по 5, по 10 семей запасных.

Одним из видов помощи было шитье белья из готового материала, по специальной расценке, в зависимости от положения и возможностей каждой семьи.

Другое дело комитета была забота о наших раненых, солдатах конечно, об офицерах и так было кому позаботиться. Для этого собирали справки по госпиталям, навещали и баловали своих.

Наконец, собирали и отправляли в полк посылки, опять-таки для солдат же, с бельем, табаком, чаем, сахаром, сладостями и т. д. Посылки офицерам отправляли их семьи, но посылались они также через Комитет.

В конце августа 14 года начались потери. Сначала привезли одного убитого, потом двух, потом пять и понемножку цементными гробами заполнялась вся нижняя церковь полкового Собора.

Всех привезенных убитых М. В. всегда встречала на платформе сама. И делала она еще больше. Когда от мужа на ее имя приходили телеграммы о потерях, она брала эти телеграммы и отправлялась сообщать страшные новости матерям и женам. Другая бы сказала по телефону, кружным путем кому-нибудь из не очень близких, чтобы потихоньку, осторожно подготовили. Но она считала это своим священным долгом и все удары наносила самолично.

Теперь думается, что может быть не следовало привозить тела убитых офицеров в Петербург. Пожалуй красивее было бы хоронить всех тут же, на месте, рядом с боевыми товарищами в общей могиле, которая не даром называется «братской». Но семьям хотелось иметь от близких хоть что-нибудь, вот тут, рядом, чтобы было над чем помолиться и поплакать. И этого утешения, когда имелась возможность, трудно было их лишить.

Убитых привозили с Варшавского или с Балтийского вокзала, обыкновенно под вечер. К какой-нибудь 10-ой или 6-ой запасной платформе должен подойти товарный поезд. На пустой платформе кучка людей. Маленький о. Иоанн Егоров, протодьякон Крестовский, рядом солдат-псаломщик; у него в руках кадило и узел с траурным облачением. Пять певчих. Несколько офицеров, или раненые на излечении, или сами на-днях едущие в полк, М. В. Эттер и несколько женщин в черном. Среди них одна в густой черной вуали, так, что почти нельзя узнать, кто она. Сейчас она главное лицо. К ней не подходят и с ней не здороваются, только почтительно кланяются издали, а она этих поклонов не замечает. Около нее две, три женщины в черном, самые близкие, мать, сестра. О том, что случилось, она знает уже несколько дней. Все эти дни она держалась изо всех

сил, только молилась и плакала у себя в комнате. Но сейчас она боится, что не выдержит… Очень уж страшно это первое свидание после разлуки. Только бы не вздумалось кому-нибудь из чужих подойти, взять за руку, поцеловать, обнять… Она как стакан, налитый с верхом. Тронуть его и все разольется. Ждать приходится долго. Иногда час, иногда больше. Наконец показалась голова безконечного товарного поезда. Но платформа пуста. Разгружать будут завтра. Сейчас разгрузят только один вагон. Поезд подполз и с грохотом и лязгом остановился. Весовщик по бумажке нашел вагон, щипцами отщелкнул пломбу, откатил дверь и сняв фуражку посторонился. В вагон вошло духовенство и стало облачаться. За ними тихо, давая друг другу дорогу, вошли все, женщины впереди, мужчины сзади. В глубине на полу длинный, узкий, цинковый ящик, из патронных коробок. Ящик одинаковой ширины и в ногах и в плечах. На плоской крышке проволокой крест-на-крест, припаяны ножны и шашка, с красным потрепанным темляком. Над ними прикреплена смятая, выцветшая от дождей и солнца защитная фуражка. Раздают свечи. Раздувая кадило, тихо рокочет протодьякон: «Благослови Владыко…» «Благословен Бог наш…» Тихим и грустным голосом отвечает о. Иоанн. И тихо, в четверть голоса, но необычайно согласно и стройно вступают певчие: «Благословен еси, Господи, Научи мя оправданием Твоим, Усопшего раба Твоего упокой, Презирая его все согрешения…»

Молятся за упокой души новопреставленного воина Александра. Все тихо. Слышно только, как через два пути маневрирует поезд и свистит паровоз. Впереди на коленях, склонившись головой к цинковому ящику, стоит женская фигура. Лица не видно. Все скрыто черным вуалем. Не слышно ни рыданий, ни всхлипываний. Слезы все выплаканы. У нее только изредка вздрагивают плечи.

Позади на коленях стоят другие женские фигуры в черном. И молитва у них мешается с мыслью, которую хочется, но нельзя прогнать. Вот сегодня главное лицо она, а через неделю, месяц, или полгода, в такой же черной вуали буду стоять на коленях я… И в таком же до ужаса простом, непохожем на гроб, домашнем садовом ящике, который открыть уже нельзя, да лучше и не открывать, будет лежать то, что останется от молодого, сильного, веселого, ласкового человека, который дал мне столько счастья… И вместо новопреставленного воина Александра, будут произносить нараспев другое имя, которое мне так дорого, и которое я так люблю…

Из всех христианских обрядов, нет трогательнее и утешительнее нашей православной панихиды. Столько сотен лет

и столько миллионов убитых горем людей молились под эти слова и слушали эти полные простоты и тихой грусти напевы, что и эти слова и эти напевы сами по себе приобрели чудодейственную силу посылать примирение и успокоение измученной и страдающей душе.

Пропели вечную память. Офицеры подняли ящик на плечи. Иначе нести нельзя, не за что взяться. Перенесли на товарный двор, где стояли полковые дроги, самые простые, черные, в две лошади. Маленькая процессия потянулась по Измайловскому проспекту, повернула по 1-ой роте, пересекла Забалканский и вышла на Загородный. Когда поровнялись с командирским домом, раздались удары колокола. Это полковой Введенский Собор, мерным торжественным звоном, встречал еще одного своего прихожанина.

«Ванечка» Эттер

После Новицкого, за несколько месяцев до начала войны, которую как водится у нас никто не ждал, полк наш принял Иван Севастьянович Эттер. Высокий, с бородкой под царя, элегантный блондин, он принадлежал к самому большому Петербургскому свету, и по себе и по жене. Отец, свитский генерал, командир Семеновского полка на Турецкой войне, одного сына сделал дипломатом, другого пустил по министерству двора, а третьего, Ванечку, отдал в Пажеский корпус. По семейным традициям полагалось, чтобы хоть один сын в семье был военный. Что в военную службу попал Ванечка, а не Коля, была чистая случайность.

Родился Ванечка, как говорят, «в сорочке». В течение всего его существования, вплоть до войны, жизнь ему была не мачеха, а самая нежная мамаша.

В небольшом кругу большого Петербургского света, где все друг друга знали с детства, искони было принято сохранять на всю жизнь за людьми их детские имена и прозвища. В литературе знаменит «Стива Облонский». В мое время пожилая графиня Шувалова всю свою жизнь называлась «Бетси». Высокий и грузный генерал-адъютант Безобразов носил кличку «бебэ». Жердеобразный Врангель ходил под именем Пит Врангель. На том же основании Эттера называли «Ванечкой». Из Пажеского корпуса, где Ванечка учился неважно, — был ленив, — он вышел в полк, которым несколько лет командовал отец. Нечего и говорить, что в полку, где все старые офицеры были сослуживцы отца, Ванечку приняли ласково и стали баловать. Он был скромный, воспитанный юноша, с прекрасными манерами и с хорошими средствами, что всегда ценилось в гвардии. Свободно говорил по-французски и по-английски. Даже на родном российском языке говорил с легким иностранным акцентом. И не с вульгарным немецким, с которым говорило не мало русских немцев на военной службе, а с особенным великосветским, петербургско-английским.

Раз как-то уже на войне, будучи командиром полка, после обеда Ванечка пришел в веселое настроение и к одному из своих любимцев обратился с неожиданным вопросом:

— Скажите, Бржозовский, правда, говорят вы меня удивительно хорошо копируете?

Капитан Бржозовский, который умел это делать артистически, притворно сконфузился, опустил глаза, а затем, передразнивая командира полка самым наглым образом, сказал:

— Помилуйте, Ваше Превосходительство, кто это выдумал. Я никогда бы не решился позволить себе вас копировать…

Мы все присутствующие так и обомлели. Но Эттер не заметил.

Когда 19-летний Ванечка вышел в Семеновский полк, было естественно, что его назначили служить в Его Величества роту, самую показную и парадную. Номинально он обучал молодых солдат. В действительности это делали «учителя», бравые и расторопные унтер-офицеры. Ротный командир Ванечки, старый капитан и флигель-адъютант Попов, отделавший всю Турецкую войну, никогда бы ему столь ответственной работы не дал. Все же в казарму Ванечка приходил и наблюдал за обучением.

На неотесанных, неуклюжих верзил новобранцев, которых полагалось ему обучать, Ванечка смотрел с отвлеченной симпатией, так как люди его круга по традиции смотрели на «добрый русский народ», который молится Богу, чтит царя, пашет землю и храбро дерется на войне. Все же он не мог не чувствовать в них живых существ определенно другой породы, чем сам и все люди ему близкие. Совершенно так же смотрели и ученики на учителя. Они даже не всегда понимали друг друга. Слова как будто бы знакомые, свои русские, а язык другой. Ни та, ни другая сторона попыток к сближению не делала, все равно ничего не вышло бы. «В одну телегу впречь не можно коня и трепетную лань». Между собой разговаривали не словами, а уставными формулами. Здравия желаю ваше высокоблагородие. Рад стараться ваше высокоблагородие. Не могу знать ваше высокоблагородие. Счастливо оставаться ваше высокоблагородие… У всех других в разговорах эти формулы тоже употреблялись, но у большинства они служили как гарнир. Главное блюдо все-таки было обыкновенное человеческое общение. У Ванечки это было единственное блюдо. Другого не было.

В положенный срок, т. е. четыре года, Ванечку произвели в поручики и он женился. Женился на очень симпатичной, очень доброй, очень богатой к очень знатной девице, графине Клейнмихель. Тетка ее, знаменитая гр. Клейнмихель, держала в Петербурге самый большой дипломатический салон. Все акредитированные при Санкт-Петербургском дворе иностранные послы, весь дипломатический корпус считали своим долгом туда являться.

Брак Ванечки по-видимому устроили родители. Отцы были друзья. Молодые поселились в прекрасной квартире, где были залы, паркетные полы, арки, мраморные статуи и лакеи в гетрах и в ливрейных фраках. Прислуга была не переодетые денщики, а

настоящая, профессиональная. Супруги начали жить счастливо и также счастливо прожили долгую жизнь. Ванечка любил жизнь приятную и спокойную и терпеть не мог всяких усилий, как физических, так и мозговых. Военная служба тогдашних времен как нельзя лучше отвечала всем его привычкам и склонностям.

У Льва Толстого, который написал о войне и о военной жизни необычайные по красоте и правдивости страницы, но который военное сословие теоретически презирал, одна глава начинается объяснением, почему военная профессия так привлекательна. Объяснение — законная праздность. Объяснение это давно устарело. Но в 80-х годах прошлого столетия, когда Ванечка начинал службу в Семеновском полку, оно было еще в полной силе.

Как сын служаки русского немца еще Николаевских времен, Ванечка уважал казарму, но не любил ее. Там ему всегда было очень скучно. Все и всегда одно и то же. Те же команды, те же предметы и те же запахи. Даже лица одни и те же. Больше пяти-шести фамилий своих учеников, обыкновенно самых необычайных, вроде Соловей, Закривидорога, или Безматерных, он был не в силах выучить. Имена фельдфебеля и большинства унтер-офицеров он все-таки одолел.

С производством в поручики служить стало еще легче. От времени до времени караулы или дежурства по полку. Раза четыре в неделю в полк можно было не являться вовсе.

Когда приближались лагери, — их Ванечка особенно не любил, — можно было начинать думать об отпуске. Офицеры, не имевшие определенных должностей и ничем не командовавшие, отпуска получали легко. Из трех лагерей два Ванечка обыкновенно проводил в отпуску. Ехать в отпуск можно было или отдохнуть к себе в имение, или развлечься заграницу. Ванечка имел полный гардероб статского платья и прекрасно его носил. Пожалуй, даже лучше военного.

На 11-й год службы Ванечка был произведен в капитаны. Это было не очень приятно, так как ротному командиру в роту, хотя бы на час, но полагалось являться каждый день. Были такие, которые и этого не делали, но границ общепринятого приличия Ванечка ни в чем и никогда не переступал. И вот, между 10–11 часами утра, к калитке 1-го батальона стал ежедневно подкатывать серый полу-рысак, и в санках офицер с бородкой и в николаевской шинели. В роте Ванечка принимал рапорт дежурного и здоровался. Дневальный почтительно снимал с него шинель, после чего он прямо проходил в канцелярию, где садился к столу и закуривал папиросу. Старый, умный и насквозь знавший Ванечку фельдфебель становился напротив и начинал

докладывать. Первого взвода Гринчук самовольно отлучился. Уволенный до поздних часов ефрейтор Тарасов явился в нетрезвом виде и был замечен дежурным по полку. В штаб корпуса требуют двух вестовых. Из хозяйственного отделения полковой канцелярии требуют списки на командировочные, и т. д., и т. д. После каждого доложенного случая, фельдфебель поглаживал бороду и говорил:

— Я полагал, бы, Ваше Высокоблагородие поступить так…

И солидно излагал свое мнение. И как всегда решение это было самое разумное и как всегда Ванечка с ним соглашался. За этим следовало:

— Вот, Ваше Высокоблагородие, извольте подписать…

И Ванечке подавались на подпись списки, ведомости, рапортички, требования… В мирное время в полках Российской армии любили канцелярщину. Все четвертушки бумаги Ванечка аккуратно подписывал, а стоявший рядом ротный писарь хлопал по ним ротной печатью. Дело шло как по маслу.

Существовала однако в командовании ротой одна область, где Ванечка уже решительно ничего не понимал: хозяйство и ротное довольствие. Раскладка, капуста, крупа, макароны, золотники перца, лаврового листа, навар, припек… Все эти слова он постоянно слышал, но в его мозгу они как-то не материализировались. Одно он знал твердо. Мясные порции должны весить 21 золотник. Остальные хозяйственные законы был сплошной туман. Поэтому по хозяйственным делам в Ванечкиной роте командирского мнения не спрашивали даже из вежливости. Делами этими у него самодержавно ведали фельдфебель и артельщик.

После часа напряженной работы в ротной канцелярии, Ванечка вынимал из золотого портсигара вторую папиросу, потягивался и усталым голосом говорил:

— Ну, это все? Больше ничего нет?

— Никак нет, Ваше Высокоблагородие, пока нет больше ничего…

— Ну, так я поеду.

— Так точно, Ваше Высокоблагородие, счастливо оставаться, Ваше Высокоблагородие…

Почему-то в уставных формулах разговоров с начальством «счастливого пути» не имелось, а имелось только «счастливо оставаться», хотя в 99 случаях из ста те, кому этого желали, уходили или уезжали. Дневальный накидывал Ванечке на плечи шинель, быстро сбегал по лестнице к отворял дверь. Внизу другой дневальный отстегивал полость санок и помогал Ванечке удобно усесться. Бородатый кучер поворачивал голову и почтительно

спрашивал:

— Домой прикажете?

— Домой, — бросал Ванечка и крепче закутывался в шинель. Рабочий день его был окончен.

Дома Ванечка занимался вещами исключительно приятными. Играл с маленьким сыном. У мальчика была, своя детская и гувернантка англичанка. В бедных семьях дети всегда торчат на глазах у родителей. В семьях того круга, к которому принадлежал Ванечка, дети являлись к родителям по приглашению. Кроме занятий с сыном, у Ванечки были и другие развлечения. Одну из лучших комнат в прекрасной Ванечкиной квартире занимал его кабинет. В кабинете стоял очень дорогой и очень красивый письменный стол, за которым Ванечка иногда проверял счета, но писал крайне редко. По стенам стояли зеркальные дубовые шкафы с книгами в кожаных с золотом переплетах. Шкафы также открывались редко. Но была в кабинете мебель, которой пользовались нормально. Очень широкий и очень удобный кожаный диван, со многими подушками и несколько очень мягких и очень глубоких кожаных кресел. Одно из таких кресел, около окна, рядом с которым на полу стояла высокая специальная пепельница, Ванечка особенно жаловал и нередко в нем сиживал с книгой в руках. Читал Ванечка много и охотно на трех языках. Ничего головоломного. Мемуары, биографии, романы. Все те книги этого сорта, которые в данное время «делали шум» и о которых говорили в том кругу, где он бывал, Ванечка считал своей обязанностью прочесть.

Как светскому человеку, приходилось Ванечке нести и светские обязанности. Светской жизнью, балами, раутами, приемами, он никогда не увлекался. Для этого он был слишком ленив. Все-же несколько раз в неделю, или к 8 или к 11 вечера, тот же бородатый кучер подавал к подъезду двухместную карету. Жена Ванечки надевала открытое вечернее платье, а сам Ванечка облекался в мундир или сюртук, смотря по важности случая. В таком виде они отправлялись или обедать, или на балы, к родным, к знакомым или в иностранные посольства.

На 19-ый год службы Ванечка получил чин полковника и в командование 1-ый батальон.

По уставу все батальоны в полку были одинаковы, но когда-то, в царствование Александра 1-го, 1-ый батальон назывался «лейб-батальон». В Преображенском полку 1-ый батальон имел даже особые казармы на Миллионной улице и особое офицерское собрание там же. Офицеры в Преображенский 1-ый батальон назначались с особым отбором, в рассуждение звучности фамилий, состояния и общей представительности. Офицерам

других батальонов вход в собрание 1-го батальона не то, чтобы был заказан, но без приглашения они туда не являлись. Как-то раз, чтобы подразнить моего приятеля и двоюродного брата моей жены, уже не очень молодого Преображенского офицера, я стал к нему приставать, чтобы он пригласил меня обедать в офицерское собрание на Миллионной. Он долго отшучивался, но наконец, припертый к стене, принужден был признаться, что он этого сделать не может. Он был офицер 5-ой роты. У Преображенцев для такого разделения было все-таки кое-какое основание. В 1741 году их гренадерская рота (в полку по счету 1-ая) возвела на престол Елизавету Петровну, за что получила название «Лейб-Компании» и всякие другие милости и привиллегии. Гвардия в гвардии получилась исторически.

У нас никаких таких разделений не существовало. Офицерское собрание было одно, общее для всех. А потому всякое различие между офицерами было бы чисто искусственным и вызывало бы только зависть, недовольство и рознь. Все же нашлись и у нас люди, которые пытались провести в жизнь нечто подобное. Среди этих немногих фигурировал и Ванечка.

Свой 1-ый батальон Ванечка получил в 1904 году. В Российской истории это был год чреватый. Год перелома. В этот год, впервые со времен Пугачева, зашаталась и дала трещину по всему фасаду огромная, но не слишком прочная храмина старой дворянско-помещичьей России. «Дерзкий враг в темную ночь осмелился напасть на нашу твердыню». (Первые слова царского манифеста по случаю объявления войны Японии). В малом масштабе «Перл Харбор» был проделан на внешнем рейде крепости Порт-Артур. Подошла революция 5-го года. Беспорядки на фабриках и заводах, студенческие волнения… По улицам манифестации с красными флагами. Наша власть красного флата боялась как огня. К выражениям народных чувств, кроме верноподданнических, в старой России не привыкли.

«Далеко зерну до колоса,
Не пришла еще пора,
Я даю вам право голоса,
Лишь для возгласа «ура»…

По всей стране прокатилась волна забастовок. Забастовки на железных дорогах, на водокачках, на электрических станциях. Государь Николай II, раздираемый советниками, сидел в Царском Селе под крепкой и тогда еще верной охраной и в мятежную столицу показываться не дерзал.

«Потушили электричество,
Фонари, и наконец,
Стали звать Его Величество
Возвратиться во дворец…»

Вечером 13-го октября осада Технологического института. На площади полуэскадрон Конной Гвардии с рыжим поручиком Фроловым палашами, преимущественно плашмя, разгоняет толпу. В числе пострадавших приват-доцент Тарле. Санкт-Петербургским диктатором назначен конногвардеец генерал Дмитрий Трепов, который расклеивает по городу объявление, что: «войскам приказано действовать беспощадно, холостых залпов не давать и патронов не жалеть». Последняя фраза о неэкономном расходовании патронов, хотя и энергичная, но не так чтобы слишком удачная, обошлась впоследствии бравому генералу дорого.

Манифест 17 октября, по которому Российское государство получило хотя и «куцую», но все же конституцию.

Новые толпы с красными флагами на улицах, и хотя конституция разрешает «свободу собраний», войскам велено в толпу стрелять. Генерал Трепов опять приказывает «патронов не жалеть». Премьер-министр граф С. Ю. Витте в тот же самый час звонит по телефону командирам полков и просит их «щадить русскую кровь».

Ноябрь проходит относительно спокойно, но уже с начала декабря ползут слухи о готовящейся всероссийской железнодорожной забастовке. И, наконец, 9-го декабря разражается вооруженное восстание в первопрестольной столице Москве.

Во главе своего 1-го батальона Ванечка съездил в Москву. К его большому удовольствию, — он не любил волнений, — распоряжаться ему там ничем не пришлось. Всем парадом командовал динамический и сангвинический командующий полком, полковник Мин. Ванечка довольно хладнокровно гулял по Пресне и по Горбатому мосту. В него стреляли из-за баррикад и из окон и прострелили ему воротник на пол-сантиметра от сонной артерии. Как и некоторые другие, Ванечка оказался «обстрелян», что для военного всегда составляет немалое преимущество.

В 1906 году в Российской армии подуло свежим ветром. Переменилось высокое начальство. Наехали генералы с Дальнего Востока, герои Японской войны. Первую гвардейскую дивизию получил генерал Лечицкий.

Для командира 1-го батальона Л.-Гв. Семеновского полка полковника фон Эттера генерал Лечицкий был столь же чуждое и непонятное существо, как и Семеновские солдаты, все эти Остапчуки, Еременки, Сидоренки и т. п. С той лишь неприятной разницей, что Ефименки стояли перед ним, полковником фон-Эттером, смирно, а тут ему приходилось стоять смирно перед неизвестно откуда взявшимся маленьким генералом, с седыми усами и с царскими вензелями на погонах. Как и следовало ожидать, у полковника фон-Эттера с генералом Лечицким сродства душ не оказалось. Как-то раз, по обыкновению нежданно-негаданно, приехал Лечицкий в 1-ый батальон, в Е. В. роту. По счастью к приезду начальника дивизии ротному командиру случилось быть в роте. По еще большему счастью, батальонный командир Эттер сидел в это время в Собрании. За ним спешно послали. В роте идут занятия. Приготовительные к стрельбе упражнения. Берут на изготовку стоя, с колена, и ложатся на соломенные маты. Лечицкий присматривается и его зоркий солдатский глаз замечает какую-то неправильность.

— Возьми на изготовку с колена… Не так… Зачем ты делаешь это движение? Так тебе заряжать неудобно… Как ты будешь заряжать?.. возьми ты… Нет, опять не то…

Перебрали десятка полтора лихих учителей, унтер-офицеров и ефрейторов. Все делают одинаково. Делают точно так, как учили в Учебной команде и как делают во всем полку. Командир Е. В. роты, бравый капитан Максимильян Цвецинский, по прозвищу «Макс», бывший фельдфебель Пажеского корпуса и сам бывший начальник Учебной команды, вежливо, но твердо вступает с начальником дивизии в спор. Спорить о службе с Лечицким было можно. Наконец, потеряв терпение, «Макс» снимает сюртук с флигель-адъютантским золотым аксельбантом, и, оставшись в белой рубахе, сам берет винтовку. Становится смирно на мате, затем молниеносно выкидывает винтовку вперед и в мгновение ока оказывается стоящим на правом колене.

— Вы это прекрасно сделали, капитан, но это опять не так… Вы все делаете одно лишнее движение. Очевидно, весь полк придется переучивать.

Во время этого спора Эттер стоит рядом с пристойно скучающим видом и не проронив ни одного слова.

Лечицкий к нему:

— Вы что скажете, полковник? Вы сами видите, что делать прием так, как я показываю, гораздо удобнее…

Эттер молчит.

— Вы сами когда-нибудь стреляли с колена?

С высоты своего роста Эттер любезно-удивленно смотрит на

маленького Лечицкого и со своим петербургско-английским акцентом цедит:

— Я, Ваше Прев-во, с колена… Никогда.

После этого короткого, но выразительного разговора, отношения между генералом и полковником установились твердо и навсегда. Останься у нас Лечицкий дольше, аттестацию на командира полка он бы Эттеру не пропустил. К сожалению, через год Лечицкому дали повышение, а следующий начальник дивизии Мрозовский, старший офицерский состав своих полков знал плохо.

После разговора с Лечицким Эттер еще года два прокомандовал батальоном и наконец, в 1910 году получил 5-ый Гренадерский Киевский полк, со стоянкою во граде Москве.

Давать полковникам 1-ой гвардейской дивизии в командование Московские гренадерские полки было традицией. Киевский полк, которым Эттер командовал три года, и по составу офицеров и по строевой репутации считался в Москве самым лучшим полком. Это была московская гвардия. Ванечке Эттеру в Москве жилось очень не плохо. В то же самое время проживала в Москве вел. кн. Елизавета Федоровна, вдова убитого Каляевым Московского генерал-губернатора вел. кн. Сергея Александровича. Ученик Победоносцева и большой обскурант, Сергей Александрович был единственный из великих князей, который принимал активное участие во внутренней российской политике.

Вел. кн. Елизавета Федоровна, родная сестра императрицы Александры Федоровны, постоянно пребывая в Москве, занималась главным образом монастырями и благотворительностью, но затворницей все-таки не жила и видеть ее было можно. Приехав на временное жительство в Москву, Ванечка Эттер счел приятным долгом к ней явиться на поклон, а затем и он, и жена стали получать регулярные приглашения. Петербургские люди в Москве были на счету и на виду. Между Москвой и Царским Селом поддерживалась постоянная переписка. Сестры любили друг друга. Своевременно в Царском узнали, какие прекрасные и достойные люди Ванечка и его жена, как их все любят и как отлично Ванечка командует своим полком. Зерно упало на добрую почву. Царь, когда он командовал первым батальоном Преображенского полка, знал Эттера по бригаде и помнил его. При назначении командиров гвардейских полков последнее слово всегда оставалось за «шефом», т. е. за ним. В глазах «Царского Села» было у Ванечки еще одно крупное достоинство. Он был «русский немец». А немцы на русской службе, за исключением кажется только полковника Пестеля и

лейтенанта Шмидта, все поголовно отличались беззаветной преданностью не столько отечеству, сколько престолу. Вспомнили попутно и то обстоятельство, что не только отец Ванечки в турецкую войну командовал Семеновским полком, но и отец жены Ванечки тоже был нашим командиром. Стоит ли после этого удивляться, что когда в 13 году стал на очередь вопрос, что дальше делать с Ванечкой и не уволить ли его в отставку, то, несмотря на весьма бледную аттестацию, дело было решено в самом лестном и приятном для него смысле. Он был произведен в генерал-майоры, взят в свиту и назначен командиром Л. Гв. Семеновского полка.

Когда в полку узнали о назначении нам командиром Эттера, некоторые старые его сослуживцы по 1-му батальону обрадовались, другие не очень. Как никак, чтобы командовать полком в городе Санкт-Петербурге и в лагерях под Красным Селом, Ванечка имел свои достоинства. У него были прекрасные связи и импозантная внешность. Он был «свой» и по своему очень предан полку. Иначе и быть не могло. В полку прошла вся его молодость и большая часть его сознательной жизни. Когда состоялось его назначение, ему стукнуло пятьдесят.

С Ванечкой Эттером во главе, область «представительства» и «блеска» была бы на должной высоте. Строевая часть шла бы «самотеком». Если не разболтались мы под Шильдером, то теперь, после трехлетней учебы педагога Новицкого, строевого и стрелкового запаса у нас хватило бы еще лет на пять.

Встретившись с Ванечкой после трехлетней разлуки, наблюдательные люди заметили в нем кой-какие перемены. И не к лучшему. Для слабых голов самое сногсшибательное вино — вино власти. Прежде всегда корректный и сдержанный, Ванечка стал позволять себе раздражаться, всегда по мелочам. Начинал покрикивать на офицеров. В этом отношении «свой» командир, т. е. из своих, был всегда много хуже «чужого». На командира из «своих» никакой управы не было. Покойный Мин третировал офицеров, как мальчишек, и в строю и вне строя. Помню, как того же Ванечку Эттера, перед его 1-м батальоном, он раз «протер», что называется «с песком». Проносив семеновскую форму от солдата да командира, в полку Мин мог позволять себе абсолютно все, что угодно. Хоть и не такие, но тоже большие права имел в этом смысле и Ванечка. Разница была в яркости личности. Мин был огневого темперамента волевой мужчина. Ванечка брюзжал, раздражался и капризничал. И все это было бы ничего, если бы с Ванечкой пришлось нам проходить церемониальным маршем на Марсовом поле, или в крайнем случае атаковать Пулковскую обсерваторию.

Но судьбе угодно было, чтобы под Ванечкиной командой, в составе Российской гвардии, с 20-го августа но 3-е сентября 1914 года (все даты по старому стилю) мы перевернули ход Галицийской битвы, дали Люблинские бои, обратили в бегство 1-ую Австро-Венгерскую армию, форсировали реку Сан у Кржешова и перешли австрийскую границу; чтобы 10–13 октября мы помогли спасти крепость Ивангород, которую готовились атаковать две венгерские дивизии, и которая до нашего прихода располагала могучим гарнизоном из двух дружин ратников ополчения; чтобы 3–5 ноября под Краковым, мы с соседями остановили наступление 45 австрийской и 27 венгерской дивизий, задержали их, перешли в контр-атаку, опрокинули и при преследовании взяли многие сотни пленных; чтобы 4–20 февраля 1915 года, в Праснышской операции, мы остановили немцев перед Наревым и не пустили их в Ломжу; и чтобы, наконец, летом 1915 года во время прорыва фельдмаршала Макензена, когда внезапно обнаружился сюрприз, что у русской артиллерии нет снарядов, наши измотанные люди, втечение многих недель, отступая ночью и дерясь днем, голыми руками пытались защищать Красностав, Владаву и Вильну.

И все это совершалось под неумелой, нерешительной и растерянной Ванечкиной командой.

Кто-то из военных авторитетов, чуть ли не сам Наполеон, сказал: «Лучше стадо баранов, предводимое львом, чем стадо львов, предводимое бараном». С соблюдением всех пропорций, можно сказать, что в 1914–1915 году наш полк представлял из себя вторую, менее выгодную комбинацию.

Из Петербурга полк был увезен эшелонами, которые отошли 31-го июля, 1-го и 2-го августа. Со вторым эшелоном отбыл и Ванечка со штабом. Теперь несколько слов об этом штабе. Грандиозные штабы были старой язвой и традицией российской армии. Такой же неестественно распухший штаб был и наш полковой. Полк выступил на войну, имея в строю по списку 63 офицера. При штабе состояли нижеследующие нестроевые: начальник хозяйственной части, начальник обоза 2-го разряда, пять докторов, полковой священник, капельмейстер, заведующий оружием и полковой казначей. Засим шли чины строевые: помощник командира полка, полковой адъютант, его помощник, начальник команды связи, его помощник, начальник команды конных разведчиков (полковая кавалерия, как показал опыт, часть совершенно бесполезная) и начальник пулеметной команды. В полку было четыре пулеметных взвода, по одному на батальон, каждый взвод с офицером. Пятый офицер, начальник команды, исполняя должность пятого колеса или пятой ноги, сидел при

штабе и на законном основании ничего не делал. За начальником пулеметной команды шел начальник обоза 1-го разряда, несший обязанности и хозяина собрания. Этот молодой офицер, подпоручик К-ов, о котором позднее придется поговорить подробно, по собственному желанию превратился в метрдотеля командира полка. Кроме перечисленных лиц, при полковом штабе, неофициально, но постоянно состояли еще два или три офицера, с функциями уже более или менее фантастическими, вроде полкового историографа и даже полкового поэта.

Как очень метко писал потом один из боевых наших офицеров, — таких к счастью было огромное большинство, — «наш штаб при Эттере превратился в резерв офицеров, по признаку личных отношений…» Но «резерв» подразумевает расходование по мере надобности. Тут же никакого расходования не наблюдалось. Все в штабе сидели прочно и случаев перехода из штаба в строй я не припомню.

6-го августа полк прибыл в крепость Новогеоргиевск. По мобилизационному плану гвардия должна была идти в Восточную Пруссию, но вследствие разгрома 2-ой Армии генерала Самсонова, мы были взяты в «активно-операционный резерв» Верховного Главнокомандующего и походным порядком были отправлены к Варшаве. Очень длинный и тяжелый переход от Новогеоргиевска до Бабице. Люди еще сырые и совершенно не втянутые. Передаю слово участнику этого перехода, мл. офицеру 3-го батальона:

> «Идем почти без привалов всю ночь. В батальоне все офицерские лошади отосланы за строй. Офицеры во главе с командиром батальона все спешились, чтобы, предвидя тяжелый поход, подавать пример солдатам. Чем ближе к утру, тем полк все более ускоряет шаг. Идем шагом «берсальери», так как полк равняется по лошади командира полка, делая должно быть, верст шесть в час. Одна из коротких остановок, после пройденных одним духом 9–10 верст. Судя по солнцу часов 8 утра. Команда: «Стой, равняйсь, составь, разойтись!» Картина классическая. Все поле по обе стороны дороги усеяно «орлами».
>
> Подлетает командир полка и громким голосом, расчитанным на то, чтобы весь батальон слышал, начинает разносить стоящего посреди шоссе полковника Зыкова за то, что тот осмелился разрешить солдатам отправлять свои надобности прямо в поле, вместо того, чтобы предварительно рыть отхожие ровики. Мы все так

и опешили. Это при 42-верстном-то переходе!»

28 августа. Из записок другого офицера:

> «Подходим к деревне Карпювка. Идем спокойно в походной колонне. Вдруг неожиданно над нами разрываются две шрапнели, затем еще и еще… Роты сворачивают с дороги для перехода в строй по-взводно, а затем для размыкания рядов. В это время видим, как командир полка и весь штаб, т. е. человек 12 офицеров не менее, а за ними всевозможные ординарцы и вся команда конных разведчиков, полковая кавалерия, галопом проносятся в тыл, назад. Нельзя сказать, чтобы эта картина произвела хорошее впечатление и на офицеров, и на солдат. Всякий понимал, что не место штабу полка, да еще столь многочисленному, в передовой линии, на линии огня, но каждый чувствовал, что достоинство требовало от командира отходить шагом, с короткими остановками для напутственных слов людям, идущим в бой. Уже не говорю о том, что не отскачи по ошибке на несколько верст в тыл командир полка, он мог бы понять, что перед нами было шуточное артиллерийское прикрытие отхода и не ушел бы от нас столь безболезненно из-под самого нашего носа штаб австрийской армии».

В окопах Эттер почти никогда не показывался, но помню раз в апреле 15-го года, под Ломжей, он явился на мой участок, проходивший по совершенно разбитой деревне Комарово. От всей деревни остались только кое-где торчавшие печные трубы. Помню явился он вечером после ужина и по обыкновению с большой свитой. Участок был беспокойный. Немецкие линии от наших шагов на двести. Вместо того, чтобы прийти одному с адъютантом, прийти незаметно, всех обойти, поговорить с людьми, одним словом своим визитом принести пользу, вся компания ввалилась к нам так неумело, что немцы их сразу же заметили и открыли по нас жесточайшую артиллерийскую стрельбу, продолжавшуюся минут двадцать. Все эти двадцать минут визитеры стояли прижавшись носами к брустверу, а затем уже с большой осторожностью, и на этот раз по одиночке, отправились домой в тыл.

24 августа. Кщеновский лес. Записано со слов командира 5-ой роты капитана Николая Тавилдарова:

> «В лесу идти было довольно погано. Помимо

шрапнели он насквозь простреливался и ружейным огнем. Подлецы австрияки били сплошь разрывными пулями, которые щелкали по деревьям и разрываясь в мелкие кусочки, давали в сумерках синие огоньки. Когда я накануне спросил у пленного офицера, почему они нарушают постановление Гаагской конференции и стреляют разрывными пулями, он сначала стал клясться и божиться, что они этого не делают, но потом признался, что они употребляют их «в самом ограниченном количестве и исключительно для пристрелки». Врал подлец. Какая уж тут пристрелка в лесу… Да и мы сами у пленных и убитых находили целые подсумки разрывных. Их можно было узнать по синим ободкам на нуле. Так вот, эти подлые синие огоньки каждую секунду вспыхивали то здесь, то там. Я инстинктивно жался ближе к деревьям. Слева от нас шла 6-ая рота. Веселаго увидел меня, подошел поближе, поправил пенснэ и с плутоватой улыбкой кинул:

— Николай, ты очень тонкие деревья выбираешь… Ты норови потолще…

Я со всего размаху послал его к чорту. Наблюдавшие эту сцену окружающие чины, кажется, искренно веселились. Выйдя из лесу мы почти сразу же залегли и начали перебежки. Вдруг видим позади и справа от нас показывается пешая группа человек в шесть. Эттер, С — б, П — ов, и два ординарца. Ванечка почему-то в расстегнутом пальто на красной подкладке. Красные полы развеваются по ветру. Остановился около меня и спросил, где батальонный командир. Вешняков шел при 6-ой роте. Мне пришлось подняться. Нельзя же было в самом деле лежа отвечать стоящему рядом командиру полка. Такой прыти от всей этой штабной команды я признаться не ожидал».

Запись командующего 12-ой ротой. 9-го сентября. Взятие предмостного укрепления Кржешов.

«В атаку батальоны поднялись без видимого приказания свыше, как-то сами собой. Управление полком будто отсутствовало. Еще утром в деревне, из которой начали расходиться батальоны, мы продефилировали перед командиром полка. Но уже после занятия исходных для атаки позиций, связь со штабом полка порвалась и больше в этот день так и не восстановилась. Знаю это, так как в течение дня

многократно на эту тему обменивался впечатлениями с командиром батальона. Эмблемой командира был полковник Г. Г. Тимрот, который сказал Зыкову, что не знает, где застрял штаб полка, и что он поэтому пристраивается к 3-му батальону. Все наступление до взятия нами Кржешова, Гр. Гр. совершенно один, без единого солдата связи, шел с первой линией 3-го батальона, спасая перед нашим лицом честь пропавшего командира.

12-ая рота составляла крайний левый фланг первой линии и теоретически поддерживала связь с 5-ой ротой, единственной из 2-го батальона еще не перешедшей реку Сан. 12-ая рота наступала по гребню, а вправо до горизонта виднелись двигавшиеся без остановки цепи, цепи и цепи… Весь полк наступал не задерживаясь, равняясь как на маневрах в Красном Селе, и впечатление от этого получалось как от бесконечного ряда волн морского прибоя. Чувствовалось, что такого прибоя никто остановить не в силах. Уже подходя к гласису крепостного вала, ожидая с минуты на минуту, что австрийцы откроют огонь в упор, рота ускорила шаг и скорее бежала чем шла. Чтобы дать верное направление штыковому удару, я сильно оторвался от роты и шел шагах в 50 впереди. Я пересекал глубокий сухой ров, лежавший перед бруствером и в этот момент между мной и ротой что-то разорвалось со страшным грохотом и столбом черного дыма, причем меня поразило отсутствие звука падения снаряда. Только несколько мгновений позже я сообразил, что это взорвался фугас. Перебегая, я повидимому задел провод фугаса, но успел проскочить до взрыва. Рота же еще в ров не спускалась и благодаря этой случайности ни один человек у нас от этой мины не пострадал. Через несколько секунд мы уже выгоняли на бруствер человек двести австрийцев, сдавшихся при нашем появлении. Помню их удивление, когда я на приличном немецком языке вызвал их старшего и приказал ему построить пленных. Дошли до сожженного моста, полюбовались на реку Сан и начали располагаться на ночлег в Кржешове, зная, что 2-ой батальон нас охраняет, окапывая тет-де-пон на том берегу Сана.

В это время Зыкова разыскивает конный ординарец из штаба полка, и передает письменное приказание командира полка батальону стать на ночлег в такой-то

деревне, где-то на линии, с которой рано утром мы начали расхождение батальонов, выставив усиленное сторожевое охранение в сторону Кржешова, «занятого неприятелем». Зыков в недоумении. Ночь уже наступила, в двух шагах перед собою ничего не видно, а до штаба полка, по словам ординарца, не меньше 10 верст. Зыков вошел в какой-то дом писать донесение командиру полка. Я с несколькими чинами оставался посреди местечковой площади, ожидая размещения роты по квартирам. В это время на меня натыкается группа всадников. Во главе с трудом узнаю начальника дивизии генерала Олохова. На его окрик докладываю, что перед ним командующий 12-ой ротой Семёновского полка.

— Поздравляю в Вашем лице славный Семеновский полк с его блестящей победой. — (Победа главным образом была одержана 2-м батальоном, где 6-ая рота с капитаном Веселаго, с боем форсировала переправу через Сан, перейдя реку по горящему мосту. Ю. М.).

Оказывается я был первый офицер, на которого в кромешной тьме натолкнулся в Кржешове Олохов. Я ухватился за его присутствие и попросил его подождать одну минуту, пока я пошлю за командиром батальона, который очень озабочен только что полученным от командира полка приказанием. Зыков пришел, выслушал лестные поздравления начальника дивизии и тут же доложил ему о недоразумении со штабом полка. Олохов сказал, что отменяет приказание командира полка, приказывает полку оставаться на ночь на своих местах, а Зыкову приказывает известить об этом полковой штаб».

* * *

Хочу сказать несколько слов о наших боевых наградах.

В старой царской армии офицерам давались те же ордена, что и гражданским чиновникам, с той разницей, что военные украшались вделанными в орден крест на крест золотыми: мечами, а наверху над орденской лентой, из той же, но узенькой ленты прикреплялся бант.

В официальных бумагах так и писалось, напр. «Орден св. Анны III степени с мечами и бантом».

Наши ордена были в младших степенях — кресты. В старших к ним прибавлялись широкие ленты, которые на мундире носились через плечо, и звезды, которые носились на груди сбоку.

Ордена были такие. Самый младший крест св. Станислава, орден взятый из Польши и введенный у нас после присоединения Царства Польского в царствование Александра I. За ним шел крест св. Анны, орден учрежденный Павлом I. За ним следовал крест Св. Владимира, установленный Екатериной II, 22 сентября 1789 года. Был еще орден «Белого Орла», тоже польский орден и орден Александра Невского. Наконец, самый старший в Империи был орден Андрея Первозванного, цепь и голубая лента через плечо. Этот орден, учрежденный Петром, всегда давался членам царской фамилии и мог даваться главам иностранных государств и самым важным государственным сановникам. Давался он чрезвычайно редко. В мое время, кроме царской фамилии, во всей России Андреевских кавалеров было самое большое человек пять или шесть. Андреевским кавалерам, даже и не в военной форме, полагалось вызывать караул.

Впрочем обыкновенных рядовых офицеров ордена выше Владимира интересовали исключительно академически. Это были ордена генеральские и к нам касательства не имели.

Боевые награды шли в таком порядке. Самый младший военный орден был Анна 4-ой степени, на офицерском жаргоне носивший название: «клюква». Он состоял из медальки с красным крестом внутри и с короной наверху. Медальки эти приделывались к рукоятке шашки, а на эфесе вязью вырезывались слова: «за храбрость». К такой шашке, или сабле, или шпаге, вместо обыкновенного черного полагался красный «анненский» темляк. «Клюква» хотя и самая младшая, была приятная награда и очень ценилась офицерами. В то время как другие боевые ордена, кроме Владимира и разумеется Георгия, носились только в парадных случаях, «клюква» и красный темляк, были при офицере всегда. Надел шашку и видно, что боевой офицер.

Следующий за «клюквой» шел Станислав III степени и носился он в колодке. За ним шла Анна III степени, также в колодке. За Анной шел Станислав II степени и носился он на шее. За ним шла Анна II степени, тоже на шее.

При получении старшего шейного ордена, соответственный младший переезжал на борт.

После «Анны на шее» шел очень приятный орден: «Владимир IV степени с мечами и бантом». Приятность его заключалась в том, что он носился на груди: или в петлице сюртука постоянно. За Владимиром маленьким следовал Владимир III степени, большой, также разумеется с мечами и носился он также постоянно на шее.

В наше время ордена и медали, эти последние главным образом в память чего-нибудь, укреплялись на колодке и колодка

эта или надевалась или нет. До такой умной вещи, чтобы вместо орденов, в менее парадных случаях, носить маленькие колодки только с ленточками, до самой революции у нас так и не додумались.

Вот и все офицерские, так называемые «очередные награды». Ордена эти можно было получать и «вне очереди», перескакивая через один и больше, а потом возвращаясь назад. К примеру скажу, что мои собственные боевые награды скакали вперед и назад с необычайной резвостью: «клюква», Владимир IV степени и Анна III степени.

Самые ценные для офицера награды были: Георгиевские т. наз. «золотое оружие» и Георгиевский крест. Орден этот, как и Владимир, учрежден был Екатериной II. Солдатские Георгиевские кресты, официально называвшиеся «знаки отличия военного ордена» (четыре степени медали и четыре степени креста, 1-ой степени золотой с бантом) давались сравнительно легко. После боев хорошо действовавшим частям высокое начальство, не ниже штаба армии, давало по пять и по десять на роту. Заработать же офицерского Георгия в младших офицерских чинах, подчеркиваю, в младших, в пехоте, было по настоящему трудно. Все случаи определялись «Георгиевским статутом» и решались «Георгиевской думой», состоявшей из Георгиевских кавалеров средних чинов, редко выше полковника. Для получения креста классическими случаями считалось ротному командиру забрать действующее орудие, или пулеметы, или во главе своих людей ворваться в неприятельское укрепление. Если принять во внимание, что немецкие огневые средства были постоянно раза в три, а то и больше сильнее наших, станет понятным, что дело это было весьма и весьма трудное. За всю войну среди обер-офицеров, у нас было 9 георгиевских кавалеров и 5 из них были посмертные, единственные, которые давались легко.

К боевым наградам офицеров представлял командир полка, но разрешение представить давалось Штабом армии. Например, за Кржешов (переход австрийской границы) было дано по десяти медалей и крестов на роту и всех офицеров было разрешено представить к «очередной награде». Очередные награды были даны и за Ивангород и за Краков.

По своему усмотрению командир полка мог представлять к «внеочередным наградам». Такой внеочередной наградой являлся главным образом «Владимир IV степени». Это был серьезный и почетный орден, который по настоящему заслужить было не так легко. Командиры представляли к Владимиру тогда, когда не хватало данных для золотого оружия.

В представлениях к Владимиру, как и во всем другом,

Ванечка проявлял самое явное лицеприятие. Через четыре месяца войны, весь его многочисленный и бесполезный штаб щеголял с малиновыми крестиками на кителях. Не исключена возможность и того, что получив сам Георгиевское оружие за Кржешов, от которого во время боя он находился в 7 верстах и будучи украшен Георгиевским крестом лично царем на смотру гвардии под Гарволиным в декабре 15 года — в деле боевых наград Ванечке было неловко проявлять требуемые законом строгость и беспристрастие. Как бы то ни было офицеры все это терпели и выносили, пока наконец со своими представлениями он не перешел последних пределов и не выхлопотал орден Владимира с мечами и бантом молодому офицеру, который ни одного дня не был в строю. Офицер этот, подпоручик К., о котором уже было говорено выше, официально состоял начальником обоза 1-го разряда, т. е. — заведывал перевозкой офицерских вещей и офицерского собрания. Он же был и хозяином собрания. Хотя и сын почтенного человека, К. с первых же шагов на войне выявил себя ловчилой самого высокого класса. По собственной охоте он занял при командире полка должность среднюю между метрдотелем, личным секретарем и старшим денщиком.

Чтобы его превосходительство был хорошо устроен на ночлег, чтобы, не приведи Бог, не покусали его блохи и клопы, чтобы был он хорошо и вкусно накормлен, обо всем этом К. пекся с чисто сыновней любовью и заботливостью. Со своей стороны и Ванечка, смолоду ценивший удобства и приятности жизни, был для К. «отца вместо». Не поручусь даже, что наивный Ванечка не принимал все эти услуги как дань самой бескорыстной любви и преданности.

К Молчалину К. офицеры относились пренебрежительно, но все шло сравнительно гладко, пока не налепил он своего Владимира. Это переполнило чашу и против К., а косвенно и против Ванечки, был устроен заговор. Душою заговора был лихой офицер пулеметчик Георгий Бремер. Сговорившись с несколькими товарищами, Бремер послал в Петербург к Фокину (самый лучший магазин офицерских вещей, помещался на Караванной) весьма необыкновенный заказ. Нужно думать, что ни до, ни после, Фокину таких заказов исполнять не приходилось. По подробной инструкции с рисунком, Фокину поручалось изготовить самой лучшей работы орден Владимира, IV степени, но в то место, куда крест на крест вставляются золотые мечи, ему предлагалось вставить, золотые же… нож и вилку.

За такую необычайную работу Фокин запросил полтораста рублей. Заговорщиков это не остановило. На войне у всех денег было много и заказ был подтвержден.

Через месяц Георгий Бремер получил из Петербурга посылку. В посылке вместе с другими вещами, находилась синяя сафьянная коробочка, а в ней на подушечке белого бархата, блестя золотом и эмалью, артистически сработанный, покоился чудовищный орден.

Торжественное подношение сначала предполагалось произвести за ужином в присутствии всего штаба и самого Ванечки. Но сделать это все же не решились. Поднесли, когда его не было, но с речью и с полной торжественностью. Когда сначала любезно улыбавшийся К. наконец открыл коробку и понял в чем дело, он побледнел, закусил губы и быстро ушел. Через два дня его уже не было в полку. Эттер велел ему дать свидетельство о контузии, он уехал в Петербург и с полкового горизонта пропал навсегда.

Когда сам Ванечка узнал о проделке, он взбеленился. Вызвал Бремера, накричал на него и пригрозил отдать его под суд, за «профанацию императорских орденов». Привести свою угрозу в исполнение Ванечка однако не решился. Бремеров у нас служило четыре брата и к этому времени двое было уже убито. Все они были отличные офицеры, один другого лучше. Отец их, отставной генерал, был также наш старый офицер и однокашник Ванечки, хотя нисколько на него не похожий. А главное на суде не поздоровилось бы и самому Ванечке. Как общее правило, «сор из избы» выносить у нас очень не любили.

Вскоре после этого происшествия, кажется, в июле 15-го года, к общему облегчению сам Ванечка от нас ушел. Был ли он отчислен, или подал рапорт о болезни точно не знаю. Вернее второе, т. к., вне всякой зависимости от своего командира, летом 15-го года полк работал настолько хорошо, что вряд ли мог подать повод для командирского отчисления.

Теперь могут спросить, как такой «разврат» мог быть терпим в старом, хорошем полку, где есть старший полковник и старые офицеры, которые зарвавшегося командира всегда могли унять. Ответ очень простой. Война. Все старые офицеры, с которыми командир должен был бы считаться, через несколько месяцев непрестанных боев или были перебиты, или ушли командовать армейскими полками. К лету 15-го года батальонами командовала молодежь, полковники, которые когда сам Ванечка был Семеновским полковником, гуляли в поручичьих и подпоручичьих чинах. Для него это были мальчишки, мнение которых он в грош не ставил. На войне командир полка был диктатор и самодержец, уже хотя бы потому, что офицеры почти никогда все вместе не собирались. Жили жизнью батальонной, а не полковой.

И все-таки, если бы было у Ванечки побольше сознания своей военной непригодности, из своего трудного положения он мог бы выйти с честью. В истории имеется немало примеров, когда слабые правители брали себе способных помощников и эти помощники прославляли их правление. К сожалению та же история еще чаще говорит нам о слабых правителях, которые сильных и способных людей около себя не выносили. Если бы вместо всего своего «оперативного штаба», который в военном да и в других отношениях стоил недорого, взял бы Ванечка себе в советники только одного офицера, в полку пошла бы музыка не та. Офицер этот был Феодосий Александрович Веселаго. Как бесспорно, самый выдающийся и самый блестящий боевой офицер в полку, Веселаго заслужил, чтобы о нем сказать несколько слов.

Кончил он Пажеский корпус в 1898 году, и как только была объявлена японская война, подал рапорт о переводе в действующую армию. Пошел он не в штаб, а в первый Верхнеудинский полк Забайкальского казачьего войска, с которым и проделал всю войну, командуя первой сотней, сначала в чине подъесаула, а потом есаула. Верхнеудинский и Нерчинский казачьи полки составляли украшение отряда ген. Мищенко, одного из немногих генералов, который в ту войну, без всякого очковтирательства, стяжал себе хорошую боевую репутацию.

За японскую войну Веселаго заработал себе все боевые награды от «клюквы» до Владимира IV степени и по единодушному свидетельству всех наших, которые были с ним на войне, держал себя выше всякой похвалы. Когда кончилась война, Веселаго вернулся в наш полк в чине штабс-капитана и стал по списку на свое место. Иначе возвращаться в гвардию было нельзя. В 13-м году он поступил в Военную академию и когда началась германская война, был на 2-м курсе. На войну он вышел командиром 6-ой роты и капитаном с пятилетним старшинством.

Выписка из официального донесения. Кщенов. 24-го августа:

> «…На гребне был убит младший офицер 2-ой роты подпоручик Лауниц. 1-ый и 2-ой батальоны несли большие потери и дальнейшее продвижение казалось невозможным. Наши цепи, резко выделяясь на гребне, служили отличными мишенями противнику. Дальнейшее наступление в этих условиях грозило гибелью обоих батальонов и только находчивость и боевой опыт командира 6-ой роты капитана Веселаго спасли наступавшие батальоны. Взамен приема мирного

времени — наступление широкими цепями прямо перед собой, — он вызвался провести батальоны не цепями, а цепочкой, т. е. роту за ротой в затылок друг другу по параллельной (справа) наступлению полка лощине в дер. Теклин. Маневр этот удался блистательно и батальоны почти без потерь вышли в район Касаржов Горный — Стружа, где и заночевали».

В ноябре 14-го года Феодосий Веселаго получил Георгиевский крест за то, что по словам официальной реляции: «2-го сентября во главе своей роты бросился на горящий мост и с боем, перейдя реку Сан, овладел переправой».

Когда Веселаго и его батальонный командир полковник М. С. Вешняков (тоже прекрасный офицер и участник японской войны, в 15-м году убит на разведке), получили Георгиевские кресты, весь полк, радовался этой справедливой и заслуженной награде. Их обоих уважали, а Веселаго вдобавок еще и любили. И трудно было его не любить. Он был отличный товарищ и добрый человек. Был характера ровного и сдержанного и собой владел удивительно. За все время моей с ним дружбы, я ни разу не видел, чтобы он рассердился или даже был не в духе. Был он холост и жизнь вел воздержанную, но без всякого показного спартанства. Вообще «Веселаго» и «показное» — были вещи несовместимые. Он был хороший спортсмен, хорошо стрелял, хорошо фехтовал, превосходно ездил верхом и был неутомимый ходок. Благодаря своей светлой и ясной голове, все, что он ни делал, он делал хорошо, тонко играл в шахматы и великолепно в коммерческие игры в карты.

Маленького роста, с сбитой плотной фигурой и с круглым бурятским лицом, он не был представителен и яркого в нем ничего не было. Но несмотря на скромность и малую словоохотливость, чувствовалась в этом человеке сильная волевая «личность», которую не заметить было трудно.

Русские люди мастера на меткое слово. Хорошо владел им и Веселаго. Помню, на третий год службы я слегка увлекся светскими удовольствиями, балами, выездами и т. д. В новом сюртуке с эполетами, в длинных штанах, в лакированных ботинках, с идеально расчесанным пробором и с белоснежным, надушенным носовым платком, в восьмом часу вечера захожу раз в Собрание. В Собраньи пусто. В читальной сидит один дежурный по полку Веселаго и читает военный немецкий журнал. Он всегда чему-нибудь учился.

— На вечер собираешься?

— Еду обедать, — говорю.

— Куда же?

— К таким-то, — называю очень известный тогда в Петербурге дом.

— Ну что же, блажен кто с молоду был молод…

А потом прищурил свои бурятские глазки, хитренько усмехнулся и добавил:

«Прежде был мужик простой,
Скромный ярославец,
А теперь гляди какой
С Невского красавец…»

Капитан Феодосий Веселаго 20 февраля 1915 года погиб геройской смертью и вот при каких обстоятельствах:

В Ломжинских боях полк наш участвовал 3-го, 5-го, 7-го и 19-го февраля. Очень серьезные встречные бои, когда мы остановили наступление немцев, имели место 7-го и 19-го. К ночи 19-го положение стабилизировалось. Немцы и мы зарылись в землю друг против друга. Наша 6-ая рота, после командования Левстрема и Свешникова, уже много лет как одна из лучших в полку, во время наступления вырвалась вперед и вдвинулась в немецкое расположение клином.

С начала войны 6-ой ротой командовал Феодосий Веселаго и младшими офицерами у него в это время были прапорщик барон Типольт и подпоручик Михаил Тухачевский, впоследствии маршал. Тухачевский был смелый юноша. В первый месяц войны, при преследовании австрийцев он отличился, забрав два пулемета. Молодой человек был с большой амбицией. Тухачевский пожелал получить за это Георгиевское оружие, но так как он не мог доказать, что пулеметы были «действующие», а главное так как давать большие награды молокососам было против полковых порядков, был он представлен всего лишь к Владимиру. Близкие его товарищи рассказывали потом, что когда он узнал, что Георгиевского оружия не получит, от огорчения и злости будущий маршал расплакался.

Таким образом вечером 19-го февраля, после упорного боя и тяжелых потерь, полк наш зарылся в землю одной извилистой линией, имея одну свою 6-ую роту далеко впереди.

Всякий военный поймет, что такое положение представляло для этой выпяченной роты большую опасность, но штаб наш до этого не додумался и никаких распоряжений не отдал. Отходить назад сам, без приказания, Веселаго не захотел. Ночью, перед рассветом, поднялся густой туман. Пользуясь этим туманом немцы подошли почти вплотную, без выстрела, а затем закидали

роту ручными гранатами и бросились в атаку.

Ни до, ни после этого случая, насколько нам было известно, немцы таких «пластунских поисков» не предпринимали. Это была совершенно не их манера воевать. Но в ночь с 19-го на 20-е февраля, в противность всем вероятиям, они как раз это и проделали.

Веселаго схватил винтовку и довольно долго отбивался, но наконец упал, получив одну пулевую рану и две штыковых. С ним вместе бешено отбивались человек 30 его верных солдат. И все они полегли рядом со своим командиром. Человек 40 с прапорщиком Типольтом, раненым в руку, отстреливаясь, успели отбежать назад и присоединиться к полку. Человек 30 были забраны в плен и вместе с ними Тухачевский. Как говорили, он получил удар прикладом по голове и был подобран в бессознательном состоянии. Славная 6-ая рота фактически перестала существовать.

Через несколько дней началась настоящая весна. Стало пригревать солнышко и понадобилось убрать трупы. Немцы предложили перемирие на три часа. От нас отправилась партия с большими лопатами и с нею наш священник о. Александр. Он рассказывал потом, что нашел труп Веселаго лежащим на спине, со сложенными накрест руками. На груди у него лежал его белый Георгиевский крестик. Кругом в беспорядке лежали его доблестные соратники. В первую германскую войну немцы еще не потеряли образ человеческий и находились среди них люди, умевшие чтить вражескую доблесть.

После гибели Веселаго, Ванечка Эттер горевал, хотя друг друга они и не очень любили. Горевал Ванечка впрочем при всех потерях, т. к. был мягкосердечен и по своему полк очень любил.

Помню 7-го февраля, под Ломжей, везут нас троих на телеге. Тавилдарова с простреленными пальцами ноги, Моллериуса с пробитым плечом и меня с разбитым коленом. Едем мы в телеге, на соломе и хотя при толчках больно, но, по понятным причинам, настроение у нас скорее веселое. Могло быть много хуже. Проезжаем мимо штаба, полка, по обыкновению отстоящего от сферы огня на приличную, или вернее на неприличную, дистанцию. «Из шатра выходит» Ванечка, велит остановиться, подходит к нам целует нас и платком утирает слезы.

* * *

В старой царской армии на войне порядка было не много. Дисциплина была слабая. И солдаты, и в особенности офицеры

проделывали безнаказанно иногда такие вещи, за которые в других европейских армиях полагался военный суд и почти неизбежный расстрел.

Но зато, конечно, ни в какой армии не ценили человеческую жизнь так дешево, как ее ценили у нас. Недостаток технических средств и общую неслаженность сплошь и рядом заменяли «живой силой», благо считалось, что этой «живой силы», «серой» Драгомировской «скотинки» у нас не занимать стать. Военная наука искони учила покупать военные успехи возможно «малой кровью». У нас зачастую великою кровью не покупали ровно ничего. Приказывали атаковать. И люди подымались и шли и валились и гибли сотнями, и не только без всякого успеха, но и без всякой надежды на успех.

Таких нелепых и кровавых атак наш полк выполнил три: 11-го октября 14-го года под Ивангородом, в июле 16-го года на Стоходе и в сентябре 16-го года под Владимир-Волынским. Из всех трех, Ивангородская была самая нелепая и самая бессмысленная.

Так как атака эта была связана с Ванечкиным командованием, постараюсь о ней рассказать. А для этого передам слово единственному, оставшемуся в живых офицеру ее участнику, в те времена подпоручику, Сергею Дирину.

> «Получен приказ от командира батальона — всему батальону, в 9 часов вечера, равняясь по 10-ой роте, атаковать прямо перед собою австрийские линии. Так как приказ предусматривал влитие перед самой атакой рот 2-ой линии в роты 1-ой (в 1-ой линии были 9-ая и 10-ая роты, во второй — 11-ая и 12-ая), и пошел к Андрееву, командиру 10-ой роты, чтобы договориться о подробностях влития людей 12-ой роты в его роту. Андреев сказал, что в указанный момент он даст свисток, по которому всем вставать и цепями идти в атаку. Моей же 12-ой ускоренным шагом догонять 10-ую и вливаться в ее ряды уже на ходу. Я его спросил, произвел ли он разведку и выяснил ли местонахождение противника. Он мне ответил, что нет, но что атака будет вестись прямо перед собой, до столкновения с противником. На мое замечание, что не лучше ли будет перед выступлением собрать взводы в кулак, т. к. по-моему при полной темноте, луны в это время не было, атака цепями будет беспорядочной, он ответил, что приказ к-ра батальона этого не предусматривает и что следовательно атака, будет вестись цепями. Оставив Андреева я решил

повидать батальонного командира и пошел к нему в Здунково. Шел я с тяжелым чувством. Двухдневное лежание солдат в индивидуальных ячейках, в открытом, как бы выбритом, поле, насквозь простреливаемом и днем, и ночью ружейным огнем, уже успело отразиться на морали людей. Ни шуток, ни разговоров. Только каждый старался как можно глубже уйти в землю. Больше всего меня беспокоило то, что атака начиналась с неизвестного расстояния против невидимого врага. Мне казалось совершенно необходимым ранее атаки, перебежками приблизить наши линии к неприятелю и там их окопать. Андреев делать это решительно отказывался, моя же рота была во второй линии и я никакой инициативы проявить не мог. С этими мыслями я шел в Здунково. Мне хотелось изложить Зыкову все эти соображения и упросить его не подымать нас в атаку ночью, а обождать рассвета, когда и цель будет видна и офицеры будут уверены увлечь за собой людей.

Зыкова я застал в страшном возбуждении. Он вполне ясно отдавал себе отчет в том, что ночная атака в данной обстановке является безумием. Он уже докладывал свои соображения командиру полка и генерал Эттер умолял по телефону начальника дивизии, если не отменить атаку, то изменить некоторые детали приказания, но ген. Олохов стоял на своем, в свою очередь ссылаясь на приказание свыше — ночная атака с занимаемой позиции в указанный приказом час.

Я побрел в свою роту.

Чтобы подготовить роту к атаке, нужно было обойти каждого бойца, каждую ячейку. Ячейки были широко разбросаны и отстояли между собой на много шагов. От свиставших пуль люди глубоко зарылись в землю и приходилось подходить к самому краю ячейки, чтобы увидеть солдата, к которому обращалась речь. И вот началось бесконечное обхождение ячеек. Говорилось приблизительно следующее: в 9 час. вечера капитан Андреев даст свисток. По этому свистку подыматься и без шума, без криков, беглым шагом догонять 10-ую роту. Подтянуть котелки чтобы не звенели. Винтовками не стучать. Всем держать направление на пожар (за неприятельской линией горел подожженный нашей артиллерией амбар). Если будут слышать мой голос или прапорщика Степанова, смыкаться к офицерам.

Была у меня еще одна забота. Волновал меня вопрос

моих помощников, вопрос возможного заместителя. Мой младший офицер, доблестный Вл. Вл. Степанов, своим подсознанием как будто предчувствовал приближавшийся конец. Цвет лица у него был землистый, как у покойника… Мой ротный фельдфебель, подпрапорщик Серобаба, отправленный в Петербург, умирал там от чахотки…

И все же люди исполнили в эту ночь свой долг и беззаветно вышли из окопов на почти верную смерть. Такой доблестной, спаянной роты я уже более за всю войну не встречал. Не только был жив дух подготовки мирного времени, но и запасные, влитые в роту при мобилизации, за два месяца пребывания в ее рядах, успели слиться с ротой и впитать ее дух и дисциплину. Когда на следующий день подсчитали потери обоих рот, то убитыми и ранеными оказалось чуть ли не около 80 %. При такой пропорции сколько же могло остаться в ячейках и не пойти в бой? Разве что единицы… Исключительно темной ночью из ячеек, отстоявших друг от друга чуть не на десять шагов, о принуждении и речи быть не могло. Каждый был предоставлен своей совести. Каждый был волен выйти из ячейки, или еще глубже в ней зарыться…

А как умирали!.. На утро офицеры, обходя поле боя, были поражены видом этих рядов солдат, лежавших головами вперед и чуть что не равнявшихся умирая… Значит ни у кого не было попытки уйти назад. А ведь ночью это так просто и так легко!..

В назначенный час по свистку Андреева, встали без команды и пошли безшумно догонять 10-ую роту. Через несколько минут я уже шел рядом с Андреевым, а за нами два моих ефрейтора связи. При Андрееве связи не было. Он волновался, почему не видно 12-ой роты. Зная, что они идут за мной, я оборачиваюсь, чтобы ему их показать и тут только замечаю, что пожар нас освещает во-всю и что ни о какой неожиданности штыкового удара при таком освещении и речи быть не может. Не успел я высказать мою мысль Андрееву, как со страшным свистом проносится кругом нас ураган пуль. Мы обнаружены и по нас открыт сильнейший ружейный и пулеметный огонь. Мы освещены заревом пожара, нам оно в то же время слепит глаза и делает темноту ночи еще более черной и еще более зловещей. А кругом настоящий фейерверк. Синими огоньками рвутся

бесчисленные австрийские пристрелочные пули. Андреев падает вперед, на грудь убитый наповал пулей в лоб. Вслед за ним падают убитыми, почти одновременно оба чина моей связи. Идущие по сторонам ряды редеют. Люди один за другим валятся на землю. Освещенным пожаром фигурам кричу — смыкайся ко мне — но кругом уже никого нет. По звуку выстрелов чувствую, что мы дошли до самой цели, что до неприятельских линий остается каких-нибудь шагов 20… И в голове вихрем проносится мысль, что же делать… идти вперед… одному… значит попасть в плен… ложиться же на таком расстоянии от неприятеля, да еще будучи освещенным, это значит наверняка быть пристреленным… И в это время удар как бы палкой по плечу разрешил казалось неразрешимый вопрос. Удар был настолько сильный и неожиданный, что выпуская винтовку из рук я, чуть не через голову полетел на землю. Первая мысль — контузия. Хочу начать окапываться, правая рука не повинуется. Левой же ничего не выходит, земля не поддается. Поблизости никого, а в шагах десяти на фоне пожара легко различаю силуэты двух солдат… Один стреляет в нашем направлении стоя, другой как будто бы с колена. Слышу как они между собой переговариваются, но не понимаю на каком языке. Я еще не знал тогда, что перед нами были венгры. Нужно отползти назад, но рука мешает движению. Хочу левой рукой поддержать правую и дотрагиваюсь до чего-то сырого, липкого, покрывающего кисть руки. Из рукава шинели текла кровь и мне стало ясно, что я ранен. Насколько перед ранением мысль моя работала логично, настолько теперь мною овладела прострация. Я встал во весь рост, отстегнул пояс, перекинул его с пристегнутым револьвером и полевой сумкой через здоровое плечо и спокойно тихим шагом пошел назад. Нервы мои были в это время атрофированы и все мне было совершенно безразлично. Что я тогда был прекрасно видимой целью, единственной двигавшейся по полю человеческой фигурой, это я прекрасно сознавал. Пули свистали кругом, но мне это было совершенно все равно. Волею Божией ни одна из них меня не тронула. В. В. Степанов шел сзади меня и как он упал я не видел. На следующий день он умер».

А вот что писал, уже много лет спустя, об этом самом деле,

бывший командир Семеновского полка отставной генерал-лейтенант И. С. Эттер:

> «Ночная атака 11-го октября завершилась успехом. На следующее утро неприятель отошел по всей линии, но успех был куплен слишком дорогой ценой. Телефонные переговоры с очень от нас отдаленным штабом дивизии не прекращались в течение двух дней, причем мы упорно отмечали опасность штурмовать в лоб, без артиллерийской подготовки, сильно укрепленную позицию. В ответ получил только требование двигаться вперед и взять высоту.
>
> Приказание начать атаку я решился отдать только тогда, когда получил категорическое обещание начальника дивизии, что одновременно с нами подымется и двинется соседний нам Преображенский полк. Но этого не случилось. Кроме нас никто не двинулся и только впоследствии мне стало известно, что Преображенцам было разрешено не атаковать. К сожалению в этот первый период войны, при безостановочном наступлении, мы не устанавливали прямой связи с соседними частями.
>
> О том, что отмена атаки нас не коснулась, Преображенцы очевидно не знали, так как в изданной недавно одним из офицеров брошюре сказано, что Семеновцы по собственной инициативе произвели ночную атаку и понесли жестокие потери.
>
> До сих пор, по прошествии 21 года, не могу без ужаса вспомнить, как в эти грозные дни мы без настоящей необходимости пожертвовали столькими, драгоценными жизнями Семеновцев, но вместе с тем сохранилось чувство восхищения и неописуемой гордости за полк, за тех героев, которые с беззаветным самоотвержением шли на верную смерть за царя, за родину».

То, что написал здесь И. С. Эттер, делает честь его мягкому сердцу (не могу без ужаса вспомнить и т. д.), но отнюдь не его военным талантам к распорядительности. Атака 11-го октября успехом не завершилась по той простой причине, что ни один из атаковавших до противника не дошел. С позиции венгры действительно ушли, но на другой день, после атаки. Отход их был предрешен до нашей атаки и вызван был неудачей соседней австрийской дивизии на Новоалександрийской переправе. Как могло выйти, чтобы из предполагавшейся бригады пошло в атаку

две роты? И как, два дня ведя переговоры со штабом дивизии, не найти было времени сговориться с соседями Преображенцами, которым было «разрешено не атаковать»? Быть может некого было послать? А что же делал штаб в 16 человек?

И если через 21 год, будучи в спокойном состоянии и сидя у себя дома, И. С. Эттер мог писать такие военные несуразности, то что же делал он тогда, на месте, когда решения нужно было принимать мгновенно и когда от этих решений зависела жизнь сотен людей.

Сдав полк в июле 1915 года, И. С. Эттер уехал к себе в имение в Финляндию, где и провел остаток войны и революцию. Там же он и умер, в глубокой старости, за два года до начала второй германской войны.

Маленькие подвиги

Кто-то из умных людей назвал старую русскую армию «великой молчальницей». Молчала и страдала она сама; молчали и о ней. Для того, чтобы выдающийся поступок воина был описан и сохранился бы в потомстве, нужно было по меньшей мере взорваться на пороховом погребе, как Архип Осипов, заколоть 12 вражеских солдат, защищая знамя, как Финляндского полка гренадер Коренной, или завалить своими телами канаву, чтобы через них смогла пройти артиллерия, да и то, кажется, имена этих последних героев, добровольно пошедших на такую страшную смерть, остались неизвестны. По настоящему, не только крупные, но и маленькие подвиги, которые может быть и не стоили общеармейского и отечественного признания, безусловно должны были бы сохраняться в своих полках, вместе с именами тех маленьких героев, которые их совершали. Перед выступлением в поход у нас об этом подумали и впоследствии приступили к сбору документов. Документами для этого должны были послужить донесения ротных командиров и копии представлений к георгиевским крестам и медалям. Впоследствии все это должно было быть включено в полковую историю. Все это так бы наверное и было, но, как сказал Пушкинский Пимен «Бог судил иначе». Почти весь огромный документальный материал, свидетельствовавший о доблести и презрении к опасности русского воинства в первую германскую войну сгорел и разметан по ветру в пожарах и вихрях Революции. И большие и малые герои, той войны по заслугам своим не получили. Кто в этом виноват? Никто не виноват. Причина этому наша история и судьбы нашей Родины.

Вот какой случай должен был бы по-моему сохраниться в боевой хронике нашего полка.

Не имея карты и описывая бой, я не могу даже указать страны света. Названия деревень и многие имена я также забыл… Но это был первый бой, в котором я участвовал, поэтому всю его общую картину и отдельные эпизоды я помню так отчетливо, как будто бы все это происходило вчера.

После двухмесячной стоянки в резерве под Варшавой, сначала в Гарволине, а затем в Гощине, где мы встретили 1915-ый год, в самых последних числах января, нас по железной дороге перевезли под Ломжу.

Развивалась Праснышская операция, и гвардию, как это часто случалось и раньше и позже, послали заткнуть образовавшуюся на фронте дыру.

Если не ошибаюсь, 1-го февраля наш полк пришел в местечко Стависки, уже в непосредственной близости от наступающих немцев. 4-го февраля под вечер наш 3-ий батальон получил самостоятельную задачу. Отделившись от полка и пройдя версты три по шоссе, когда совсем стемнело, мы вошли в полупустую деревню (названия не помню) и расположились там на ночлег, выставив сторожевое охранение. Весь день была слышна сильная артиллерийская стрельба, и когда село солнце — стихла. Солдаты расположились в пустых домах и сараях, отдыхая поочередно. Мы, офицеры, расположились по возможности в центре, и попив чайку, также по очереди, прилегли на соломе. Спали по последнему разряду, в полной боевой готовности. Ночь прошла спокойно. С рассветом пришло приказание отрядить две роты верст за 5, в деревню Порытые, на помощь отступающим Кавказским стрелкам. Ротным командирам явиться к старшему стрелковому начальнику и поступить в его распоряжение. Деревню оборонять до последней крайности и без приказания не уходить.

Назначены были 2 роты: 10-ая Дивова и 12-ая моя. В 10-ой младшим офицером был Владимир Бойе, у меня Павлик Купреянов. В ротах было по 80 рядов и люди, после двух месяцев резерва, были сытые, отдохнувшие и выученные. Артиллерии у нас не было. При батальоне состоял пулеметный взвод (2 пулемета), но нам их также не дали. На людях было по 200 патронов и это был весь наш огнестрельный запас.

Как сейчас помню, было холодное, солнечное зимнее утро. Выступили мы сейчас же к справа по отделениям, лихим гвардейским шагом, пошли по отличной широкой польской дороге. Шли, как всегда на походе, если позволяла дорога, в ногу. Без неуместной скромности можно сказать, что две наши роты представляли из себя тогда весьма красивое зрелище. Даже сейчас приятно вспомнить какими молодцами мы тогда имели честь командовать… Хорошо обстрелянные, но отдохнувшие, все унтер-офицеры и многие рядовые георгиевские кавалеры, винтовки на ремне, папахи на затылке, башлычки закинуты на плечи… Шли в сражение так же стройно, как по Петербургской улице, но еще лучше, быстрее, размашистее и свободнее… Приятно было бы если бы на нас тогда посмотрело большое начальство. Но, как всегда, большое начальство было далеко позади…

Не успели мы пройти с полчаса, как нам стали попадаться навстречу сначала поодиночке, а потом кучками, человек по 5 по 10, те самые стрелки, на поддержку которых мы не шли, а летели… Вид у них был вовсе не военный… не шли, а брели. Без

винтовок, хлястики растегнуты, не в шинелях, а балахонах. Папахи нахлобучены на уши. Раненые брели опираясь на палки, но здоровых было много больше. Смотрели они на нас тупо, а некоторые явно недоброжелательно. Одной такой кучке мой фланговый унтер-офицер проходя кинул: «Что, отвоевали уж что ли, сражатели!?»

— Эка, жеребцы, — послышался злобный голос, — как пять дней жрать, да спать не дадут, так поговорите… так вашу растак!..

Когда стали попадаться толпы уже человек по 20, пришло мне в голову, что по уставу отступающие в беспорядке войска полагается задерживать, приводить в порядок и снова вести на неприятеля.

Высказал я свои мысли Павлику Купреянову, но сочувствия от него не получил. А спрошенный на этот предмет фельдфебель Ситников высказался еще определеннее:

— Да на что они нам, Вашесродие, такие-то нужны? Их первонаперво кормить надо, да чтоб отоспались, да в строй поставить на недельку, тогда из них толк выйдет… Пущай себе идут, их уж там в тылу в порядок приводить будут!

Еще минут через 20 пришли в Порытые. Большая и богатая деревня с водяной мельницей, наполовину уже пустая. Кое-где в домах еще копошатся жители.

На площади встретил нас 4-го Кавказского стрелкового полка капитан Таралло, большой молодчина, старается держаться бодро, но видно сразу, что вконец измучен. Мы с Дивовым ему отрапортовали.

— Это что, гвардия? Оно и видно! Слава Богу, что вы пришли… Мы 7 дней шли с боями. Последние дни не спали и не ели. У меня 2 батальона, а всего наберется человек 50 и один прапорщик… Немцы придут вот из этого леса. Может быть через час, может быть и раньше… Справа у нас Туркестанские стрелки, но им меньше досталось, чем нам, и они более или менее в порядке… Мы самый левый фланг отряда, так что слева, насколько я знаю, никого нет. Вы уж тут распоряжайтесь, а я еле на ногах стою… Пойду вот в эту избу и подремлю хоть полчаса… Если понадобится — разбудите.

Мы его успокоили, угостили галетами и коньяком и отправили спать, а сами стали распоряжаться. На моем участке Таралло больше не показывался и я его больше не видал. Но часа через два, когда началось настоящее, он снова появился на более жарком Дивовском участке, где сидели и его стрелки и отлично там действовал. Потом мы узнали, что за эти бои он получил Георгия, а несколько дней после получения был убит.

Деревня Порытые расположена на пологом скате невысокого холма, вдающегося в поле мысом. Весь этот мыс опоясывает ручей, в это время замерзший, на котором стоит мельница. Параллельно ручью, по верху холма идет широкая дорога с канавами по бокам и с парапетом из полуаршинных валунов. За ручьем во все стороны расстилается широкое поле. За полем, шагах в 1000, на горизонте лес. В поле, впереди мельницы, почти на половине дороги; до леса, кладбище с каменной оградой. Позиция была прекрасная и если бы дали нам полубатарею, да штук 5 пулеметов, мы бы с двумя ротами отсиделись бы на ней хоть от бригады.

Первым делом мы с Дивовым поделили боевые участки. Я взял себе левый с мельницей, по фронту шагов 300, а он правый. К нему же влились оставшиеся стрелки. Как уже сказал нам Таралло, справа от Дивова заняли позиции уцелевшие стрелки, под командой генерала Бендерова (болгарина на русской, службе). Ему же подчинялись и мы. Слева от моего участка, насколько нам было известно, не было никого. Чтобы обезопасить себя от сюрпризов с этого фланга, мы с Дивовым решили выслать на 1/2 версты влево офицерский дозор. С дозором пошел Бойе.

Когда придут немцы мы не знали, поэтому каждая минута была дорога. Мы с Купреяновым расположили наши войска таким образом: перед мельницей вдоль ручья — первый взвод под его командой; шагов на сто, позади и справа, с возвышением над ними сажени на две, так что могли палить им через головы, вдоль дороги за камнями, расположились 2-ой и 3-ий взводы. С ними засел в траншею и я. Сзади еще выше нас, у самой деревни, расположился 4-ый взвод с фельдфебелем Ситниковым. Этот взвод был как бы в резерве, но мог палить, и палил через головы и наши, и Павлика. Таким образом, хоть и без артиллерии и без пулеметов, была нами сооружена трехъярусная оборона, для наступающего по открытому полю, вещь весьма неприятная.

Беспокоило нас с Павликом торчавшее почти посередине поля, т. е. между нами и лесом, кладбище. Стены у него были крепкие, каменные. Разрушить нам его было невозможно, а оборонять немыслимо, слишком оно уже было выдвинуто вперед. А так, как оно стояло, мы знали, что немцы за его стенами будут накапливаться. Но делать было нечего… Послали на кладбище отделение в 10 человек с приказанием, во-первых, измерить все расстояния, а затем расположиться за оградой, а когда немцы покажутся, открыть по ним самый свирепый огонь, по 10 патронов с человека, после чего тикать назад. Кроме неприятной неожиданности противнику, это должно было дать нам знать, что пора кончать работы и занимать места.

А работы было очень много. За исключением придорожной канавы, где устроились мои два взвода, и которые тоже нужно было расширять и углублять, остальные два окопа нужно было рыть наново. В военном училище мы, юнкера, сами рыли стрелковые окопы малыми лопатами. В полку на занятиях сколько раз я видел, как, их рыли солдаты… И всегда это дело подвигалось очень медленно. За два часа бывало выроют такой окопчик, что просто смотреть не на что. В этот раз был февраль месяц. Земля промерзла и была твердая как камень. Но тут каждый работал для себя, уже не за совесть, а за страх…

Меньше чем через час были готовы такие окопы, что в них можно было и лежать и сидеть. Натащили в них соломы, а бруствера маскировали. Единственно что меня беспокоило, это небольшой сенной сарайчик, шагах в 5 за окопом резерва. По всем правилам его следовало бы разрушить, но на это у нас положительно не было времени, а располагать окоп иначе не хотелось. Тогда у людей не было бы такого отличного обстрела, а при нашем беспулеметном состоянии, каждая винтовка была на счету.

Только что начали маскировку окопов, как видим из леса через поле, держа направление на нас, во весь опор, сыпят 3 всадника. За ними из леса выстрелы. Влетели в деревню. Передний соскочил.

— Где здесь старший офицер? — Показали на меня. Подбежал, щелкнул шпорами и лихо отрапортовал:

— Разъезд 19-го Гусарского Иркутского полка. Младший унтер-офицер Сидоренко. — Протянул конверт полевого донесения. — Извольте прочесть и расписаться.

В донесении, отлично написанном, сообщалось, что неприятельская колонна, силою около бригады пехоты с артиллерией, двигается по опушке леса параллельно нашему фронту. За ней, на дистанции полуверсты идет еще колонна. Конницы нет.

Я расписался на конверте и говорю:

— Молодцы, Иркутские гусары!

— Счастливо оставаться, Ваше Благородие! — Вскочил на коня и был таков.

Нужно сказать, что гусарское пожелание «оставаться счастливо» было как нельзя более уместно и своевременно.

Не успели гусары скрыться за домами, как наш дозор на кладбище открыл по опушке леса бешеную пальбу. Значит и они что-то увидели, если не колонны, так дозоры. Расстреляв свои патроны, они, как было им приказано, прибежали назад.

Минут через 10 началась по нас артиллерийская стрельба.

Била, нужно думать, батарея с самой короткой дистанции, чуть не прямой наводкой, по деревне гранатами и зажигательными. Сразу же начались пожары. Как сейчас помню, из одного дома, который зацепила граната, выскочила простоволосая женщина с ребенком на руках и с диким воем стала бегать вокруг горящей избы. Через полчаса вся деревня была в огне. Счастье еще что не было ветра, хотя тушить все равно было некому.

Покончив с деревней стали бить уже прямо по нас. Стреляли легкими. Приблизительно до часу дня все было сравнительно благополучно. Несмотря на сотни гранат, которые рыли воронки и сзади и спереди, ни одна прямо в окопы пока не попала. Около часу одна все-таки угодила почти в самый наш окоп. Упала и разорвалась в 4-х шагах сзади. Адский грохот, пахнуло жаром, вспышка зеленоватого света, удушливая вонь какого-то газа и летящие камни и комья земли… Когда мы очухались, оказалось, что третьему от меня солдату снесло полголовы, а еще через несколько человек одному осколком проломило грудь. Через несколько минут он умер.

Пока что мы не дали ни одного выстрела. Винтовок на бруствер не клали и большинство сидело не выставляя голов. Около меня устроились 4 человека моей связи, которые в мой 12-кратный бинокль по очереди наблюдали за тем, что делается у врага. Около 2-х часов дня у немцев началось движение. Орудийный огонь еще усилился. Застрекотали пулеметы и стали брить по нашим окопам. Струя шла то слева направо, то справа налево. Пули щелкали по камням бруствера. Когда струя приближалась, головы ныряли за бруствер, а потом, как трава после вихря, подымались снова.

Пулеметный огонь вдруг сразу прекратился.

— Вашсродие, идут!

Я стал на колени и схватил протянутый бинокль. Впрочем, отлично было видно и без бинокля. От леса отделилась разомкнутая линия людей в касках с шишаками. Винтовки несли в руках. Взводу Павлика они из-за кладбища не были видны, но нам и резерву Ситникова наступление было видно как на ладони. Когда от леса отделилась 2-ая линия, но моему знаку, оба окопа, сто двадцать человек, открыли огонь, не пачками, а частый и очень прицельный. Расстояния все были измерены. Немцы бросились на землю, и подобрав раненых снова отхлынули назад в лес.

Через полчаса повели уже осторожное наступление, перебежками, накапливаясь к кладбищу. Нашим прицельным огнем мы им очень мешали, но остановить мы их, разумеется, не могли. Для этого нужны были пулеметы, а их-то у нас и не было.

Часа в 3 дня, из-за кладбища немцы опять повели наступление. Но из кучи, в которую они неминуемо сбились, укрываясь за каменной стеной, под огнем на 600 шагов, на гладком как ладонь поле, построить боевой порядок оказалось дело трудное и для немцев. Тем более, что они с немецкой добросовестностью пытались это проделывать как на ученьи. Сначала рассыпаться по фронту, потом повернуться на 90 градусов и на широких интервалах идти в атаку. Вот тут-то наша трехъярусная оборона и оказалась на высоте. На этот раз уже все три линии, и Павлик и Ситников и я, открыли по ним пальбу такую серьезную, что никакого наступления не вышло. Те, кто выбежали, сначала бросились на землю, а затем, кто бегом, кто ползком повернули опять за ограду. Впрочем, несмотря на четырехчасовую бомбардировку, мораль защитников деревни Порытые была, столь высока, что мы не побоялись бы и атаки. Памятуя слова великого однополчанина, что «штык молодец», подойди они ближе, мы, конечно, пошли бы в контр-атаку, в штыки.

Вот тут как раз произошел случай, к которому я веду все это длинное повествование. Можно бы и прямо с него начать, но так, пожалуй, выйдет нагляднее…

После неудачной атаки немцы опять усилили ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь. Одна из бомб угодила в сенной сарайчик, в 5 шагах за нашим резервным окопом. Сарайчик вспыхнул как свечка. Вся линия окопов оказалась освещена как в театре. На людей полетели горящие головни. Только что я хотел послать им сказать, чтобы перебегали к нам, как вижу подымается во весь свой богатырский рост фельдфебель Ситников, а с ним еще 5 человек, и начинают они этот горящий сарайчик разметывать.

Принято считать, что в пожарные идут люди смелые, но пожарные горящие дома разносят баграми и топорами, а не полуаршинными шанцевыми лопатами и голыми руками. Пожарные на работе одеты в особую брезентовую одежду, которая не загорается, а не в солдатские шинели… Наконец, пожарных на работе поливают из кишки водой, а не пулями из ружей и пулеметов…

В результате 10-минутной работы, сарайчик разметали, но один из пожарных был убит пулей в голову и упал в огонь. Двое были ранены и получили тяжелые ожоги. Остальные пожгли себе руки, лица и шинели. Из шести человек помню фамилии трех: фельдфебель Ситников, мл. унт. — оф. Василий Камков и ефр. Бездорожных. Имена других трех не помню. Всех их я представил к крестам, Ситникова и Камкова к III степени (4-ая у них уже

была), а остальных к 4-ой.

Конечно, пойди на нас как следует, по-настоящему, полк — нас наверное бы смяли. Но или немцы думали, что нас много больше, или они не придавали этому пункту большого значения, но как бы то ни было, больше атаковать они не пробовали.

Когда стемнело нам привезли патронную двуколку и кухни. А еще через 3 часа мы получили приказание уходить.

Всего за этот день 5-го февраля наша 12-ая рота потеряла шесть человек убитыми и пятнадцать ранеными, главным образом от артиллерийского огня. Немцы, нужно думать, потеряли много больше.

Мой последний приезд на войну (июль — Сентябрь 1916 года)

I. Отъезд и дорога

После годового пребывания на лечении в Петербурге, окончательно оправившись от последствий довольно тяжелой операции, в 20-х числах июля 1916 года я в третий раз выехал в действующий полк.

Как и в первые разы, жена провожала меня только до вокзала и отхода поезда не ждала. Дальние проводы — лишние слезы.

Путь мой лежал на Киев, Ровно и дальше до расположения полка.

Кроме изрядного количества более или менее ненужных, но украшавших походную жизнь вещей, нового английского непромокаемого пальто, кожаного футляра для письменных принадлежностей, кожаной сумки через плечо, для папирос, литрового термоса и проч., — все подарки заботливых родственников — вез я с собой на воину еще верховую лошадь. Приобрел я ее совершенно случайно, и вот каким образом.

Последние месяцы перед отъездом я в нашем Запасном Батальоне заведывал «Командой эвакуированных». Как и показывает название, это были выздоровевшие от ран и болезней наши же солдаты, которые после всяких лазаретов, госпиталей и санаторий, принимали там снова облик воинский, и с нашими же офицерами периодически отправлялись на пополнение действующего полка. Было их много, человек до 1.000, и при них состояло несколько офицеров, также эвакуированных и также намеревавшихся возвращаться.

Среди них служил тогда у меня в Команде поручик Е. А. Фок, у которого тою же весною убили отца, еще героя Порт-Артура, артиллерийского генерала, лично выехавшего на разведку. Вместе с кое-каким боевым имуществом, прислали с фронта молодому Фоку в Петербург и отцовскую верховую лошадь. Что с ней делать, он совершенно не знал.

Как-то на занятиях, перед выходом Команды эвакуированных в лагери, в Красное Село, Фок мне говорит:

— Ты когда в полк собираешься ехать?

— В июле.

— Ну вот, купи у меня лошадь. Она тебе и в лагерях, и на войне пригодится. Но только должен тебя предупредить, что до моего отца, на ней был убит еще ее первый хозяин, тоже артиллерист… Так что ты будешь третий… Если тебе это все равно, покупай; продаю дешево, всего двести рублей!

Вообще артиллеристов на войне убивали не так часто, генералов же совсем редко. Ехал я на войну в третий раз, в

пехоту, командовать ротой. Вряд ли какое-нибудь общество страхования жизни согласилось бы принять такую страховку… Тем не менее я решил рискнуть и не раскаялся. Лошадь была красавица, с широким шагом, что очень важно для похода, и с широкой рысью, отличного характера. Назвал я ее в честь французской победы «Марной». И в лагерях, и на войне потом, она доставила мне много удовольствия. После моей эвакуации в сентябре, у меня ее купил командир полка П. Э. Тилло, за те же 200 рублей, и также был от нее в восторге.

Что же касается примет, то я жив до сих пор (писано в 1945 году), а П. Э. Тилло умер несколько лет назад, в почтенном возрасте, в приюте для престарелых, около Парижа.

Ехал со мною на войну и мой денщик, Александр Николаевич Смуров, личность во многих отношениях примечательная. О нем стоит сказать несколько слов. Попал он ко мне в денщики еще в 1908 году, из 9-ой роты, где я тогда числился. Происходил из петербургских крестьян, но деревню не любил, а крестьянскую работу откровенно презирал. С детства жил в Петербурге, сначала мальчиком по лавкам, а потом, по протекции дядюшки дворецкого, лакеем в богатых домах, у Долгоруких, Кутузовых и т. п. Вообще продукт был городской. К службе в строю, особенно на войне, он питал нескрываемое отвращение, хотя трусом не был. Когда бывали обстрелы, он сохранял полное хладнокровие, но считал, что рисковать жизнью просто не практично, и потому всеми силами старался, без самой крайней нужды, ею не рисковать. Он в глубине души искренно считал, что сражаются только те, которые не сумели или не смогли устроиться иначе… Ну, а всякие добровольцы, офицеры, вольноопределяющиеся, охотники, так мало ли есть на свете сумасшедших.

Он бы еще понял в простом армейском полку. Ну, «погнали» всех, и солдат, и офицеров. Тут уж не отвертишься! А у нас у офицеров папаши и дядюшки генералы, адмиралы, министры, а сынки и племянники в окопах сидят! Они то уж могли бы себе места подыскать поприятнее.

По мобилизации очень многие запасные Семеновские солдаты всеми силами старались попасть в свой полк, чтобы сражаться в его рядах. Сделал то же и Смуров, но по мотивам не столь благородным. Он первым делом нашел меня, и узнав, что я никого еще себе не взял, был на седьмом небе от радости. Уже на второй день мобилизации он летал но Петербургу по моим поручениям. Денщик он был идеальный. За исключением легкой некорректности в счетах, и то всегда по мелочам, его ни в чем нельзя было упрекнуть. Расторопности был тоже необыкновенной. Все, что только можно было, в пределах разумного и исполнимого

пожелать на войне — все это у меня было. Бывало на походе придешь на ночлег. Денщики всего батальона раскладывают своим офицерам походные кровати и спальные мешки. И всегда как-то выходило, что другие еще только возятся, а у меня уж и кровать разложена, и туфли приготовлены, рядом с кроватью стоит на боку, откуда-то раздобытый Смуровым, пустой ящик, на ящике свечка, коробка с папиросами и даже очередная книжка раскрыта… И еще выходило всегда так, что из 6, 8 или 10 офицеров батальона, лучшее место в халупе всегда было у меня, хотя по праву лучшее место полагалось батальонному командиру. За ним мне всегда было хорошо, но и себя, разумеется, он не забывал. Уважать его, конечно, было не за что, был он, что называется, стопроцентным «ловчилой», но вместе с тем очень симпатичная каналья, и я его искренно любил. Думаю, что и ко мне у него было хорошее чувство. Ладили мы с ним так хорошо, главным образом, потому, что уж очень коротко знали друг друга и научились прощать друг другу наши слабости и недостатки.

В поезде, в котором я ехал, спальных вагонов не было и потому Смуров достал мне место в обыкновенном вагоне первого класса. Было мало народу и купэ было пусто. Смуров положил мои вещи на сетку и ушел устраиваться сам, Я вышел на платформу проститься с провожавшими. После 3-го звонка, когда я вернулся назад, на противоположном диване сидело какое-то черное маленькое существо, при ближайшем рассмотрении оказавшееся необычайно красивой и очень молоденькой сестрой милосердия Кауфманской Общины. Она беспрестанно курила и боязливо прятала папиросу, когда кто-нибудь проходил по корридору.

Станции две мы проехали молча. Потом стали разговаривать. Она мне рассказала, что едет в летучий лазарет при кавалерийской дивизии и что в этой дивизии, в уланском полку служит ее муж. Я ей рассказал, что еду в свой полк и что только-что простился с женой и с двумя маленькими детьми.

Исчерпав темы первого разговора мы, как пишут некоторые писатели: «погрузились в молчание». Я вытащил книжку, а она продолжала курить свои нескончаемые папиросы.

На одной из больших станций, кажется «Дно», я вышел на платформу размять ноги. Подходят ко мне два рослых солдата. По синим ленточкам на гимнастерках, вижу — наши.

Лихо отсалютовали. Я им ответил.

— Вашсродие, вы нашего полка?

— Нашего, — отвечаю.

— Мы здесь в отпуску были. Теперь назад едем в полк. Хотим на этот поезд. Были у коменданта, а он говорит ждите воинского,

завтра будет. А мы опоздать боимся, да и ждать тут на станции целые сутки… Не можете ли вы у коменданта похлопотать?

— С удовольствием — говорю — попытаюсь.

Пошел я к коменданту. Оказывается с большими усами, сердитого вида подполковник.

— Я уж сказал им, что нельзя. У меня правила, которых я обязан держаться… И прошу вас, капитан, не настаивать… Имею честь кланяться!!!

Я вышел и говорю:

— Ничего не поделаешь, друзья мои… Комендант меня пропер так же, как и вас… Коли вам денег не хватает, это я могу вам немножко ссудить, а больше ничего сделать не могу…

Однополчане повесили нос.

Подхожу к окну нашего вагона и рассказываю весь случай моей Кауфманской попутчице.

— Подождите, — говорит — может быть мне удастся вам помочь.

Оправила свою монашескую косынку и скромненько отправилась к грозному коменданту.

— Что вам угодно, сестра?

Узнав в чем дело, комендант взбеленился.

— Я уже который раз повторяю, что нельзя… Да и позвольте вас спросить, вам-то какое до этого дело? Кто вы такая, чтобы просить меня делать исключения!?

Сестра вынула из сумочки бумажку и робко положила на комендантский стол.

Комендант пробежал бумажку, встал с места и заулыбался самым обворожительным образом.

— Если вы желаете, конечно, сестра, это можно устроить… Поезд почти пустой… Эй, Ефименко, тут два солдата Семеновского полка отправляются на фронт. «Предложенья» им проштемпелевать и записать, и поживее!!!

Когда мы входили в вагон, прибежали осчастливленные однополчане.

— Вашсродие, покорнейше благодарим! Спасибо вам, сестра, вот здорово-то вышло!!!

Когда мы немножко отъехали, я говорю сестре:

— Скажите мне на милость, кто вы такая? Высочайших особ женского пола я всех знаю, по крайней мере по виду… И что у вас за волшебная бумажка? Если вы такое важное существо, то почему вы едете, как обыкновенная пассажирка, а не следуете в отдельном салон-вагоне?

Существо посмотрело на меня и говорит:

— Особа я отнюдь не важная, обыкновенная сестра и

офицерская жена, а бумажку мне на всякий случай дал отец моего мужа и в ней сказано, что он просит всех военных чинов оказывать мне всякую помощь и содействие.

— А кто отец вашего мужа?

— Генерал Алексеев…

В этот период войны ген. Алексеев был Начальником Штаба Верховного Главнокомандующего Государя Николая II, т. е. фактически распоряжался всеми вооруженными силами Российского Государства. Дальше я узнал, что маленькую сестру с огромными черными глазами, и в огромной черной косынке звали Елизавета Александровна, что девичья фамилия ее Немирович-Данченко, что родом она из Киева и что вышла она замуж за гвардейского улана Николая Алексеева, два года тому назад.

Перед вечером в наше купэ влез какой-то полковник Генерального штаба, ехавший в армию, а еще через день, в 8 часов утра наш поезд подошел к Киевскому вокзалу. На вокзале я простился со своими спутниками и ни сестры, ни полковника никогда больше в жизни не видал.

В Киеве предстояло проболтаться целый день. Поезд на Ровно отходил в 8 часов вечера. Город я знал неважно, знакомых у меня там в это время не было, и потому я проделывал все то, что проделывают все проезжающие в мало знакомых местах. Пил кофе, завтракал и обедал в разных кофейнях и ресторанах и, до боли в ногах, бесцельно бродил по улицам. День был чудный и не очень жаркий.

Помню, что меня тогда поразило богатство и обилие всего в городе. На базарах красивые, бойкие бабы и дивчата, в живописных костюмах, с криками и хохотом продавали всякие деревенские яства и по ценам почти мирного времени. На каждом углу торговали цветами… Хотя шел 3-й год войны и немцы стояли в нескольких стах верст, война совершенно не чувствовалась. Разве, что встречалось много людей в форме на улицах. Но в Киеве и в мирное время было много военных.

К 8 часам вечера я был на вокзале. Поезд на Ровно был битком набит военными, солдатами и офицерами.

В Ровно пришли на следующее утро. Там война уже чувствовалась.

На вокзале встретил несколько наших солдат. От них узнал о неудачной атаке 26-го июля. Говорили в мрачных тонах. Пол полка уничтожено. Особенно пострадали 3-й и 4-й батальоны. От них просто ничего не осталось. Офицеров побито многое множество, убиты командир 13-ой роты Чистяков, в 3-м батальоне, оба брата Лемтюжниковы, когда-то мои младшие

офицеры, и Энгельгардт II-ой. Есть и еще убитые, но кто, они не помнят. На поверку оказалось, что больше, к счастью, не было.

Ехать дальше нужно было на Рожище. Поезда туда ходили только воинские и с военными грузами. Как раз через несколько часов отходил туда поезд с 4-мя зенитными орудиями для стрельбы по аэропланам. Пушки были узенькие, морского типа, укреплены на платформе на тумбах и, как рассказывали, могли бить почти вертикально. В армии это была тогда последняя новость.

В начале войны, по редким немецким аэропланам, помню, били у нас шрапнелью из обыкновенных полевых трехдюймовок. А еще чаще жарили просто из винтовок. Это было нечто вроде спорта, но спорта в достаточной мере безвредного и для той, и для другой стороны. Ни одного сбитого аэроплана мне, например, увидеть не довелось.

В 14-м году полковые рифмачи сочинили песенку на мотив «Мариетт, ма петит Мариетт», той самой, которую во время мобилизации распевала вся французская армия. Наша «Мариетт» называлась «Халупа», по-польски «изба», место наших редких счастливых и комфортабельных ночлегов. В ней доставалось и начальству и некоторым полковым товарищам. И между прочим был в ней такой куплет:

«Но вот летит аэроплан,
Наш доктор Бриггер не профан,
Тотчас винтовку он хватает
И по противнику стреляет!»

За каждым куплетом шел припев:

«Халупа, моя халупа,
Довольно грязная халупа!»

Таким образом поохотиться за аэропланами, разрешали себе удовольствие не только чины, но и г. г. офицеры и даже доктора.

Теперь на 3-й год войны, очевидно, решили поставить этот вопрос на серьезную ногу.

Кроме 4-х зенитных орудий, в нашем поезде было еще несколько вагонов со снарядами к ним.

В классном вагоне ехали 3 зенитных артиллериста, капитан, подпоручик и прапорщик, два каких-то чужих офицера и английский майор.

Я попросился у капитана в поезд и через несколько времени

уже пил с зенитчиками чай.

Разговор шел о воздушных налетах. Больше всех разорялся прапорщик, доказывая, что теперь с зенитными орудиями аэропланам крышка. На основании приборов и таблиц, которые только что получены с западного фронта, вычислить скорость, высоту, угол, направление, все это пара пустяков… Два выстрела на пристрелку, третий на попадание… До какой убийственной точности дошла теперь морская стрельба, а стреляют на десятки километров, по движущейся цели…

Капитан слушал скептически:

— Все это отлично, но военные суда, даже к при волнении на море, двигаются в одной плоскости… А аэроплан в одну секунду может взмыть наверх, нырнуть вниз, взять в бок, вверх, вниз… Вы не охотник? Бывали на тяге? Так вот попробуйте в испуганного вальдшнепа попасть, да не дробью, а картечью! Нет, батюшка, это не так просто.

В разговорах прошел остаток дня. Английский майор, узнав, что я говорю по-английски, прицепился ко мне и мы проболтали целый вечер.

Часов в 6 утра майор и я проснулись от адского грохота. Оказалось, что уже два часа как стоим в Рожище[3]. Налет немецких аэропланов.

Майор спрашивает:

— Что же нам делать?

— Не знаю, — говорю, вам лучше знать, у вас на западном фронте это, кажется, вещь обыкновенная, а я под налетом первый раз в жизни. Одно мне кажется несомненно, что сидеть в это время в поезде, начиненном артиллерийскими снарядами, будет самое глупое. Выйдем в поле и сядем в канаву, а там, что Бог даст…

Так и сделали.

Когда отходили от поезда, то видели, что зенитные орудия так и продолжают стоять на платформе в новеньких, зеленых, брезентовых чехлах. Очевидно, не поспели распаковать приборы и таблицы. А соседями нашими по канаве, оказались все зенитные артиллеристы «ин корпоре».

* * *

На путях железнодорожные составы, вблизи станции — дома, дальше службы штаба, бараки всяких штабных команд, конюшни, мастерские, лазареты в парусиновых шатрах… Одним словом, целый городок…

Налетело 15 аэропланов. Сбросили до 50 бомб. И хотя потери были и в офицерском составе, и среди солдат, но в общем не превышали 20 человек. Материальная порча — совершенно незначительная. Железнодорожный путь целехонек. И все это при условии, что не только наши аэропланы не пытались им мешать, но по налетчикам не было дано ни одного выстрела.

Спускаясь так низко, что можно было видеть фигуры людей, немцы бомбардировали штаб армии с таким же удовольствием безнаказанности, как какую-нибудь польскую деревушку далеко за фронтом…

В штабе «Особой Армии», куда входили 2 гвардейских корпуса, «из наших» на должности генерального штаба работал Арсений Зайцев I и выполнял какие-то функции Анатолий Дивов II.

Узнав, где они помещаются, отправился к ним. Офицеры были, уже в штабе, а денщики, тоже «из наших», встретили радушно. Дали умыться, побриться и напоили чаем.

Часов в 11 из штаба пришли хозяева. Рассказали: о потерях в полку и конфиденциально об общем настроении. Настроение было скверное. Командующий армией Безобразов атак на Стоходе (20 и 26 июля) не хотел, неустанно уведомляя Ставку, что шансов на успех нет никаких, что у немцев долговременные укрепления, которых при числе и калибре нашей артиллерии, разрушить и думать нечего, что подступов, удобных нет, что между нашей и немецкой линией в некоторых местах около километра расстояния неудобного грунта и т. д.

Ставка приказала атаковать.

Результат — некоторые полки потеряли до половины состава, завязнув в болоте. Почти никто даже до противника не дошел и все возвратились в исходное положение. Бесцельно и бессмысленно погибли, как это всегда бывает, лучшие люди… К общему кислому настроению штаба армии прибавил свою каплю и утренний налет.

В 12 часов Зайцев и Дивов повели меня в штабную палатку обедать. В огромном шатре к обеду собралось человек 60 офицеров, от генералов до прапорщиков. Рассаживались по чинам.

Зайцев повел меня представляться Командующему армией.

Генерал-адъютанта Безобразова, бывшего командира гвардейского корпуса, по виду я знал и раньше. Очень большого роста, дородный мужчина с бородой… В русском платье он был бы много лучше, чем в желтом кителе.

В штабе, где его любили, он шел под ласковой кличкой «воеводы». Полководец он был никакой, но человек вполне

порядочный. «Воевода» сказал мне несколько любезных слов, лестно отозвался о полку, который он всегда «любил и уважал» и с крепким рукопожатием отпустил.

Начальника штаба армии, гр. Н. Н. Игнатьева, б. командира Преображенцев, я помнил еще когда он командовал в своем полку ротой.

Тут же был, сколько помнится, еще однополчанин, полковник барон Корф, как его называли солдаты: «Полковник Воронков».

Покончив официальную часть, отправился на младший конец и пообедал лапшей с котлетами с томатным соусом из консервных жестянок. Кроме Зайцева и Дивова, на младшем конце я тоже кое-кого знал. Главной темой разговора был утренний налет. Обсуждали действие, вернее бездействие артиллерии и говорили как укреплять старые и где рыть новые подземные убежища. Впечатление было такое, что немецкий налет застал «мозг» особой армии несколько врасплох.

После обеда, простившись с однополчанами и погуляв немножко по Рожищу, я сел на Марну, которую отправили из Петербурга заблаговременно, и которая, на мое счастье, от налета не пострадала, и отправился дальше, в штаб корпуса, в село Сокуль. Приехал туда часам к 5-ти вечера.

Первым Гвардейским корпусом (в этот период войны их было уже два), командовал тогда Вел. Кн. Павел Александрович.

И в этом штабе у нас были «свои». Комендантом штаба был полковник А. Ф. Штейн, бывший командир 12-й роты еще мирного времени, а одним из младших адъютантов — Александр Якимович I. Приехал я прямо в избу к Штейну. Часов в 7 вечера, пошел в столовую палатку к ужину. Собралось офицеров человек 20. Представили меня Великому Князю. Павла Александровича я видел раньше только на улице и тут в первый раз рассмотрел его внимательно.

Младший сын Александра II, как все старшее поколение Романовых, был очень высокого роста и в свои почти 60 лет был необыкновенно представителен и красив, особенной благородной красотой. «Барин», в самом хорошем понятии этого слова, чувствовался в нем при первом взгляде. Мне П. А. при представлении сказал несколько слов, и я уже не помню сейчас, что именно, но А. Ф. Штейн, который по должности Коменданта штаба, разговаривал с ним каждый день и подолгу, — рассказывал, что среди большого начальства он редко видел таких простых, скромных, доступных и сердечных людей, каким был В. Кн. Павел Александрович.

На обер-офицерском конце, куда меня усадил Якимович, с другой стороны от него сел удивительно красивый и славный 19-

летний мальчик в корнетских погонах лейб-гусарского полка. С Якимовичем они были приятелями и даже жили в одной избе. Это был младший любимый сын Павла Александровича, от второго брака, кн. Владимир Палей.

Не успели мы приняться за котлеты с томатным соусом, то-же меню, что и в Штабе Армии, как трубач при небесном наблюдателе заиграл тревогу.

Штейн поднялся с места и громко сказал:

— Ваше Высочество, г-да офицеры, пожалуйте в блиндаж.

Второй немецкий налет за один день! Решительно со времени моего первого приезда в полк в 14-м году, война стала много беспокойнее!

Стараниями хозяйственного Штейна дело это в штабе корпуса было, видимо, много лучше организовано, чем в штабе армии. Не только для всех людей были вырыты глубокие, прочные блиндажи, с накатами бревен, но даже корпусные лошади по воздушной тревоге вводились к глубокие канавы.

Офицерское убежище было совсем солидное и поместительное. Места хватило бы еще человек на 20. Было много лавок и даже стол посередине. От прямого попадания наш блиндаж конечно бы не спас, но от осколков мы были в полной безопасности.

Не успели мы войти, как начались взрывы. Все сидели молча, изредка перекидываясь словами. Павел Александрович сидел у стола и курил папиросу в тонком эмалевом мундштуке. Не сиделось на месте только Палею. Как всем живым мальчикам, ему совершенно необходимо было самому побежать, узнать и посмотреть что, где и как… Он поминутно отворял дверь и по лесенке взбегал наружу.

— Владимир, пожалуйста не вылезай! — послышался усталый голос Павла Александровича.

— Сейчас, папа, я ничего, я только посмотрю, куда, ударило!

И опять выскочил.

— Казак, закрой дверь и не выпускай корнета!

— Слушаю, Ваше Высочество.

Пожилой лейб-казак, ласково ухмыльнувшись в бороду, широкой спиной заслонил дверь.

Минут через десять немцы улетели. Налет был не из крупных, повреждения были невелики, а человеческих жертв, кажется, вовсе не было.

Перекочевав у Штейна, я снова сел на «Марну» и поехал прямо в полк.

По дороге в первый раз в жизни видел воронки 11-дюймовых снарядов. Подъехал к одной из таких ям и по пологому скату

съехал на дно; моя фуражка оказалась ниже краев воронки. От таких чудовищ не спасли бы, конечно, никакие блиндажи…

II. Полк в начале августа 1916 года

Полк стоял на позиции под Белецком. Первый и третий батальоны были в окопах, а второй и четвертый в двух километрах сзади в лесу. Тут же в лесу помещался штаб полка.

Приехал я около 5-ти часов дня. В походном собрании на досках, под деревьями, несколько офицеров отдыхавших батальонов пили чай. Помню сидели там кн. Касаткин, Борис Энгельгардт, Георгиевский адъютант 4-го батальона Тыртов, Спешнев, черный Карцов (был еще «белый», но он в это время был уже убит) и двоюродный брат моей жены: Владимир Вестман.

Чувствовалось, что настроение хоть и не такое кислое, как в штабе Особой армии, но далеко не веселое. У Энгельгардта только что убили брата. В 4-м батальоне жалели командира 13-ой роты Антона Чистякова, которого очень любили.

Но в полку на войне было неписанное правило ни об убитых, ни о тяжело раненых не говорить. Также, как нельзя было говорить о смерти, о предчувствиях, и вообще о всяких мрачных вещах. Если бы кто-нибудь это правило вздумал нарушить, то старший из присутствующих обязан был бы сделать ему замечание. Поэтому Энгельгардту я только значительно пожал руку и он таким же пожатием меня поблагодарил.

Меня не ждали и встретили радостно и тепло.

Помню, командир 4-го батальона А. В. Попов увел меня к себе в землянку и стал говорить мне ласковые слова по поводу моего возвращения. Слушать было приятно, но никакой доблести я за собой не чувствовал. После ранений и болезней, все выздоровевшие и снова способные к строевой службе офицеры обязаны были возвращаться в действующий полк, и по закону писаному, а еще больше по закону неписаному. И в этом отношении наше «общество офицеров» было строже всякой санитарной комисии. Тем, кто по слабости человеческой, после эвакуации и выздоровления засиживался в тылу, тем из полка ласково напоминали, что пора бы и назад, в строй… Кто же и на это внимания не обращал, тем после войны была обещана «черная книга». Никакие прежние «подвиги» во внимание не принимались. Считалось, что семеновский офицер, покуда полк дерется на войне, морально обязан возвращаться в строй, хоть четыре, хоть пять раз… От этой обязанности его освобождали только смерть и увечье. В этом отношении солдатам было легче.

Отправился являться командиру полка. П. Э. Тилло вылез из своей землянки, где он, по обыкновению, проводил время лежа. Генерал был в обращении мил и прост, но несловоохотлив.

Больше молчал, курил и угощал папиросами. В заключение десятиминутного разговора, спросил меня, какую роту я хотел бы принять.

Я ему сказал, что всегда служил в 3-ем батальоне, что два раза на войне уже командовал 12-ой ротой, и, если можно, хотел бы получить именно ее.

— Отлично, когда вернется 3-ий батальон с позиции, вы ее и примете.

Три дня, что оставались до прихода моей роты из окопов, провел в чаепитии, разговорах и прогулках верхом.

Питье чая было чрезвычайно распространено и среди чинов, я среди офицеров, и на позиции, а тем более в резерве. При первой возможности, где бы ни пришлось, и зимою, и летом солдаты раскладывали костры, в зависимости от опасности обстрела, или маленькие теплинки из сучечков, или побольше, и ставили на них котелки, кипятя воду. У офицеров то же самое. Стоит зайти к кому-нибудь в палатку или в землянку, сейчас же раздается голос хозяина:

— Чирченко, — или как его там звали — согрей чайку.

И через 10–15 минут подается чай в аллюминиевых кружках. Если было по близости отделение Экономического Общества, то к чаю сервировались какие-нибудь деликатесы, экстракты малиновый, или вишневый а иногда и печенье в жестянках.

Собранье было организовано хорошо. За 60 рублей в месяц предоставлялось полное продовольствие. Утром кофе с хлебом и с консервированным молоком. Почти всегда к нему холодное мясо и ветчина. Если можно было достать давали и масло. В 12 часов обед, суп и жаркое, в 5 часов — чай, в 8 — ужин. Из собранья обед и ужин, денщики, по очереди, в больших судках, носили и на позиции, обыкновенно зараз всему батальону. На позиции еду разогревали. Денщиков на позицию обыкновенно не брали, оставляя их в резерве, где всегда оставался кто-нибудь при ротных кухнях. Для чинов кухни два раза в день подъезжали возможно ближе к окопам и останавливались в каком-нибудь белее или менее безопасном месте. По ходам сообщения чины, повзводно, с котелками шли к кухням и возвращались со щами и с мясом. В зависимости от удобства подвоза, в оба конца приходилось иногда делать километра три… Но на позициях погулять полезно. Сиденья и лежанья и так слишком много. Хлеб на позиции брался на несколько дней.

Так же, как и солдатская, офицерская еда состояла, главным образом, из мяса в разных видах. Остальные деликатесы из консервных жестянок. Хозяином собранья в это время состоял подпоручик Штильберг, бывший мой волноопределяющийся в

учебной команде. В начале войны ему прострелили грудь и по возвращении в строй, его единогласно выбрали хозяином. Человек он был очень ровного и приятного характера. Офицеры его любили, а состоявшие при собраньи чины обожали. Хозяином собранья Штильберг оставался, кажется, до конца.

Когда полк выходил на войну, офицерами было сделано постановление — спиртных напитков в собраньи не держать и в азартные игры не играть. Постановление насчет игр, между прочим, существовало, и очень строго соблюдалось и в мирное время.

На третий год войны постановления эти претворились в жизнь следующим образом. В карты играли любители в бридж, игра коммерческая. Иногда составлялась веселая партия в покер. Покер игра, конечно, не совсем коммерческая, но на это закрывали глаза. Играли не по крупной, и всякая опасность азартной игры отсутствовала. Не могло быть ни разорений, ни ссор, только веселье и хохот. Чины дулись в карты, где только могли, почти всегда не на деньги. Вовсе не будучи картежником, я неоднократно дарил в роту старые колоды карт и это всегда доставляло огромное удовольствие. На войне так мало развлечений…

С вином дело обстояло так. Солдатам ни водки, ни вина вообще не полагалось, ни летом, ни зимой. И нужно сказать, что мера эта была глупая. Война не женский институт — стаканчик водки, во благовремении, особенно зимой, с холоду и с устатку, как говорят некоторые, «никакого вреда, кроме пользы», принести не может. Суворовским и Кутузовским солдатам давали водку, а дрались они не плохо и все военные тяготы переносили получше нашего. Все дело в количестве и своевременности.

Для офицеров крепких напитков собранье не держало, хотя русский коньяк свободно продавался в лавочке Экономического Общества в ближайшем тылу. Между прочим уже на этой войне «маркитантов» мы не знали. Все, что нужно было офицеру, все поставляло дешево и хорошо, это отличное учреждение. В собранья за столом коньяк появлялся только в исключительных случаях: редкие визиты начальства, большие праздники или раздача солдатам крестов и медалей. Единственно, что подавалось в собраньи свободно, это красное Кавказское вино «Каберне», порядочная кислятина, которую в чистом виде пить было невозможно. Я, например, на ротные деньги, еженедельно покупал несколько бутылок этого Каберне, чтобы подмешивать его в солдатскую питьевую воду. Делали это и многие другие ротные командиры.

Другим рессурсом был спирт, который наши доктора для

медицинских надобностей имели в изобилии, и которым охотно делились с офицерами. Таким образом почти у всех у нас во фляжках было налито что-нибудь «крепкое». Это «крепкое» в очень умеренных дозах принималось внутрь и часто давалось солдатам, раненым, заболевшим, ослабевшем или просто в виде поощрения.

Но вообще следует подчеркнуть, что насколько в мирное время не пьянство, а «гулянье» было в собраньи делом частым и обыкновенным, настолько на войне это было редко и не привычно. Могу не преувеличивая сказать, что за все пребывание мое с полком на войне, и весною, и летом, и зимой, я ни разу не видел ни одного офицера, по виду которого можно было бы сказать, что он «подгулял».

Еще что поставляло нам собранье, но уже за особую плату, это папиросы. Еще в 15-м году, один из крупнейших табачных фабрикантов Петербурга Богданов, фабрика которого находилась почти в расположении полка, прислал в подарок офицерскому собранию 10.000 шт. папирос. На каждой папиросе, на картонном мундштуке, синими буквами, вдоль, было напечатано: Л.-Гв. Семеновский полк. Фабриканта поблагодарили, а когда разобрали всю партию, собранье, уже за деньги, заказало ему новую. Потом заказывало периодически. Папиросы были хорошие и недорогие. Коробки этих папирос иногда дарились почетным гостям. Большая партия этих же папирос была как-то раз послана в Англию, 2-му Королевскому гвардейскому полку, с которым у нас повелось кумовство, и которые прислали нам несколько ящиков английских папирос в жестянках и курительного табаку. Помню по поводу этих папирос еще велись разговоры, допустимо ли это с чисто военной точки зрения… Окурок с названием полка на мундштуке мог быть найден неприятелем, а название частей на фронте полагалось всеми силами скрывать…

В лесу стоявшие в резерве батальоны спали в шалашах. Штаб и строевые офицеры в землянках и палатках.

В эту эпоху войны немцы устраивали налеты исключительно на дальние тылы. Над войсками на отдыхе их наблюдатели летали регулярно два раза в день, ранним утром и на закате солнца. Изредка бросят бомбу, или две, но не больше. Бросать бомбы в окопы было не принято. Аэропланы, как боевое оружие, для нас еще не существовали. И отношение к ним было соответственное, их вовсе не боялись.

Под вечер с вещами явился Смуров. Дали мне временно палатку кого-то из убитых офицеров. Палатка большая и удобная. Смуров разложил в ней походную кровать, все развесил, достал табуретку, поставил на ней подсвечник, положил папиросы,

книжку, все, как в доброе старое время…

Я разделся, лег, взял книжку, начал читать, но чувствую, что ничего не понимаю… Потушил свечку. Попробовал заснуть — не могу. Опять зажег свечку, закурил, полежал, опять попытался заснуть… Чувствую — не могу. Выпил коньяку, еще хуже… Часов в 11 ночи поднялся ветер и началась артиллерийская стрельба «тяжелыми». Снаряды с шумом поезда проносились над лесом. Самое скверное, что я даже разучился отличать свои от чужих… Только-что начал дремать, рядом заржала лошадь. Потом какой-то дурень над ухом разрядил винтовку… За ночь спал часа полтора. Ясно было, что мой «астрал» не успел еще как должно слиться с окружающим.

Вторая ночь была не лучше… На третий день решил поговорить конфиденциально с доктором. На войне у нас были отличные доктора. Кроме старшего врача, статского советника Анат. Сем. Оницканского, которому, развеселившиеся офицеры, на мотив «очи черные», пели:

«Мы не можем жить без шампанского
И без доктора Оницканского!»

было еще четыре доктора: Иванов, Васильев, Фольборт и Георгиевский, последние два — братья наших офицеров.

В начале войны зауряд-врачом был еще Бриггер, когда-то морской кадет, затем наш вольноопределяющийся, затем студент Военно-Медицинской Академии. Но он, как только приехал в полк, сейчас же стал проситься в команду разведчиков и был скорее лихой прапорщик, чем жрец науки.

Все наши молодые доктора отлично знали свое дело и были славные ребята.

По дружбе с его братом, из всех их я ближе всего был с Георгиевским. К нему я и решился обратиться. Долго не мог поймать его одного, наконец, поймал и говорю:

— Послушай, врач, со мной что-то странное делается… Вторую ночь не могу спать…

— Что, неуютно? А ты долго в Петербурге проболтался?

— Да больше года, — говорю.

— Вот то-то и оно-то… Ну ничего, я тебе такого порошку дам, что заснешь… Дня три на ночь принимай, а потом и не нужно будет…

— Только ты, пожалуйста, никому не рассказывай!

— Будьте покойны… Профессиональная тайна… Впрочем, могу тебя утешить: с приезжающими из Петербурга это вещь обыкновенная.

И действительно, через несколько дней меня, в самом буквальном значении этого слова, нельзя было разбудить пушками.

В этот день вечером наш третий батальон пришел с позиции.

Пришел командир батальона полковник Леонтьев. «Кока Леонтьев», мой старый приятель, с которым мы когда-то, в подпоручичьих чинах, отплясывали на Петербургских балах.

Пришли два других «кита» третьего батальона: командир 10-ой роты Владимир Бойе-ав-Геннес, и командир 11-ой Николаша Лялин, племянник реформатора собранья Н. М. Лялина.

Между прочим у нас в полку служило очень много родственников, два брата было обычное явление. Одно время на войне было 4 Эссена, все родственники, и 4 Бремера — все родные братья и сыновья старого семеновца. Следовало бы у нас в полку завести тот порядок, который был принят во флоте и где номера считались с основания русского флота. Там служили Иванов 31-ый и Петров 28-ой. При таком счислении Владимир Бойе был бы 3-ий.

Оба они, и Бойе, и Лялин, были очень популярны и среди офицеров, и особенно среди солдат. Бойе вырос на хуторе близь Диканьки, говорил «шо» и «дытына» и это, при трехэтажной иностранной фамилии, звучало особенно мило и симпатично.

Николаша Лялин был «пскопской» и, несмотря на полный курс Александровского Лицея, тоже сохранил псковской говорок. Он привез с собой на войну большую и дорогую гармонику, на которой артистически играл, к зависти и восхищению всего батальона.

Оба они, и Бойе и Лялин, были храбрые и отличные офицеры, каждый в своем роде. Один живой и предприимчивый, другой ходячее спокойствие и невозмутимость… Но оба они в высшей степени обладали тем даром алмазной искренности и простоты в обращении, которые только и создают настоящую популярность среди подчиненных. Нисколько об этом не заботясь, для солдат 10-ой и 11-ой роты они были «свои», несмотря на Лицеи и иностранные фамилии. И если бы с ними что-нибудь случилось, то ранеными или убитыми, вытаскивать их из-под неприятельской проволоки полез бы добровольно не один десяток человек. К счастью, таких офицеров у нас было не мало. Каждый в своем роде, но того же типа были и Свешников и Димитрий Комаров, и Антон Чистяков, и Спешнев, и Павлик Купреянов, и Георгиевский, и Вестман, и Алексей Орлов, и братья Толстые, и братья Шишковы, всех не перечесть… И почти все они доблестно погибли, большинство на войне, часть во время революции.

Наш батальон пришел с позиции поздно. Смены рот в окопах

всегда производились в темноте. На следующий день в 10 часов утра был назначен прием роты.

В это время уже в редких ротах были младшие офицеры. В нашем батальоне не было ни одного. Вот когда начинала чувствоваться преступная расточительность первых дней войны. Когда полк ушел из Петербурга, во всех ротах было по три, по четыре младших офицера… Фельдфебеля стояли за взводных… Старшие унтер-офицеры за рядовых… Вот их бы приберечь и сохранить до той поры, когда бы они действительно понадобились… Но бережливая предусмотрительность не наша национальная черта… Весьма по дурацки считалось, что людей в России много и жалеть их нечего… Людей-то было действительно много, но обученных и подготовленных, ох, как мало!

Роту представлял фельдфебель Ермолов, молодой, красивый мужчина, произведенный на войне из унтер-офицеров.

Фельдфебель Ситников был убит в тех же боях летом 15-го года, что и мой младший офицер в Порытом — Павлик Купреянов.

В общем виде людей, по сравнению с началом 15-го года, я нашел большую перемену. Люди стали мельче и ниже ростом. Это не была еще обыкновенная пехотная «крупа», но более или менее старый гвардейский вид сохранился только в головных ротах, Е. В., 5-ой, 9-ой, 13-ой. И смотрели они иначе. Не самоуверенно и весело, как раньше, а скорее безучастно, равнодушно и покорно.

На лесной полянке рота была выстроена без оружия. Я тоже был без шашки. Поздоровался, потом скомандовал: «Вольно» и стал обходить, из ветеранов начала войны осталось человек 20. Как кто-то сказал: «Пехота горела в боях, как солома в огне». Большинство из уцелевших, кто не имел раньше, получили нашивки. Со всеми ими я перецеловался. Затем собрал всех вокруг себя и стал говорить на тему, что всем тяжело, и им в особенности, что «претерпевый до конца спасен будет», что войну нужно выиграть, иначе нам будет плохо, что нельзя допустить, чтобы кровь стольких лучших людей, в частности наших товарищей, была пролита зря, бесцельно, что ждать осталось уже не долго, эту осень и зиму, что выступление Америки уже решено, а с ним наступит и решительный перелом на западном фронте, и т. д., и т. д.

Официальная часть закончилась тем, что спели «Спаси, Господи, люди Твоя».

Вечером собрал унтер-офицеров и ефрейторов уже неофициально. Сел на пенек, они устроились кругом, угостил их папиросами, и беседа вышла долгая, и, как мне показалось, дружеская.

В окопах и в резерве роты проводили по 4 дня. В резерве, начиная со второго дня, полагалось производить занятия не изнурительные, не более 2-х часов, только чтобы не разбалтывались.

Начали мы с гимнастики и бега, потом отдание чести, просто и становясь во фронт, явки, рапорты и т. д. Затем без ружей сомкнутое ротное учение и кончили церемониальным маршем.

Вечером я назначил осмотр оружия, которое оказалось в приличном виде. Это не были, конечно, ружья из пирамид Учебной команды, но для 3-го года войны и это было хорошо. На следующий день пошли осмотры сапог, белья, шинелей, ранцев и т. д. Все это было тоже в добром порядке.

Вообще нужно по справедливости сказать, что за исключением тех случаев, когда не было возможности подвоза, мы всегда были хорошо одеты и хорошо накормлены. Я не помню случая, чтобы во время стоянок нельзя было обменить порванные шаровары или разбитые сапоги.

В частности сапоги, это больное место пехоты во всех войнах, были вполне доброкачественные. Помню такой случай:

В январе 15-го года, когда мы стояли в резерве, под Варшавой, в Гощине, кто-то из ротных командиров осматривая обувь, заметил, что из задка старого сапога торчит кусок какой-то субстанции, но не кожи. Взяли другой разбитый сапог, то же самое. Ротный командир сказал батальонному. Поднялась буча: «картонные подметки, интендантские воры, опять Севастопольская кампания, немедленно составить акт, телеграмму в ставку. Николай Николаевич мужчина серьезный — виновных повесит, или, в меньшем случае, на каторжные работы!!»…

Доложили командиру полка И. С. Эттеру. Тот позвонил в штаб корпуса, корпусному интенданту. Немедленно на автомобиле примчался штаб-офицер. Как сейчас помню, в зале Гощинского училища, где помещалось офицерское собрание, составилась комиссия. Интендантский штаб-офицер приволок с собой утвержденные правила для «постройки» и поставки сапог в армию, сантиметр и все что полагается. Принесли сапоги из разновременно прибывших партий. Искромсали штук десять сапог и старых и новых. И во всех у них в задках нашли куски, уж я не помню теперь, толстого холста или фанерки которые, как оказалось, пребывали там на самом законнейшем основании, будучи предусмотрены всеми инструкциями, правилами и положениями. Акта не составили к вешать пока никого не пришлось. А просто, никто из офицеров, не исключая и начальника хозяйственной части, постоянно возясь с солдатской

обувью, никогда в жизни не видал солдатского сапога так сказать «в разрезе», и не имел ни малейшего понятия о том, как эти сапоги «строятся».

Белье было также крепкое и в достаточном количестве.

В периоды обильных вещевых посылок, как было например в декабре 14-го года, я лично видел, как солдаты бросали и дарили жителям свои весьма грязные, но еще совершенно целые рубахи, только чтобы не носить лишнего в ранцах и не стирать самим, хотя мыло было казенное и отпускалось широко.

Так как я принял роту в начале месяца, то как раз в эти дни из обоза 2-го разряда, явился военный чиновник, казначей Иванов и привез для раздачи жалованье. Казначей Иванов был серьезный человек, держал себя крайне официально и ни в какие фамильярности с офицерами не пускался. Говорил он мало и только о деле. Но был у него крошечный недостаток. Он не то что заикался, но была одна буква «п», которая в начале слова ему совсем не удавалась. Она у него выходила с маленьким выстрелом. Этого было достаточно, чтобы наша молодежь, при каждой раздаче жалованья, его разыгрывала. 19-летний Игорь Энгельгардт, шалун и озорник, задавал ему, например, такой вопрос:

— Простите, пожалуйста, Петр Петрович, позвольте полюбопытствовать, мне полагаются подъемные?

На это ответ следовал такой:

— П-подъемных вам, п-поручик, не п-подагается. Что Вам п-причитается, то и п-получите.

Проделывать это нужно было, конечно, осторожно, чтобы казначей не понял и не обиделся и это-то, в соединении с его серьезным и официальным видом и составляло главную прелесть такого препровождения времени.

При раздаче жалованья главное затруднение состояло в том, что мелких бумажек было мало, все десятирублевки и пятирублевки, а бумажек и монет ниже рубля не было почти вовсе. На офицеров мелочи еще хватало, но солдатам, которые получали по 2 рубля с копейками (жалованье, походные, амуничные и т. д.) раздать жалованье каждому, как полагается и как делалось в мирное время, когда менять можно было в любой казенной винной лавке, через улицу, — было совершенно немыслимо. Поэтому перед раздачей жалованья приходилось с фельдфебелем и со взводными долго высчитывать, какие комбинации из людей составить, чтобы каждый получил, что ему полагается, тем более, что и среди рядовых из-за всяких эвакуации, командировок, «удовлетворений довольствием» и «неудовлетворений» не все получали одинаково. Вот и сидишь на

пне. Перед тобой опрокинутый ящик. На ящике список с фамилиями, графами и итогами. Непременно с копейками. Рядом толстые пачки денег. По бокам фельдфебель и взводные. Кругом группа чинов, первый взвод.

— Васильев, Сергеев, Сидоренко, Остапчук. Тебе полагается столько, тебе столько и тебе столько. Вот вам бумажка, кому сколько причитается, а всего 10 рублей 50 копеек. Кому дать деньги?

— Сидоренке!

— Поделитесь?

— Так точно, поделимся!

— Получай, Сидоренко!

И в графе против фамилии каждого ставишь птицу.

Это, собственно, была единственная кропотливая операция с деньгами. Вообще же хозяйством, т. е. продовольствием, мы, ротные командиры, на войне почти не занимались, да и не имели возможности заниматься. Всем этим ведала полковая «хозяйственная часть», помещавшаяся в тылу, при обозе 2-го разряда.

По закону ротою выбирался «артельщик», один из унтер-офицеров, который и служил связующим звеном между хозяйственной частью и полковыми кухнями, находившимися сразу же при резерве. У артельщика находились в подчинении кухни, 2 кашевара, ротная повозка, всего 5 нестроевых чинов и 4 лошади. Ротные суммы для довольствия, обыкновенно не больше 500–1.000 рублей, хранились на руках у ротного командира и обыкновенно носились на груди, под кителем, в холщевом конверте, зашпиленном английской булавкой. Я лично этот мешочек носил на груди и в резерве, и в походе, и в окопах. Перед боями же, на всякий пожарный случай, вешал его на шею Смурову, который в бои не ходил, сообщая для осторожности сколько именно в нем денег батальонному командиру и еще 2, 3 офицерам. Мои собственные деньги всегда держал Смуров.

Такой же мешечек, размером побольше, висел на шее у батальонного командира, от которого мы, ротные, и получали деньги по мере надобности.

Раз в 4 в 5 дней являлся артельщик, приносил для подписи «требования» в хозяйственную часть и забирал по 150 по 200 рублей.

Отчетность была «полевая», т. е. самая упрощенная. Особые на каждый случай книжки с отрывными листами. Писалось все в 3-х экземплярах, с копиркой, один оставался при корешке, 2 шли в хозяйственную часть. При получении новых книжек, старые корешки сдавались туда же. Все писалось чернильным

карандашом, смачивавшимся по преимуществу собственной слюной.

Спрашивается, крали артельщики или нет? Возможно, что ворочая большими деньгами, что-нибудь у них к рукам и прилипало, но во всяком случае какая-нибудь мелочь, даже не десятки, а рубли, т. к. хозяйственная часть, старшее начальство которой было вне подозрений, следила за ними внимательно. Мы, ротные командиры, проверять их были решительно не в состоянии. Как пример скажу, что за все время моего командования ротой, мне в обозе 2-го разряда и в хозяйственной части не довелось быть ни одного раза. Против артельщиков у нас было другое оружие. Всегда можно было снестись с хозяйственной частью по телефону. Начальник хозяйственной части, один из наших старших штаб-офицеров, часто приезжал в штаб и бывал в собраньи. Наконец, мы очень внимательно следили за качеством пищи, постоянно пробуя, а часто просто обедая и ужиная из котла. И если что-нибудь было не очень вкусно, то в присутствии фельдфебеля и другого начальства, артельщику производился жестокий влет, с указанием, что если это еще раз повторится, то он будет сменен и пойдет в строй. Строя эта хозяйственная публика не любила и боялась, а потому все артельщики буквально лезли из кожи. Общая тенденция была такая, что «хозяйственные» служат «строевым», а если плохо служат, то можно и поменяться ролями…

Кстати о провинившихся. Статья устава, которую все воинские чины должны были знать наизусть, и которая определяла права и обязанности «начальника», кончалась тем, что начальник обязан «не оставлять проступков и упущений подчиненных без взыскания».

Отвечая эту статью, молодые солдаты часто пропускали слова «проступков и упущений», и выходило так, что начальник «обязан не оставлять подчиненных без взыскания», что не совсем то же самое.

В мирное время взыскания существовали такие: замечания и выговоры; постановка под ружье, с полной выкладкой в ранце, на 2 часа и больше, но зараз не более чем на два часа; назначение не в очередь на работы и в наряды, на дежурства и дневальства; воспрещение отлучки со двора; арест при полковой гауптвахте; и, наконец, отдача под военный суд.

Телесные наказания для полноправных воинских чинов были уничтожены еще при Александре II. Рукоприкладством в мое время совершенно не занимались, даже унтер-офицеры и фельдфебеля, не говоря уж об офицерах. На этим следили очень строго.

В Петербургских казармах, — за исключением Учебной команды, где будущим унтер-офицерам, как в юнкерских училищах, сознательно «поддавали живца» и «грели» за всякую мелочь, — наказания были сравнительно редки. Происходило это главным образом потому, что весь неспокойный элемент, буйные в хмелю и «самовольно-отлучники», потихоньку сплавлялись фельдфебелем и ротным командиром в многочисленные командировки, и таким образом незаметно из рот исчезали.

Но, хотя и редко применявшаяся, вся эта шкала взысканий в мирное время все же существовала и теоретически, и практически.

На войне она существовала только теоретически. Во-первых, нравственная сторона вопроса. Казарма — это школа, а в школе совсем без наказаний не обойдешься. Война — дело серьезное, защита Отечества. А с защитника Отечества, который завтра сознательно пойдет под пули, не всегда уместно взыскивать со всей строгостью дисциплинарного устава за всякие мелкие служебные упущения. Казарменная дисциплина на войне неминуемо падает. Еще Император Александр I говорил, что ничто не «портит» так войска, как война…

Но если бы даже нашелся такой строгий последователь устава, то все равно 4/5 всех взысканий ему пришлось бы из обихода исключить, хотя бы только потому, что на войне они абсолютно не применимы.

Назначение не в очередь на работы, невозможно, т. к. когда бывали работы, то работали все. Дневальные и дежурные, назначались только в мирной обстановке, где-нибудь далеко в тылу. Нельзя поставить «под ружье» человека, который только что прошел 35 верст и которому завтра предстоит пройти столько же. Нельзя ставить «под ружье» и в окопах. В узком окопе, такой часовой с винтовкой на плече, будет мешать всем двигаться. И при обстреле, когда все неминуемо и совершенно законно применяются к местности, его могут зря убить.

Писали, что будто бы в турецкую войну, Скобелев ставил провинившихся на бруствер. Надо полагать, что это вранье. Или уже турки так плохо стреляли, что это было совершенно безопасно.

В Великую войну при оптических прицелах, в расстоянии 400–500 шагов линия от линии, не то что голову над бруствером выставить было невозможно, но открывать вершковое отверстие стального щита в бойнице без нужды не рекомендовалось. Сию же секунду влепят. Часовые наблюдали за неприятелем в перископы, которые зачастую простреливались или разбивались в щепки.

Наконец, подвергание человека сознательно лишней,

большей против других, опасности в деле наказания — с военной точки зрения совершенно аморально. Если нравственно возможно за провинность послать человека в особо опасное место, то также возможно за хорошее поведение освободить другого человека от участия в атаке. Тогда самый главный и самый ценный принцип — равенства всех перед опасностью — пойдет к черту и война превратится в каторжную работу, где начальство в зависимости от поведения, распределяет «уроки», в данном случае шансы остаться и живых.

Что насильственным приемом лишней дозы опасности можно лечить трусость — это вздор. Сегодня ночью два солдата со страху убежали из секрета. Пошлите их одних завтра в наказание в то же месте и они, или опять убегут, или будут всю ночь от ужаса щелкать зубами и при малейшей к тому возможности сдадутся в плен.

Для лечения трусости, когда это возможно, есть другие способы и методы, но отнюдь не в виде наказания.

Какие же еще были «взыскания» мирного времени? «Без увольнения со двора» и арест.

Вся действующая армия была наказана без увольнения со двора, вплоть до окончания войны, отпуска или эвакуации. Что же касается ареста, то если бы ввести такую меру наказания и из окопов посылать в далекий тыл в обоз 2-го разряда, для содержания под арестом при денежном ящике, то количество проступков, пожалуй, сразу бы увеличилось. Желающие наверное бы нашлись. Теоретически существовало разжалование, но это только для тех, кого было из чего разжаловать.

Таким образом из всей гаммы мер воздействия мирного времени, на войне остались только две. Самая легкая и самая тяжелая: влеты и разносы и отдача под военно-полевой суд.

У нас к счастью, проступки были все маловажные. Главным образом против чистоты и опрятности. Преимущественно отправление своих нужд в неположенных местах. С этим мы офицеры, боролись не покладая рук. В таких случаях разносы были торжественные и публичные. Строилась рота и виновные вызывались перед строем. Держались речи приблизительно в таких тонах:

— Такой-то и такой-то, сделали то-то. Сколько раз вам нужно повторять, что когда на маленьком пространстве собрано 3.000 здоровых жеребцов и каждая свинья будет гадить, где ему нравится, то получится не гвардейский полк, а нужник! Поймите вы, наконец, что помимо грязи и свинства, от этого идут заразы, болезни, эпидемии… Все мы от этого можем пострадать. Чтобы этого не было, каждый должен друг за другом следить, а не одно

начальство, которому за всем не усмотреть. Сейчас отхожие ровики убирают все по очереди. Теперь тех, кто попадется, буду назначать вне очереди. Не умеешь класть свое, куда следует, убирай чужое!

Это очень помогало. Получилось даже что-то вроде игры, подстерегать правонарушителей, а потом, видя как они со смущенным видом чистят и убирают, над ними зубоскалить.

Я сам раз подслушал такой разговор:

— Ой, мне сегодня на уборку идти, чтой-то давно никто не попадался… Кажись, я тебя, Охрименко, за кустом вчера видел. Придется мне сказать взводному, в рассуждение чистоты и хихиены!

— Врешь ты все, когда ты меня видел? Бабушку ты свою видел!.. и т. д.

Проступков против дисциплины на моей памяти не было ни одного. Не бывало и членовредительства. Был лишь один случай самоубийства, в 15-м году, когда мы проходили через Варшаву. Открыть причину не удалось. Молодой полячок. Довольно интеллигентный. Или припадок острой меланхолии, или что-нибудь семейное.

Об отдаче под военно-полевой суд, мы, Бог миловал, не слыхали, не только в нашей роте, но и в батальоне и даже, кажется, во всем полку.

Хочу сказать еще несколько слов о нашем материальном положении на войне. Могу сказать, что единственное время за всю службу в полку, когда я жил на «жалованье», это были месяцы, проведенные на войне. Ротный, командир со всеми добавочными, получал в месяц что-то около 250 рублей. За стол в собрании брали 60 рублей. Кроме того нам постоянно какие-то деньги «выдавали», то на седла, то на теплую одежду, то еще на что-то… Таким образом, живя весьма широко, с папиросами, с наездами, когда это было можно, на лавочку Гвардейского Экономического Общества, где забиралось печенье, всякие экстракты для чая, и даже вино, широко давая раненым чинам, устраивая всякие состязания с призами, я каждую эвакуацию привозил домой по 200 и больше рублей.

Пропорционально недурно были обставлены и чины. После каждой денежной раздачи, с артельщиком в хозяйственную часть, для отправки на военную почту, для следования на родину, отправлялись кипы писем и все с деньгами.

* * *

Состязания устраивались и ротные, и батальонные, и полковые, почти всегда тогда, когда полк стоял в резерве. Состязались на прыжки, и на бег, и на силу, и на борьбу. Единственно на что не состязались, это на стрельбу. Ее и так было достаточно.

Помню одно грандиозное состязание, когда полк стоял около месяца на отдыхе под Радомом, в посаде Гощин. На второй день Нового года были устроены скачки и бега. Героями состязания оказалась наша рота, т. е. я и мой младший офицер Павлик Купреянов(убит 17 июля 15-го года в Холмской операции).

Своего скакуна я получил не совсем обыкновенным образом. Чтобы рассказать, как это вышло, придется отступить на полгода назад.

На следующий день после объявления войны Германией, я, состоя чиновником Министерства иностранных дел, в месячном отпуску, одетый в рыжий пиджачок, приехал в собранье завтракать. Хотелось узнать новости, к тому же полк был мне всегда роднее и ближе, чем министерство. Уместно вспомнить, что почему-то все в эти лихорадочные дни считали, что война будет очень кровопролитная, но и очень короткая.

Накануне в поезде, едучи в Петергоф, я встретил одного товарища по полку, подполковника Генерального Штаба, занимавшего ответственное место в самом «мозгу» армии, в Особом отделении Генерального Штаба. Так вот представитель этого «мозга» армии, отнюдь не в шутку, а весьма серьезно говорил, что по их данным, война никоим образом не протянется больше четырех месяцев.

В собрании стоял дым коромыслом. Было грязно и неубрано. Совершенно так, как когда большая семья уезжает из давно насиженного гнезда. Мой старый друг Митя Коновалов, заведующий мобилизацией (убит 5-го ноября 1914 года под Краковым), не спал уже две ночи, но держался очень бодро и ровным и спокойным голосом, налево и направо, отдавал приказания и давал бесконечные и нескончаемые объяснения. Никто не знал, что ему делать. Коновалова буквально осаждали: «Вашескородие!», «Дмитрий Павлыч!», «Митя!»…

— Подождите, господа, я не могу всем сразу ответить… Что тебе нужно? — И установив подобие очереди, начинал, как бывало ученикам, в Учебной команде, медленно, спокойно и весьма толково, объяснять каждому, и ротному командиру, и фельдфебелю нестроевой роты, и старшему обозному, что кому нужно делать, кому куда нужно ехать и кому, что и где нужно получать и принимать. Выносливость, хладнокровие, сдержанность и терпение у этого худенького и по виду не очень

здорового молодого человека, были поистине изумительные.

Тем, что наша мобилизация в полку прошла не только хорошо, но блестяще, мы обязаны были, главным образом, трем людям: поручику Димитрию Коновалову, делопроизводителю хозяйственной части Я. П. Широкову и старшему писарю В. В. Христофорову. Эти люди тогда «командовали парадом». Остальные же все, начиная с командира полка, и весьма «светского» полкового адъютанта Соллогуба, ничего в этом деле не понимали и только исполняли то, что им указывали.

Когда я ехал в это утро в полк, я еще не твердо знал, что я буду делать. Я был статский чиновник и носил чин «надворного советника». Чин звучал смешно, т. к. когда не хотели обидеть собаку, назвав ее дворнягой, называли ее «надворный советник».

Так вот, будучи, «надворным советником», принадлежа к Министерству, из которого почему-то не мобилизовали (от нас на войну пошло всего пять человек, все по собственной охоте), наконец уйдя из полка три года тому назад, а из строя шесть лет назад и, имея всех одногодников ротными командирами, я чувствовал, что я отстал от военной службы, да и перспектива становиться на взвод как-то не очень улыбалась. К тому же, в предыдущем году я женился и у меня был четырехмесячный сын. Должен честно сознаться, что такого чувства, что отечество в опасности и что нужно идти его защищать, у меня не было. Чувства мои были гораздо более мелкого характера. Сплошное самолюбие. И, конечно, доля любви к полку, где почти все были мои товарищи и много искренних друзей. Допустить такую возможность, что они уйдут, а я сильный и еще молодой, «старый семеновец», «пожизненный член собрания», буду в комфорте и в безопасности сидеть дома, было трудно. Невозможно также было себе представить, как я буду себя чувствовать и выглядеть, когда по окончании войны полк вернется домой, его будут встречать, приветствовать, чествовать… А что я буду тогда делать, окопавшийся в тылу «поручик, в запасе»? Ну, а если убьют, тоже не так уже плохо. У меня есть сын… Передам ему незапятнанное, честное имя…

В собрании, в столовой было очень мало народа. Офицеры быстро проходили, некоторые закусывали стоя, на ходу. Закусочный стол был пуст. Исчезла водка. По постановлению общего собрания, накануне из собранского обихода она была изгнана, вплоть до окончания войны. Ни смеха, ни шуток. Лица у всех деловые и серьезные. Чувствовалось, что пришел день главного самого страшного экзамена, экзамена всей жизни и что все это ясно понимают. На углу стола даже не завтракали, а что-то спешно ели два ротных командира 9-ой, Азанчевский-Азанчеев

и 10-ой Анатолий Андреев (убит 11-го октября 1914 года, под Ивангородом). Я подсел к ним.

— Ну, что дипломат, вот что вы натворили, а нам теперь пригодится расхлебывать…

— Ты-что ж, с нами идешь?

— Не знаю еще, вот думаю…

— Да что же тут думать, надевай форму и в поход…

В это время через столовую проходил командир полка И. С Эттер. Мы все встали. Он подошел к офицерам и сказал им что-то служебное. Потом повернулся ко мне, подал руку и, со своим английским акцентом, говорит:

— Ну, дипломат, что же это ваш Сазонов делает?

Удивительно мало было воображения у господ офицеров… Все одно и тоже.

— Это уже не Сазонов, — отвечаю, — а император Вильгельм драться желает.

— Ну, а вы лично, что вы собираетесь, делать?

— Я, ваше превосходительство, хотел просить вас… Я хочу иметь честь быть принятым обратно, в полк.

Рубикон был перейден.

— Очень хорошо. Мы от вас ничего другого и не ожидали. Скажите от меня Соллогубу, чтобы вас отдали в приказе.

Затем второе рукопожатие, на этот раз уже горячее.

В тот же день я отправился в Гвардейское Экономическое Общество, где также стоял дым коромыслом, и оделся с ног до головы. Шашка и револьвер у меня, между прочим, сохранились.

Когда я выходил из дверей снова офицером, чувствовал себя немножко так, как девять лет назад, после производства.

На следующий день я уже дежурил по полку, а еще через день принял и стал формировать 4-ую роту нашего запасного батальона. Выехал я в действующий полк в середине ноября, с нашей 3-ей маршевой ротой.

Полк выступил в поход 2-го августа 1914 года. В этот день я опять был дежурным. Накануне выступления подходит ко мне в собрании капитан Иван Михно, в японскую войну сотник в отряде Мищенки, а теперь заведующий Командой конных разведчиков (умер в 15-м году от скоротечной чахотки).

— Ты пока остаешься?

— Остаюсь…

— Ты знаешь, что мне для команды дали 30 отличных лошадей, все полукровки и трехлетки. Полувыезженные… Одна из них заболела. Наверное мыт, во всяком случае взять я ее с собой не могу. Хочешь ее взять?… Если вылечишь, привози ее на войну и она будет твоя…

Я, конечно, с радостью согласился. Позвал к ней ветеринара, а через неделю лошадь совершенно выздоровела и я каждый день по часу стал выезжать ее у нас в манеже. Лошадь оказалась прекрасная; красавица, с отличным характером, неутомимая и с очень резвыми аллюрами. Единственный ее недостаток был тот, что для похода она не годилась. Спокойным ровным шагом не шла, а все время горячилась и танцевала.

Вот этого-то конька, которого я по масти и по общей крепости и ладности назвал «Рыжик», я и готовил на офицерские скачки на второй день нового 1915-го года.

В нашем 3-м батальоне были тогда отличные младшие офицеры, трое из них из вольноопределяющихся. Один из лицеистов, адъютант Николаша Лялин, двое из правоведов, Александр Ватаци и Павлик Купреянов. Из Кадетского корпуса был только один — Владимир Бойе-ав-Геннес. И как офицеры, трудно сказать, кто из них был лучше. Как общее правило, для мирного обучения чинов, бывшие пажи и кадеты были пожалуй пригоднее, т. е. живее, бодрее и подтянутее. Долгая военная школа всегда все-таки сказывалась. На войне же вообще дело было темное и ни про кого нельзя было сказать заранее, кто каким окажется и кто как себя будет вести. Бывали случаи, когда блестящие и безупречные строевые офицеры, орлы в казарме и на учебном поле в городе Санкт-Петербурге и в Красном Селе, в бою линяли и увядали. И бывали случаи наоборот, когда офицеры в мирное время «шляповатые», которым в карауле в Комендантском Управлении, наверное закатили бы в «постовую ведомость» целую литературу, оказывались вдруг, неожиданно для всех, превосходными боевыми начальниками, хладнокровными, спокойными и распорядительными. Флегма на войне частенько вовсе не недостаток. Сангвиническому князю Андрею Багратион под Шенграбеном казался сонным.

В 11-ой роте отношения между ротным командиром и младшим офицером были приблизительно такого же рода, как между французским королем Людовиком 13-м и его первым министром, кардиналом Ришелье. Людовик — Михайловский был уже немолодым капитаном, любил жизненный комфорт, сложением был сыроват, а характером мягок. Кардинал — Ватаци, сын Помощника Наместника на Кавказе, имел от роду 23 года, был ума быстрого, характера твердого, а при нужде быть может и жестокого и телосложения проволочного.

Перед войной он провел два года студентом в Гейдельберге и надо полагать поэтому немцев (не русских немцев, а немецких) ненавидел всей душой. Любимыми его разговорами были, как бы он стал действовать, если бы вступил в Германию во главе,

скажем, корпуса русских войск. Король и кардинал ладили отлично. Король взял на себя заботы о котле и о здоровьи чинов. И нужно сказать, что хотя все мы ели хорошо, но борщ в 11-ой роте всегда был лучше чем в других. Кардинал был неограниченный владыка в области дисциплинарной, строевой и боевой. Короля своего чины обожали, а кардинала побаивались, а иногда втихомолку и подругивали, хотя все без исключения отдавали ему должное за распорядительность, умение приказывать и полное бесстрашие.

Наша рота и 11-тая всегда жили особенно дружно. Когда поздно вечером 6 февраля после Порытого наша 12-ая возвращалась по лесу из боя, видим вдруг на всех парах летит к нам навстречу славная 11-ая, с Людовиком и с кардиналом во главе.

— Куда вы прете? — спрашиваем.

— Как, куда прете, бежим вас спасать… Вы такую пальбу тут подняли, мы думали от вас ничего не осталось… Сказали Зыкову, он говорит идите, вот мы и бежим!..

Теперешним военным это покажется диким, но между двумя ротами батальона в боевой части и двумя ротами резерва с батальонным командиром было у нас тогда приблизительно три километра, расстояния. Даже велосипедистов у нас не было, не говоря уже о более современных способах сообщения.

12-го февраля 15-го года в бою под Ломжей А. Ватаци был ранен в бедро. Рана считалась не из тяжелых. Однако, через десять дней, неожиданно для всех, он в госпитале умер.

Мой младший офицер в этот период войны, Павлик Купреянов, был юноша, совершенно другого типа, не столичного, а деревенского. Правоведение он кончил из последних. Книгами не увлекался, а любил сельское хозяйство, охоту, поля, реки и леса. Характером был не злобив, а душою чист. Совершенно так же, как когда-то он у себя на Шексне играл в войну с товарищами, деревенскими мальчишками, так и теперь с другими, выросшими и одетыми в солдатскую форму мальчишками, он с горящими глазами крался ночью в секреты, швырял ручные гранаты, запускал ракеты, ползал на животе между нашей и немецкой линией и чувствовал при этом огромное удовольствие и ни малейшего страха.

Наш батальонный командир тогда, милейший и умнейший А. С. Зыков, воевавший хладнокровно и спокойно (получил армейский полк и в 15-м году был убит), очень любил Павлика, всячески старался его беречь и называл его «Монтегомо Ястребиный Коготь».

В мирное время из-за всяких мелких служебных

неисправностей, Павлик не вылезал из замечаний. На войне он представлял из себя ценность высокого класса. Единственно, что у Павлика было плохо: у него не было подчиненных, а только начальство и товарищи. Товарищи эти его на руках носили, но и для них он был «Павлик», а никак не начальник. При такой конъюнктуре дисциплину воинскую в 12-ой роте приходилось уже поддерживать мне.

Когда мы с Павликом узнали, что 2-го января предполагаются торжественные конские ристалища, мы сразу же решили, что запишемся и всех обставим. Офицерских лошадей, т. е. коней ротных командиров и адъютантов, мы более или менее знали. Большинство были определенные «шкапы», которым и соваться на скачки не стоило. У двух, трех офицеров были австрийские пленные кавалерийские лошади, купленные за пятишницу у казаков, но куда же им было против моего «Рыжика»… А для третьего заезда бега под седлом (заезд смешанный для чинов и офицеров), у нас был тоже припасен сюрприз. Левая дышловая на кухне, видная серая кобыла, наверное имела каких-нибудь отдаленных беговых предков. Мы с Павликом несколько раз ее пробовали отдельно в лесу, и окончательно убедились, что это рысак, да и только. Самый главный наш шанс был тот, что никто в полку об этом не подозревал.

Скачки были устроены со всем возможным приближением к всамделишным. Было выбрано поле, на нем круговая дорога, длинная «прямая», запись участников, старт и стартер с флагом, столб у финиша, судьи, все честь честью. По бокам скаковой дороги сплошной стеной стояли чины. Из нескакавших конных была даже образована «полиция», которая смотрела за тем, чтобы публика в пылу азарта не пугала лошадей и не выпирала на скаковую дорожку. У всех ездоков на левых рукавах красовались большие номера, которые вытягивались по жребию. Одним словом, все как полагается. Помню, что я вытянул пятый номер, а Павлик двенадцатый, счастливое совпадение.

Первый заезд конных разведчиков прошел более или менее спокойно. Публика еще не разогрелась. Второй — офицерский, начал уже возбуждать страсти. Были ездоки почти от каждой роты и по мере того, как мы проходили, стали раздаваться крики: «4-я не выдавай!», «Толстой, нажми!», «Баланин, Баланин!»…

В пылу азарта чинопочитание и титулование испарялось, как дым. Главными моими соперниками были Николай Толстой, младший офицер 5-й роты, и Георгии Баланин адъютант 2-го батальона (оба убиты 20-го февраля под Ломжей).

И у того, и у другого были довольно резвые лошадки. Уже на первом круге мы трое отделились от кучи и голова в голову стали

подходить к прямой. Рыжик шел широченным галопом, едка касаясь земли, не шел, а летел, но я чувствовал, что запаса у него еще сколько угодно. В начале прямой я нагнулся вперед, выпустит его на полный мах и сразу же выскочил на десять корпусов вперед. В этом же порядке мы, под крики ближайших чинов и офицеров, победоносно подошли к столбу.

Когда начался последний беговой заезд страсти разгорелись до предела. Из ездоков офицер был только один Павлик, причем ехал он без седла, на одной попонке, заявив, что так ему «сподручнее». Был он любитель деревенской скифской езды. Когда всех 15 ездоков пустили, сначала ничего нельзя было разобрать. Валили кучей, с криками и со свистом. Уже с половины пути Павлик стал забирать ходу, а потом все больше и больше… и пошел чесать… Наша серая кухонная кобыла, хвост по ветру распустив, плыла по воздуху, выкидывая передние ноги, как на самых больших московских бегах. Крепко сжав ее в шенкелях и небрежно держа одной рукой повод, на ней восседал тоненький с темной бородой Павел, размахивая фуражкой и во весь голос вопил: «Вперед 12-ая, ура!»… Пришел он, разумеется первым, впереди корпусов на двадцать и получил бешеные овации. Когда командир выдавал нам первые призы, по 25 рублей с носа, подошла строем с фельдфебелем, 12-ая рота и торжественно прокричала победителям «ура». Потом стали нас качать, а в заключение закатили «триумф». Посадили нас на наших коней и повели их под уздцы, по два человека. Кругом шла толпа чинов и пела песню доблестной 12-ой:

«Вышла Дуня за ворота,
А за нею солдат рота…»

И т. д.

В таком виде мы торжественно вступили в посад Гощин.

Призы наши мы с Павликом отдали в роту и даже помогли ей достать вина. Торжество вышло грандиозное и не только в ротном, но и в батальонном масштабе.

Когда 7-го февраля 1915 года меня эвакуировали, Рыжика отдали служить в команду разведчиков, которые ничего в лошадях не понимая и обращаясь с ними варварски, мне его, беднягу, погубили.

Когда я вернулся в апреле и снова принял 12-ую роту, Рыжика в живых уже не было.

* * *

Как я уже писал, в этот мой приезд в июле 16-го года, наши стояли в резерве в лесу. Это конечно тоже имело свои прелести, но на тихих спокойных участках, чины явно предпочитали стоять в резерве по деревням.

После кавалерии, в особенности казаков, отбиравших сено и солому, и даже не гнушавшихся сдирать ее с крыш, жители частенько встречали нас неласково. Но зато провожали всегда хорошо, а после долгой стоянки часто и со слезами.

Зимой еще бывали недоразумения. Во-первых, не очень было приятно пускать в избу 40 человек. Во-вторых, нередко страдали всякие плетни и заборы, сухое дерево для костров.

Но в компенсацию всегда как-то выходило, что вся деревня на время стоянки начинала питаться отличным солдатским хлебом и подкармливаться из ротных котлов.

А если поблизости был лес казенный, или частновладельческий, куда в обыкновенное время крестьянам вход был заказан, то, с приходом войск, этот лес вдруг начинал оглашаться звуками топоров и на каждом дворе появлялись в изобилии и валежник и дрова, а иногда и целые бревна. В лес ездили с крестьянами солдаты по своей собственной охоте. Хозяева, очень довольные, но боявшиеся, как бы им за такую дерзость потом не попасть в ответ, через своих «постояльцев» просили, чтобы военные власти давали им «покрывательные документы», а мы широкой рукой писали:

> «Настоящим разрешается жителю деревни Пясецкое Станиславу Ковальчику собрать и вывезти из леса помещика Петкевича два воза хворосту для нужд Действующей Армии».
>
> Ротная печать и подпись.

Весной и летом наши стоянки по деревням были жителям еще приятнее. Ротный котел, солдатский хлеб и помещичий лес оставались те же, но солдатам незачем было набиваться в избу. Летом каждый кустик ночевать пустит. На большом дворе, по всяким сараям и «стодолам» взвод мог разместиться свободно.

Всякий воин любит почувствовать себя в мирной обстановке, хотя бы на 2, на 3 дня. Я отлично помню, как после занятий, когда стояли в спокойных местах, чины но собственной охоте и не будучи никем к тому побуждаемы, снимали с себя знаки воинского звания и, в исподнем платьи и босиком, шли пахать, боронить и косить на поля и луга своих хозяев, чаще хозяек, так как все молодые мужчины из деревни также были призваны.

За это хозяйки стирали им белье, поили их чаем и всячески ублажали. Бывали, конечно, и романы, но так как никто ни на

кого не жаловался и все кончалось к общему удовольствию, то мы, офицеры, в эти дела не вмешивались.

Между прочим стирать свое белье, даже тогда, когда под рукой были все удобства, солдаты терпеть не могли, очевидно считая это не мужским делом. Нам, офицерам, осматривавшим белье, постоянно приходилось с этим бороться. И странно, что матросы стирают охотно, солдаты же эту работу не выносят.

В резерве в лесу, по вечерам в ротах, между шалашами, чины раскладывали костры и грели чай. И конечно пели. Лучший хор был в 10-ой роте, еще остатки трудов ротного командира А. В. Андреева, убитого в 14-м году в атаке под Ивангородом.

Следующий по качеству хор был в моей роте. Как-то подобралось человек 15 с голосами, из них двое певших раньше в церковных хорах, большие любители. Они даже пытались наладить церковное пение, но без нот и без настоящего ученья, дальше самых простых напевов мы не пошли.

Зато светское пенье процветало. Иногда собирались певцы со всего батальона, тогда получалось уже совсем хорошо. Настоящие любители обыкновенный походный солдатский горлодер презирали, а требовали, чтобы пели тихо и очень стройно. Хороший голос был у Бойе. Слабенький, но довольно верный теноришко был у меня. Владимир Бойе-ав-Геннес, в качестве настоящего «украинца», имел определенную слабость к малороссийским песням. Мне было совершенно все равно, что петь, лишь бы стройно выходило.

Пели «Ермака», и «Солнце всходит и заходит», и «Пожар Московский», и «Стеньку Разина», и еще одну песню с удивительно красивым мотивом, но совершенно идиотскими словами самого мрачного содержания и с припевом «веселый разговор». Например: «…он зарезал сам себя… ах, веселый разговор».

Недавно здесь, в Буэнос-Айресе, я видел советский фильм «Чапаев». Там чапаевские соратники очень хорошо и стройно поют. И очень странно было слушать, особенно если закрыть глаза. Казалось, что сам стоишь в куче серо-желтых гимнастерок и выводишь какую-нибудь верхнюю ноту в сосновом лесу под Велицком.

Они, которые воевали за Ленина и мы, которые сражались за «Веру, царя и отечество», пели абсолютно те же самые песни. В этом отношении народных вкусов революция не изменила.

В батальоне было несколько гармоник и 2, 3 порядочных гармониста. Но когда Николаша Лялин садился на пенек и приказывал подать ему его аршинную четырехрядку, со звонками и самыми необыкновенными клапанами, моментально собиралась

толпа и слушала затаив дыхание.

Здорово играл на гармошке командир 11-ой роты. И как бы он удивился, если бы кто-нибудь ему тогда сказал, что через несколько лет, он, вместе с многими своими товарищами лицеистами, будет расстрелян в качестве «врага народа».

Когда его судили и приговаривали, то бывших солдат 11-ой роты Семеновского полка о нем, конечно, не спрашивали.

* * *

Через 4 дня 1-ый и 3-ий батальоны заступили в окопы. Собираться стали к вечеру и выступили когда стемнело.

От окопов я тоже отвык и было немножко такое чувство, как когда-то, когда после приятно проведенного в отпуску воскресенья, к 8 часам нужно идти назад в корпус.

До позиции было километра три, сначала шли по открытому, но на полдороге втянулись кишкой в бесконечные извилистые ходы сообщения. Было совершенно тихо. Кое-где одиночные ружейные выстрелы, и каждую минуту над немецкой линией высоко взлетают в небо осветительные ракеты.

Смена прошла благополучно. Наша рота стала на свой старый участок.

Нарядили и выслали «секреты», в каждом взводе поставили по два наблюдателя часовых. Ночью уже можно было смотреть прямо через бойницы без всяких перископов.

Хотя редкая стрельба шла все время, но в эту пору без особенного риска можно уже было ходить по верху, не спускаясь в ходы сообщения. Это было много скорее. Только когда осветят ракетой рекомендовалось нагнуться, или еще лучше просто падать на землю.

Бывали конечно несчастные случаи с шальными пулями. Так, например, ранило Моллериуса (выпуска 14-го года из Пажеского корпуса), но это считалось уже исключительным невезением.

Помню другой случай, гораздо более трагичный, имевший место не помню уже в какой роте, но не в нашем батальоне. Поздно вечером, поверху, по служебной или другой какой надобности, позади главного окопа шли два чина. Осветили ракетой. Те никакого внимания. Тогда немцы полили их из пулемета. Один бросился на землю и остался цел. Другой, с четырехаршинной высоты соскочил вниз в окон и напоролся на торчавший штык. Штык прошел ему под левое нижнее ребро и вышел у правого плеча. Сейчас же понесли его на перевязочный пункт, но по дороге бедняга умер.

В противоположность нормальному порядку вещей, в окопах работали ночью и спали днем.

На этот раз окопы были глубокие, с целым лабиринтом ходов сообщения и с блиндажами с саженной настилкой над головой, окопы, вырытые нашими предшественниками. Но работа все-таки находилась. То подправить, то углубить, то вырыть заново.

Кроме того работать было полезно из гигиенических соображений. На мясной пище, в жару, проводить недели в лежании и сидении и в абсолютной праздности, было уж очень нездорово, и физически и морально.

Каждую ночь, как только стемнеет, являлись Гв. Саперного полка унтер-офицеры и вместе с нами намечали работы. Раздавались большие лопаты, и за исключением часовых и дежурных взводов, все принимались за копанье. Работали все поголовно, включая унтер-офицеров и очень часто включая и офицеров. Бойе, Лялин и я занимались этим делом немножко для примера, а главное для здоровья.

Кончали работу с рассветом. И сразу же чины начинали разводить теплинки и греть воду для чая.

Подымались дымки и над немецкой линией. Как говорили солдаты: «Герман варит свою каву».

Часов в 6 утра, за исключением часовых, дежурных взводов и дежурных пулеметчиков у машин, все, и с нашей, и с немецкой стороны заваливались спать до 10, до 11 утра.

Для внезапной атаки, утро было, пожалуй, самое удобное время.

Во время копания иногда попадались неожиданные находки, главным образом покойники. Одного мы обнаружили раз в самом неподходящем месте.

К часу дня нам всем из резерва из собрания, обыкновенно приносили в судках обед, и если было спокойно, мы все собирались в блиндаже у батальонного командира. Хотя все мы были соединены телефонами, эти общие собрания были важны и в служебном отношении. В этот час происходил обмен мнений на всякие батальонные и ротные темы, говорили о работах уже сделанных и о том, что еще нужно сделать, и узнавали полковые новости. В блиндаже у батальонного, на проводе, соединенном с полковым штабом, сидел батальонный телефонист, обыкновенно унтер-офицер и кавалер двух, а иногда трех степеней, честно заработанных на розысках и сращивании проводов в часы свирепых артиллерийских обстрелов. К этому же часу из штаба полка приносили письма, а иногда и газеты.

Обед разогревался и подавался всем сразу.

Вот как-то в один из очень жарких дней мы заметили, вернее

почувствовали тяжелый специфический дух. Сомнений быть не могло. Где-то очень близко лежал покойник. Стали искать. И вдруг заметили, что под самым столом, на котором мы столько дней обедали, из земли торчит что-то темное. Копнули немножко, — остаток сапога. Труп австрийского солдата зарыт на глубине меньше полуаршина. Оканчивать обед перешли в другой блиндаж, а ночью позвали фельдшера с карболкой, санитаров с лопатами и перенесли беднягу на другое место, а на следующий день какая-то добрая душа поставила над ним из палочек крестик.

Ружейная и пулеметная стрельба в окопах не страшна. Пули свистят довольно высоко над головами, или зарываются в бруствер.

Не страшна и легкая артиллерия. Раз помню легкая граната угодила прямо в блиндаж, с полутораршинной настилкой. В блиндаже сидело человек пять. Блиндаж завалился, кое-кого ушибло, но все остались целы. Настоящий наш враг в окопах была тяжелая артиллерия от 4 1/2 дюймов и больше, снаряды эти, когда проносились над головами, шумели, как быстро идущий пустой трамвай. Воронки они давали сажень в диаметре и два и три аршина глубиной. Они разворачивали бруствер, а при удачном попадании в блиндаж с людьми, на три сажени в небо взлетала земля, окровавленные щепки, руки, ноги и головы…

Методические немцы тяжелыми снарядами стреляли каждый день. Почти никогда утром и почти всегда от 12–3 дня и от 5–7 вечера.

При известной опытности можно было по характеру стрельбы определить, будет ли это что-нибудь серьезное или обыкновенное часовое, полуторачасовое упражнение по расписанию. Случались такие обстрелы, что мы, бывало, сидя в блиндаже у батальонного, даже не считали нужным расходиться, зная, что не успеешь добежать до своей роты, как все будет кончено. А бывали такие, что если случайно окажешься не у себя, то нужно было опрометью бежать на свое место.

Еще в японскую войну тактика под обстрелом была такая: как бы ни стреляли, сиди и ни с места. В Великую войну практика показала, что иногда нужно шевелиться. Часто немцы довольно интенсивно обстреливали узенькие, шагов в сто участки. Тогда, не иначе конечно, как по приказанию офицеров, люди раздавались в обе стороны и этим избегали ненужных потерь. Отходить назад разумеется нельзя было ни в каком случае.

Иногда, но редко, так как это требовало специального подвоза и концентрации артиллерии, немцы сосредотачивали на участке полка, а иногда и шире, огонь десятка тяжелых батарей.

Чемоданы валились через каждые 15–20 шагов, по всей площади. Земля начинала кипеть черными двухсаженной высоты пузырями… Тогда уже нужно было сидеть во что бы то ни стало. Сидеть и по возможности не балдеть, что было трудно. За таким обстрелом могли последовать газы или обыкновенная пехотная атака.

Под такой обстрел наш полк попал 16 сентября. Это был ответ на наши атаки 3-го и 7-го сентября.

Бойе у нас в батальоне был первый мастер по определению степени серьезности немецкой стрельбы.

Помню, раз как-то на участке мы были соседями, и под вечер, надеясь, что стрельбы в этот день уже не будет, я принял необходимые предосторожности и отправился к нему в 10-ую роту в гости. Согрели чаю. Сидим и благодушествуем.

Уже после семи часов, как раз солнце садилось за нами, начался довольно редкий обстрел самого центра его участка. Стреляли очень тяжелыми, не меньше 8 дюймов и как раз по тому месту, где мы сидели. Я встал, чтобы идти к себе в роту. А Бойе говорит:

— Уходить не стоит. Сейчас кончится. Это сменились батареи и новая ведет пристрелку. Но отсюда нужно сматываться… Были недолеты, теперь перелеты, сию минуту сюда влепят…

И передал приказание по линии, чтобы ближайшие взводы раздались в стороны. Не успели мы отойти шагов тридцать, как раз два, — один удар в бруствер, другой в заднюю стенку. Блиндаж Бойе задело краем и он завалился. Соседний взлетел в воздух. Но так как людей там уже не было, не было и потерь. Через 10 минут опять все было тихо.

Другая неприятность были мины. Немецкие мины, наших не знаю, никогда не видел, представляли из себя цилиндры на подобие ракет, начиненные взрывчатым веществом большой силы. Воронку они давали большую, но еще страшнее был гулкий, раскатывающийся звук от взрыва, много сильнее взрыва обыкновенного тяжелого снаряда. Мина летела медленно и в сумерках можно было свободно проследить ее траекторию. От мин, как и от тяжелых, единственное спасение, как увидишь что летит, припадай к матери сырой земле, точнее ничком на пузо. Но отнюдь не стой и даже не нагибайся, а честно ложись.

Это заступление в окопы было сравнительно благополучно. Потери были, но обыкновенные, на роту не выше 3–4 человек в день.

* * *

Но помню точно чисел, но приблизительно в половине августа 1916 года на позиции нас сменили армейские полки; нас же отвели в сторону, поставили в другом лесу и объявили, что через две недели предстоит генеральное наступление, а для этого нам нужно вырыть «плацдарм», по старой петровской терминологии «апроши». Это должна была быть целая система продольных окопов и поперечных ходов к ним, чтобы, будучи укрытыми, как можно ближе подойти к неприятелю и по возможности сократить то открытое пространство, которое при атаке нужно было пройти. Мысль сама по себе прекрасная, но чтобы безопасно рыть петровские «апроши», нужно было, чтобы у противника модель артиллерии была 1709-го, а не 1916-го года.

Немцы, конечно, знали о наших приготовлениях. Скрыть такую работу от их наблюдательных аэропланов, которые по меньшей мере дважды в день свободно порхали над нашей позицией и тылами, было разумеется немыслимо.

Роя такой плацдарм, мы поневоле должны были работать не линией, а квадратом и в первые две, три ночи глубоко уйти в землю еще не могли. И почему они нас там в это время не передушили, до сих пор для меня тайна. Стоило им тогда на любом таком участке сосредоточить ночью огонь 3 тяжелых и 5 легких батарей, от всех нас осталось бы одно мокрое место. Днем пристреляться, а ночью поработать. Что плацдармов рылось зараз несколько дела не меняет. Сегодня ночью можно было заняться одним, завтра другим…

По неизвестным причинам немцы этого не сделали и за эти ночи наши потери были даже меньше обыкновенного.

Рытье плацдарма продолжалось около недели. Каждый вечер, когда темнело, с офицерами и унтер-офицерами Гв. Саперного полка, мы выходили на участок и, в гробовой тишине, не куря, большими лопатами, беззвучно изо всех сил рыли и копали землю во всевозможных направлениях.

Перед рассветом кончали работу и уходили в лес спать.

Приблизительно на шестую ночь серьезной работы наш «плацдарм» принял уже внушительные формы. Как вдруг мы неожиданно узнали несколько крупных новостей.

Атака на этом участке отменяется. Рытье плацдарма прекращается. «Особая Армия» генерала Безобразова расформировывается, а вся гвардия, т. е. 2 корпуса, передаются в 8-ую армию ген. Каледина.

Через день, т. е. в последних числах августа, мы выступили. После нескольких приятных и неутомительных переходов, — всю дорогу распевали песни, — мы подошли к цели нашего движения — Скунченскому лесу, в ближайшем тылу, еще до нас обильно

политой русской кровью позиции: Шельвов — Свинюхи — Корытница.

Во время похода ничего примечательного не случилось. Было сброшено на нас несколько бомб, и то не на походе, а на привалах.

Помню один переход, когда мы только что остановились на ночлег в лесу. Было еще совсем светло, около 7 часов вечера. Офицерское собрание расположилось на полянке, и что бывало так редко, все офицеры вместе с командиром полка, сели обедать.

Кончили обед и приготовились вставать. Слышим над головой гудит аэроплан. Ясно было, что немецкий, наши были так редки, что поглядеть на них выскакивали все. На одиночные же немецкие, наоборот, никто внимания не обращал. Даже не беспокоились встать. Кончили кофе и продолжали разговаривать.

Вдруг довольно близко от нас слышим свист и сразу же взрыв. Летчик целил по нас, но плохо расчитал и бомба ударила на 100 шагов в сторону, где солдат 11-ой роты мирно рубил дерево. Услышав свист парень не потерялся, а в то же мгновение бросился ничком на землю. В результате отделался легкой раной.

Других потерь за этот переход не было.

III. Наши атаки 3-го и 7-го сентября

Как только мы пришли в Скунченский лес и стали, там биваком, уже на следующий день стало известно, что через день, два мы заступаем на позицию и что вслед за этим предстоит серия атак, на этот раз уже без всякого плацдарма.

Передавали также, что для успеха этих атак, ген. Каледин, мужчина серьезный, жалеть людей не собирается.

В виде утешения передавали также, что будет сделана такая артиллерийская подготовка, какую мы себе и представить не можем, что же немецкие окопы будут сметены начисто, и что при таких условиях будет собственно не атака немецкой позиции, а что-то вроде майской прогулки.

Нужно сказать откровенно, что в эти обещания у нас не очень верили и известие о предстоящих атаках приняли потому без всякого энтузиазма. То же самое говорилось и перед атаками на Стоходе 20–26 июля. И все произошло именно так, как предсказывали самые большие пессимисты.

И было с чего в этом отношении быть пессимистом.

Известна теория снаряда и брони, схема прогресса всей военной техники. Чтобы защититься от него придумывают броню, которую этот снаряд не пробивает. На снаряд приспособляют головку из особого металла, снаряд с головкой пробивает полторы таких брони. Броню видоизменяют и вместо одного толстого, делают несколько тонких пластов. Ее снаряд с головкой уже не пробивает и т. д., и т. д.

Так вот в войну 1914–17 г. г. «броня» полевой обороны опередила «снаряд» полевого наступления ровно на четверть века.

С изобретением магазинного ружья, шансы обороняющегося необыкновенно повысились. А с введением пулемета, обороняющийся стал почти непобедим.

Я говорю, конечно, не про австрийцев или итальянцев, а про крепкие и стойкие войска, какими были немецкие и наши.

Две серьезные, упорные роты с десятком пулеметов, могли скосить наступающую по открытому месту дивизию. Под действительным пулеметным огнем пройти несколько сот шагов для волн пехоты, сколько бы этих волн не было, хоть десять, так же немыслимо, как под сильным ливнем пробежать 20 шагов по двору и не вымокнуть.

Уже на что жестокие атаки вела 10-ая армия Радко-Дмитриева зимою 16-го года на Рижском фронте. Атаковали Латышские стрелки, великолепные войска. Положили гибель народу и все напрасно.

Такие же атаки, в том же году и на том же фронте устраивали немцы. Узнали потом от пленных, что перед атакой им для возбуждения давали вино и какие-то снадобья…

Волна за волной немецкая пехота, как на параде шла вперед, люди валились, за ними шли новые; опять валились, опять выростала новая стена, и никто из этих сотен людей до наших линий не дошел.

В 1940 году, когда пишутся эти записки, наступающие немцы, разгромили оборонявшихся французов в несколько недель.

При своем наступлении немцы применяли сотни танков, колонны моторизованных и механизированных частей… Панцырные дивизии… Все эти машины входили в неприятельские линии, как нож в масло, в то время как тучи самолетов с минимальной высоты и с предельной точностью сбрасывали на головы защитников тысячи пудов бомб.

Всего этого оружия в Великую войну у наступающего не было. Аэропланы в боях участия не принимали, особенно у нас, а первый танк на западном фронте появился у союзников, кажется, только в 17-м году. Первые танки в России появились привезенные из Европы в гражданскую войну.

Таким образом против обороняющегося, вооруженного скорострельной артиллерией, магазинным ружьем и пулеметом, наступающая пехота в наше время, шла точно так же, как она ходила под Седаном или под Плевной.

Единственный шанс атакующего была артиллерия, т. е. долбление тяжелыми снарядами линии обороны, пока она не превратится в кашу. Но сколько же для этого нужно было иметь артиллерии?

На западном фронте, летом 17-го года, американцы громили перед наступлением немцев по расчету одно тяжелое орудие через каждые пять шагов, и это на протяжении километра… Такой роскоши не могли себе позволить и немцы, а уж о нас и говорить нечего.

Все это были причины общие, а были и частные, наши местные.

Сейчас давно уже сделаны точные подсчеты сравнительного вооружения германской и нашей армий в Великую войну. Выведены, конечно, и проценты. Я их не знаю и достать мне их здесь неоткуда.

Но не говоря о 15-м годе, когда у нас были одни винтовки, с ограниченным числом патронов (были части, где и винтовок не было), впечатление рядового, строевого офицера летом 16-го года было такое, что наше вооружение по отношению к немецкому составляло приблизительно 1 к 3.

Немецкие аэропланы летали над нами по 2 раза в день аккуратно. Русских почти не было видно.

При всей доблести и искусстве наших артиллеристов, на 10 немецких выстрелов, приходилось по 3 и по 2 наших.

Всякие мелкие неприятности траншейной войны: минометы, бомбометы, траншейные орудия, все это было у них в изобилии, а у нас только еще вводилось. Пустим мы к немцам мину, из одного имеющегося у нас миномета, а они нам ответят из 5. На 5 ихних мин, по правилам войны, следовало бы ответить 10-ю, а у нас их нет. Поневоле приходилось молчать и «кушать».

И создавалось в массе офицеров и солдат такое настроение, что с австрийцами «хамить» должно и можно, а с немцами «хамить» нельзя, все равно всегда останемся в накладе мы сами, а не они…

Исключительно благодаря подавляющему превосходству их вооружения, законное уважение к неприятелю, переходило временами, «в «почтение», а это плохой фактор победы.

Единственно когда мы были вполне в себе уверены, это когда нужно было «сидеть». Раньше «стояли» грудью; мы «лежали» и «сидели» грудью, сидели под самым убийственным, самым жестоким, самым разрушительным огнем, сидели до потери половины состава… А если бы довелось пойти в атаку, не на машины, а на живых людей, это тоже было бы не плохо… Но плохо было то, что это почти никогда не удавалось…

При таких условиях известие о предстоящих атаках, было встречено, прямо скажу, холодно. Об этом открыто не говорили, говорить о таких вещах было непринято, но в глубине души на успех надеялись мало. Ясно было, что если не дадут настоящей артиллерийской подготовки, а на нее надежда была плохая, то мы немцев, не только не прорвем, а просто до них не дойдем…

На позиции Шельвов — Свинюхи — Корытница, наши и немцы стояли друг против друга уже несколько месяцев.

Еще до нас предпринимались атаки и с нашей и с немецкой стороны и все были неудачны.

От деревень кое-где только торчали печные трубы. Местность с нашей стороны была изрыта вглубь версты на 3.

Параллельно 1-ой линии тянулись десятки траншей, с интервалом шагов на сто друг от друга, глубоких, с блиндажами, но в это время уже порядочно запущенных и загаженных. Все они пересекались бесконечными, узкими, извилистыми ходами сообщений. Получался целый лабиринт, разобраться в котором было нелегко.

То там, то сям торчали из земли деревянные крестики из палок и из досок, некоторые совсем свеженькие, некоторые уже

готовые упасть… Кое-где чернильным карандашом надписи, от старых дождей трудно разбираемые…

Кажется, 1-го сентября заступили на позицию. В первую линию стали Преображенцы и Егеря. Преображенцы — справа, Егеря — слева. В резерве за Преображенцами стали мы, за Егерями — Измайловцы.

Справа от Преображенцев, ближе к Шельвову, стала на позицию 2-я дивизия.

На 3-е сентября была назначена атака Преображенцев и Егерей. В 6 часов утра началась артиллерийская подготовка. В 3 часа дня назначено было атаковать.

Как и опасались, подготовка была далеко не такая, как та, о которой носились слухи. Никакой дополнительной артиллерии нам не дали.

На участке наступавшей бригады начал стрельбу Гвардейский Тяжелый Дивизион, две батереи доблестного рыжебородого Януария Вешнякова, брата нашего, не менее доблестного, Михаила Сергеевича, в то время уже убитого, и наша 1-ая Гвардейская бригада, 6 легких батарей, бивших 3-дюймовыми гранатами, дававшими воронки глубиной в аршин.

Грохот получался внушительный, но эффект, конечно, слабый. Над немецкой линией они поднимали облака пыли. Но разрушить трехдюймовками долговременные немецкие укрепления, блиндажи в несколько накатов бревен, с саженными настилами земли, было и думать нечего.

Вся надежда была на тяжелые пушки Януария Вешнякова. Но что мог сделать Януарий с 8-ю пушками на фронте целой бригады?

Одна из Вешняковских батарей стояла как раз за нашим 3-м батальоном.

После 8-часового грохота, в полуобалделом состоянии, с шумом в ушах (многие забывали держать рот открытым и ваты в уши тоже не клали), мы все офицеры батальона отошли немного в сторону, поднялись на самое высокое место, откуда немецкие позиции были довольно хорошо видны. Но ни простым глазом, ни в бинокль ничего разобрать было нельзя. Над всей немецкой линией стояло густое сплошное облако пыли.

День выдался солнечный и совершенно безветренный.

Было 2 1/2 часа дня.

Ровно в 3 часа вся наша артиллерия замолчала, как отрезала. С нами был телефонист с аппаратом, который был связан с батальонным телефоном, а тот, в свою очередь, со штабом полка.

Через 5 минут слышим:

— Вашесбродие, из штабу передают — Преображенцы и Егеря

пошли!

Мы все сняли фуражки и перекрестились:

— Господи, дай Бог!

Что «пошли», мы и сами почувствовали по бешеной стрельбе, которая началась по всей немецкой линии. Винтовочные пачки, затакали пулеметы, шрапнель над первой линией и несколько тяжелых батарей, которые сразу же стали бить по ближним и по дальним резервам, т. е. по нас.

Несколько двухсаженных фонтанов земли взлетели к небу совсем близко.

Но мы все были в таком состоянии, что далее не пошевелились, а стоя во весь рост, прильнув к биноклям, изо всех сил старались разглядеть и понять, что там впереди делается.

Около наших ног, не отпуская трубки лежал телефонист. Голос у него прерывался. Видно было, что волновался он не меньше нашего.

— Вашесбродие, Преображенцы остановились!..

По сразу изменившемуся характеру стрельбы, прямо перед нами, стало ясно, что там творится что-то для нас скверное.

— Боже Ты мой, Господи, опять неудача!

Так прошло минут пять. Вдруг снова голос телефониста, на этот раз радостный:

— Вашесбродие, из штабу передают — Егеря дошли и заняли окопы!

И сразу же на душе стало легко и захотелось туда бежать.

Передали эту радостную весть по полкам нарочно, или узнали сами, как, мы, но через минуту весь верстовой четырехугольник резервов, Измайловцы и мы, стали бешено кричать. Измайловцы начали, мы подхватили:

— Кавалерия, кавалерия!!!

Рев был дикий, радостный, оглушительный… Ни на каких смотрах и парадах так никогда не кричали.

Слева, внизу, в лощине, довольно близко от нас, стоял спешившись какой-то кавалерийский полк. Кажется, Мариупольские гусары. Мы тогда в первый раз их заметили.

Видно этого крика они только и ждали. Выскочили вперед офицеры. Слабо донеслась до нас команда: — По коням! Садись! Рысью ма-арш! — Эскадроны один за другим двинулись и сразу же перешли в галоп. Но еще не выходя из нашего поля зрения, вдруг сбивчиво остановились, покрутились на месте и полным ходом пошли назад.

К этому времени прекратился и крик.

Заняли ли Егеря первую линию немецких окопов и были выбиты, или просто не смогли до нее дойти, как Преображенцы,

но стало ясно, что радость была преждевременна, что никакой победы нет, и что кавалерии там делать нечего.

Сердце у нас опять упало, и на этот раз окончательно. Через полчаса стало известно, что атака была отбита по всей линии и у Преображенцев и у Егерей и что потери большие.

Среди офицеров несколько раненых, а убиты у Преображенцев Малевский-Малевич, брат полкового адъютанта Петра Малевского, а у Егерей молодой князь Оболенский.

Стрельба тяжелыми по нас продолжалась еще несколько часов. К вечеру все стихло.

Весь вечер мимо нас таскали Преображенских раненых.

Теперь, какая цель была этой атаки? Прорыв? Но прорывы подготовляли иначе, даже и у нас. Демонстрация? Но демонстрация подразумевает серьезное действие на другом участке, откуда нужно во что бы то ни стало, и какой угодно ценой, отвлечь внимание противника… Сколько было известно в это время ни на каком ближайшем участке фронта никакой серьезной атаки произведено не было… Атаковало несколько дивизий, в частности 2 гвардейские, при помощи своей собственной артиллерии, и почему-то по 4 роты от полка… И разумеется все были отброшены назад и с какими потерями!

В нарушение главного военного принципа били не кулаком, а растопыренными пальцами. Причины почему все это делалось так, а не иначе, конечно, были. Мы их тогда не знали. К сожалению, не знаю я их и теперь.

На следующий день передавали, будто командующий армией Каледин, был очень, недоволен, говоря, что гвардия не желает по настоящему драться и симулирует атаки… «Симулирует атаки!» — веселый разговор!

В тот же день вечером стало известно, что на 7-ое число на тех же местах приказано атаковать нам и Измайловцам.

Для боев у нас в полку всегда велась строгая очередь. В полку батальонам, а в батальонах — ротам.

На этот раз батальонам приходилось идти по порядку: 1-му, 2-му, 3-му и 4-му.

Из каждого батальона атаковать должно было по одной роте. Шли так: 2-я, 8-я, 12-я и, кажется, 15-я.

При успехе в прорыв должен был броситься весь полк.

1-го числа вечером мы сменили на передовой позиции Преображенцев. Два дня ушло, очевидно, на приведение в порядок артиллерии и на пополнение их запасов. Насколько мне известно, в людях потерь у них не было.

5-го днем узнали подробности предстоящей атаки.

Артиллерийская подготовка, как и в прошлый раз, начнется в

6 часов утра 6-го сентября и будет продолжаться почти сутки, т. е. до 4-х часов утра следующего дня, когда ротам но часам подыматься и идти в атаку.

Роты занимают исходное положение: 2-ая в передовом окопе, 8-я во второй параллели, 12-я в третьей и 15-я в 4-ой.

По выходе 2-ой роты, 8-ая ходами сообщения сразу же идет на ее место и не задерживаясь выходить за ней в поле, за ней 12-ая, за ней 15-ая.

Таким образом в указанную минуту, без всяких дополнительных приказаний, весь боевой порядок начинает движение одновременно. Между параллелями около ста шагов расстояния.

В подготовке принимало участие то же количество артиллерии, что и в первый раз, т. е. тот же Тяжелый Дивизион Вешнякова и та же наша 1-ая бригада.

В 6 часов утра началась пальба. Погода была, как на заказ, солнечная и теплая. И единственное, что было хорошего тогда, это погода.

На душе у нас было довольно скверно, т. к. по совести в успех никто не верил. Если еще при атаке 3-го числа можно было на что-то надеяться, то 2-й раз, да еще через 4 дня, повторять абсолютно то же самое, ничего доброго не сулило.

О разрушении немецких окопов не могло быть и речи.

Как-то после атаки 3-го, я встретил приятеля, артиллериста 1-й бригады, отвел его в сторону и задал ему прямой вопрос: чем они, собственно, расчитывают нам помочь. На это он сказал мне, буквально, следующее:

— Говорить это во всеуслышание не нужно, но вы то понимаете, конечно, что 3-дюймовыми пушками разрушить таких укреплений нельзя.

— Ну, а огневую завесу перед атакующим, на западном фронте это давно уже практикуется, вы нам устроить не можете?

— Нет, этого мы не делаем.

— Ну, а по ближайшим тылам немцев, чтобы мешать им подвозить пищу, подводить свежие войска, и т. д. вы можете бить?

— На все это у нас не хватит ни орудий, ни снарядов. Единственно, что мы сможем сделать и сделаем, это заставить немцев в окопах немножко обалдеть, а перед линией их прорвем проволоку. Больше ничего от нас не ждите!

Веселый разговор!

Прорвать проволоку, конечно, полезно, но нужно, до нее дойти. А идти нужно 500–600 шагов, по ровному, как скатерть, полю, на каждом ротном участке по крайней мере против 4-х или

6-ти пулеметов, не считая скорострельного ружейного огня…

Как только началась наша подготовка, немцы замолчали; ни одного выстрела.

Часов в 9 утра я собрал унтер-офицеров и мы все отправились в первую линию. Долго стояли и смотрели в перископы, расчитывая и примеряя, как мы пойдем. Старались найти какие-нибудь ложбинки, лощинки, складочки, чтобы без особенных потерь пройти хоть часть пути. Но ничего этого не было. Сразу у наших окопов местность слегка понижалась, так что при самом выходе образовалось подобие «мертвого пространства» — для нас это было как раз «живое» пространство — шагов в 50 ширины, а дальше бугорок и ровное, как скатерть, поле, а впереди, где немецкие линии, от нашей стрельбы густое облако пыли, так что ничего разобрать нельзя.

В 12 часов привезли для чинов обед. Мне, как полагалось, налили котелок, и я стал подсаживаться к разным взводам. Главное мне хотелось, как говорится, «померить температуру»… Что они думают… Пойдут или не пойдут… И если пойдут, то как. Только сделают вид, или пойдут по настоящему, от сердца… Ведь по существу никаких мер принуждения не было. Подгонять людей в атаку, сзади, из своих же пулеметов, в наше время было как-то не принято…

Я говорил в деловых тонах, как мы должны идти, по каким ходам войти во вторую линию, по каким в первую, как выходить в поле, как держаться ближе к начальству, кто кого замещает и т. д.

Отвечали тоже по деловому. Иногда шутили, иногда смеялись…

Температура казалась нормальная, а что у них на душе делалось, понять было нелегко… Раз мы, офицеры, громко своих мыслей не высказывали, то они тем более, в особенности начальству.

Все-таки после этих разговоров на сердце стало много легче. Как-то неуловимо ощущалось, что несмотря на три года войны и усталость, и 4 раза переменившийся состав, и огромный недохват в офицерах, существует еще это чувство плеча, взаимной связи, доверия, боевого товарищества, этой основы всякого хорошего войска…

Хоть может быть на донышке, но был еще порох в пороховницах…

Живучи хорошие, старые полки… Был у них какой-то «грибок», который ничем не вытравишь…

И если бы только один успех, и опять все было бы забыто и опять полк, был бы не хуже, чем в 14-м году!

Часа в 3 дня, я со «связью» (связью назывались особые чины,

по одному от каждого взвода, при ротном командире неотлучно, исполняли адъютантские обязанности, в бою телохранители) опять отправился в 1-ую линию.

Подготовка шла на полный ход. Немецкие окопы были под обстрелом уже 9 часов непрерывно. В это время в 1-ую линию по какому-то делу из штаба пришел полковой адъютант Всеволод Зайцев. Стали мы вместе смотреть вперед, и он по неосторожности высунул голову. Только что я хотел ему сказать, чтобы он этого не делал, как «бамм» — траншейное орудие прямо в бруствер над нашими головами. Мы только успели нырнуть.

Это был плохой знак. При настоящей «подготовке», после 9-ти часов пальбы, люди в обстреливаемых окопах, уже полуразвалившихся, те, кто еще цел, должны но настоящему переставать понимать, где правая и где левая сторона, где верх и где низ… А у них наблюдают за противником, как ни в чем не бывало, и наблюдают не плохо.

В 5 часов пошел в штаб полка. Он помещался недалеко в тылу, на пригорке, в широкой землянке. П. Э. Тилло, по своему обыкновению, лежал на бурке и курил. Тут же, полувысунувшись, стоял знакомый офицер 1-ой бригады и по телефону не переставая командовал своей батарее очереди. Наблюдатель их сидел в нашей 1-ой линии. По внешности в штабе все было спокойно, но чувствовалось что и им не по себе.

Часов около 6 вечера случилось неожиданное происшествие. Роли переменились. Без особого предупреждения немцы открыли по передовому участку, правее нас, кажется Гренадерского полка, такой артиллерийский огонь, что даже было страшно.

На участке батальона сосредоточили огонь тяжелые батареи. От нас все это место казалось сплошным столбом черной земли двухсаженной высоты. Продолжалось это минут сорок. Передавали потом, что за зто время батальон потерял до 30 % состава и для атаки был заменен другим.

После визита в штаб полка, пошел опять в роту. Скоро стало смеркаться и привезли ужин.

Вот тут бы дать чинам по чарке водки и сказать приличное случаю слово! Но при нашем «сухом режиме», об этом нечего было и мечтать.

Позвал Смурова и вручил ему конверт.

— Вот Александр Николаич, если со мной сегодня ночью что-нибудь случится, то ты мой ящик наверное повезешь в Петербург… Это письмо передай моей жене и расскажи ей все, как было. Вообще в случае чего она тебе всегда поможет… А теперь поцелуемся, пожелай нам победы, а мне Георгиевский крест!

— Желаю вам, Вашсбродие, легкую рану, тогда опять на Фонтанку поедем!

И тут случилась вещь, которой трудно поверить. Но тем не менее все именно так и было.

В этих моих писаниях, кое-где я мог свободно напутать. Мог наврать в описании нашего расположения или в количестве орудий. Но такие вещи не забываются и все, что за этим произошло, теперь, через 24 года, я помню также ясно и отчетливо, как если бы это случилось вчера.

Начавшаяся в шесть часов утра и продолжавшаяся беспрерывно целый день наша артиллерийская подготовка, на фронте двух атаковавших дивизий, в 9 часов вечера 6-го сентября 1916-го года, за 7 часов до срока атаки, вдруг совершенно неожиданно прекратилась.

Первые минуты мы не могли понять в чем дело. Отменена атака? Стали звонить в штаб полка. Там тоже ничего не понимают. Передают, что неожиданно артиллерия получила приказание прекратить огонь.

Через несколько времени из штаба дивизии объяснили, что прекратили стрельбу потому, что за темнотой нельзя «вести наблюдение за попаданием», и что при таких условиях «не стоит тратить снарядов»…

Веселый разговор!

А жизни наши при таких условиях тратить стоит?

И вздор это все. Отговорки для институток младшего возраста… Всякий военный званием выше ефрейтора знает, что в позиционной войне порядочная артиллерия, а наша была отличная, имеет все главные пункты у неприятеля пристреленными заранее и все данные записанными. Как же немцы стреляли по ночам?…

Да и как можно вести наблюдения за попаданиями, когда сразу палит 60 пушек, и над всей линией противника широченное облако пыли, так что не то что отдельных попаданий, а вообще ничего не видно.

Наконец, если артиллерия для подготовки атаки стала на новые места и прежние данные больше не годны, так начни пристрелку одним, двумя орудиями полчаса до подготовки, а потом и жарь с найденным прицелом хоть целую неделю…

Для нас, атакующих, все это обозначало вот что:

Что теперь немцы твердо знают час атаки, конечно, на рассвете. Что все повреждения, хоть бы и самые маленькие, они за ночь починят… Что если нашим пушкарям случайно посчастливилось подбить два — три пулемета, то на их места они поставят десять…

А самое главное, что те их войска, которые как-никак сидели под обстрелом 15 часов, просто будут отведены в тыл, а на их место из резерва поставят свеженькие, которые и встретят нас подобающим образом!

К чему же тогда вся эта, с позволения сказать, «подготовка»? Лучше было бы уже совсем, без нее… Тогда у нас остался бы, по крайней мере, шанс внезапности…

А так вышла не подготовка нашей атаки, а предупреждение врагу!

В роте не знали, что думать. Меня поминутно спрашивали: — Вашесбродие, почему наша артиллерия не стреляет? — Что мне было отвечать? — Не знаю, — говорил, — может быть так нужно!

Некоторые солдаты из молодых, может быть и не соображали в чем дело, но унтера и старые боевые солдаты разумеется понимали, чем это для нас всех пахнет. Потом мне говорили, что прекратили огонь потому, что артиллеристы ночью вспышками боялись выдать свое расположение. Но этому я не верю.

Мы, все офицеры, были возмущены и разозлены до последней крайности. Я сидел в это время в роте, но потом мне уже в Петербурге рассказывали, что в землянке командира 1-го батальона собрались офицеры и раздавались голоса, что при таких распоряжениях мы отказываемся вести за собой наших людей, без тени надежды на успех и на верную гибель.

Кто-то из молодежи предложил, чтобы нас не заподозрили, что мы спасаем наши шкуры, выйти цепью, 20 человек офицеров, и пойти в атаку, но одним…

Говорили, что во время этого бурного «заседания», командир 1-го батальона Н. К. Эссен будто бы долго молчал, попыхивая сигарой, и в заключение, как всегда довольно монотонно, сказал:

— Все это ерунда! Если мы пойдем одни, по нас немцы стрелять не будут, и придем мы прямой дорогой в плен. Семеновские офицеры не могут отказываться идти в атаку. Хорошенькую страничку впишем в полковую 200-летнюю историю… Неисполнение боевого приказа… Петр в гробу перевернется… Идти нужно с солдатами и умирать нужно с ними… Как это всегда делалось. А кто это устраивает, пусть их судит Бог и военная коллегия…

В конце концов решили никаких коллективных выступлений не предпринимать, а идти, а там что Бог даст.

Через час по телефону передали, что, нисходя к просьбам атакующих, артиллерии разрешено через каждую минуту, по-орудийно, выпускать по одной шрапнели, дабы мешать немцам чинить разбитую проволоку.

Далась им эта проволока!

Как оказалось потом, немцы чинить проволоку и не думали, а просто выкатили на катушках буты новой проволоки, даже не выходя из окопов, и к утру их заграждение стояло, как новенькое.

Пишу я это все вовсе не с непременной и единственной целью критиковать наше тогдашнее высшее начальство. Бог с ним! Среди этого начальства были несомненно люди и достойные, и знающие… Наконец, вполне возможно, что у них были причины и соображения, которых мы, строевые офицеры, не знали. На войне это так часто случается… Целью этого описания является не критика, а желание рассказать будущим Семеновцам, в каких условиях и каким неравным оружием их отцам приходилось иногда сражаться…

В 12-ой роте все, кому разрешалось, в 10 часов залегли спать. На утро нужно было набраться бодрости.

Я тоже пошел в свой блиндаж, приказал дежурной «связи» разбудить меня в 3 часа, помолился Богу, лег и заснул.

В 3 часа ночи я проснулся сам и вылез из блиндажа. Было довольно прохладно. Ночь была звездная и лунная.

Наши продолжали свою стрельбу «по минутам».

С немецкой стороны слышался еле внятный шум земляных работ, и более явственно удары деревянных молотков.

Людей я не велел будить до самого последнего срока. Ничего нет хуже, как лишнее время, без дела, томиться зря.

Сам я себя чувствовал совершенно как перед серьезным экзаменом, когда предмет знаешь плохо.

В 3 1/2 часа рота была на ногах. Одеты в шинелях, но без ранцев. На головах фуражки. Металлических шлемов мы в Великую войну еще не знали.

Я тоже был в шинели. На шее бинокль, а на поясе полевая сумка и револьвер. Шашки большинство из нас носили на войне только при представлениях начальству. Очень уж они были неудобны. Ни сесть, ни лечь быстро нельзя. На ходьбе попадают между ногами. Вообще для пехоты устарелое оружие. Некоторые офицеры носили на поясах солдатские малые лопаты…

В руках у меня была палка, артистически вырезанная одним из чинов 1-го взвода и подаренная мне в обмен на сотню «Семеновских» папирос.

Без 10 минут 4 мы выстроились.

Часы накануне у всех офицеров и унтер-офицеров были выверены по минуте.

В 3 часа 55 минут обе полуроты были построены головами у ходов сообщения, которые вели во вторую параллель. Ходы очень извилистые и узкие, так что идти можно только цепочкой, в одну шеренгу; отстояли они друг от друга шагов на 50.

В голове 2-ой полуроты стал фельдфебель Ермолов, в голове 1-ой, с 4-мя людьми связи, стал я. Сразу же за мной шел мой старший связи, мл. унт. — оф. Комаров, большой молодчина, по довоенной жизни развитой петербургский рабочий и отъявленный эсэр. Впрочем, на политические темы мы с ним не разговаривали.

Стрелка на ручных часах, со светящимся циферблатом, показывает без 3-х минут 4, без 2-х минут… Время ползет необычайно медленно.

Наконец — 4. Тихо.

Еще минута и вся немецкая линия затрещала. Поехало!

В это же мгновение их артиллерия стала бешено крыть по нас шрапнелью и гранатами.

Мы все сняли фуражки, перекрестились, и быстрым шагом стали вытягиваться в ход сообщения.

По прямой линии, до 2-ой параллели, было около 100 шагов. Но по извилистым ходам (нарочно так рылись, чтобы их нельзя было продольно простреливать с фронта) было всех 300.

Только что вышли, начались потери. Перешагнули через свалившихся, и быстро пришли во 2-ую параллель. Там пусто. Значит 8-ая рота, как полагалось вышла. Не задерживаясь беглым шагом идем дальше…

На полпути из 2-ой параллели в 1-ую линию, видим что-то неладно. В узких ходах, где чтобы разойтись, один должен распластаться у стенки, чинов попадается все больше и больше… Вид обалделый. Многие уже без винтовок. Плохой знак.

— Почему здесь? Какой роты?

— Отбились… 8-ой…

Стрельба по нас еще усиливается. Два или три прямых попадания прямо в ходы… Стенки обваливаются, ходы начинают мелеть…

Еще через десятка два шагов, начинают попадаться на дне лежащие люди. Сначала в один слой, потом в два слоя. Тут и убитые, и раненые, и просто бросившиеся от страха ничком на землю… Таких, пожалуй, больше всего. Идем по живым людям, как по мостовой. Топчем их без жалости. Подымается злоба. Скоро и по телам нельзя идти.

Шагов за 30 до выхода в 1-ую линию из людей затор. Сбились в кучу, как бараны. Ход забит окончательно. Что делать? Начинаем бешено вопить:

— Вперед, сволочи! Вперед, мерзавцы! Вперед, так вашу та-так! Вперед!

Колотим задних прикладами, в шеи в спины…

Ничего не помогает. Пробка из обезумевших, потерявших

голову людей.

8-ая рота и до 1-ой линии не дошла.

На войне ей вообще не везло, а тут еще, перед самой атакой, рота оказалась без офицера. Овцы без пастыря. Повел фельдфебель и не довел.

Настал «психологический момент». Стало совершенно ясно, что ежели мы под таким дьявольским огнем, минутки две еще задержимся, то мы тут так и останемся и из окопов вообще не выйдем.

— Порыв не терпит перерыва — это нам долбили еще в военном училище.

Говорю Комарову:

— Послушай, надо вылезать и идти поверху!

— Да не иначе как так, Вашесбродие!

— Ну, Господи благослови! Подсади меня!

Вылез я наверх, пробежал немножко вперед, повернулся спиной к немцам и стал, что было сил, диким голосом вопить:

— 12-ая выходи! 12-ая ко мне!

В числе вещей, которые я привез из Петербурга, был у меня свисток-сирена, с наредкость пронзительным и противным звуком. Других таких, в полку не было. Еще на занятиях в резерве я приучил к нему роту. Один протяжный свисток — значило «внимание». Два коротких — вызов начальников. Три коротких — вся рота ко мне.

Вперемежку с криками, стал махать палкой и свистать: раз-два-три… раз-два-три…

Еще раза два крикнул, свистнул и вижу показывается голова фельдфебеля Ермолова, взводного Камкова, выскакивает один, другой, третий… Кучка здесь, кучка там… Наконец повалили… выскочила вся рота..

В написанном виде это довольно длинно. На самом деле все заняло не больше минуты. Ко мне подскочил Комаров:

— Вашесбродие, не стойте так, бегите, убьют!

Точно не все равно было стоять или бежать.

Весь воздух кругом выл и свистал. Как сейчас помню, один подлый осколок пропел около самого левого уха. Но в эту секунду мне совершенно было все равно, убьют или нет.

Никакого «упоения в бою и бездны мрачной на краю», я, разумеется не испытывал. Но то, что мои люди, как говорил державный основатель, «на тысячи смертей устремляясь», по моему голосу за мной пошли, и как пошли, и я знал уже, что и дальше пойдут, — доставило мне тогда ощущение самого острого счастья. Это была одна из счастливейших минут моей жизни.

Когда я понял, что кончено, пошли, я повернулся и рысцой

побежал к 1-ой линии.

Прежде чем прыгать с саженной высоты в окоп, я на мгновение задержался. В голове промелькнула фигура солдата, вот также соскочившего и напоровшегося на штык.

Наклонился над окопом и крикнул:

— Прими штыки!

Снизу ответили: — Прыгайте! — И четыре руки протянулись, чтобы меня схватить. Прыгнул и почувствовал, что по левой ноге, под животом, меня сильно хватили поленом. Боли никакой, только тупой удар. И я как куль упал на руки двух солдат.

— Вашебродие, что с вами?

— Кажется ранен.

Меня проволокли шага три и положили в маленький открытый блиндаж под бруствером.

В 1-ой линии, помню, было мало людей. Несколько унтер-офицеров, несколько дошедших чинов 8-ой роты…

Из офицеров Н. К. Эссен, с неизбежной сигарой… Командующий Е. В. ротой Родриг Бистром. В узком окопе места было настолько достаточно, что когда вся моя славная 12-ая спустилась вниз, особенной каши не получилось.

Всем распоряжался почему-то старший пулеметчик барон Типольт, бывший мой вольноопределяющийся, во втором воплощении помощник статс-секретаря Сената, а тогда капитан и один из доблестнейших наших офицеров.

— 12-ая, разберись по взводам!

В противоположность многим раненым, я еще продолжал испытывать сильное возбуждение и большой нервный подъем.

Представилась висевшая в корпусе картина, как Павловский полк идет в атаку и несет на ружьях раненого командира Мазовского.

Я ухватил пробегавшего Типольта за сапог и со слезами в голосе стал ему доказывать, что самое лучшее будет, если 12-ая рота понесет меня сейчас вперед на ружейных стволах, как под Прейсиш-Эйлау.

После весьма острых переживаний, было в этом, конечно, немножко и истерики.

В мирное время не очень, но в боях Саша Типольт был трезвый человек.

— Не валяй дурака! Какой тут тебе к чорту (Саша выразился сильнее) Прейсиш-Эйлау! Сколько народу из-за тебя зря перебьют…. всех, кто тебя тащить будет… Лежи тут и не разговаривай!

И опять закричал:

— Ротный командир ранен. Фельдфебель, прими роту! 12-ая

приготовиться! 12-ая вперед! Ермолов веди!

И опять наши молодцы выскочили как один.

Больше моей доблестной 12-ой мне видеть не довелось.

И таких людей посылали в такие глупые, жалкие, бессмысленные атаки!

IV. Отвоевали

Еще до выхода роты, ко мне подбежал какой-то чужой ротный фельдшер, с сумкой через плечо и стал меня перевязывать. Крови было очень много. Вся задняя пола шинели, левая штанина были хоть выжми. В левый сапог натекло по крайней мере полстакана.

Поднялось солнце и начало припекать. В шинели стало жарко. Стоя около меня на коленях, добросовестный фельдшер старался изо всех сил. Так старался, что пот с носа капал мне в рану. Но, затянув мне ногу на совесть, он свое дело сделал, кровотечение остановил.

О том, чтобы отправляться в тыл, на перевязочный пункт, нечего было и думать. Артиллерийская стрельба была такая, что без особой нужды умнее было лежать на месте.

В своей норке я пролежал часов 6, в состоянии полусознательном. Иногда засыпал по-настоящему.

Часов около 11 стрельба настолько стихла, что можно было уже трогаться. Дали мне трех носильщиков. Но из носилок ничего не вышло. Ходы были настолько узки и извилисты, что нести было невозможно. Долго мы бились и наконец придумали такой способ: впереди пошел один, за ним, охватив его руками за шею, на одной ноге запрыгал я, сзади меня пошел второй и обеими руками держал меня за кушак, когда нужно приподымая на воздух. С носилочными палками на плече замыкал шествие третий.

Когда приходилось преодолевать небольшие препятствия, тела убитых или пустые патронные ящики, я брал онемевшую ногу двумя руками и переставлял ее. Затем ковылял дальше.

Расстояние километра в 3 до полкового перевязочного пункта мы брели таким образом часов 6. Поползем немножко, посидим, затем ползем дальше.

Часа в 2 дня неожиданно поднялась опять немецкая стрельба, и серьезная. Меня опять сложили в пустой блиндажик, а носильщики стали выглядывать. Вдруг один говорит:

— Вашесбродие! Преображенцы идут. Это по им жарят. А идут здорово!

— Ну-ка, подымите меня!

Меня подняли и я увидел на редкость красивую картину.

В батальонной колонне с разомкнутыми рядами, в ногу, с офицерами на местах, поверху, прыгая через окопы, и опять попадая в ногу, шел 2-ой батальон Преображенского полка. Шел как на ученьи. Люди валились десятками, остальные смыкались и держали равнение и ногу. Правда, для ружейного и пулеметного

огня было еще слишком далеко, но и под серьезной артиллерийской пальбой только исключительно хорошая воинская часть была способна так идти.

Впереди батальона на уставной дистанции, шел небольшого роста крепкий полковник, с темной бородкой, Кутепов. За ним шел адъютант, мой петербургский знакомый Володя Дейтрих. Шли прямо на нас. От времени до времени Кутепов на ходу поворачивался и подсчитывал: «левой, левой!»

Похоже было не на поле сражения, а на учебное поле в лагерях под Красным Селом. Зрелище было импозантное.

Увидев чинов в неположенном месте, Кутеповское сердце не вынесло беспорядка. Он нагнулся над окопом и грозно спросил моих носильщиков:

— Вы кто такие и что вы здесь делаете?

Те вытянулись и отрапортовали:

— Носильщики Семеновского полка. Несем раненого капитана Макарова!

Тут он меня увидел, полуотвернувшись сунул руку и отрывисто бросил:

— Ах, это вы! Ну, поправляйтесь!

Выскочил наверх, находу поймал ногу и опять стал подсчитывать:

— Левой, левой!

Через наши головы запрыгали молодцы преображенцы.

На то, что Кутепов, хотя мы и довольно хорошо знали друг друга, был со мной так мало любезен, я не обижался. Вид у меня был жалкий. Физиономия бледная, измазанная землей, весь в крови… У всех есть нервы. Идя в бой нельзя оплакивать убитых и сюсюкать над ранеными. Сам заряд потеряешь. Раненые в бою отыгранная карта. Чем меньше на них смотреть, тем лучше. Может быть, это жестоко, но это правило. Доведись нам поменяться ролями, я бы сделал совершенно то же самое.

В блиндаже мы сидели около часа. Наконец стрельба опять стала стихать и мы тем же порядком двинулись дальше.

Часам к пяти ходы сообщения, наконец, кончились. Я взобрался на носилки и первый раз за много часов почувствовал себя удобно. Продвижение вперед тоже пошло много быстрее.

Уже в виду перевязочного пункта на нас четверых «напал» немецкий аэроплан. Говорю «на нас», потому что кругом, насколько можно было видеть, решительно никаких других «военных» целей не было. Голое поле. Вдалеке была видна большая палатка перевязочного пункта с громадным флагом Красного Креста. Ее, нужно отдать ему справедливость, летчик не трогал. Но нас форменным образом атаковал. Летя довольно

медленно и на высоте 10-этажного дома, так что в машине можно было свободно различить две фигуры, он пролетал над нами несколько раз… Пролетит и опять вернется, все время самым неприятным образом поливая нас из пулемета. В это время немцы пускали еще с аэропланов свинцовые стрелы, стрелы дюйма в 4, а на другом конце приспособление вроде пропеллера. Эти стрелы давали ужасные раны. Такие стрелы я несколько раз держал в руках. Дьявольское оружие…

Носильщики мои засуетились. Я им велел опустить меня на землю и ложиться самим. Аэроплан еще немножко за нами поохотился, наконец улетел. Скоро мы подошли к перевязочному пункту.

Около палатки на носилках лежало человек 20 раненых. Поодаль, накрытые шинелями, на земле несколько мертвых.

Внутри палатки, засучив рукава, в белых измазанных кровью халатах, спокойно, но необычайно быстро и ловко, работали четверо наших докторов.

Меня внесли внутрь. Первым подошел ко мне о. Александр Архангельский, в эпитрахили и с крестом. Благословил и дал поцеловать крест. В это время освободился мой приятель д-р Георгиевский. Полил руки спиртом и подошел ко мне.

— Ну, покажи, что у тебя?

С меня стащили все, что полагалось и Георгиевский стал щупать, давить и ковырять.

— Ну, кость не задета… Пальцами можешь шевелить? — оказалось что могу — попало удачно… На дюйм выше, было бы скверно. Рана пулевая… входное отверстие уже затянулось, а выходное — довольно глубокая ямка, шириной в пятак… Температура небольшая, 38,2. Плохо, что ты так, долго на земле лежал, но что много крови вышло, это очень хорошо… Она все промыла. Переверните его!

Санитары меня ловко перевернули.

— Ну, теперь держись!

Георгиевский наклонился и из пробирки стал наливать мне иод в рану, как в рюмку. Ощущение было щекочущего ожога, так что захотелось и плакать, и смеяться. После этого, для бодрости, он дал мне стакан разбавленного спирта. Хватив его одним духом, да на пустой, желудок, палатка с докторами и фельдшерами, и еще с чем-то странным, черным, чего я сразу не заметил — заходила у меня ходуном.

Через несколько минут, всмотревшись, я почти убедился, что черная фигура не призрак, а пожилая очень строгого и важного вида женщина, с золотым крестом на груди, вся в черном и в огромной черной косынке. В дальнем углу палатки огромными

ножницами, она методически резала огромные куски марли.

Я поймал за халат проходившего мимо доктора Васильева, притянул его ближе и шепотом спросил:

— Мне мерещится, или это действительно так? Что это за ангел смерти и что он у вас здесь делает?

Васильев наклонился вплотную к уху и зашептал:

— Это настоятельница Кауфманской Общины сестер милосердия, знаменитая баронесса Икскуль. Приехала получать очередную Георгиевскую медаль. Работает на передовом пункте под действительным артиллерийским огнем.

— Да ведь огня нет, ни действительного, ни недействительного!

— Огонь мог быть. Напишем, что был.

— Ну, а вам, докторам, что же нужно тогда дать, офицерские Георгиевские кресты на шею?

— Мы другое дело… мы люди маленькие…

Теперь я понял, почему баронессу так панически боялись все петербургские девицы, превратившиеся на время войны в кауфманских сестер. Если мне, ротному командиру, было жутко на нее смотреть, то что же им бедненьким…

В отверстии палатки показалась широкая улыбающаяся физиономия Смурова. Я поманил его пальцем. Он подошел и зашептал:

— Вашесбродие, поздравляю. Вот и вышло, как я вам пожелал… Я уже и вещи все наши собрал. Тут недалеко в палатке Вам все устроено…

Удивительных способностей человек был Л. Н. Смуров. Оказывается он уже утром узнал, что я ранен, и как ранен и все приготовил.

Говорю ему:

— Радоваться, мой друг, еще преждевременно. Вот 11-ой роты подпоручик Ватаци также в ногу ранен был. Все было благополучно. Привезли в Петербург, а на 15-ый день помер!

— Ничего, Вашебродие! Бог милостив!

Скоро меня перенесли в отдельную палатку, поблизости, где я под морфием, заснул сладко и крепко.

На следующее утро, по поручению командира полка, ко мне пришел кто-то из офицеров полкового штаба, пожелать мне выздоровления и рассказал подробности вчерашней атаки.

Об офицерских потерях мне уже накануне сообщил Смуров. Эти вести обыкновенно распространяются по полку с быстротою телеграфа.

Оказалось, что 2-ая рота, с двумя офицерами, вышла из окопов в положенный срок. Быстро дошли до гребня, где четыре

дня назад залегли Преображенцы, и тут начались страшные потери. Тут был убит младший офицер Николай Шишков. Рота несколько раз поднималась, но идти дальше была не в состоянии. Огонь был слишком силен. Каждый, кто подымался, тут же сейчас и валился. При одной из таких попыток встать, шрапнельной пулей в голову был ранен ротный командир Николай Баженов. После того, как он упал замертво, рота еще раз попыталась подняться, но опять безуспешно. Постепенно все, кто остался жив, отползли назад. Потери были очень велики, до 40 человек с обоими офицерами.

В это время левее нас, обнаружился успех у Измайловцев, окопы которых были гораздо ближе к немцам, чем наши.

В их расположении был лесок, в форме сапога, и из этого леска они лихим штыковым ударом на коротке выбили немцев из передовой линии. Когда наша 12-ая вышла из окопов, то молодец фельдфебель Ермолов сообразил, что идти прямо туда, где погибала 2-ая рота, нет смысла, и пользуясь маленьким мертвым пространством, которое мы накануне днем изучили, что было сил помчался с ротой на Измайловский участок, где, по характеру криков и стрельбы, он понял, что происходит что-то для нас хорошее.

Измайловцы, с нашей 12-ой ротой, под страшным огнем, сидели на завоеванном участке довольно долго. Около 2-х часов дня, им на помощь, был послан батальон Преображенцев с Кутеповым. Как они шли, я описывал.

За абсолютную точность этой картины я не поручусь.

Во всяком случае это то, что сохранила мне память из рассказов офицеров нашего штаба.

В 12-ой роте потери были тяжелые. Человек до 50, из них около 15-ти за те две минуты, пока мы перебегали из 2-ой линии в 1-ую.

Фельдфебель Ермолов, за свои лихие действия, был представлен к кресту сразу 2-х степеней и к производству в подпрапорщики. На роту дали 10 крестов. Довел бы роту я, золотую саблю, пожалуй, и мне дали бы.

После ухода офицера штаба меня стали приготовлять к отъезду. Проститься ни с кем нельзя было. Весь полк был на позиции. Ожидалась немецкая контр-атака, и все были в полной боевой готовности.

Меня начисто перевязали и надели мне на шею на шнурке «паспорт», т. е. свидетельство о ранении. На продолговатом кусочке картона, против печатных обозначений, чернильным карандашом были поставлены: полк, рота, звание, имя, фамилия и краткое описание ранения. Внизу подпись врача и полковая

печать.

С получением этого «паспорта», из-под власти строевого начальства я уходил и поступал в полное распоряжение властей санитарных.

Привели мне и «перевозочные средства». Это были те средства, которыми перевозились раненые еще в Севастопольскую кампанию, и много раньше, обыкновенная крестьянская телега с Волынским крестьянином за шофера.

И нужно сказать, что если раненые не навалены туда кучей, а размещены, скажем, по 2 на телегу, то при хорошей погоде и при достаточном количестве подстилки, сена или соломы, и при условии не торопиться, путешествовать так, отнюдь не плохо. Много удобнее, чем во всяких санитарных фурах и автомобилях, где тебя швыряет из стороны в сторону, как утлый челн в мертвую зыбь. Главное, видишь куда едешь и как едешь, не говоря уже о воздухе.

В моей телеге я был один, а сена и соломы Смуров напихал туда в изобилии. Торопиться было некуда. До вечера мы должны были доплестись до Луцка, где мне надлежало самого себя сдать в госпиталь. Итак, путешествие было вовсе не неприятно. Рана почти не болела, возница, старался не тряхнуть, а с шагавшим рядом Смуровым, я знал, что ничего неприятного со мной случиться не может. Я спал, разговаривал, курил, опять засыпал, короче, чувствовал себя совсем недурно.

Через несколько часов видим у дороги большое каменное здание, на нем флаг Красного Креста. У ворот стоит солдат нашего полка. Смуров, который имел специальность быть знакомым со всеми денщиками всего полка, говорит:

— Вашесбродие, это денщик капитана Баженова. Капитан наверно тут лежит.

— Стой! Зови его сюда.

Оказалось, что Баженов действительно там лежал, что сегодня утром ему сделали операцию, вставили в череп серебряную пластинку и что ему лучше.

Наказав ему кланяться, потащились дальше. Около 3-х часов дня мой шофер вытащил из-под меня здоровую охапку сена — все же осталось еще достаточно — и остановился «кормить». «Поили» мы перед этим уже раза два.

Опять поехали.

Через несколько времени Смуров мне говорит:

— Вашебродие, до Луцка еще часа два ехать, а вы устали. Я узнал, тут сразу за поворотом английский госпиталь стоит. Очень у них, говорят, хорошо. Давайте у них переночуем, а утром в Луцк!

— Богатая мысль! Поворачивай к англичанам…

Приехали к англичанам.

Полевой госпиталь человек на 60. Несколько прекрасных палаток. Все в госпитале, от флага и до самого последнего помойного ведра, самое прочное, добротное и дорогое. Все самого лучшего качества… Настоящее «аглицкое».

Госпиталь совершенно пустой. Весь персонал и ни одного пациента.

Встретили нас как родных. А когда узнали, что я умею по ихнему объясняться, еще больше обрадовались. Отвели мне одному целую палатку. В соседней, тоже пустой, поместили Смурова.

Дали нам с дороги умыться, а затем выкатили головокружительный чай. Чай, как у них полагается, совершенно черный. Пьется всегда с молоком. А к нему дали какой-то миндальный торт, особенные, булочки, сандвичи, апельсиновую пастилу в жестянке, какие-то печенья, одним словом, гибель всяких вкусных вещей.

Такой же «чай» в соседней палатке был сервирован и Смурову. Он его потом долго вспоминал.

После чая взяли меня на перевязку.

Перевязочная палатка по оборудованию и по обилию всяких блестящих инструментов, тоже самых доброкачественных, дорогих и прочных, — производила самое отличное впечатление.

Но зато сама перевязка мне уже гораздо меньше понравилась. Высокий краснорожий доктор, сняв наружные бинты, присохшую марлю с раны просто сорвал, что было, во-первых, неожиданно, а, во-вторых, здорово больно.

Мне потом объяснили, что это новый европейский способ, так сказать последнее слово перевязочной науки.

Но Бог с ним, с этим новым способом. Старый русский, когда присохшую марлю отмачивали спиртом и потихоньку, осторожно снимали, был много приятнее…

Нужно сказать, что и руки у англичанина были грубоваты, и приемы в достаточной мере лошадиные…

Вообще за мою жизнь, побывав в руках у французских, немецких и английских докторов, я пришел к убеждению, что в смысле ловкости, нежности, мягкости и безболезненности обращения с больными, лучше наших русских врачей на свете нет.

Часов в 8 вечера дали нам обед, тоже обильный, но гораздо хуже, чем чай. Особенно плох был суп. Супы англичане готовить вообще не умеют.

Спал я на славу. На какой-то особенной пружинно-походной

постели. Таких я никогда потом не видал.

На следующее утро угостили нас со Смуровым утренним чаем.

Дали опять черный чай с консервированным молоком, масло, холодное мясо, яйца, ветчину, рыбу и апельсиновый мармелад. Два последних кушанья, конечно, из жестянок.

Часов в 10 утра в дверях моей палатки появилось странное существо. Не то мужчина, не то женщина. Сухая, лет 50 длиннозубая дама, одета во френч, желтые галифэ и высокие желтые сапоги со шнуровкой. По справкам оказалась лэди Мьюриель Педжит, которая на свои средства привезла из Лондона 20 фордов, в целях помочь восьмимиллионной русской армии справиться с немцами.

Кроме настоящих шоферов и механиков, обслуживали ее отряд человек 40 ловких, элегантных людей, более чем призывного возраста. Самый старый не выше 26 лет. Все из богатеньких петербургских семейств. Прямая дорога им была бы на ускоренный курс военного училища, а там в прапорщики, в пехоту… Тем более, что образование у большинства было не ниже университетского. Среди них я узнал двух моих коллег по Министерству Иностранных Дел. Но кататься на автомобилях в тылу было, конечно, много интереснее и много вольготнее.

Не успел я переварить мой утренний чай, как два элегантных санитара погрузили меня на носилки и впихнули в форд. Чтобы было не скучно, со мной села сама лэди Мьюриель, а на козлы посадили Смурова.

Во время дороги качало, трясло и швыряло невероятно и я не раз с сожалением вспоминал моего вчерашнего севастопольского возницу. Через полчаса мы были в Луцке и подкатили прямо к военному госпиталю.

Для нас это было маленькое разочарование. Мы, т. е. главным образом, Смуров, целились на Краснокрестный госпиталь. Они были в 10 раз лучше военных. Оно и понятно. Военно-санитарное ведомство могло тратить на человека в день, кажется, что-то около 75 копеек. А Красный Крест из своих миллионных средств, широкой рукой сыпал рубли. Ясно, что и офицеры и солдаты ловчились попасть именно туда, а не в военные госпиталя.

Но объяснить все это иностранке было, не очень удобно, и я сделал вид, что она привезла меня именно туда, куда я хотел.

Госпиталь в Луцке, как, большинство госпиталей на войне, был приспособлен из какого-то учебного заведения. Было бедновато, но чисто и чувствовался порядок.

Больных и раненых было много. Меня вымыли — большое наслаждение! — и отнесли на перевязку. Марлю не отдирали.

Очевидно, на мое счастье, последнее слово перевязочной науки до Луцка еще не докатилось. Положили в маленькую офицерскую палату. Там лежало уже человек 5 раненых. Все более или менее тяжело. Никого из них я не знал.

Рядом со мной лежал молодой офицер Гренадерского полка, раненый во время немецкого обстрела 6-го числа. Вливали ему соляной раствор и был он большей частью без сознания.

Вечером я поймал сестру милосердия и стал у нее выпытывать, сколько времени, по ее мнению, мне предстоит еще у них лежать. Она мне ответила, весьма резонно, что хотя рана моя не тяжелая, но как всегда есть опасность заражения… Если температура три дня не вскочит, то значит все благополучно и можно будет двигаться дальше.

На следующее утро перед обедом, в палату вбежала та же сестра и стала стремительно оправлять всем одеяла и взбивать подушки. На мой вопросительный взгляд быстро сказала:

— Приехал Командующий Армией Каледин. Сейчас сюда придет!

Минут через 20, со старшим врачом и с адъютантом вошел среднего роста еще молодой генерал, с подстриженными усами и загорелым лицом. Вид энергичный и решительный.

Не останавливаясь у гренадера, который разговаривать был не в силах, Каледин подошел прямо ко мне:

— Вы какого полка?

— Семеновского, Ваше Превосходительство.

— Ранены 7-го числа?

— Так точно.

— Очень хорошо действовали ваши роты. Особенно 12-ая…

— Я как раз имел честь ею командовать, но был ранен еще до выхода из 1-ой линии.

— Прекрасно действовали!

Захотелось мне ему сказать про знаменитую артиллерийскую подготовку. Но подумал: он это и без меня знает… Да и что я, штабс-капитан, буду вступать в госпитале в пререкания с командующим армией… Не время и не место. Сказал только:

— Но ведь успеха не было, Ваше Превосходительство!

— Следующий раз будет успех. Желаю вам поправляться! — И сильно сжал руку.

«Следующий раз!»…

Веселый разговор! Еще два таких «следующих раза», пожалуй, не с кем будет и атаковать.

Собирался ли Каледин пытаться третий раз атаковать с негодными средствами и ему не позволили, или он сам увидел, что ничего путного из этого выйти не может, но факт тот, что

больше атак не было. Наша попытка 7-го сентября в этот раз была последняя.

Пролежав 3 дня в Луцке, наконец, к великой моей радости, я был, с очередной партией погружен в автомобиль, и на этот раз уже простые санитары привезли меня на вокзал и погрузили в санитарный поезд.

Тащились мы до Киева три дня. Было это и тяжело, и утомительно, а главное очень скучно. Денщиков в санитарный поезд по правилам не брали. Но за Смурова я был спокоен. И, действительно, когда нас утром сгрузили и на носилках поставили в ряд на платформе Киевского вокзала, первый, кого я увидел, был мой верный телохранитель.

Я с тоскою думал, что до Петербурга плестись придется по крайней мере дней 8.

Лежу на носилках в довольно мрачном настроении, а Смуров меня утешает.

И вдруг вижу: с деловитым видом проходит мимо меня артиллерийский полковник, с георгиевской ленточкой. На рукаве повязка управления передвижения войск.

— Смурыч, гони за этим полковником и попроси его ко мне!

Смуров полетел. Через минуту приводит удивленного полковника. Сомнений быть не могло. Полковник был мой кровный двоюродный брат Николай Ушаков, георгиевский кавалер еще за японскую войну, а в эту, после ранения в живот, окончательно выписанный из строя.

— Здравствуй, Николай! Позволь тебя спросить, какую ты здесь должность занимаешь?

Мы расцеловались.

Оказалось, что занимал он должность крупную — коменданта станции Киев. Тогда я стал к нему приставать, чтобы он избавил меня от санитарного поезда и помог бы мне устроиться так, чтобы меня пустили в Петербург одиночным порядком.

План мой был такой.

В ближайшем скором поезде Смуров берет 2-местное спальное отделение 1-го класса, чтобы уже никто другой сесть туда не мог. Я занимаю нижний диван, Смуров верхний. В Киеве меня в поезд всунут, а в Петербурге вынут. Если понадобится, по дороге кто-нибудь перевяжет. Докторов и туда и назад едет сколько угодно. Но так я, но крайней мере, буду в Петербурге через утро, а не на 9-ые сутки…

Николаю мой план понравился, но, во-первых, по его словам, сам он ничего сделать не мог, т. к. распоряжался здоровыми воинскими чинами, а для больных существовало свое санитарное начальство. Главным же образом он напирал на то, что все это

совершенно противозаконно и потому неосуществимо.

Включенный в санитарные списки воинский чин неукоснительно должен быть кому-нибудь «сдан». Должна быть налицо «расписка в получении». Тогда из списков его можно «выписать»… А так, чтобы с Киевского вокзала раненый чин бесследно исчез, растворился в эфире, это будет что-то вроде похищения или побега, что по характеру моего ранения было бы уже совсем неправдоподобно.

Долго думали, как это оформить. Наконец придумали.

Старшему врачу Александровской Общины (Петербург, Верейская 3), где я уже раз лежал, и где меня хорошо знали, посылается срочная телеграмма, чтобы он приготовил мне койку и выслал к Киевскому поезду на вокзал меня встречать санитарную повозку и санитаров. На эту телеграмму он должен был срочно же ответить, что все будет выполнено. Вот эта-та его телеграмма, о принятии меня в Петербурге, и будет приложена к делу в качестве расписки в моем получении.

Николай отправился хлопотать и, конечно, выхлопотал. Коменданту станции Киев, на той же станции Киев, все-таки трудно отказать.

Перед окончательным разрешением меня взяли в перевязочную, померили температуру, оказалось 36.7, заново перебинтовали и, наконец, сказали:

— Ну, Бог с вами, поезжайте!

В 5 часов пришла телеграмма из Александровской общины, что все будет сделано, а в 9 часов вечера, четверо санитаров со Смуровым впихивали меня в широкое окно вагона и укладывали на бархатном диване на разостланную клеенку. Из раны все еще сочилась какая-то гадость, а портить казенную обивку не следовало.

Вагон был совершенно пуст. Только у соседнего окна стоял единственный кроме нас пассажир, небольшого роста, с розовыми щеками и седой бородкой, симпатичного вида господин лет за 60 и с любопытством на нас смотрел.

Смуров получил последние инструкции, пакет с перевязочным материалом, какие-то бутылки… Комендант станции Киев с нами распрощался и поезд тронулся.

В спальном вагоне 1-го класса Смуров ехал в первый раз в жизни, но чувствовал себя так, как будто бы никогда иначе не ездил. Отправился в вагон-ресторан устраивать мое питание, а кстати организовать и свое собственное. Затем потребовал у проводника подушку и одеяло и полез наверх, предварительно попоив меня чаем.

На следующий день часов в 10 утра, около моей открытой

двери остановился наш единственный попутчик, вчерашний господин с седой бородкой. Долго на меня смотрел и говорит.

— Вы ранены?

— Ранен, — отвечаю.

— Как же вас выпустили из санитарного поезда? Может быть осложнение…

— Да у меня уже пятый день нормальная температура.

— Все-таки это неосторожно. Я потом вас посмотрю. Я врач, вы мое имя может быть слыхали… профессор Рейн, а теперь министр здравоохранения…

— Конечно, слышал, профессор, и очень вам благодарен за внимание.

А сам думаю, час от часу не легче… Этого еще не доставало! Министр здравоохранения… знает, как я из санитарного поезда удрал… видел, как меня в окошко впихивали… Хотя военно-санитарная часть ему не подчинена, она в ведении добрейшего, но грозного принца Ольденбургского, но стоит ему кому не нужно два слова сказать, большие неприятности могут выйти и вокзальному санитарному начальству, а косвенно и коменданту станции Киев…

Но что-то в симпатичном и ласковом лице министра говорило, что он никому гадостей делать не собирается.

— У вас перевязочный материал с собой есть?

— Как же — говорю, — все есть, и марля, и вата, и спирт, и бинты. Всего этого мне дали на вокзале в Киеве. Вот сейчас вернется я мой денщик и все достанет…

— Он у вас шустрый парень, я уже заметил. А почему вы улыбаетесь?

— Да так, любопытно будет вспомнить под старость, что в этот раз на войне первую перевязку мне сделал ротный фельдшер, а последнюю Всероссийский министр здравоохранения.

Но шутка моя успеха не имела, прошла незамеченной.

— Смейтесь, смейтесь, голубчик… А я уже солдат и офицеров перевязывал, когда вы еще не родились… Из Медицинской Академии нас выпустили в 77-м году, прямо на войну в Румынию. Мне тогда 24 года было. Вот вы санитарного поезда испугались, а там и уход, и чистота, и накормят, и напиться подадут… А вот как ваши папаши воевали… Железных дорог нет, есть нечего, грязь, холод, болезни… Вы знаете, как раненых тогда возили? В болгарскую каруцу на волах накладут 5–6 человек и тащатся 4 дня, в дождь, в холод, в солдатских шинельках, едят сухари, а воду пьют из лужи… Им бы санитарный поезд, ох как понравился! А госпиталя тогдашние… Мокро, холодно, грязно… Лежат все

вповалку, на соломе: тут и легкие, и тяжелые, и офицеры, и солдаты… Такие дикие места были, что не только самого необходимого не достанешь, подвезти ничего нельзя… Дороги непролазные… Вот вы ранены не тяжело, а в Турецкую войну я за вашу рану бы не поручился. Сколько таких было… Кажется легко, а глядишь инфекция и гангрена… Вы вот в эту войну об эпидемиях не слыхали… А тогда от болезней, от дизентерии, да от тифа, в двадцать раз больше народу погибло, чем от ружей и пушек. Вы знаете, сколько одних врачей тогда от тифа на тот свет отправилось? До полутораста человек… И я схватил, да молод был, вывернулся… А теперь и санитарное ведомство, и Красный крест, и питательные пункты и летучие отряды… Чего, чего только нет… И все еще недовольны!

— Да, уверяю вас, профессор, что если есть недовольные, так это только те, которые всегда и всем недовольны… Я форму ношу с начала войны, 3-ий раз эвакуируюсь, и ни одной серьезной жалобы на санитарную нашу часть никогда не слыхал… А что я от поезда отвертелся так это понятно. Когда под боком есть лучшее, так хочется лучшего…

— Да я вас и не виню, а все-таки…

Старик любил поговорить, а других попутчиков не было.

Явился Смуров.

Министр снял пиджак, вымыл руки, Смуров полил их спиртом, и приступили к делу. Перевязывал он артистически, так, что лучше невозможно.

Смуров ассистировал и удостоился похвалы.

Потом мне принесли завтрак.

Среди дня профессор заходил ко мне несколько раз. Говорил долго и чрезвычайно интересно. И видел он на своем веку много и знал много.

Но как я ни старался завести его на жгучие, актуальные темы, смены министров, Распутин и т. п., старая лисица неизменно сворачивала на Турецкую войну.

На следующий день в 2 часа дня мы были в Петербурге на Варшавском вокзале.

Рейну подали простую карету, а мне санитарную.

Пролежав дней 15 в Александровской общине, я, наконец, получил костыли.

А еще через несколько дней, когда рана окончательно затянулась, жена со Смуровым перевезла меня домой.

Командиры Соваж, Тилло и Попов

Ген. Эттер ушел от нас в конце июля 15-го года. Он оставил полк на отходе, когда все более и более долгими ночными маршами мы старались оторваться от наседавших на нас немцев.

За время беспрерывных отходов с боями, при полном безмолвии нашей артиллерии, полк сильно растрепался. Во многих ротах оставалось по 30, по 40 человек. Ротами командовали прапорщики и фельдфебеля. Часто не успевали подбирать раненых. Таким образом совершенно исчезли два отличных офицера: Николай Карцев и Михаил Тумской. Так как в плену их потом не оказалось, нужно думать, что тяжелыми снарядами они были разорваны и превращены в неузнаваемые клочья. Для полка эти два месяца, июль, август 1915-го года, были самые тяжелые и самые кровавые за всю войну. И все-таки полк ни разу не бежал, в плен попадали только тяжело раненые, которых не было возможности вынести, отходили неизменно в порядке и воинского вида не теряли ни при каких обстоятельствах и ни при какой обстановке.

Не могу сказать какого июля, но дня через два после отъезда Эттера, из штаба дивизии прислали командовать нашими жалкими, но все еще бодрыми остатками, полковника соседнего Измайловского полка, Георгия Ивановича Лескинена.

Лескинен, уже не молодой полковник, начало войны провел в Петербурге, сначала формируя, а потом командуя Измайловским запасным батальоном. К этому времени он в своем полку батальоном уже не командовал, а занимал должность старшего штаб-офицера и был первым кандидатом на получение армейского полка.

После в конец растерявшегося Эттера, получить командиром Г. И. было большое облегчение. Этот потомок «финского рыболова» имел железные нервы, обладал невозмутимостью и хладнокровием и достаточно ясной головой. «Угрюмым» и «печальным пасынком природы» его тоже никак нельзя было назвать. Он был отлично, по старо-гвардейски воспитанный, крепкий пятидесятилетний мужчина, прекрасный собеседник и не дурак выпить. К сожалению и мы, и сам Лескинен, знали, что он «калиф на час» и что командиром его все равно не утвердят. Он не командовал еще и армейским полком. Поэтому ничего нового он не вводил, а ограничивался дачей самых спешных и необходимых распоряжений. В боях с полком, где он держал себя отлично, он провел от 17-го августа до 27-го сентября. В начале октября гвардию отвели в тыл и взяли в резерв Верховного

Главнокомандующего. Линия фронта стабилизировалась почти на год, т. е. до Брусиловского прорыва. В 1-ую германскую войну еще придерживались древних порядков, летом воевать, а зимой зимовать. В начале октября Лескинена проводили очень тепло и выбрали его «пожизненным членом собрания». Для чужого офицера это была самая большая честь, которую ему можно было оказать.

После Г. И. Лескинена в командование нашим полком вступил генерал-майор Сергей Иванович Соваж.

Карьера его была такая: в девяностых годах он кончил Александровский (Пушкинский) лицей, выдержал офицерский экзамен и поступил корнетом в «Кирасиры Ее Величества» (синие). Потом Академия Генерального штаба и Японская война. Затем какая-то штабная должность при штабе войск Петербургского Военного Округа. Помню в этом качестве, в форме подполковника Генерального штаба, он приезжал раз в наше собранье, сопровождая какую-то депутацию иностранных офицеров, кажется французов. Соваж прекрасно знал три иностранных языка и им постоянно пользовались для такого рода поручений. Стоя около нашего высокого закусочного стола и наливая водку французским капитанам, мог ли он думать, что в следующий раз в это собранье он войдет нашим командиром, но войдет лишь один раз.

Что делал С. И. на германской войне, мне в точности неизвестно. Знаю только, что с самого начала войны он пошел в строй, работал летчиком-наблюдателем, а затем с большим блеском командовал одним из знаменитых армейских полков, не то Апшеронским, не то Лейб-Бородинским. Свои связи с кавалерией он порвал еще в Академии, решив идти по пехоте.

В сентябре 15-го года, состоя по здоровью в 3-ей категории «непригодных к строевой службе», я принял в заведывание «команду эвакуированных» нашего Семеновского Запасного Батальона. Как я уже писал в другом месте, все это были наши солдаты, которые после разных лазаретов и госпиталей снова принимали «вид воинский», на предмет возвращения в действующий полк. Было их в команде много, до тысячи человек, причем все они были разбиты на роты, 1-ая, 2-ая, 3-ая и 4-ая, по степени выздоровления и готовности к отправке на фронт. Первая рота, например, состояла сплошь из уже совершенно здоровых людей, отправить которых можно было в любую минуту.

Так как в наших полковых казармах к 15-му году места для запасных уже не было, моя команда эвакуированных помещалась в здании пустой фабрики, через несколько улиц от расположения полка. Здание было переделано под казарму довольно удачно, но

теснота была страшная. Нары были построены в 3 этажа. Верхние жильцы спать взбирались по лесенкам. Все мои офицеры в команде, числом 5, были также эвакуированные и все с боевыми орденами. Для отъезда их на фронт также существовала очередь.

В середине октября, наш добрейший и тишайший, но совершенно не строевой и не боевой, командир батальона Н-ов, который в довершение своих военных недостатков еще панически боялся начальства, созывает нас, четырех ротных командиров и 5-го начальника команды и с взволнованным видом сообщает нам, что «к нам едет ревизор». Новый командир полка генерал Соваж, который вчера приехал с фронта на три дня повидаться с женой и с утра произведет смотр Запасному Батальону.

— Не беспокойтесь, Павел Иваныч, — говорим ему — все будет хорошо… Люди у нас здоровые… едят так, как не ели и в мирное время… одеты тоже прилично, а если в казармах, которые расчитаны на две тысячи, помещается восемь, то тут идеального порядка и чистоты все равно добиться нельзя. Соваж умный человек и сам это увидит…

Успокоив «Павлю», мы все разошлись по своим помещениям готовиться к завтрашнему смотру.

В 10 часов утра вся моя Команда была построена в этажах. Я и все мои офицеры стояли на правом фланге 1-ой роты, в нижнем этаже. Состав у нас тогда был еще очень хороший. Люди отдохнувшие, отъевшееся и от войны еще не усталые. Вся первая шеренга или Георгиевские кавалеры, или медалисты. У многих кресты двух степеней. Очень много нашивочных. Представлять такую команду новому командиру было одно удовольствие.

Не в пример старым порядкам, когда высокого начальства зачастую приходилось ждать по часу и больше, ровно в 10 часов и 10 минут дневальный у входной двери подал условный знак. Затем слышим громкое и веселое: «Здравия желаю, Ваше Притство!» Отворяется дверь и на фоне почтительно дающих дорогу рыхлого Н — ва и адьютанта с университетским значком, показыватеся новый командир. Совершенно так же, как генерал, представлявший свой полк Кутузову в Браунау, «голосом радостным для себя, строгим по отношению к подчиненные и приветливым в отношении к подходящему начальнику», кричу: «Команда сми-рно, равнение направо, г-да офицеры!»

Пока ем генерала глазами, успеваю осмотреть его с головы до ног. Молодой человек лет сорока. Роста определенно маленького. Плотный блондин с голубыми глазами и с небольшими растрепанными усами. На боку георгиевское «золотое оружие», а на груди колодка орденов, внушающая уважение: белый Георгий, малиновый «Владимир с мечами», и там дальше все, что

полагается, Анна, Станислав и две, три медали, одна из них за Японскую войну. На шее белый крест, похожий на нашего Георгия, но другой формы. При ближайшем рассмотрении оказалось: английский крест Михаила и Георгия, тоже за военные заслуги.

Поздоровавшись за руку с офицерами, Соваж вышел на середину и металлическим баритоном бодро крикнул:

— Здравствуйте молодцы, запасные Семеновцы!

— Здравия желаем, Ваше Приитство!

Духовный контакт между людьми, даже почти без слов, может установиться мгновенно. Достаточно было Соважу поздороваться и произнести несколько слов, как у нас, да думаю и у всех чинов, открылся какой-то невидимый, тайный приемник. Все сразу так и почувствовали, вот это командир, это начальник, вот с этим не пропадешь, вот это то, что нам нужно.

Соваж скомандовал:

— Стоять вольно — и стал обходить.

То, что на правом фланге на старых гвардейцев ему приходилось задирать голову, его нисколько не смущало. Думаю, смутить его вообще было дело трудное. Хоть и без малейшего оттенка наглости, он был мужчина самоуверенный.

Во время обхода, который он производил медленно, со всеми георгиевскими кавалерами и с нашивочными он успел сказать несколько слов. И сразу было видно, что это он не номер отбывает, а искренно хочет установить связь с людьми, которых скоро ему придется вести в бои. И что еще больше, что ему такие разговоры не в тягость, а в удовольствие. И тут я полюбовался, как некоторые люди умели разговаривать с подчиненными. Никакого напускного фамильярничанья и никаких Суворовских «кукуреку». Многие играли и под Суворова, но мало у кого это хорошо выходило. А тут, подойдет и спросит, а тот, кого спрашивают, безукоризненно стоя на вытяжку, с блестящими глазами, начинает рассказывать и не может остановиться. Разговоры шли главным образом о перенесенных боях. О всех боях, где полк участвовал, Соваж уже знал в подробностях. Обход и разговоры продолжались около часу.

После обхода всем офицерам и начальствующим лицам Соваж велел уйти и начал «опрос претензий». Претензий не оказалось. Опять все стали на свои места. Я скомандовал:

— Смирно! — и Соваж начал говорить:

— Вы знаете, — говорил он, — что в июльских и августовских боях, когда мы сдерживали немецкое наступление, наш полк очень пострадал. Полку нужны пополнения. Но других пополнений, чем из своих, мы по возможности брать не будем.

Помните, вы наш резерв. Этим летом нам не хватало артиллерии. Теперь уже много месяцев, как вся наша великая страна работает на армию и к весне у нас будет все. Этой весной начнем наступление и союзники, и мы и тогда немцам будет крышка. В прошлом году австрийцев мы уже начисто разбили. Если бы не немецкая помощь, они тогда еще просили бы мира. Теперь очередь за немцами. Коли хорошенько постараемся, поколотим и их. Этим летом будет окончательный перелом и в следующем 16-ом году войну мы кончим! Не так ли, братцы?…

Раздался гул голосов:

— Так точно, Ваше Приитство… Надо кончать.

— Через три дня, — снова начал Соваж, — я возвращаюсь в полк. Если у кого есть письма, сдавайте их в батальонную канцелярию, я отвезу… И прощайте, братцы… Или лучше, до свидания, в родном полку! Помните, ваши товарищи вас ждут!

Раздалось громкое:

— Счастливо оставаться, Ваше Приитство! — И, несмотря на бессмысленность слов, чувства были правильные.

Помещение Соваж осмотрел мельком. Главное внимание он обращал на людей.

Покончив с чинами, он обратился к нам, офицерам, и сказал:

— Я, господа, вижу, что размещены вы здесь неважно. Очень тесно… Это, конечно, не казарма мирного времени. Но это не самое главное. Главное, чтобы люди были здоровы. И не давайте им скучать. Производите занятия, читайте им, рассказывайте. Делайте так, чтобы они все время были заняты. Кое-чему можно учиться и на улицах. В общем, духом и видом людей я доволен. И это, конечно, ваша заслуга. От имени полка благодарю вас. И до свидания в полку…

И крепко пожал нам всем руки.

Уже не помню сейчас, был ли завтрак в собраньи. Если и был, то без вина и самый будничный. Отнюдь непохожий на былые командирские приемы.

Соваж провел в Запасном батальоне три дня. Бедная его жена и дети видели его мало. И видели его в последний раз.

Соваж вернулся в полк, когда он стоял под Сморгонью. После Сморгони нас убрали в резерв, к северу от Молодечно, где мы простояли до декабря. В конце декабря полк перебросили в состав армии юго-западного фронта, в район В. Галиции. Там мы опять стояли в резерве, до февраля 16-го года. Потом нас перевезли на Северный фронт, к северу от Двинска. Там мы стояли в резерве до весны. После этого в первых числах мая, походным порядком нас снова двинули на Молодечно.

За исключением последнего майского перехода, все эти семь

месяцев, от октября до мая, мы или ездили по железным дорогам, или стояли по квартирам, главным образом по деревням. Из всех этих семи месяцев, Соваж не потерял, можно сказать, ни одного дня. Куда-нибудь приезжали день размещались, на следующий день начинались занятия. Уже в ноябре месяце Запасный батальон стал посылать в полк маршевые роты и к марту состав был доведен до положенного числа 4.000 человек. Сразу же по приезде Соваж сформировал Учебную команду и поручил ее молодому и толковому офицеру Лобачевскому, внуку или правнуку знаменитого математика. В ротах начались курсы стрельбы, причем особенное внимание было обращено на тонкую стрельбу, будущие «снайперы», хотя оптических прицелов нам тогда еще не давали. Все пулеметчики прошли курс пулеметной стрельбы. Обращаться с пулеметом должны были уметь все офицеры и все унтер-офицеры. Для практики Соваж умудрился достать для полка несколько сот ручных гранат. Где только можно, он устраивал двухсторонние маневры с длинными и довольно утомительными переходами. Учились наступать скрыто, «змейками». По нескольку раз в неделю Соваж устраивал офицерские занятия, тактические и топографические. Всех офицеров он посадил на лошадей и даже иногда самолично «гонял смену». Самыми трудными и самыми интересными офицерскими занятиями были съемки верхом. Каждый получал задачу на участке по фронту до 5, а в глубину до 10 верст. Требовалось уметь «поднять», т. е. пополнить карту, иначе говоря из обыкновенной «двухверстки» сделать «четырехверстку». Такие задачи в мирное время давались второкурсникам Военной Академии.

Несмотря на большую работу, которой он нагружал солдат и офицеров, сколько приходилось слышать, никто на Соважа не ворчал. Людям свойственно ворчать на монотонную, скучную, нудную работу. Соваж же молодой, живой человек и большой психолог, какую угодно работу умел делать занимательной и интересной. Скучать он не давал.

С солдатами он говорил постоянно, а когда разносил, употреблял особый тон, нарочито грубовато-ласковый, никогда по-настоящему не сердясь и скверных слов, отнюдь, не употреблял. Главным образом попадало начальствующим лицам, взводным и ниже, за несообразительность, шляпство и растяпство. Ругательный лексикон его был богатый и своеобразный: «чудовище морское», «дракон китайский», и, наконец, самое любимое «кашалот египетский», что уже не имело никакого лексического смысла, но цели своей отлично достигало, будя уснувшие мозги. Разнесенный таким образом

начальствующий чин не знал, что ему собственно делать, обижаться или смеяться, но тут же решал, что командир его «мал да удал» и что с ним следует держать ухо востро.

С офицерами Соваж обращался как старший товарищ, каким он и был, но без всякой фамильярности. Почти все время его командования полк располагался по квартирам и почти всегда по-батальонно. И очень часто вечером, после занятий, Соваж отправлялся в гости, то в один, то в другой батальон. Там ему давали чай, а если поблизости было Экономическое общество и можно было достать красного вина, варили «глюнтвейн». «Короткие напитки», т. е. водку и коньяк, Соваж тоже, разумеется, признавал, но потребление их не поощрял. Во время таких визитов в батальоны, он держал себя совершенно по-товарищески. Те из офицеров, которые умудрились сохраниться с начала похода, — таких было уже немного, — вспоминая Эттеровские времена, радовались, какого мы себе, наконец, заполучили командира. И действительно, перебери всю Российскую армию, трудно было найти лучше, а главное более к нам подходящего. Думали так, коли не убьют его летом, то под его командой будем мы драться хорошо, удачно и умно. Храбрых командиров было не занимать стать. Умных и знающих было мало.

И вот 8-го мая 1916-го года, на легком 20-ти верстном переходе, по пути к Мелодично, произошел случай трагичный и совершенно нелепый. Соваж держал двух верховых лошадей. Одна была молодая красавица, рыжая кровная кобыла, с тоненькими сухими ножками. Она была слишком резва и для похода не годилась. На ней Соваж ездил только для удовольствия. Для похода же была у него другая лошадь. Тоже красивый, но уже старый караковый конь, с мирной, плавной рысью и с широким спокойным шагом. Был у него только один недостаток. Был слаб на передние ноги. Звали его «Боярин».

Утром 8-го мая, перед выступлением Соваж сел на Боярина, пропустил мимо себя полк, потом рысью обогнал его, встал в голову и в самом приятном расположении духа, под еще нежаркими лучами весеннего солнца, и под пение жаворонков, с полковым адъютантом и с двумя ординарцами, двинулся вперед по шоссе. Переход был небольшой и люди шли весело. Как всегда по шоссе шли в ногу и как всегда, то в одной, то в другой роте распевали песни.

На походе раза два Соваж останавливался и пропускал мимо себя полк и, конечно, любовался им. Это был плод его неустанной семимесячной работы. Ни до, ни после в таком, поистине, блестящем состоянии полк не был. Потому что никогда, ни раньше, ни после, в боевой обстановке, мы так долго и так умно

не учились. На привалах Соваж был оживлен и весел, говорил и шутил с солдатами и с офицерами. Наконец, часа в 4 стали подходить к деревне, где была назначена ночевка.

Последний раз, ловко, по-кавалерийски, сидя на грузном Боярине, Соваж пропустил мимо себя полк и каждую роту поблагодарил за молодецкий вид. Последними прошли обозные, лихо вытянув руки с вожжами вперед и молодецки задрав голову на начальство. И обозные получили ласковое слово.

В это время к Соважу подскакал ординарец и доложил ему, что ему готова изба и что командирские денщики все ему приготовили для ночлега и даже достали и поставили самовар.

Соваж снял фуражку, отер потный лоб, круто повернул тяжелого Боярина и с места поднял его в галоп. Деревня стояла тут же на пригорке, немножко в стороне от шоссе, но Соваж устал много часов подряд ехать шагом, ему было жарко и хотелось пить. Он поскакал. И тут случилось то, после чего долго не могли придти в себя и те, кто это видел, и те, кто не видел. На войне смерть вещь обыкновенная и ею никого не удивишь. Но так, как умер Соваж, не умирал наверное ни один из многих миллионов воинов, которые четыре года дрались на всех многочисленных фронтах. Грузный Боярин шел полным махом и на всем ходу споткнулся о широкий плоский камень в земле и упал на передние ноги. Будь Соваж плохим ездоком, он вылетел бы из седла и в худшем случае набил бы себе шишку. На его несчастье он был отличный ездок. Он прирос к седлу и остался сидеть. От силы хода лошадь перекинулась кувырком и крупом размозжила ему голову. Все это случилось в одно мгновение и на газах у половины полка. Со всех сторон к нему бросились люди. Прибежали наши доктора. Соважа подняли и внесли в ближайшую избу. Не приходя в себя, через полчаса он скончался. А через час о. Александр служил по нем панихиду. И когда поминали «новопреставленного воина Сергия», то с сухими глазами не было в полку ни одного человека.

* * *

После трагической и нелепой смерти Соважа, через месяц, т. е. в июне 16-го года, у нас был новый, последний назначенный царем, командир, генерал-майор Павел Эдуардович Тилло. Это был еще молодой, 45-летний мужчина, сухощавый с квадратной бородкой, выше среднего роста. В 1891 году он кончил Пажеский корпус и был выпущен подпоручиком в Преображенский полк. Ни в какие академии не ходя, он монотонно и лениво протянул

лямку 24 года в своем полку и, уже сдав свой батальон, вышел на войну «старшим полковником».

В начале 15-го года он получил 187-ой Башкадыкларский пехотный полк, а в июне 16-го года — наш.

На русской службе вообще, а на военной в частности, служило множество потомков людей всевозможных национальностей. Надо полагать, что как и Соваж, Тилло был происхождения французского. Но если Соваж получил от своих предков «острый гальский смысл» и много французской живости, Тилло от своих не унаследовал ровно ничего. По характеру и по натуре это был типичнейший «хохол», ленивый и невозмутимый. Самое излюбленное его времяпрепровождение было лежать на бурке у себя в палатке, в блиндаже или в землянке, смотря по тому, где ему быть полагалось, и курить. По стилю надлежало бы ему курить трубку, «люльку», но он почему-то курил папиросы. Когда надоедало спать или просто лежать, он читал французские романы. Кутузов на войне тоже читал французские романы, но то был Кутузов. За свое постоянное лежанье пластом, от офицеров он получил прозвание: «пластун». Когда ему надоедало читать и «отдыхать лежа», он занимался ловлей мышей в мышеловку и на стене в землянке отмечал крестиками количество жертв.

В делах службы Тилло держался старой гвардейской традиции, без приглашения к подчиненным не являться и зря не беспокоить ни людей, ни себя. Строевым обучением полка он совершенно не занимался. В противоположность Соважским временам, если что-нибудь в этом направлении и делалось, то делалось исключительно батальонными и ротными командирами по собственной инициативе.

В мой последний приезд на войну я командовал ротой около полутора месяца. И ни разу ни у себя, ни в соседних ротах я командира полка не видал. Не видал его и в окопах.

С солдатами Тилло не разговаривал, но не потому, что считал это ниже своего достоинства. Он был человек простой и доступный, но он не любил говорить. По малословию в полку у него был только один конкурент, двоюродный брат моей жены, капитан Владимир Ильич Вестман, носивший название «великий молчальник». Придешь бывало в гости к Вестману в землянку. По положению он сейчас же велит «связи» согреть чайку, а потом сядет, смотрит на тебя дружелюбно и… молчит. Спросишь его что-нибудь, не спеша ответит, а потом опять молчит. Выпьешь кружку, другую в молчаньи, потом начнешь собираться домой.

— Ну, мне пора. Спасибо за угощенье. Хорошо поговорили, прощай…

— Прощай, заходи еще… — и вежливо проводит гостя до

выхода.

Адъютант 4-го батальона Михаил Тыртов, молодой человек, веселый и не без остроумия, очень удачно представлял в лицах, какие оживленные разговоры, если бы представился к тому случай, могли бы вести между собой генерал Тилло и капитан Вестман.

Были, однако, у Тилло и крупные плюсы. Во вкусах и привычках он был прост и невзыскателен. Никаких «дворов» и «окружений» не заводил. Штаб его состоял из двух человек. Адъютантом его, с которым они отлично ладили, был капитан Всеволод Зайцев, офицер честно оттопавший первые два года войны младшим офицером и ротным командиром.

Прослужив в Преображенском полку безвыходно 24 года, в чисто офицерских делах Тилло всегда знал, что нужно было делать, что было «принято» и что «непринято», так что никаких сюрпризов ждать от него не приходилось. В этом отношении служить с ним было приятно.

Когда осенью 16-го года командующий армией Каледин хотел нас пополнить случайными и сборными прапорщиками, Тилло вместе со своим однополчанином и старинным приятелем гр. Н. Н. Игнатьевым, энергично этому воспротивился. Также, согласно с желанием офицеров, Тилло любезно отклонил братское предложение помощи офицеров гвардейской кавалерии, пополнявших в это время сильно расстроенные ряды гвардейской пехоты. Предложение кавалеристов отклонили только Преображенцы и мы.

Самым большим и пожалуй единственным ценным военным качеством Тилло было его олимпийское спокойствие и невозмутимость при всяких обстоятельствах. Смутить его душевный покой было совершенно невозможно. Помню, в конце августа, на походе, когда прекрасным осенним вечером мы остановились на лесной лужайке на привале и все офицеры сели обедать, немецкий летчик бросил на нас бомбу и по счастью не попал. Бросать бомбы тогда еще не научились. Снаряд упал в ста шагах от нашего стола. Все офицеры вскочили, некоторые с открытыми ртами. За столом остался сидеть один командир полка.

Летом 16-го года мы занимались позиционной войной под Луцком (июль — август), разнообразя ее жестокими, не для противника, а для нас, — атаками в лоб немецких укрепленных позиций, Стоход 15-го июля — Велицк 26-го июля. Вот картина боя перед Велицком, стоившим нам более пятисот чинов и пяти убитых офицеров. В таких атаках раненых бывал некоторый процент. Главные потери — убитые. Записано со слов участника

атаки Владимира Бойе-ав-Геннеса. Смерть Льва Лемтюжникова и Михаила Пржевальского. В этот день были убиты оба брата Лемтюжниковы, Лев и Николай.

> «Когда 10-ая рота, имея правее 9-ую, пошла в атаку, я видел Лемтюжникова между линиями. Затем, когда неприятельские пулеметы, скрытые в маскированных блиндажах, «рассеяли» атакующих и люди стали валиться, как подкошенные, я со связью оказался в воронке 6-ти дюймового снаряда, примерно в ста шагах от наших окопов. Пулеметы продолжали свою работу, выискивая и приканчивая уцелевших и раненых, которые решались начать ползти назад к себе в окопы. Двое раненых все же приползли к нам в яму. Второй не поместился, так что его перебитая нога торчала из ямы, а я старался держать ему голову повыше, чтобы кровь не приливала к голове при таком его неестественном положении. Затем одна из шрапнелей разорвалась совсем над нами и пуля попала ему в висок. Втащив его больше на себя, я стал выглядывать, чтобы сообразить обстановку, т. к. стали раздаваться крики о готовящейся контр-атаке.
>
> Пулеметы продолжали та-та-та-та-та к я видел как ползущие раненые приканчивались в одиночку. Вдруг я увидел шагах в 15 вправо, не больше, ползущего Лемтюжникова. Наши глаза встретились и он как-то болезненно мне улыбнулся. Не успел я помахать ему пальцем, чтобы он не полз туда, куда он полз, а полз бы к нам, как пулемет сказал так-так. Помню как сегодня, что было только два так-так. И когда я инстинктивно отдернул голову вниз, это ведь трудно передать, это ведь часть секунды, но я видел как его глаза как-то ужасно открылись и голова сейчас же упала. Потом он больше уже не шевелился. Пржевальского видел еще кажется живым, но с огромной зияющей раной, как будто вся граната прошла насквозь».

После 26-го июля на тех же местах опять окопная война, до половины августа. Потом рытье плацдарма и неожиданный переход на Владимир-Волынское направление. Свинюхи-Шельвов-Корытница. Атака 7-го сентября, с таким же результатом, что под Велицком. Атака эта в другом месте у меня описана подробно. По нелепой подготовке к ней, она была единственная в своем роде. И опять, из полка атаковали две роты. И, пожалуй, к лучшему, что не атаковало больше.

И 15-го июля, и 26-го июля, и 7-го сентября Тилло лежал у себя в землянке. Но и то сказать, что он мог сделать? Отменить атаки он был не властен, а атаковать самому, в качестве последнего резерва, для этого тогда пожалуй не пришло еще время.

После атаки 7-го сентября несколько дней наша 1-ая дивизия стояла на старом месте. Моя 12-ая рота была без офицеров. Будучи командиром 10-ой роты, за ней «наблюдал» Бойе-ав-Геннес. 12 сентября была произведена перетасовка. Преображенцы и Измайловцы были отведены в тыл, в Скунченский лес, а на бывший Измайловский участок стала дивизия Туркестанских стрелков. 15-го сентября мы должны были повторить печальные опыты 3-го и 7-го и вместе с Туркестанцами «прорвать немецкие позиции». Веселый разговор. Вышло так, что немцы нас предупредили. 14-го числа с утра они начали пристрелку по нашему и по Туркестанскому участку. Били по окопам и по узлам ходов сообщения. Около 8-ми часов утра началось «настоящее». Был открыт «троммель фейер», т. е. барабанный огонь шрапнелью, гранатами бризантными и двойного разрыва, тяжелыми, 4-х, 6-ти и 8-ми дюймовыми и газовыми снарядами. Не считая легких, по нас палило 6–8 тяжелых батарей.

Офицеры, которые после этого огня уцелели, говорили, что никогда раньше ничего подобного они не видели. Все расположение Туркестанское и наше кипело как в котле трехсаженными черными пузырями. Грохот стоял оглушительный и одуряющий. Одним словом, «земля тряслась, как наши груди»… Кроме нас били по тылам, чтобы помешать подводу резервов. Часов около 3 дня, после беспрерывного шестичасового такого огня, Туркестанцы не выдержали и стали «драпать», сначала отдельными людьми, а потом и целыми ротами, оголив весь наш левый фланг. Наш штаб полка, при котором было знамя, а при нем знаменный взвод, стоял за самым стыком стрелков и нас, и когда немцы двинулись в атаку, было одно такое время, что между противником и нашим знаменем фактически никого не было. В этот весьма критический момент, как и раньше, ген. Тилло сохранил полнейшую невозмутимость, но все же из лежачего положения перешел в стоячее и пристегнул шашку. Много позднее, когда положение было полностью восстановлено, Тилло снова отстегнул шашку и опускаясь на бурку сказал полковому адъютанту: «А я уже собирался со связью идти в контр-атаку».

Положение было восстановлено исключительно благодаря непревзойденной стойкости наших молодцов. Ротам нашей

второй линии, высланным наперерез отступавшим Туркестанцам, удалось их остановить. Самое же красивое дело выпало на долю нашего 1-го батальона, сидевшего в первой линии. Когда около 4-х часов дня немцы бросились на опустевший соседний Туркестанский участок, батальонный командир полковник Эссен, безбрежно спокойный «Карл», с вечной сигарой во рту, поручик барон Родриг Бистром, тонкий, белобрысый и умопомрачительно корректный командир Государевой роты и не отличавшийся тонкостью манер, командир 3-ей роты, капитан Алексей Орлов, он же Алеха, подняли свои полузасыпанные землей и одуревшие войска, или вернее то, что от них осталось, человек 80, и с диким криком «вдарили» атакующим немцам во фланг и в тыл. Несколько человек покололи, остальные кинулись назад.

Выше я писал, что немцы «бросились» на оголенный Туркестанский участок. Выражение «бросились», пожалуй, тут не совсем подходит. По словам Сергея Дирина, который накануне во второй раз принял 12-ую роту и всю эту картину наблюдал, немцы шли неохотно и вяло, подгоняемые сзади офицерами и унтер-офицерами. Размахивая револьверами и палками, начальство гнало в атаку «господскую расу», как гонят ошалелый скот.

Попутно Дирин рассказал забавный случай. Поздно вечером, часов в 9, когда огонь уже затих и стало совсем темно, вдруг он слышит, что с тыла, по разбитым ходам сообщения, а то и просто поверху, с треском и звоном, изрыгая пламя, несется на его роту какое-то невиданное орудие истребления. Когда орудие подскакало ближе, оказалось две ротные походные кухни. Дирин к ним: «Обалдели вы что ли? Куда вы прете? Тут первая линия, а впереди в 200 шагах немцы!?» Тогда с козел первой кухни слезает офицер и говорит: «Не беспокойтесь, капитан, дальше не пойдем. Здесь останемся. А часа через два все наши, кто жив остался, все сюда соберутся. Голод не тетка». И действительно, к утру в передних окопах Туркестанцев оказалось порядочно.

Утром 15-го полк сменили Преображенцы, 10-ую и 12-ую роты, занимавших все туркестанское расположение — Измайловцы.

В то же утро была получена телеграмма командующего армией Каледина, где он поздравлял полк и говорил, что на этом участке Семеновцы своей стойкостью и мужеством спасли положение. Последовали «высокие и богатые милости». На роту было дано по 10 Георгиевских крестов. Родриг Бистром был представлен к Георгиевскому оружию, офицеры 1-го батальона к «вне-очередным» наградам, а все прочие к «очередным».

После отбитой атаки немцев, фронт опять закрепился и,

немного сблизившись, — на некоторых участках расстояние между нами и немцами было до 150 шагов — мы на тех же позициях простояли друг против друга до поздней весны. В тылу, как всегда в резерве, занимались и учились, а в боевой линии старались делать немцам всякие мелкие гадости «снайперами» и минами. У нас были получены особенные пули, свободно пробивавшие стальные щиты. В каждой роте такими пулями было снабжено несколько «охотников за черепами». Нужно, однако, честно признаться, что у немцев эта часть, как и всякая техника, была поставлена много выше нашей и наши потери от такого рода войны были крупнее ихних. Довольно много наших пострадало от немецких газовых снарядов, которых мы, не из гуманности, конечно, а по бедности вооружения, не употребляли.

Этой же зимой мы очень глупо потеряли двух прекрасных офицеров — Георгия Гребнера и Сергея Хренова. Гребнер был ротный командир, а Хренов — только что прибывший из Петербурга, едва обстрелянный прапорщик. Сами того не сознавая, они оба разыграли сцену на подобие ранения кн. Андрея на Бородинском поле: «Стыдно, господин офицер». Уже под вечер, шел обстрел наших передовых окопов минами. Я не знаю, какие мины бросали в эту войну, но в первую германскую полет этих мин, особенно в сумерки, можно было легко проследить. И если она летела на тебя, рекомендовалось немедленно же припадать к матери сырой земле. Стыдного тут, разумеется, ничего не было, т. к. валились на землю не в панике, а вполне сознательно, в качестве, «применения к местности». Когда начался обстрел, люди все сели в блиндажи, а в окопах на местах стояли только часовые и офицеры. Когда летела та мина, которая стоила им жизни, Гребнер, который неважно слышал, очевидно ее не видал и, несмотря на то, что ему кричали, остался стоять во весь рост. Младший же офицер, опять-таки по-видимому решил, что если ротный командир стоит, то ему ложиться тоже неловко. «Стыдно, господин офицер!»… Мина разорвалась очень близко и силой взрыва им обоим снесло черепа.

Все эти длинные и скучные месяцы окопной войны, осень и зима 1916–1917 года, мы, без боев, регулярно теряли по 10–15 человек в день ранеными, убитыми и больными.

П. Э. Тилло неукоснительно лежал в своей землянке на бурке и, будучи поклонником закона сбережения энергии, проявлял минимум деятельности.

О том, что происходило в это время в столице, — «министерская чехарда»: премьер Штюрмер, министр Протопопов, Распутин — обо всем этом доходили слухи и до фронта, но интересовались этим мало и чем ближе к первой боевой линии,

тем меньше.

2-го марта пронесся слух о революции в Петербурге и об отречении государя, а на следующий день он подтвердился официально.

Тилло собрал полк, и, прочел телеграмму командующего армией. На следующий день была назначена присяга Временному Правительству.

* * *

Человек безвольный и безцветный, император Николай Второй популярностью среди офицеров пользоваться не мог. Он не умел ни зажечь, ни воодушевить людей и процарствовал 21 год, живя так сказать «на капитал».

Не могу забыть, как я последний раз ему представлялся. В самых первых числах июня 1911 года, мы все офицеры, окончившие в этом году высшие военные учебные заведения, кроме Военной Академии, которая представлялась отдельно, должны были в 11 часов утра прибыть на Царскосельский вокзал, где нам был подан особый поезд. На станции «Царское Село» нас ждали певческие линейки (на них обыкновенно возили придворных певчих) и другие придворные экипажи и через 10 минут мы уже подкатили к одному из подъездов большого Екатерининского дворца. Было нас офицеров человек 120. Все были одеты в походные летние мундиры, у кого были — при орденах, и у всех на правой стороне труди новенький академический знак. У инженеров серебряный, у артиллеристов золотой, у юристов серебряный с золотым столбом «закона» и т. д. В большом Екатерининском зале построились в одну шеренгу, на правом фланге Инженерная академия, левее Артиллерийская, за ней Юридическая, дальше Интендантская, и, наконец, на самом левом фланге, пять человек нашего выпуска из Восточных Языков. Офицеры были самые разнообразные, в самых разнообразных формах, в чинах от капитана и до поручика. Но у всех было одно общее. У всех в глазах светилась сдержанная радость и спокойное удовлетворение после хорошо исполненного трудного дела. Каждый из них, ценою трехлетнего упорного труда, после многих волнений и огорчений, наконец, выбился из многотысячной серой офицерской массы, «выбился в люди» и обеспечил себе на будущее сносное существование. Многие из этих офицеров были женихами, которые откладывали свадьбу «до окончания академии». Эти люди в тот день были, конечно, самые счастливые. Как бы то ни было для каждого из этих 120 офицеров

этот ясный свеженький июньский день был знаменательный день и можно было поручиться, что никто из них этого дня не забудет до самой смерти. Можно было также поручиться, что если бы в этот день царь сказал им не речь, а всего лишь несколько слов, но те, которые нужно, они бы их также никогда не забыли.

Наконец, издалека по анфиладе послышались шаги и в дверях показался государь, в сопровождении, министра двора, старого графа Фредерикса, дворцового коменданта, генерала Воейкова, и дежурного флигель-адъютанта.

Полковник постоянного состава Инженерной Академии, который был у нас за «воспитателя» и стоял на правом фланге, громко сказал: «Господа офицеры!» Государь нам поклонился и мы из строя ему ответили. Он начал обход. Подошел к правофланговому офицеру.

— Вы какой бригады?

— 3-ей Гренадерской Артиллерийской бригады, Ваше Императорское Величество!

— Ваша стоянка в Москве?

— Так точно, Ваше Императорское Величество.

Кивок головы, офицерский полный поклон и к следующему:

— Вы какого батальона?

— 16-го Саперного батальона, Ваше Императорское Величество.

И так далее и так далее, все 120 человек. С теми, кто был на японской войне и имели боевые ордена (таких было несколько), разговор велся более осмысленный. Со всеми же остальными это была длинная, нудная и никому ненужная канитель. Продолжалась она часа полтора. Дойдя до меня — я стоял последним и во всей партии был единственный гвардеец, — царь, увидев знакомую форму, остановился и стал спрашивать о полку и об известных ему офицерах. С видимым облегчением на эти легкие темы он говорил со мной минуты две.

После этого он вышел на середину, потеребил манжету верхней частью руки разгладил усы и своим отчетливым голосом сказал несколько слов.

Если бы умел он хоть немножко играть на человеческих душах, вот что следовало бы ему сказать этим офицерам:

> «Господа, ваши труды увенчались полным успехом. Перед нами открыта широкая дорога. В нашей армии со временем вы будете занимать самые большие и самые ответственные должности. В этот важный и счастливый для вас день, говорю вам: не гонитесь за карьерой и никогда ни при каких условиях не вступайте в сделки со

> своей совестью. Вас ждут соблазны и искушения, но пусть чувство долга будет для вас всегда мерилом того, что можно и чего нельзя. Уверен, что на служение Родине вы отдадите все ваши силы. Желаю вам успеха на этом трудном, но славном пути!»

И если бы он так сказал, какое оглушительное «ура» крикнули бы ему все эти офицеры.

К сожалению, ничего даже похожего на это сказано не было. Сказано было текстуально следующее:

> «Желаю вам с пользою применить ваши знания, — и повернувшись к нам, восточникам, — а вам — ваши языки».

После этой речи государь, как писалось в официальных отчетах, «удалился во внутренние аппартаменты», а нас провели в соседний зал, где был приготовлен холодный завтрак «а ля фуршет», иначе говоря такой, который естся стоя.

Украшение русской литературы, роман Л. Толстого «Война и мир», я в первый раз прочел, когда мне было 14 лет. Сколько раз я его перечитал с тех пор, сказать не берусь. Может быть 10, может быть 15 раз. От времени до времени читаю его и теперь и думаю, что надоесть он мне никогда не сможет. Одна из любимых глав, это описание того, как Павлоградский полк, в конном строю, встречает Александра I. Молодой Ростов, сидя на Бедуине, кричит «ура» подъезжающему императору, кричит с восторгом, с самозабвением, до боли, желая этим криком повредить себе… Николай Ростов в ранней молодости был восторженный юноша. Но по роману видно, что не один только Ростов так кричал «ура». С одушевлением кричали все Павлоградцы, и офицеры и солдаты. Обожание «вождя» свойственно человеческой природе.

В конце декабря 14-го года император Николай II, вблизи Варшавы, под Гарволином делал смотр Семеновскому полку. Была оттепель. Переминаясь на грязной земле, мы ждали часа два. Наконец, когда уже стало смеркаться, подошли царские автомобили. Из первой машины вышел маленького роста полковник. На помятых и сплющенных (4 месяца возились в обозе) трубах, шестнадцать музыкантов (остальные были перебиты, исполняя в боях должности санитаров) заиграли гимн: «Боже, Царя храни». Своим привычным жестом государь разгладил усы и поздоровался. Ему ответили и закричали «ура». На этого, идущего по фронту низенького с серым и грустным лицом человека, некоторые смотрели с любопытством, а большинство равнодушно. И «ура» звучало равнодушно. Никакого

воодушевления при виде «вождя» мы тогда не испытывали. А воинам нужно одушевление и чем дольше они воюют, тем оно нужнее.

До первой германской войны подавляющее большинство кадрового офицерства были монархисты. Быть монархистом нас никто не учил и о преимуществах монархического строя над республиканским нам никто из начальства никогда не говорил. Касаться этого вопроса начальство попросту боялось. Монархистами мы были по традиции и по инерции. С десятилетнего возраста в «царские дни», а их было 10 дней в году, мы ходили на торжественные молебны, в этот день ели вкусный обед, а вечером посылались в театры. Царь был необходимая принадлежность русского быта. И мы сами, и наши деды и прадеды все родились при царях. Русскую историю мы привыкли помнить по царствованиям. Почти беспрерывно цари правили Россией с Иоанна III, т. е. ни много ни мало как с лишком 500 лет. И вот в один прекрасный день, совершенно неожиданно, узнать, что царь из русской жизни выпал, было дико и странно. Никто не горевал, но первые дни люди ходили как потерянные. Пребывание без царя было не столь неудобно, сколько непривычно. Впрочем великое событие, кроме морального эфекта, никакого действия на офицеров не оказало. За исключением кажется одного, кн. Сергея Кудашева, все послушно присягнули Временному Правительству и, с царем или без царя, порешили вести войну «до победного конца».

Но когда еще через несколько дней до полка дошел «приказ No. 1» о создании полковых комитетов и выборном начальстве, всем стало ясно, что дальше так воевать нельзя и что война кончена. Уехало в тыл еще три офицера, правда не из самых строевых. А остальные, остальные стиснули зубы и стали пытаться служить при новых порядках, «служить не за страх, а за совесть» и не только «не щадя живота» (этого они уже давно не щадили), но не щадя и самолюбия.

Генерал Тилло встретил революцию, как и все в жизни, молча. По своему составу выбранный комитет оказался вполне приличным. Попали в него и офицеры. Было там много лишних разговоров, но бессмысленней злобы и желания сводить счеты, определенно не было. Комитет всегда можно было «уговорить» и нашлись офицеры, которые неожиданно обнаружили у себя таланты «народных трибунов». Говорили о «верности союзникам», о «войне до победного конца» и все это пока еще действовало. Все офицеры были переизбраны. В то время, когда во всей нашей армии шли зверские расправы с офицерами, когда их убивали, подымали на штыки и штыками же распинали и когда такие дела

газеты весьма деликатно называли «эксцессами», у нас в полку все шло мирно и спокойно. Без «эксцессов» обошлось у нас не только на фронте, но даже и в Запасном батальоне. Вот когда пожали офицеры, плоды своих трудов, своей заботы о солдатах, своего братского и справедливого к ним отношения и того уважения, которое они у них себе заработали. Теперь об этих временах можно вспомнить если не с удовольствием, то с удовлетворением. Но переживать их было тяжело.

* * *

В апреле 1917 года генерал Тилло сдал наш полк и получил в командование 1-ую бригаду 1-ой гвардейской пехотной дивизии, «Петровскую бригаду», полки Преображенский и Семеновский.

Командующим нашим полком был назначен полковник А. В. Попов.

А. В. Попов вышел в полк в 1900 году из Павловского училища и прошел в нем службу от младшего офицера до командующего полком. Был полковым адъютантом. На войну вышел командиром Государевой роты и два года ею командовал. В 1916 году он принял 4-ый батальон, которым и командовал до самой революции. Отец А. В. Попова совершенно так же всю свою жизнь прослужил в нашем полку, в Турецкую войну командовал Государевой ротой и Александром II был сделан флигель-адъютантом.

Попов был один из трех-пяти наших офицеров, которым уже не знаю посчастливилось ли или не повезло с самого выступления с полком и до самого конца ни разу не быть раненым. И это ни на один день не уходя из строя и активно участвуя во всех боях, в которых участвовал полк. Он, сколько помнится, даже не ездил в отпуск, а в Петербурге у него жила мать, у которой он был единственным сыном, и сестра. Любовь и преданность этого человека полку были совершенно беспредельны, совершенно также, как его самоотвержение и чувство долга. К концу войны он уже явно устал и измотался. Он плохо спал и переносить тяжелый артиллерийский огонь ему стоило все больших и больших усилий. Начальство и доктора посылали его в тыл, в отпуск. Но ни в какие отпуска он ехать упорно не желал, от всех других мирных должностей отказывался и на посту своем оставался до самого конца. На таких офицерах, как он, держалась старая царская армия. Это были ее столпы и украшение.

Новые пореволюционные условия службы А. В. Попов переносил плохо. Он всю жизнь получал и отдавал приказания. И

совершенно также как он сам не мог бы помыслить не исполнить полученного приказания, так же дико и невероятно казалось ему, что подчиненные с легким сердцем могут не исполнить того, что он им приказывает. В те трудные для офицеров времена много говорилось о «революционной» дисциплины. Но что это в сущности такое и чем «революционная» дисциплина отличалась от обыкновенной, до тех пор столь ясной и понятной, никто толком объяснить не мог. На практике те, кому это было выгодно, справедливо решили, что «революционная» это такая дисциплина, при которой каждый может делать все, что ему угодно.

А. В. Попов «народным трибуном» не был, вилять и подлаживаться не умел, заискивать у солдат ему было противно, а потому этот период жизни полка, от марта и до декабря 17-го года, как и для очень многих старых кадровых офицеров, для него был очень тяжел.

То, что через 28 лет, еще при жизни некоторых из этих офицеров, сыновья тех солдат, которых им приходилось успокаивать, уговаривать и упрашивать, возьмут Берлин, никому в голову придти не могло. Человека, который вздумал бы это предсказать, сочли бы за сумасшедшего. То, что тогда творилось кругом, было мрачно, безнадежно и беспросветно. Ясно было одно, что бесчисленные кровавые жертвы принесены даром, что война проиграна, что армия разлагается, что в тылу в России бушует революция, что немцы сильнее, чем когда-либо, и что чем это все кончится одному Богу известно, вернее всего полной победой Германии и разделом России.

И все-таки, несмотря на общий распад и развал, наши два полка, Преображенский и наш, продолжали быть боеспособными.

В начале июня походным порядком нас двинули в Галицию, а 18-го июня наша 1-ая бригада приняла участие в знаменитом «наступлении Керенского». Из наступления получилось то, что должно было получиться. «Революционная дисциплина» наглядно показала, чего она стоит. Нельзя было два месяца разлагать уже уставшие войска, а потом, как всегда без надлежащей подготовки посылать их прорывать укрепленные позиции. Достигнутый в первые два дня некоторый успех, о котором поспешили протрубить газеты, вскоре превратился в жесточайшее поражение. То, что случилось у Калуша, было одной из самых печальных и позорных страниц русской военной истории. Когда-то непобедимое Российское воинство, кидая оружие и убивая офицеров, дикими толпами катилось назад, сметая и увлекая все на своем пути. Боеспособная русская армия перестала существовать. Разложился даже гвардейский корпус. Из него остался только маленький островок: Петровская бригада, полки

Преображенский и Семеновский. В беспрерывных арьергардных боях от 19-го июня и до 1-го июля на пути к Тарнополю и р. Збручу, как отдал в приказе по армии Верховный Главнокомандующий:

> «Полки Петровской бригады среди общего развала оставались верными долгу и своими действиями обеспечили возможность отхода».

Доблестное поведение наших двух полков в эти дни не осталось неотмеченным и со стороны новой власти. В официальной истории 1-ой германской войны, изданной в 1923-м году, написано, что в эти дни «только гвардейская Петровская бригада упорно удерживала врага, потеряв в этих боях 80 % своего офицерского состава». Нашей бригадой тогда стойко и молчаливо командовал П. Э. Тилло (за что справедливо получил Георгиевский крест), а полком А. В. Попов.

Начался последний период жизни полка: август — декабрь 1917-го года, позиционная война в Галиции на реке Збруче, у Гржималува-Гржималув-Могила-Лука Мала.

На этих же позициях 21-го ноября мы справили наш последний полковой праздник. Вот как описывает его наш последний командир А. В. Попов:

> «Это было в селе Лука Мала. Как сейчас помню настроение офицеров и свое собственное. Полк был далеко не похож на то, что он представлял собою во время войны. 27-ое февраля 17-го года, Солдатский полковой комитет, разные выборы в Учредительное собрание и в армейские, корпусные и прочие комитеты, вмешательство солдат в командование полком и в хозяйственное его управление, выход на работы по укреплению позиций и прочие наряды, часто только после «уговаривания» офицеров и командиров всех степеней. Октябрьский переворот в Петрограде, докатившийся и до нас и все с ним связанные приказы и распоряжения — создали отвратительную атмосферу недоверия солдат к офицерам (до момента пока не свистят пули, не рвутся снаряды) и общую подавленность, предчувствие конца жизни и службы дорогого полка. И все-таки было еще то, что называлось полком. Полковое знамя стояло в штабе полка в моей комнате, жизнь и служба в полку как будто еще продолжалась и наружно многое было по старому. И нам, офицерам, хотелось верить, что не все еще

потеряно, но жизнь на каждом шагу выявляла свою ужасную действительность и временами гасила всякую надежду. В таком настроении мы встретили праздник. Полк стоял в дивизионном резерве. В офицерском собрании, которое пока еще кое-как существовало, собрались все офицеры на обычный для этого дня торжественный обед. Но атмосфера была сгущена. Чувствовалось, что даже между когда-то столь преданными нам солдатами, служителями офицерского собрания, есть, если не полные предатели, то доносители на нас солдатскому полковому комитету и просто несочувствующие и критикующие.

Тем не менее я решил, не считаясь с обстоятельствами, произнести такой тост за полк, который соответствовал бы моему и общему настроению. Я начал свою речь словами:

«Наш старый, горячо любимый, увенчанный двухсотлетней славой Петровский корабль — Семеновский полк — терпит бурю. Кругом много подводных камней, о которые он разбивается. Но вера в Бога и в себя должна нас поддержать».

Дальше я развил мысль, что эти же бури и стихии, могущие повлечь за собою гибель корабля, должны придать нам силы для борьбы с ними, раз мы наш корабль любим и хотим его спасти».

Эта трогательная речь честного офицера и страдающего человека была сказана 21-го ноября, а через 21 день наш старый Петровский корабль пошел ко дну. 12-го декабря двинулось домой, в Петроград, все, что от него осталось, несколько офицеров, человек 30 солдат и полковое знамя. Командиром этой горсточки был выбран вернейший из верных и храбрейший из храбрых, кристальный человек и верный товарищ Дмитрий Комаров. Знамя довезли до Петрограда и зарыли в надежном месте. По Петровскому воинскому артикулу, та часть, которая утеряет свое знамя, расформировывается и перестает существовать. А те, кто его зарыли, против всякого вероятия и наперекор всем стихиям, таили в душе искорку надежды, что, быть может, при монархии или при республике, имя одного из древнейших и славнейших русских полков из нашей армии не исчезнет.

Но если бы и исчезло? От врагов наше Отечество защищали войска, самых разнообразных формаций. И на протяжении тысячи лет, все эти воины были воодушевлены одними и теми же

чувствами: храбростью, жертвенностью и любовью к Родине.

Если имя Семеновского полка и исчезнет из армии, то из истории Русской оно не исчезнет.

Буэнос Айрес, 5-го мая 1945 г.

День взятья Берлина.

notes

Примечания

1

«self made man» — Самодостаточный человек, занимающий прочное положение в обществе (англ.)

tailleur — английский дамский костюм (фр.)

3

Рожище — большая станция, где стоял штаб «Особой Армии».